ISSN 0130-6545

3.1999

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ИВАН КЛИМА
Рассказы

РЕНЕ КЛЕР
Китайская принцесса

ЛИТературный ГИД

ЖИЗНЬ КАК РОМАН

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

**Из общего тиража в 15 310 экземпляров
Институт «Открытое общество» ежемесячно
выкупает и безвозмездно направляет
в библиотеки России и ряда стран СНГ 4535 экземпляров.**

**Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует ЗАО КОНВЕРСБАНК (Акционерный банк Конверсии).**

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Н.А. БОГОМОЛОВА — заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
ОСНОВАН В 1891 ГОДУ.
ДО 1943 ГОДА ВЫХОДИЛ ПОД НАЗВАНИЯМИ «ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ», «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
С 1955 ГОДА — «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

3 март 1999

СОДЕРЖАНИЕ

ИВАН КЛИМА — Рассказы *(Перевод с чешского Н. Шульгиной и В. Каменской. Вступление Н. Шульгиной)*..... 7
ДЕСМОНД ИГАН — Стихи *(Перевод с английского и вступление А. Кудрявицкого)*..... 28
РЕНЕ КЛЕР — Китайская принцесса. *(Повесть. Перевод с французского А. Брагинского)*..... 32
УМБЕРТО ЭКО — Остров Накануне *(Роман. Окончание. Перевод с французского Елены Костюкович)*..... 56

Литературный гид

ЖИЗНЬ КАК РОМАН: Э.А. По, Лоуренс Аравийский, Е. Косинский
ХУЛИО КОРТАСАР — Жизнь Эдгара Аллана По *(Перевод с испанского Н. Богомоловой)*. ЭДГАР АЛЛАН ПО — Из «Маргиналий» (ноябрь 1844 — июль 1849) *(Перевод с английского Л. Мотылева)*..... 138
А. НЕСТЕРОВ — Князь мятежа. *История Лоуренса Аравийского.*
Т.Э. ЛОУРЕНС — Перемены на Востоке *(Перевод с английского А. Нестерова)*..... 166
ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ — Сказка о Мальчике, которому до поры до времени везло. *Судьба Ежи Никодема Косинского.* ЕЖИ КОСИНСКИЙ — По поводу «Раскрашенной птицы»: заметки автора *(Перевод с английского Ильи Кормильцева)*..... 188

Среди книг
Н. МАВЛЕВИЧ. Иллюзия подлинности. С. ЗЕНКИН — Новый и старый Сирано. Т. ВЕНЕДИКТОВА — Роман воспитания — 90-е..... 206

У книжной витрины..... 215

Курьер «ИЛ»..... 218

Авторы этого номера..... 221

© «Иностранная литература», 1999

В следующем номере «ИЛ»

Нашумевший роман молодого французского писателя **Эмманюэля Каррера** «УСЫ» — фантасмагория, трагифарс и острая психологическая драма с размытыми границами реальности.

Фрагменты романа известной канадской писательницы **Маргарет Этвуд** «ТА САМАЯ ГРЕЙС», в основе которого — подлинная криминальная история полуторавековой давности.

Литературный гид «МИРЧА ЭЛИАДЕ», посвященный жизненной и творческой судьбе выдающегося ученого, писателя, философа.

В рубрике *«Из классики XX века»* — стихи знаменитой чилийской поэтессы, лауреата Нобелевской премии **Габриэлы Мистраль**.

«О ТОМ, КАК ГЕРОИ УЧАТ АВТОРА РЕМЕСЛУ» — Нобелевская лекция португальского прозаика **Жозе Сарамаго**.

Цветные иллюстрации номера — работы немецкого художника ЗИГМАРА ПОЛЬКЕ (род. в 1941 г.):

На 1-й стр. обложки — «Цапля-III» (1968)
На 2-й стр. обложки — «$-картина» (1971)
На 3-й стр. обложки — «Алиса в стране чудес» (1971)
На 4-й стр. обложки — «Садовник» (1992)

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, д.6
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
книжный центр «Проект О.Г.И.» — Трехпрудный пер., д.11/13

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 26.02.99. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 20,01. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 22,94. Заказ №3942.

Тираж 15 310 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

Хорошая новость

У нас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШАЯ НОВОСТЬ для почитателей иностранной литературы вообще и читателей «Иностранной литературы» в частности.

Начиная с этого года в нашей стране качественной зарубежной литературы в достойных переводах будет выходить гораздо больше.

Толстые литературные журналы и российские библиотеки давно уже привыкли к щедрой финансовой помощи Фонда Сороса (без которой в нынешних условиях мы, наверное, просто не выжили бы), но теперь Фонд делает замечательный подарок не организациям культуры, а самим читателям. **Отныне в Институте «Открытое общество» существует специальный конкурс, созданный для поддержки лучших переводов лучших произведений современной художественной литературы — он так и называется: «Современная зарубежная художественная литература».**

Значение этого события трудно переоценить. До сих пор журнал «Иностранная литература» поддерживал лучшие традиции школы отечественного литературного перевода почти в одиночку — во всяком случае, в сфере современной немассовой литературы. Те два десятка романов и повестей, которые удается втиснуть в двенадцать номеров журнала, в последнее время составляли бóльшую часть годового «импорта» настоящей литературы, попадавшего на российские просторы.

С 1999 года ситуация меняется. Еще одним солидным «импортером» в этом благородном деле становится издательская программа Фонда Сороса. **Первый конкурс, результаты которого были объявлены в январе, в самом скором времени подарит вам три десятка замечательных книг.**

ПРЕКРАСНО ПЕРЕВЕДЕННЫХ (мы это можем подтвердить, потому что наши сотрудники участвовали в отборе текстов).

ВЫПУЩЕННЫХ НАДЕЖНЫМИ ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ (ненадежные поддержку от Фонда не получают).

И, что немаловажно, НОВЫХ, то есть написанных в тот самый «конвенционный» период, которого многие издатели некоммерческой литературы вынуждены избегать из-за нехватки валютных средств для оплаты авторских прав.

«Иностранной литературе» совсем не обидно, что ее монополия на перевод Настоящей Литературы потеснена. А за счет лауреатов соросовских конкурсов мы будем пополнять и омолаживать когорту наших переводчиков — что, собственно, произойдет уже в этом году.

Итак, первый конкурс завершился, второй начинается в марте. Мы будем следить за его ходом и расскажем вам о его итогах.

Спасибо Фонду Сороса и самому Джорджу Соросу за то, что помогает журналу, переводчикам, издателям и вам, дорогие читатели.

Редакция журнала

ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО КОНКУРСА

«Современная зарубежная художественная литература»

Т. А. АЗАРКОВИЧ (Москва). **Питер Акройд** (Англия). «Чаттертон». *Роман.*

И. Г. БЕЗРУКОВА (Москва). **Вацлав Гавел** (Чехия). «Гостиница в горах». *Пьесы и др.*

Е. И. БЕЛЯКОВА (Череповец). **Кларисса Лиспектор** (Бразилия). «Час звезды». *Повесть.*

В. В. БУБЛИК (Ижевск). **Энтони Бёрджесс** (Англия). «Человек из Назарета». *Роман.*

Л. И. ВОЛОДАРСКАЯ (Москва). **Лоуренс Даррелл** (Англия). «Месье, или Властелин тьмы». *Роман.*

П. М. ГРУШКО (Москва). **Хосе Хименес Лосано** (Аргентина). «Весьма большие рассказы». *Рассказы.*

Е. С. ДУНАЕВСКАЯ (Санкт-Петербург). **Уильям Бойд** (Англия). «Браззавиль-Бич». *Роман.*

М. Г. ЖАНЦАНОВА (Южно-Сахалинск). **Миямото Тэру** (Япония). «Собаки в разгар лета». *Рассказы.*

М. Л. ЗАВЬЯЛОВА (Санкт-Петербург). **Тони Моррисон** (США). «Джаз». *Роман.*

Д. А. ИВАНОВ (Москва). **Иэн Макьюэн** (Англия). «Дитя во времени». *Роман.*

С. Б. ИЛЬИН (Москва). **Владимир Набоков.** «Смотри на арлекинов». *Роман.*

И. И. КУЗНЕЦОВА (Москва). **Натали Саррот** (Франция). «Здесь». «Откройте». *Повести.*

В. Е. ЛАПИЦКИЙ (Санкт-Петербург). **Уолтер Эйбиш** (США). «В совершенном будущем». «Сколь это по-немецки». *Рассказы, роман.*

А. И. ЛЕВИНЗОН (Москва). **Робер Пенже** (Франция). «Этот голос». «Господин Снофф». «Врач». *Романы.*

О. Е. МАКАРОВА (Воронеж). **Дэвид Лодж** (Англия). «Академический обмен». *Роман.*

В. Ю. МИХАЙЛИН (Саратов). **Грэм Свифт** (Англия). «Водоземье». *Роман.*

М. А. НАУМОВ (Уфа). **Антония Байетт** (Англия). «Ангелы и насекомые». *Повести.*

А. В. НЕСТЕРОВ (Москва). **Тибор Фишер** (Англия). «Философы с большой дороги». *Роман.*

М. Л. РУДНИЦКИЙ (Москва). **Томас Бернхард** (Австрия). «Сила привычки». *Пьесы.*

Н. А. СВЕТОВИДОВА (Москва). **Тахар Бен Джеллун** (Марокко). «Священная ночь». *Роман.*

С. В. СИЛАКОВА (Москва). **Энн Энрайт** (Ирландия). «Парик, который носил мой отец». *Роман.*

С. С. СКОРВИД (Москва). **Богумил Грабал** (Чехия). «Слишком шумное одиночество». *Повесть, рассказы.*

А. Е. СОШКИН (Санкт-Петербург). **Родди Дойл** (Ирландия) «Падди Кларк - Ха-ха-ха». *Роман.*

Л. Г. СТЕПАНОВА (Санкт-Петербург). **Антонио Табукки** (Италия). «Утверждает Перейра. Свидетельские показания». Роман.

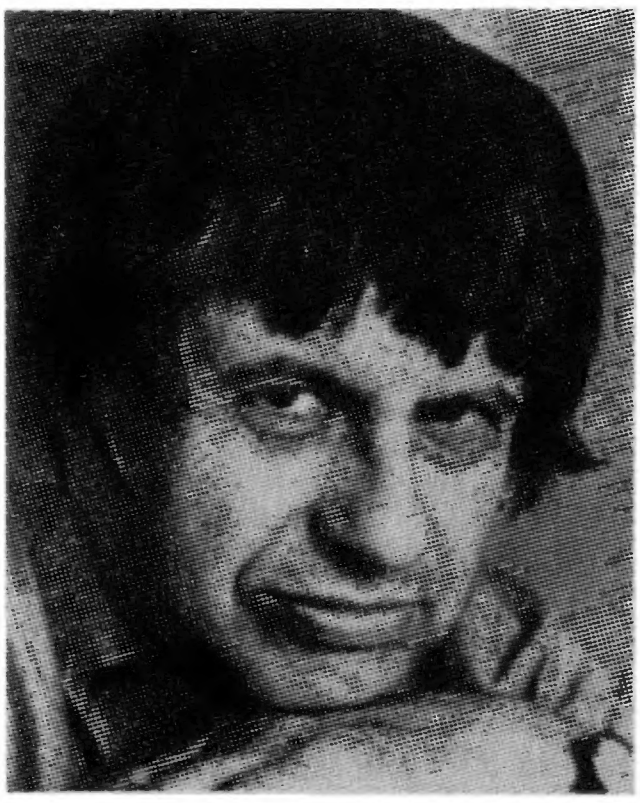
Е. А. ХОВАНОВИЧ (Москва). **Моасир Склиар** (Бразилия). «Кентавр в саду». *Роман.*

Н. О. ХОТИНСКАЯ (Москва). **Паскаль Брюкнер** (Франция). «Похитители красоты». *Роман.*

Р. Г. ШАПИРО (Москва). **Энтони Бёрджесс** (Англия). «Сквозь след на парте». *Повесть.*

Н. В. ЭДЕЛЬМАН (Москва). **Уильям Голдинг** (Англия). «Зримая тьма». *Роман.*

Ю. Я. ЯХНИНА (Москва). **Маргерит Юрсенар** (Франция). «Блаженной памяти». *Роман.*



ИВАН КЛИМА

Рассказы

С чешского

Думается, художественный стержень всего написанного Иваном Климой — его память, немеркнущая память человека, проведшего четыре года детства в Терезинском гетто, на этой последней остановке перед газовыми камерами Освенцима, задушившими его родных и близких. Но эта память в рассказах и романах писателя преображается, переплавляется в нечто такое, что не ужасает, не пугает читателя, а окутывает его неким мистическим флером, некой ирреальной пеленой печали, смягчающей сверхчеловеческий трагизм жизни, ее конечную предопределенность — даже вне зависимости от тех или иных исторических обстоятельств. Память — это фон его произведений, на нем может происходить что угодно: любовь, измены, самые малозаметные события жизни с их незатейливыми радостями.

«Я не стараюсь ни вспоминать, ни забывать прошлое, но думаю, даже самые страшные воспоминания, если человек сумеет преодолеть их, в конце концов могут превратиться в свою противоположность», — утверждает писатель. Он преодолел свои воспоминания тем, что превратил их в искусство, причем поистине современное искусство, в котором нет места натуралистическим описаниям ужасов нашего века. Только оно, искусство, — по собственному определению автора — еще способно остановить мгновение и оставить след, не подвластный времени. Возможно, ему на помощь пришло его врожденное жизнелюбие — ведь неспроста в большинстве названий новелл и романов Климы варьируется слово «любовь» во всей его многозначности: «Любовники на одну ночь», «Любовники на один день», «Мои первые влюбленности», «Любовное лето», «Любовь и мусор» и т. д.

Произведения Климы богаты метафорами, философскими раздумьями о жизни и смерти, но чаще всего они подаются сквозь призму мягкой иронии над самим собой и своими героями, в которых, как правило, проступают черты самого автора. Для его художественного метода столь же характерна мистическая образность с ее глубокой и красочной символикой. Так, всю жизнь преследующий Климу образ длинной процессии людей со звездами на груди, среди которых и его мать с его сестрой на руках, в рассказе «Город» предстает перед ним мистическим видением маскарада со скачущими арлекинами и пьеро, с ангелами в черном облачении, шагающими на ходулях. Ибо жизнь для Климы — нескончаемый маскарад или непрестанное представление эквилибристов над пропастью. Миражи, мистические картины, как отголоски прошлого, сменяются пробуждением, просветлением разума, в итоге — надеждой и выходом из тупика: даже смерть со звездным ее ликом оказывается уже не такой страшной, ибо к человеку, неправедно на нее обреченному, нисходит ангел, нежный и добрый, помогающий душе воспарить на небеса, а телу — мягко опуститься в грешную землю.

Клима убежден в мессианском предназначении литературы, искусства. «Я осознал удивительную мощь литературы, человеческой фантазии вообще, ее способность воскресить мертвых и не дать умереть живым».

Эта вера помогла ему пережить события 68 года и все, что за ними последовало, — нелегкую судьбу писателя-парии, книги которого были изъяты из всех библиотек страны. Активный участник «пражской весны», издатель наиболее прогрессивных журналов того времени («Литерарни новины», «Литерарни листы», «Листы»), а затем в период «нормализации» диссидент, правозащитник, руководитель «самиздатского» журнала «Обсаг» («Содержание»), Клима вынужден был публиковать свои произведения за рубежами страны — в США, Канаде, Англии. И лишь «бархатная революция» 1989 года вернула его творчество на родную почву.

Н. ШУЛЬГИНА

© Ivan Klima, Praha, Mlada Fronta, 1990; Praha, Rozmluvy, 1992.
© Н. Шульгина. Вступление, перевод, 1999

Канатоходцы

Был пасмурный и ветреный июльский вечер, когда я на своем допотопном велосипеде марки «Эска» подъехал к деревянной дачке Оты. Дачка стояла в излучине реки, походившей в этих местах скорее на усмиренный ручей. Вода плескалась о каменистые берега, тихонько шумела листва осин. Все вокруг дышало такой безмятежностью и покоем, что вмиг вспомнились мои погибшие друзья. Здесь, на земле, я слышу эти ласковые звуки, а друзья мои на веки вечные объяты тишиной.

Так, верно, проявлялся мой опыт военного времени или склонность к страдальчеству, свойственная моему возрасту: я никогда не мог целиком отдаться удовольствию, радости или даже чувству усталости. Я будто непрестанно осознавал взаимосвязь счастья и отчаяния, свободы и страха, жизни и гибели. Меня не покидало чувство, какое, верно, испытывает канатоходец: как бы самозабвенно я ни глядел вверх, под собой я всегда ощущал пропасть.

Канатоходцев я видел только раз в жизни. Через год после войны. Они приехали на четырех цирковых фургонах и на свободном участке нашей улицы, где тогда кончался город — дальше простирались лишь кладбища и военные учебные плацы, — поставили три шеста. Один был такой высоченный, что у меня, когда я смотрел на его верхушку, кружилась голова. Между двумя шестами пониже натянули канат, под ним развесили сетку. На площадках, венчавших шесты, разложили реквизит: разного вида колеса, двуногий столик и одноногий стул, зонтик, обруч и длинные эквилибристские жерди.

Я с нетерпением ждал выступления и потому пришел одним из первых. Выбрал местечко на утоптанной груде глины, откуда, казалось, будет видно лучше всего, и, закинув голову, следил за тем, как вибрирует канат и из стороны в сторону качается самый высокий шест. Вскоре загорелись рефлекторы и громкоговорители стали хрипло изрыгать музыку. Ко мне тут же подошла девушка в сверкающем голубом платье, с черными как смоль волосами и таким прекрасным лицом, что я вмиг был сражен наповал. Девушка протянула мне копилку, я подал ей десятикронку, и она, очаровательно улыбнувшись всем лицом и встряхнув головой — диадема, приколотая к волосам, огненно запылала, — оторвала мне билетик. Завороженный, я глядел, как она грациозно пробирается между зрителями, и чуть было не забыл, ради чего пришел сюда и жду с таким нетерпением. Наконец представление началось. Два рослых парня катались по канату, прыгали, поворачивались, ловко обходя друг друга, жонглировали и даже крутили сальто, но их трюки уже не настолько захватывали меня, чтобы забыть о девушке и не пытаться отыскать ее взглядом среди зрителей. Но этого прелестного существа уже нигде не было — я различал лишь множество лиц, обращенных кверху. Затем оба парня покинули канат, снизу раздался барабанный бой, и я наконец увидел ее, мою прекрасную комедиантку: уже в короткой серебряной юбочке и сверкающем трико она взбиралась на самый высокий шест, под которым не было сетки; он торчал, как исполинское острие, изготовившееся вонзиться в черное небо. И все вокруг меня, тоже чуть запрокинув голову, не спускали глаз с серебряной канатоходки, поднятой колдовским лучом света на самую верхушку шеста.

Там она остановилась, поклонилась, что-то прикрепила, к чему-то невидимому протянула руки и, покинув единственную точку опоры под ногами, взметнулась в воздух. Я вместе с остальными лишь шумно выдохнул, испугавшись, что вот-вот последует страшное падение, но акробатка, вероятно, держалась за канат или трапецию, причем настолько тонкие, что снизу их было не различить, и казалось, она держится на этой высоте каким-то чудом или ее легонькое тело возносят порывы ветра. В воцарившейся призрачной тишине никто не осмеливался ни шелохнуться, ни даже вздохнуть, лишь акробатка делала все более бешеные сальто и, становясь на руки и на голову, продевала свое тело в сплетенные из собственных конечностей петли; она возносилась, как ангел, как трепетно горящий феникс, она восхищала своей ловкостью и силой, но, кроме восторга, я испытывал еще и тревогу, ужас перед падением, казалось, что это не только моя тревога и вполне объяснимое головокружение, вызванное возможным чужим падением, но что меня пронизывают ее тревога, ее головокружение, и от этого хотелось плакать. При-

шлось закрыть глаза. Я открыл их, когда уже вновь громко забили барабаны. И я увидел ее еще раз: она продвигалась в полнейшей черной пустоте, держась неразличимого каната. Затем спустилась вниз.

Четыре дня подряд выступали эквилибристы на нашей улице, и за это время я не пропустил ни одного представления.

Мои сбережения ушли до последнего гроша, но я не жалел. Короткие минуты, когда я стоял лицом к лицу с артисткой, когда на меня был устремлен обволакивающий взгляд ее темных глаз, когда я протягивал ей банкноту и принимал из ее длинных сильных пальцев крохотный клочок бумаги, наполняли меня блаженством на весь оставшийся день. Я мечтал заговорить с ней, сказать, как восхищаюсь ею, как кружится голова, когда я смотрю на ее выступление. Но разве я мог решиться на это?

На пятый день я увидел, как мужчины, запихнув шесты и реквизит в цирковые фургоны, стали запрягать лошадей. Конечно, надо было спросить, куда они направляются, но что толку от их ответа? Купить билет на будущие представления было не на что, а предложить отправиться с ними в путь — у меня недоставало ни способностей, ни смелости. Я и вправду не обнаруживал в себе ни капли комедиантской крови, ни следа эквилибристского таланта. И потому лишь занял привычное место на груде глины и стал ждать, не выглянет ли она случайно в окошко. Я решился бы помахать ей или даже послать воздушный поцелуй. Но фургоны отъехали, и я так и не увидел ее.

Я долго думал о девушке.

О чем она мечтает, размышлял я, когда готовится к своему коронному номеру на шесте? О прочной сетке под собою? О шесте столь низком, что с него можно было бы без доли риска спрыгнуть в минуту головокружения, грозящего смертью? Или о том, чтобы иметь крылья?

Но кого будоражила бы акробатика на пустяковом шесте или кого занимала бы эквилибристика с крыльями? Мечтай она о крыльях, это значило бы, что она мечтает лишь о своей гибели. Вот так, стало быть, я воспринимал взаимосвязь высоты и головокружения, наслаждения и гибели, взлета и падения.

С Отой мы учились в гимназии с третьего класса. После ее окончания Ота пошел в инженерный вуз, я — на философский факультет, и наши пути разошлись. Но в гимназии мы дружили, а в последних классах и вовсе сидели за одной партой. Наши характеры и способности удачно дополняли друг друга. Я был скорее тугодумом и ломал голову над вопросами потусторонней жизни и существования Бога, а также, разумеется, над лучшим устроением мира сего. Ота ничем подобным себя не обременял. Он был убежден, что человек однажды вычислит все, а значит, и то, как мир сей возник и каким ему быть, чтобы жилось в нем как можно лучше уже сейчас. Он давал мне править свои сочинения и списывал контрольные по латыни, а я у него — задачки по физике и письменные по природоведению.

На свою дачу он звал меня не раз и не два, но я никак не решался воспользоваться его приглашением. И в этом году он прислал мне оттуда письмецо, в котором опять просил приехать. Под его подписью незнакомым почерком было выведено: «Обязательно приезжайте, с нетерпением жду Вас, Дана».

Как могла ждать меня та, с которой мы ни разу в жизни не виделись?

Я прислонил велосипед к срубу колодца. Как странно, что я вдруг здесь: перед чужим домом, в неведомой местности. Я всегда боялся быть кому-то в тягость. А Ота, ко всему прочему, здесь со своей девушкой.

Почему они пригласили меня?

Я потянул за шнур, на другом его конце что-то звякнуло. Я мысленно пожелал себе, чтобы их не было дома и я смог бы поскорее убраться восвояси.

Мне открыла худая черноволосая девушка с темными глазами и не по-летнему бледным лицом. На лице выразительно торчал большой нос вещуньи. Минуту она смотрела на меня с изумлением, потом улыбнулась: да, она уже знает меня, узнала по фотографиям и рассказам Оты. Да и с утра ее не покидало чувство, что я приеду именно сегодня.

Как она могла чувствовать, что приедет тот, кого она ни разу в жизни не видела?

С Отой мы пошли прогуляться вдоль берега, а его подруга обещала тем временем приготовить нам что-нибудь поесть.

Дорогой он рассказывал о ней. Она только что кончила школу, моложе нас, но, по сути, наоборот, старше; рядом с ней он чувствует себя необразованным, неинтересным и незрелым, возможно, это потому, что она пережила в жизни много страшного, а возможно, потому, что в ней есть нечто, чему трудно найти название. Ну, что-то провидческое. К тому же, добавил он, мне небезынтересно будет узнать, что она пишет стихи. На редкость своеобразные! Я ведь наверняка помню, как он относился ко всякому стихотворству, но ее стихи, если откровенно, ему кажутся прелюбопытными.

Что же такого страшного она пережила, спросил я.

В войну казнили ее родителей, и она сама была смертельно больна. Нет, это уже не во время войны, а сейчас, недавно. Менингит, поэтому она так бледна, ей запрещено солнце. А стихи, может, она и даст мне почитать, если я попрошу. Ему интересно мое мнение.

Когда мы вернулись, она стояла у плитки и жарила картофельные оладьи. Столик был уже отлично накрыт: приборы, тарелки, салфетки и рюмки.

Мы сели, она подавала нам. Щеки ее разрумянились, и всякий раз, когда она проходила мимо, меня точно обдавало жаром, исходившим от нее.

Мы расхваливали ужин, она улыбалась нам, причем, когда она смотрела на Оту, ее улыбка становилась какой-то другой: более просветленной и словно источавшей поцелуи.

Меня не покидало ощущение, что я здесь лишний. Что торчу здесь, как кол в поле или камень на дороге. Была бы со мной хоть девушка! Но я всегда один. Почему? Может, я не стою внимания и любви? Но ведь бывали минуты, когда я чувствовал свою особость, свое предназначение к чему-то большому и неповторимому: в моей голове вертелось бесконечное множество мыслей, историй, судеб и образов. Но кто мог провидеть это во мне? В своем писательстве я и то не умел преодолеть робость. В немногих рассказах, которые я напечатал, не найти было и доли того замечательного, что совершалось в моей голове.

Верно, заметив мою молчаливость, она предложила выйти из дому и разжечь костер.

Ветер почти угомонился, ночное небо прояснилось, лишь над рекой тянулись узкие полупрозрачные мглистые полосы. Мы натаскали дров, и костер быстро разгорелся. Пламя снизу озарило ветки деревьев и этих двоих, сидевших рядом и счастливых своей близостью. Сколько таких костров пылало в разных уголках мира, безобидных, ласковых костров. Но, говорят, однажды они сольются в одно ослепительно белое пожирающее пламя, которое в единой вспышке метнется по земле, растопит камни и раскалит воздух. Что же останется потом?

Я исполнялся жалостью к миру и, конечно, к себе: я расплавлюсь в этом каленье, на сей раз мне уж не спастись. Я ощущал, как, невзирая на пышущий жаром костер, мне в затылок снова дышит холодом смерть. Возможно, обернись я сейчас, я увидал бы Ее. Я вовсе не считал, что Она похожа на костлявое страшилище, которое носит косу на плече. Нет, у Нее звездное лицо, и Ее крылья даже при малейшем взмахе точно непроницаемая туча закрывают небо. Сквозь Ее уста протекает река без начала и конца, это река, по которой я хотел бы плыть и глядеть на ее берега, но это река, по которой я буду плыть до скончания века и ее берегов уже не увижу.

Я почувствовал, что она наблюдает за мной.

— Может, нам спеть? — предложила она.

Ота встал, чтобы принести гитару, и мы остались вдвоем.

Она спросила, не случилось ли у меня чего.

Нет, абсолютно ничего.

О чем я думал?

Не могу сказать. Правда, не могу.

Я думал о ком-то, о ком-то близком?

Нет, ни о ком я не думал. Ни о ком определенном.

Может, о смерти?

Как она догадалась?

Ей хочется, чтобы ни о чем таком я не думал. Хотя бы сегодня.

Она и впрямь провидица? Я не знал, что сказать. Встал и подложил в огонь несколько полешек. К небу взметнулся сноп искр, они угасали так же быстро, как и падающие звезды.

Ей хочется, чтобы мне было у них хорошо. Есть ли у меня желание, которое она могла бы исполнить?

Нет, я вполне доволен.

Это просто отговорка. Я должен сказать, о чем я больше всего мечтаю в эту минуту.

Я молчал.

Я должен сказать без долгих раздумий.

Нет, не могу.

Ну почему?

Я не могу говорить об этом вслух!

Странно. Она бы, например, мечтала научиться любить. Безоглядно, до конца.

А ей хочется, чтобы кто-то другой любил ее так же?

Она покачала головой. Пока ты только принимаешь любовь, это все равно как будто ты на чем-то едешь. Предположим, катаешься на лодке ночью по огромному озеру. Куда ни кинешь взгляд, повсюду черная спокойная вода. Конечно, и она может вздуться и поглотить тебя. И все-таки любить — это значит лететь, возноситься над землей. Так высоко, что оттуда все видно. С такой высоты мир кажется другим, измененным, и то, что внизу представлялось значительным, мельчает до крайности. И потом, заключила она, из лодки всегда можно выйти на берег, а с этой высоты разве что рухнуть.

Когда мы вернулись в дом, я попросил ее стихи, и она вручила мне тетрадку в мягкой обложке. Меня поместили в комнатке, где были вешалка, кровать, столик и подсвечник со свечой.

Я зажег свечку и немного почитал из тетради. Стихи изобиловали малопонятными образами: пугливые фиалки, кобальтовые глубины, взоры умоляющих душ, умершие звезды, целительность ласковых озер. Там-сям между страницами я находил засушенные пряно пахнувшие цветы.

На следующее утро, сразу же после завтрака, я поблагодарил за гостеприимство и простился. Она пожала мне руку и сказала, что рада была познакомиться и надеется скоро меня вновь увидеть.

Я сел на велосипед. Они стояли на пороге своей дачки, держались за руки и смотрели мне вслед точно добрые, любящие супруги.

Месяца через два она пришла ко мне.

На ней был костюм, волосы тщательно причесаны, губы накрашены. Увидев меня, покраснела. Ее темно-карие глаза смотрели с мольбой.

Она-де возвращалась от Оты и случайно проходила мимо. И ей почему-то вздумалось позвонить в дверь.

Чем объяснить ее приход? Что-нибудь с Отой?

Нет, ничего. Абсолютно ничего. Просто шла мимо, и ей пришло в голову посмотреть, действительно ли я здесь живу. Вот она и позвонила в дверь. Сама не знает, как это получилось. Но она уже уходит.

Я пригласил ее в дом, она отказалась. Щеки у нее пылали как в лихорадке.

— Серьезно, ничего не случилось?

Она покачала головой. Ота замечательный, лучше его нет никого на свете. Но ей уже пора идти.

Я предложил проводить ее хотя бы до трамвайной остановки.

Трамвай ей ни к чему. Она живет здесь рядом, у самого парка, за водонапорной башней.

Я повел ее по улице, обрамленной виллами. Смеркалось, наступал безоблачный сентябрьский вечер, сады благоухали листвой и отцветающими розами.

Здесь, в Праге, она живет у дальней родственницы. А воспитывала ее бабушка. Бабушка опекала ее, когда родителей увезли, опекала как нельзя лучше. Но прошлым летом бабушка умерла. Вскоре после этого она заболела менингитом, и казалось, вот-вот отправится вслед за своими родными, но пока не суждено было тому случиться. Все это время Ота вел себя потрясающе. Когда ей чуть полегчало, он сидел возле нее в саду и читал вслух — ей самой читать запретили. А могли бы — запретили бы и думать, ведь от мыслей ей бывает больно, они все время убегают туда, в ту сторону, где все ее близкие. Туда, на поворот, на край, к мгновению, когда все рухнуло. Она думает о той минуте, когда их, молодых и здоровых, вызвали поименно и повели по коридору в помещение, где, говорят, ничего не было, только кафель и еще машина для...

Ее голос задрожал. Больше она говорить об этом не будет. От Оты она знает, что я тоже там был. Что пережил нечто подобное. Ей хочется спросить меня об этом, но она боится сделать мне больно, наверное, страшно вспоминать то время, лучше забыть обо всем, глупо с ее стороны постоянно возвращаться к прошлому.

Я сказал, что не стараюсь ни вспоминать, ни забывать прошлое, но думаю, даже самые страшные воспоминания, если человек сумеет преодолеть их, в конце концов могут превратиться в свою противоположность.

А если человеку не суждено пережить их?

Я не понял ее вопроса.

Не отмечены ли навсегда души тех, там, страшным воспоминанием?

Я ужаснулся. Такой вопрос мне никогда не приходил в голову. А ведь я и сам часто размышлял о существовании человеческой души, да и сколько моих родных и друзей погибло подобным образом: они стояли — как это она говорила? — на повороте, на краю, с которого рухнули, но куда, собственно?

Я сказал, смерть все-таки всегда падение и всегда совершает насилие над телом того, кто умирает. Веря в бессмертие души, мы тем самым верим в ее способность уйти от страдания, от падения собственного тела.

Я верю в бессмертие? Она хотела бы знать: после всего, что я пережил, можно ли еще верить?

Я пожал плечами, не решаясь ответить, что верить нельзя.

А люди там, больше она об этом не скажет ни слова, верили, способны были еще верить?

Я ответил, некоторые верили — если вообще можно о ком-то знать нечто подобное. Вспоминаю, как в праздник Кущей достали хвою и на дворе казармы поставили шалаш. Помню также полутемный чердак, где собрались мужчины для молитвы, их собралось там столько, что мне казалось, я задохнусь в этой толпе. Но у меня там был товарищ, моего же возраста, его уже нет в живых, мы с ним часто говорили об этом, он утверждал, что человек во власти Всевышнего и что все совершается по воле Его и установлению, а значит, имеет свой смысл, только люди часто не понимают Его и потому ропщут, укоризненно спрашивают, а то и вовсе бунтуют, так вот он, мой товарищ, наверняка верил, верил даже в ту минуту, когда стоял, как она говорит, на повороте.

Она сказала, что благодарит меня.

Я проводил ее до самого парка, рядом с которым она жила (это в нескольких кварталах от дома Оты). Уже загорались фонари, опускался вечерний туман.

Не сержусь ли я на нее, что она так задержала меня? Она ведь только хотела спросить, что я делаю, что пишу, и еще рассказать об одной книжке Дос Пассоса, она как раз дочитала ее, книга ей понравилась, показалась интересно написанной, но она уж и вправду не будет меня больше задерживать, только чтоб я на нее не сердился. А эту книжку она, возможно, как-нибудь занесет или пришлет с Отой.

Уже засыпая и в который раз вспоминая этот нежданный визит, я вдруг сообразил, что дом, в котором живу, и вовсе не стоит на пути между ее домом и домом Отиным.

Примерно неделей позже я увидел ее из окна, она ходила взад-вперед по противопо-

ложному тротуару. Я выбежал к ней. Она улыбнулась, покраснела. Ее волосы падали блестящими черными локонами — с ними явно только что повозился парикмахер.

Она принесла мне книгу Дос Пассоса, но боялась помешать. Может, я писал что-то?

Она протянула мне книжку.

Мы опять шли улочкой вилл. Я поинтересовался ее здоровьем.

Все отлично. Еще летом, когда я приезжал к ним, к вечеру она чувствовала себя усталой, ей никак не удавалось совладать с мыслями, они, словно тучи, проплывали в голове, а ночью врывались в ее сны, отвратительные сны, но теперь она справляется с ними, и сны почти не снятся ей, во всяком случае не те, страшные. Летом, когда выписали ее из больницы, ей советовали повременить с занятиями, но теперь, пожалуй, это лишнее. Она попробует ходить на лекции. И бабушка согласна, считает, что человек не должен сдаваться заранее или избирать более легкий путь. Ота, напротив, хочет, чтобы она поберегла себя и не училась. Иной раз ей кажется, он ревнует ее, ревнует ко всему, что так или иначе связано не с ним; она говорит это не потому, что жалуется на него, она никогда бы не жаловалась на него, даже будь у нее повод, но у нее и повода нет, Ота лучше всех, кого она знает, и в этом он тоже изменится, когда совсем повзрослеет.

Что она имеет в виду, он же старше ее?

Это не важно. Куда важнее, умеет ли человек полностью принимать то, что преподносит ему жизнь. Не придумывать отговорок. Ни для себя, ни для других. Но кто может точно сказать, умеет ли он это? Ота ласковый, внимательный, когда она была больна, он ежедневно посылал ей цветы, и все время разные. А какие цветы люблю я?

К сожалению, в цветах я никогда не разбирался. То ли в пятом, то ли в шестом классе мы с Отой купили «Ключ к определению растений» и отправились в Прокопскую долину. Нам удалось найти молочай хвойный и лютик жгучий, который вполне мог быть и лютиком золотистым, все зависело от того, каким посчитаем мы его стебель: лысым или ворсистым. Так и не придя к согласию, мы в конце концов сорвали цветок и принесли его нашему естественнику, и это оказался вовсе солнцецвет. С тех пор никаких растений я определять не берусь.

Ота тоже часто меня вспоминает, сказала она, но про это он ей не рассказывал.

А как он меня вспоминает?

Хорошо, всегда хорошо. Он вообще ни о ком не говорит плохо, разве только предупреждал ее, что со мной надо быть начеку, потому что каждой я тут же начинаю куры строить, но он ничего плохого не имел в виду, просто хотел сказать, что у меня есть подход к девушкам.

Приговор моего друга огорошил меня. Надеюсь, сказал я, она обо мне другого мнения?

Возможно, хотя она, в общем-то, и не знает меня.

Мы остановились у самого парка, где она жила. Она смотрела на меня, а я наблюдал, как с ее лица исчезает краска.

Случилось что?

Нет, ничего.

Ей плохо?

Нет, ей так хорошо, как давно не было.

Я предложил ей как-нибудь погулять подольше, поговорить хотя бы о книжках. Если у нее нет возражений, я подожду ее на том же месте в воскресенье после обеда. Час дня устроит ее?

Я стоял на углу парка и смотрел ей вслед, пока она не вошла в дом. Какого черта я выдумал эту прогулку? Я ведь знаю, она любит другого.

В воскресенье она пришла минута в минуту. Я спросил, была ли она в Шарке[1].

Нет, с Отой они редко когда гуляют, чаще ходят в кино или на концерт. Сегодня вечером собираются на «Умберто Д.». Видел я этот фильм?

---

[1] Шаркина долина под Прагой (по имени одной из подруг легендарной Власты в так называемой «девичьей войне»). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Нет, не видел. Говорят, хороший. Но мне не с кем было пойти на него.

На одиннадцатом трамвае мы доехали до конечной остановки и пошли по направлению к скалам. Хоть сентябрь близился к концу, день был теплый, и ласковая желтизна березовой листвы разливалась на фоне голубого неба.

Когда я сказал, мне не с кем было пойти в кино, что я имел в виду?

У товарищей есть девушки, а у брата другие вкусы и интересы.

Ей не хочется показаться любопытной, но ведь стоит мне только пожелать, и я наверняка не буду один.

Может, я еще не встретил девушки, с которой мне хотелось бы провести время, не говоря уж о всей жизни.

Да, она понимает меня. Она чувствовала то же самое, пока не встретила Оту. Только увидела его, сразу поняла, что это именно тот, кто ей нужен. Она вдруг покраснела и добавила: во всяком случае, тогда так думала.

А теперь она уже так не думает?

Она сглотнула, поглядела на меня и пожала плечами. Я понял смысл этого пожатия. Виной всему был я. Мне следовало бы тут же повернуться и уйти или хотя бы молчать, не говорить ни о чем, что затрагивало бы чувства. Но как ни странно, я был счастлив или, по крайней мере, доволен, что вызвал ее интерес. Итак, мы продолжали путь, я разглагольствовал — собственно, это было единственное, что мне как-то давалось. Слова, их скрытая сила. Я рассуждал о плюсах и минусах одиночества и знал, что она поймет, как я мечтаю о любви, я вспоминал военное детство, бессердечие мира, в котором мне выпало жить, и она действительно понимала, как я мечтаю о нежности.

Она была внимательной слушательницей. Я наблюдал, как мои слова западают в нее, прорастая мгновенными всходами. Несколько раз как бы случайно она коснулась моей руки. На глаза нам попались запоздалая бабочка и кольца безвременника и какой-то куст, чьи листья пылали ярким кармином. Потом дорогу преградил ручей. Я перепрыгнул его и уже с другого берега протянул над водой ей руку. Она сжала мои пальцы, оттолкнулась и оказалась так близко, что мне достаточно было лишь раскрыть объятия; и я это сделал. Она прильнула ко мне, губами обхватила мой рот; это она, успел я осознать, поцеловала меня, не я ее. Один страстный поцелуй, и она тотчас отпрянула от меня. Я должен простить ее, непременно простить, она не понимает даже, что случилось, как могло это случиться. Что ей теперь делать? Как объяснить?

Кому и что ей надо объяснять?

Конечно же бабушке.

Она как будто говорила, что осталась совсем одна, что прошлым летом, кажется, бабушка умерла.

Да, но это вовсе не значит, что она не может с ней общаться.

Мы снова простились у парка. Она шепнула, чтобы я не сердился на нее. Она ничего не понимает, она и думать не думала, что подобное может случиться. Она же любит Оту. И все равно она теперь не знает, что ей делать, как она пойдет с ним в кино; знает только, что не имеет права причинять ему боль.

Я сказал, что буду ждать ее здесь, в парке, через три дня в шесть часов вечера.

Она благодарна за приглашение, только не знает, придет ли. Я должен понять ее, я понимаю ее, правда? Она вскинула голову, словно хотела поцеловать меня, но остановилась и, повернувшись, быстро ушла.

Я смотрел ей вслед. Что, собственно, я чувствовал? Счастье? Тревогу? Самодовольство? Должен ли я броситься за ней или повернуться и бежать прочь?

Утром в почтовом ящике я нашел конверт. Сразу же узнал ее мелкий, изящный почерк.

На листке было стихотворение в восемь строк:

К скалам тень уже крадется,
сердце сковывает страх,
и ударами в висках
ангел гибель возвещает,

плоть в истоме изнывает.
Словно береза, вросшая в гранит,
она земле еще принадлежит,
но дух в глубины бездны рвется.

Я и сам написал несколько стихотворений, иные посвятил кому-то, но никогда не получал стихов, посвященных мне. Сейчас, когда не умоляющий ее взгляд, а лишь ее слова достигли меня — знак симпатии и благосклонности, — я полностью отдался ощущению счастья. Я был любим.

В течение всего дня я не мог освободиться от мысли о ней. Под вечер я наудачу отправился в парк, что за водонапорной башней. Уже смеркалось, но погода стояла хорошая, и на дорожках все еще прохаживались мамы с колясками. Я искал ее окно на четвертом этаже, но так и не смог определить его с точностью. Этажом выше на карнизе стояла молодая женщина с засученными рукавами и мыла рамы. У меня закружилась голова, я поспешил отвернуться. Сел на лавочку и стал ждать. Закрыл глаза, чтобы дать ей возможность появиться передо мной неожиданно. Она не появилась, женщина в окне исчезла, и меня обуяла печаль. Вот таким покинутым, верно, я буду всю жизнь. Буду ждать женщину, которая и не почувствует, что она желанна, так как я не решусь окликнуть ее, сказать, что тоскую по ней. Я возвращался по улочке, обрамленной виллами, и представлял себе, как я одиноко лежу на кровати в какой-то стылой конуре и умираю. Никто не знает меня, никто не любит, я как заблудший пес, но я человек, мечтающий о живом существе; и вдруг я увидел его. Ангел, вынырнувший из глуби небес, спускался к моему ложу; хрупкий, нежный, носатый ангел.

Дома я писал до поздней ночи. На одинокую кровать я уложил не себя, а ее, вернее, незнакомую студентку. Неизлечимо больная, она уже много месяцев не поднималась с кровати. Родители поставили кровать так, чтобы девушка в окно могла видеть ветви могучей липы. Сквозь ветви просвечивало небо, ясными днями в красноватое марево закатывалось солнце. У девушки был возлюбленный, тоже студент, но в последние недели он почти не учился, а сидел возле больной и говорил долгими часами, дабы развеять густеющий сумрак ее мыслей. Он рассказывал ей, что пережил за день, кого встретил, раскручивал целые киносюжеты, передавал случайно услышанные разговоры, а потом и вовсе начинал сочинять всякие истории, причем с такими подробностями, что не только она, но и он сам перестал различать, где явь, а где выдумка. А однажды сказал ей, что, возвращаясь вечером от нее домой, видел ангела. Ангел взмывал перед его окнами и излучал яркое сияние.

Не усомнившись в рассказанном, она лишь добавила, что ангел потому навестил его, что он нежен с ней; юноша обрадовался — какое благо, когда умирающий верит в небесные создания! И теперь он часто стал рассказывать ей о встречах с ангелом, описывал его внешность, его способность появляться в самое нежданное время. Ангел никогда не разговаривал с ним, но внушал ему добрые мысли и наполнял блаженством. Она слушала юношу внимательно, иной раз ей казалось, что она тоже видит ангела, видит, как он возносится над ее кроватью или над головой любимого, и в эту минуту чувствовала необыкновенное облегчение.

Поскольку болезнь, съедавшая позвоночник, причиняла ей все большие муки, она стала еще сильнее тосковать по ангелу. И теперь он приходил к ней всегда, как только ее покидал возлюбленный, расстилал перед ней нежное облако света, в котором вихрем кружились цветные блики и складывались в непрерывную череду образов: невиданные пейзажи, переливчатые морские волны, отраженные в озерах павлиньи перья, горные пики, снежные барханы или пугливые глаза зверей. Облако источало такой покой, что исчезали все страдания и ощущалось лишь безмятежное течение времени.

Состояние девушки ухудшалось, врач оставлял ей надежду всего на несколько дней и в своем саквояжике всегда имел наготове ампулу с морфием — на тот случай, если боли станут непереносимыми. Но к его удивлению, девушка, казалось, не страдала.

Однажды — дело было под вечер, среди ветвей еще провисал солнечный диск —

девушка проснулась с тревожным чувством одиночества. Ее юный друг минуту назад ушел, уступив свое место неземному утешителю. Но в пространстве между окном и опустевшим стулом никого не было, и она тщетно всматривалась во все углы. И вдруг увидала Ее. Звездные очи, устремленные из пустоты в пустоту, пронизали девушку леденящим холодом. Она тихо застонала в надежде увидеть своего ангела-хранителя и — о чудо! — в этот миг действительно увидела его в окне. Нежное, доброе, утешное создание кивнуло головой так выразительно, что девушка, словно бы ведомая чужой силой, поднялась с кровати и неверным шагом приблизилась к окну. Ангел раскрыл навстречу ей объятия и чуть отпрянул. Он теперь не стоял в окне, а висел между небом и землей, трепеща прозрачными переливчатыми крыльями и устремив на нее золотистый взгляд. Этот взгляд снимал с нее всю тяжесть, она почувствовала себя такой не по-земному легкой, что, казалось, могла бы вознестись. И правда, подойдя к окну, она развела руки, поднялась на узкий карниз и, чуть оттолкнувшись, воспарила вслед за ангелом навстречу вечности, хотя тело ее упадало на землю.

Я был удивлен собственным сочинением. До сих пор я писал о вещах и людях реальных или уподобленных реальности, но что значила эта история? Бессмысленна ли она или содержит некое послание? Или ее мне внушила она?

Ответа я не нашел, но утром успел переписать текст и в конверте бросить в ее почтовый ящик.

День я провел под крылом своего ангела. Я слушал на факультете лекции, ко мне обращались, я даже отвечал, потом бродил по городу, садился в трамвай и выходил из него, но ничего вокруг не замечал. Только к вечеру мир стал таким, каким я привык его воспринимать: полным событий, борьбы, больших задач и движений, миром боли, страстей и войн, миром, масштаб которого не постигнет ни одна человеческая мысль, хотя постоянно стремится к этому. И я, вместо того чтобы попытаться разглядеть хотя бы его очертания, описал бредовый мираж и еще дал его читать человеку, который мне дорог. Как теперь показаться ей на глаза?

Я ждал ее около получаса. Наконец она пришла. Бледная, глаза опухшие.

Да, она знает, что пришла с опозданием, это не в ее правилах, но до последней минуты она сомневалась, надо ли ей вообще приходить, не предает ли она Оту уже хотя бы тем, что встречается со мной? Но все равно она бы думала обо мне. Она думает обо мне с той минуты, как нашла в ящике то, что я прислал ей, она не знает, как это назвать, но для нее это что-то вроде притчи. Притчи о любви и смерти.

Мы шли боковыми улочками к Влтаве. Еще не совсем стемнело, но фонарщик с длинным шестом зажигал фонари. Мой рассказ, говорила она, вылился из моего нутра. Каждый его образ и фраза. И на ее взгляд, это, пожалуй, единственный способ, как один человек может обратиться к другому, коснуться его души.

Ее слова доставили мне удовольствие. Видимо, я тронул ее, притом больше, чем мог ожидать. Волшебная сила слов, взываю к тебе, заклинаю тебя, надели меня даром заклинать тобою!

Я сказал, что это целиком ее заслуга, что, не будь ее, я такого не написал бы. Она напоминает мне ангела. В ней есть что-то неземное и хрупкое. В тот день, когда я понапрасну ждал ее...

Ждал ее? Когда? Вчера днем? Да, она была с Отой, но не могла освободиться от ощущения, что я иду следом и жду, когда она оглянется; она рассталась с Отой, даже попросила его оставить ее одну и поспешила домой. Искала записку от меня, но нашла ее только утром! С этой минуты она не может не думать обо мне, хотя знает, что должна изгнать меня — по крайней мере из своих мыслей. Ради Оты и ради себя.

Нет, не должна, я прошу ее об этом. Мы же не делаем ничего плохого. А мне с ней так хорошо. Она даже не подозревает, что значит для меня просто идти с нею рядом и слушать ее.

Правда?

Я бы не говорил этого!

Она рада, что хоть что-то значит для меня. Пусть даже на короткое время.

Почему только на короткое?

Потому что я все равно сбегу от нее. Она чувствует.

Карловой улицей мы подошли к мосту. Фонари трогательно бросали желтоватый свет на закоптелые лики святых, и малостранские[1] окна сияли как огни гигантского вертепа.

Ей нравится здесь?

Нравится. Ночью она здесь впервые.

Но ведь еще не ночь.

Она и вечером не выходит. Бабушка всегда хотела, чтобы она уже засветло была дома.

А зимой?

Сейчас же не зима.

Но с тех пор как умерла бабушка, она стала взрослее.

Но бабушка и сейчас этого хочет. Она боится за нее. В последние дни еще больше.

— Из-за меня?

Мы спустились по лестнице, прошли мимо пустых ларьков бывшего рынка и подошли к Совиным мельницам.

— Не из-за тебя, из-за меня.

Мы оперлись на каменную оградку над озером. Вода была низкая и тихая. На потемневшей глади резвилась стайка уточек. Пахло тлеющими каштанами.

Она сказала: — Сегодня мне приснилось, что он пришел ко мне и стал плакать. Просил, чтобы я не покидала его. А ты сидел тут же и улыбался. Я хотела сказать, чтобы ты ушел, но не могла пошевелить губами. Потом я заметила, что там сидит и бабушка. Я ждала, что она посоветует, как мне быть, но она молчала, точно не могла разжать губ. Когда проснулась, я стала просить ее прийти ко мне и шепнуть хоть одно слово: да или нет, но она молчала. Наверное, она на меня сердится.

— Или думает, что ты уже взрослая! Что должна решать сама!

— Да, — подтвердила она, — я так и поняла. Что она уже больше никогда не появится. Что я должна сама... Я решила. Потому и пришла так поздно, не хотела прийти до того, как приму решение. — Она прижалась ко мне, и я почувствовал, как ее губы жадно вобрали мои.

Я отчетливо осознавал, что испытываю почти победоносное удовлетворение. Но в то же время и какие-то отзвуки неудовольствия: ведь решила-то она без меня, даже не сочла нужным спросить моего согласия. Ощутил я и страх перед той фатальной серьезностью, с какой она вверяется мне.

В поцелуе она словно сосредоточила всю любовь, все свое страстное существо, словно в следующее мгновение собралась умереть, отдаться на произвол крыльев, которые не удержат ее, и упасть в пропасть. Вдруг она отстранилась от меня.

— Мы больше не встретимся! — Ее голос показался мне болезненно-строгим. — Если бы мы снова встретились, я не вынесла бы! Прошу, пойми меня!

— Но мне казалось... — попытался я возразить.— Мы говорили, что нам хорошо вместе... Мне казалось, — меня вдруг окатила волна жалости к самому себе, — что наконец я нашел близкого человека.

До нас доходил едва уловимый свет далекого фонаря, и все-таки мне удалось разглядеть слезы в ее глазах.

— Может, когда-нибудь, спустя время, — сказала она. — Я никогда тебя не забуду, никогда.

Я молчал. Через каменную ограду я смотрел на гладь реки, в которой качалось круглое отражение луны. Вокруг меня и во мне разливалась тишина. И вдруг у моих ног что-то тяжело шлепнулось. Прошло мгновение, прежде чем я понял, что это она. Она лежала навзничь, руки раскиданы, глаза закрыты, у рта белела вспененная слюна. Я нагнулся, попробовал поднять ее голову. Меня оглушило ужасное предчувствие. Я взывал к смерти, и она пришла. Но что делать?

---

[1] Мала Страна — один из самых старинных и живописных районов Праги.

Она громко вздохнула и открыла глаза.

— Что с тобой, что с тобой?

Она села и в удивлении осмотрелась. Я помог ей встать.

— Не знаю, что со мной. Я упала? — Она оперлась на меня.

— Пойдем домой, ты переутомилась!

— Мне уже хорошо, дорогой, прости меня! — Она судорожно сжимала мою руку. — Поверь, я не могу иначе. Разве ты поступил бы по-другому? Располовинить душу невозможно.

Я подвел ее к ближайшей скамейке, но, видимо, держал ее недостаточно осторожно — когда она снова стала падать, я не успел подхватить ее, разве чуть замедлил падение.

На этот раз она оставалась неподвижной дольше, я не мог определить, сколько это продолжалось точно, но к нам уже начали сбегаться люди.

Наконец она очнулась, какой-то незнакомец помог мне поднять ее и вызвать такси.

В больнице приняли ее без проволочек. Мне разрешили подождать на белой скамье в полутемном коридоре.

Через полчаса она вернулась, рассеянно улыбаясь. Ничего особенного, она просто немного переутомилась, ей сделали укол, теперь все в порядке. Я снова нашел такси, по дороге мы оба молчали, казалось, она спит. Ее лицо в мерцающем свете уличных фонарей было призрачно-бледным. На нем остро торчал нос, будто клюв мертвой птицы. Я не смог, хотя и силился, подавить отвращение. Я словно еще слышал хрипящий звук, что рвался изо рта, видел пену, облепившую бескровные губы. С внезапным облегчением я осознал, что это чужая девушка, что она принадлежит не мне и я — не ей. К счастью, мы оба вовремя поняли это, она сама, признав это, все решила, а я лишь подчинился ее решению.

На следующий вечер у нас появился Ота. Позвонил, подождал, пока мама позвала меня, и, не отвечая на приветствие, сказал:

— Она хочет поговорить с тобой. Я подожду внизу!

Я подумал, она умирает, и меня обуял ужас. Быстро переодевшись, я выбежал на улицу. Он ждал, прислонившись к стволу акации.

— Как она? — выдохнул я.

Не отвечая, он лишь сделал мне знак следовать за ним.

Мы шли улочкой, по которой в последние дни я провожал ее. Сколько раз, собственно? Все было так быстротечно — и говорить об этом не стоит. Однако много ли времени нужно для того, чтобы человек ступил на карниз и отдался на произвол крыльев, которые не смогут его удержать?

— Она рассказала мне все, — отозвался он вдруг. — Ты вел себя гнусно. Но что можно было ждать от такого... такого... — Казалось, ему не удается найти подходящее слово. Но он все-таки нашел его: — Если с ней что случится, ты убийца!

Я впервые оказался в квартире, где она жила. Мы прошли прихожую, в конце ее, перед стеклянной дверью, он остановил меня. Постучал и вошел один. Из-за двери я услышал ее голос, но слов не разобрал. Что она хочет от меня? Как она сумела убедить его привести меня сюда? И зачем, если не хотела больше меня видеть?

Наконец он появился.

— Входи! — Не глядя мне в глаза, он чуть посторонился и пропустил меня в комнату, сам остался в прихожей.

Комната была большая, с высокими стенами и лепным потолком.

Она лежала в кровати мертвенно-бледная, по самую шею прикрытая одеялом в красно-белую полоску. Кивком она подозвала меня ближе. У постели стоял стул — я сел.

— Как ты себя чувствуешь?

— Вполне хорошо. — Ее голос звучал легко, почти весело. — Это он велит мне лежать. Беспокоится! Я хотела пойти к тебе сама, но он запретил мне вставать. Я должна была тебе сказать, что я выздоровею. Чтобы ты не волновался, это больше не повторится.

— Я знаю, что ты выздоровеешь.

— Я сама во всем виновата. Думала, все можно решить насилием над собой, но я не

выдержала этого напряжения. А теперь я поняла, что все равно это не имело бы смысла. Я хотела, чтобы ты знал, что я все поняла.

Я не мог взять в толк, о чем это она, но прежде чем я успел спросить, в комнату вошел Ота.

— Тебе ничего не нужно, девочка?

— Нет, ничего.

— Ты же знаешь, ты должна щадить себя! — Он обратился ко мне: — Она была смертельно больна. Доктора сказали, что любое волнение может убить ее. Но есть люди, думающие только о себе. О своем удовольствии.

Был ли смысл защищаться? Она подала мне руку. На мое бережное пожатие ответила мне долгим и судорожным. Ота открыл передо мною дверь — я вышел.

Тремя днями позже, возвращаясь домой с лекции, я нашел в ящике письмо от нее. На конверте без марки и адреса стояло только мое имя.

Я вскрыл конверт еще на лестнице.

Сколько всего она хотела бы мне сказать, писала она, и думала это сделать, когда я пришел к ней, однако возможности для этого не было, и она попробовала лишь намекнуть на самое главное, но все равно она не уверена, что́ в действительности сказала мне за этот короткий миг, а что́ сказала только мысленно — ведь мысленно она разговаривает со мной непрерывно, и днем и ночью.

И еще она боится, что я посчитаю ее непостоянной, что она из тех, кто все время меняет свои решения. Ей было тяжело и потому, что она знает, как ее любит Ота, и потому, что она уважает его, этого прекрасного, самоотверженного человека. Но произошло то, чего она и предположить не могла: она отдалилась от него, она уже не любит его. Поначалу она не хотела себе в этом даже признаться, пыталась как-то сохранить их отношения, но потом поняла, что все впустую; любовь бывает или полная, или ущербная, но разве можно тому, кого она уважает, кто был к ней так бесконечно добр, платить ущербной любовью? Возможно ли учинять над собой насилие и верить, что этим ты можешь осчастливить другого? Все это она уже сказала Оте, конечно, для них обоих это было тяжело, они ведь готовились к совместной жизни, но она думает, Ота понял ее и согласится с ее решением. Пока она не знает, что будет дальше, читал я с нарастающим страхом, но чувствует, что между нами возникло что-то особенное, еще тогда, на даче, у костра, между нами проскочила искорка и зажгла пламя, которое, если мы будем достаточно мудрыми, может осветить любовью всю нашу жизнь. Она верит, что мы оба способны на это. Сейчас мысленно она видит меня, мой грустный, задумчивый взгляд, мою улыбку, в которой всегда сквозит боль, и ждет моего ответа.

Я сложил письмо и вернул его в конверт. О, если бы я мог таким же путем вернуть все, что произошло, вернуть само время.

Зазвонил телефон. Я поднял трубку, в ответ — тишина, мне удалось уловить лишь слабое дыхание. По-видимому, она хотела узнать, дома ли я и нашел ли ее послание. С этой минуты начинал истекать мой срок.

Будь письмо не столь категорично настоятельным, а ее предложение не столь обязывающим — и то было бы легче! Имею ли я право оттолкнуть ее после всего, что пробудил в ней? Но каковы мои чувства? Испытываю ли я к ней нечто похожее на то, о чем пишет она?

Все произошло слишком быстро. Я не успел разобраться в своих чувствах. Но я мог бы по крайней мере это объяснить ей. Я не хочу потерять ее, я, конечно, сумею любить ее, но ни к чему такому я не был подготовлен. Что, если я разочарую ее? Может, ей стоит подумать, не опрометчиво ли ее решение?

Меня охватила лихорадка. Надо с ней как можно скорее поговорить! Все взвесить, выиграть хотя бы время!

Я надел пальто и заспешил по знакомым улочкам. Я еще не успел дойти до парка, где мы всегда прощались, когда до меня донеслись обрывки какой-то ярмарочной мелодии и небо тут же озарилось необычным сиянием. А над коньками крыш неожиданно взвилось острие шеста.

Шесты высились на краю парка, и над опустелой детской песочницей был протянут канат.

Представление шло полным ходом; увидев в вышине балансировавшую на высоком колесе призрачную фигуру в сверкающем трико, я почувствовал давнее волнение и, словно выпав из этого ненастного осеннего дня, забыл вдруг о цели своего пути и замешался в толпе зрителей.

Неужто она все еще с ними, неужто моя акробатка все эти годы из вечера в вечер метала в вышине свои сальто и до сих пор не рухнула вниз?

Канатоходец отложил колеса, принес столик, стул и сел, с противоположного конца каната к нему направлялась его подруга, одетая официанткой, на руке — поднос с горой тарелок. Я силился разглядеть ее лицо, но она была слишком высоко надо мной, да и будь она ближе, будь она и вправду той моей акробаткой, разве я мог бы теперь узнать ее?

Она поставила на столик тарелки, а я все еще вглядывался в ее черты, точно она, если это была она, могла стать моей заступницей, могла принести мне какое-то послание или надежду.

Номер кончился. Оба артиста отложили реквизит; мужчина взял рупор и, обратившись к зрителям, стал зазывать к себе наверх, обещая любого без доли риска пронести на спине из одного конца каната в другой. К нему подошла его компаньонка и тоже стала приглашать нас к себе — она сверху глядела в наши темные ряды, и казалось, выбирает среди нас самого смелого. Вдруг я осознал, что она ищет меня. И тут же почувствовал головокружение. Конечно, кто другой может взойти наверх, кроме меня? Но удержусь ли я там, наверху, смешно и беспомощно взваленный на чужую спину? Не рухну ли вниз с каната, увлекая за собой и своего носильщика?

Я огляделся: ясно ли и другим, что именно ко мне был обращен их призыв, но все спокойно смотрели вверх в ожидании нового волнующего зрелища, призывы их не касались, не занимало их и то, к кому они были обращены. У меня отяжелели ноги. Сумею ли я вообще взобраться на шест по качающейся веревочной лесенке?

Манящий голос снова настойчиво звал меня, сквозь тьму прорезая ко мне дорогу.

Я двинулся по направлению к голосу, но в эту минуту увидел, как парень в клетчатой кепке ловко взбирается по лесенке. И вот наверху он уже вскакивает на спину артиста в сверкающем трико.

Когда эта пара прошла враскачку канат, забили барабаны, и я увидел стройную белую фигуру, поднимавшуюся к верхушке самого высокого шеста. Но это была не она, это вообще была не женщина: какой-то мужчина взобрался на то место, что принадлежало ей, и тут же встал на руки — теперь под его ногами были темно-серые небеса, по которым он тщетно пытался шагать.

Я смотрел на воздушную акробатику и ждал, потрясет ли меня, как когда-то, чужая тревога и чужое головокружение, но я не испытывал ничего: то ли этот эквилибрист был мне безразличен, то ли я был слишком занят собой, своими переживаниями. Я стоял в толпе, смотрел на небесного артиста, непрестанно бросавшего над нашими головами, над темной пропастью, вызов Той со звездным ликом, и мне казалось, что я начинаю постигать некую тайну жизни, что я сумею разрешить ту задачу, перед которой до сих пор беспомощно пасовал. Я отчетливо понял, что жизнь — это вечное искушение смертью, единое, непрерывное акробатическое представление над пропастью, когда приходится идти к противоположному шесту, даже не видя его, ибо кружится голова, идти не глядя вниз, не оборачиваясь назад, не поддаваясь соблазну тех, кто устойчиво стоит на земле и всего лишь наблюдает. И понял, что я сам должен натянуть свой канат меж двумя шестами, как эти циркачи, и двигаться по нему, не ожидая, что меня позовут наверх и предложат перенести на спине. Что я сам должен начать свое собственное большое, неповторимое представление. И, конечно, я смогу, мне достанет сил, чтобы смочь. В эту минуту кто-то коснулся моего плеча — я чуть не вскрикнул от неожиданности. Но вот звякнула копилка, и я увидел перед собой знакомую незнакомку, полузабытое лицо моей давней красавицы. Я торопливо вытащил из кошелька несколько монет и подал ей. Она

улыбнулась, зубы ее сверкнули во тьме, и я как бы почувствовал горячее освобождающее прикосновение ее губ.

Представление кончилось, люди разошлись, я немного побродил по опустевшему и темному пространству. Кого или что я все еще ждал?

Чуть в стороне желто светились глаза циркового фургона. Внутри кто-то играл на гитаре, громко плакал ребенок. Я послушал эти перемешанные звуки и пошел садовыми улочками домой.

Ответить я решился только на следующий вечер: письмо ее тронуло меня и удивило, более того — ошеломило. Но боюсь, не поспешно ли ее решение. Несомненно, нам надо встретиться (надеюсь увидеть ее) и обо всем поговорить. Я предложил ей день, час и место (как всегда — в парке перед ее домом). Утром я бросил письмо в почтовый ящик.

В назначенный день лил дождь. Но я все же пришел на условленное место несколькими минутами раньше. Канатоходцы уехали; там, где стояли шесты, остались кучки разрыхленной земли.

Я, спрятавшись под высокой елью, вслушивался, как шумит дождь в осенних ветвях, и наблюдал за домом, где она жила; одно окно на четвертом этаже светилось, но ее ли это окно — я не был уверен. И все-таки я смотрел на него в надежде обнаружить хоть какое-то движение, тень крыла, отблеск утешительного, понимающего взгляда, но оно светилось пустотой без всяких признаков жизни, словно за ним горел блуждающий огонек.

Моя недавняя решимость улетучилась. А вдруг я всю жизнь только и буду делать, что ждать, ждать минуты, когда увижу Ту, Ее звездный лик? Она устремит на меня взгляд и скажет: «Ты не умел принимать жизнь такой, какая она есть, так лучше пойдем, дружище!» Или скажет совершенно обратное: «Ты жил хорошо, ибо высоко нес свое одиночество. Ты сумел отказаться от утешения, дабы не отказаться от надежды».

В самом деле, что она бы сказала?

В те минуты я не мог об этом судить.

Перевод Н. ШУЛЬГИНОЙ

Город

Бензин кончился в самый неподходящий момент, как раз когда дорога спускалась в седловину. Глупая идея — свернуть с главного шоссе, он ведь знал, что бензин кончается. Но все же не предполагал, что его так мало. К счастью, от шоссе они были недалеко. А свернул он, поскольку табличка на перекрестке обещала красивый вид.

Он вышел из машины, гребень горы был отсюда не более чем в пяти минутах ходьбы.

— Хотите пойти со мной, нинита[1]? — обернулся он к машине.

— Buena idea[2]. — Она достала из своего дорожного мешка фотоаппарат и надела соломенную шляпу.

Два дня назад он подобрал ее на дороге, не помнил уже, перед каким городом, названий городов он теперь по большей части не замечал. Она стояла с красным дорожным мешком у ног и махала ему соломенной шляпой. Маленькая, смуглая, но волосы довольно светлые, очевидно, среди ее предков было меньше индейцев, чем это привычно для здешних мест. В вырезе расстегнутой блузки он разглядел золотой крестик. Не спросил, как ее зовут, куда путь держит. Надеялся, что она не из тех девиц, которые, пользуясь машиной, не устают при этом горячо ратовать за чистоту воздуха и воды. Она села рядом, поблагодарила и спросила, куда он едет.

Он сухо ответил, что едет по торговым делам.

— Чем вы торгуете? — поинтересовалась она.

---

[1] Деточка (*исп.*).

[2] Хорошая идея (*исп.*).

© В. Каменская. Перевод, 1999

— Красками.

Девушка испытующе посмотрела на него.

— Ага, — сказала она, — возможно, я вас знаю. По фотографии. Но ведь вы иностранец?

— Нет, — он сам не понимал, почему ей отвечает, — хотя да, родился я не здесь.

— А где?

— О той стране вы, наверное, никогда не слышали.

На этом она прекратила расспросы, сообщила, что изучает историю, а сейчас возвращается домой и ей еще предстоит проехать более тысячи километров. Слово «домой» неожиданно его растрогало. В последнее время такое случалось с ним все чаще, особенно сильные чувства вызывали у него воспоминания о давно утраченном родном доме, о детстве и людях, давно умерших, убитых на войне, тоже уже давно минувшей. Он мог спросить у девушки, где находится ее «дом», но ее «дом» не мог иметь ничего общего с его «домом», а значит — не интересовал его. Он ехал по дороге, которую сам выбрал, а когда их пути разойдутся, девушка покинет машину.

Вечером он остановился перед мотелем и спросил у девушки, где она будет спать. Она пожала плечами и показала рукой куда-то в сторону начинавшейся за дорогой пустоши. Он заплатил за ее ночлег, смущение девушки было ему приятно, пригласил он ее и на ужин. Но ужинать она отказалась. Потом он видел с террасы, как она сидит на скамейке и жует сухую кукурузную лепешку. Ее дело. В своем номере она наверняка заперлась, но ему и в голову не приходило домогаться ее внимания. Наутро она стояла со своим красным мешком неподалеку от его «форда». Он открыл дверцу и кивнул, приглашая ее в машину. Пока ехали, обмолвились лишь двумя-тремя фразами. Когда в полдень он остановил машину перед рестораном, она приняла приглашение на обед. Он предложил ей выбрать все, что ей нравится, но она выбрала такос — самое дешевое блюдо. Ее дело. Когда проезжали мимо маленькой церкви, перед которой стояла кучка селян, он заметил, что она перекрестилась. И понял: сегодня воскресенье.

— Не хотите зайти в храм?

— Я не могу вас задерживать, или вы тоже зайдете?

— Я еврей, — сказал он. — К тому же не верую в Бога.

— Es terrible[1], — испуганно произнесла она. Это могло относиться как к первой части его сообщения, так и ко второй, а могло и к обеим. Но какая разница... Остановив машину, он сказал:

— Идите, я подожду.

— Volvere dentro de poco[2].

Она исчезла в церкви, а он тем временем стал листать специальный журнал. Когда-то в молодости он жил в непрестанной спешке, тогда он вряд ли стал бы ждать девушку, совсем чужую, с которой его ничего не связывало, но теперь время бежало так быстро, что порой казалось, будто оно совсем остановилось, да и куда было спешить, он, пожалуй, достиг всего, чего мог достичь, и больше ждать было нечего, разве что эту девушку, с которой его ничего не связывало.

Теперь они молча шли по каменистой тропке, окаймленной мелкими кактусами пейоте. Он отломил кусочек сочной мякоти и стал медленно жевать ее. Шел неторопливо, в разреженном воздухе трудно дышалось. Несколько последних метров пришлось подниматься по крутым каменистым выступам. Потом перед ними открылся вид на окрестности. Несколько голых кряжей, самые высокие щиты были покрыты вечным снегом. Но взгляд его скользнул вниз, в долину, и, к своему изумлению, он увидел большой город. Глубоко под ними террасами громоздились сотни и тысячи крыш. На широких улицах он различал мелькающие автомобили. Из труб, с такой высоты казавшихся крохотными, поднимался дым, который стлался над жилыми массивами. Белые виллы с садами, полными цветущих кустов, будто карабкались по высоким склонам.

---

[1] Это ужасно (*исп.*).

[2] Я скоро вернусь (*исп.*).

Он не был здесь по меньшей мере двадцать лет, тогда здесь было несколько поселков или, скорее, разбросанных хижин, обиталищ из жести, лачуг, сооруженных из ящиков из-под бананов и цитрусовых; тогда как раз начали строить одну его фабрику. Он приехал взглянуть на строительство: большой зал был уже почти закончен, рабочие, вытянувшись в шеренгу, с молчаливым любопытством разглядывали его. Когда он проходил мимо, они слегка склоняли головы, как бы в знак своей покорности. С тех пор он фабрику не видел. Знал о ней только по бухгалтерским ведомостям и счетам. За двадцать лет все меняется, и сам он изменился, поселки превратились в большой город, здесь понастроили много новых фабрик, небоскребов и тысячи новых лачуг. Вид города вызывал в нем почти полузабытое чувство гордости: в том, что он возник здесь и, вероятно, процветает, наверняка была заслуга и его предприятия, на котором трудилось более тысячи человек. Он пытался распознать свою фабрику, искал застекленный зал, строительство которого когда-то видел, но сейчас, с такой высоты, не мог отличить его от других.

Девушка стояла, расставив ноги, на самом краю склона и фотографировала.

— Вы любите города? — спросил он.

— Я люблю сады.

— Вы хотели бы иметь виллу с садом?

— Необязательно иметь все, что тебе нравится.

— Вы можете ее получить.

Она удивленно посмотрела на него. Потом засмеялась.

— Вы мне ее дарите?

В смехе девушки он расслышал смущение, и это понравилось ему.

— Если она доставит вам радость.

Он не знал, почему так говорит, видно, ему все еще было приятно вводить людей в искушение или, скорее, демонстрировать им и себе свою силу.

Она снова засмеялась.

— Что ж, подумаю.

Под ними послышался звук мотора, промелькнул цветной кузов грузовика. Очевидно, дорога огибала вершину и проходила совсем недалеко от места, где они стояли. Если и после двадцатилетнего перерыва память его не обманывает, если дорогу не проложили в другом месте, бензоколонка должна быть сразу же за гребнем. Он отправится туда с канистрой и если не обнаружит бензоколонки, любой даст ему необходимую каплю бензина, чтобы вновь попасть на шоссе и перевалить через горный хребет.

Когда они вернулись к машине, он достал канистру и собрался еще раз подняться в гору.

— Вы пойдете за бензином? — спросила она.

— Скоро вернусь, можете подождать здесь.

— Хорошо, но если хотите, я пойду с вами и помогу.

— Я, конечно, не молод, но такой путь еще одолею.

— Никогда не знаешь, — возразила она. — В горах водятся темные силы и бесчинствуют разные божки.

— Канистра их спугнет, слишком несет бензином.

— Они принимают подобие змей.

— Буду остерегаться. А если не вернусь...

— Вы обязаны вернуться, — сказала она, — ведь вы обещали мне виллу с садом!

Девушка снова рассмеялась — у нее были ровные белые зубы без единого видимого изъяна.

На середине тропки он обернулся. Заметив это, девушка подняла на прощанье руку.

Возможно, попроси он, она осталась бы с ним. Если бы он и правда купил ей виллу. Осталась бы на неделю, на месяц, а быть может и дольше. Но это ровно ничего не изменило бы в его судьбе, скорее всего, она стала бы живым напоминанием о его возрасте, о его растущей беспомощности, а значит — о близком конце.

Он вновь очутился на гребне и еще раз глянул в долину, на город, на башни храма, неожиданно возникшие перед ним, на застекленные купола дворцов, на высокие корпуса небоскребов и многоцветные террасы садов. Город был полон красок. Ему даже показалось, будто он различает светящиеся рекламные щиты. Это его краски расцветили город, и он смотрел на него с наслаждением. Если он заедет туда и даст о себе знать, ему несомненно окажут почести. Когда-то почести были ему приятны или, скорее, его радовало признание, которым пользовались результаты его труда. Но в последнее время он все чаще замечал, что даже самые большие почести не освобождают от законов, диктуемых временем. Да и в результатах своего труда он уже был не столь уверен. То, что, казалось бы, вело людей вверх, могло одновременно сбрасывать их вниз, в пропасть, из которой им никогда не выбраться. Он начал спускаться в направлении, где, как он предполагал, проходило главное шоссе. Тропка огибала низкую скалистую гряду, и теперь он не видел ничего, кроме голых утесов. Но дорога вела в долину, значит, очень скоро ее пересечет шоссе. Пожалуй, стоило принять предложение девушки, тащить в гору полную канистру будет нелегко. Но ее предложение унижало его, унижало сознание, что силы его убывают. А еще хуже, что убывает и здравомыслие: надо было оставить канистру в машине, пойти назад по дороге, по которой приехал, и попросить, чтобы туда отбуксировали машину.

В ущелье, по которому он шел, вдруг подул ветер, и сразу же пополз сырой, теплый и липкий туман. Пройдя еще несколько шагов, он остановился и, опершись о скалу, стал ждать, пока молочное облако, сквозь которое временами прорывался яркий солнечный луч, не перестанет ощупывать его лицо. Когда пелена тумана разорвалась на миг, он увидел резкие выступы скалы и очертания далеких гор, не замеченных прежде, а на ближнем склоне белую асьенду, окна которой отражали яркие солнечные лучи. Затем все снова заволокло туманом.

Он не мог понять, как здесь очутился, явно кто-то послал его сюда, кто-то ждет его, в памяти вертелось несколько имен, но ни одно из них не относилось к этому месту. Удивительно, как вдруг опустело в голове. Он не мог вспомнить ничего определенного, потом всплыло воспоминание, никак не связанное с окружавшими его скалами. Это было воспоминание о реке, которую он мальчишкой переходил вброд, припомнилось даже название реки, странное такое название — Отава[1].

Туман немного поредел, и он снова пошел по дороге, которая неожиданно начала взбираться вверх.

Всплыло и другое воспоминание. Длинная процессия людей со звездами на груди, с мешками и чемоданами. Одна из женщин несла на руках маленького ребенка. Это была его мать, а ребенок — его сестра. Больше он никогда их не видел.

Туман опять поднялся выше, и, когда он взглянул наверх, где мгновение назад видел белое строение, перед ним была лишь голая черная скала. Тропка, по которой он шел, похоже, терялась между камнями и порослью колючей юкки.

Его охватил страх. Он не боялся ни злых духов, ни чужих божеств, было лишь страшно оттого, что он сбился с дороги и теперь не приближается, а вовсе удаляется от шоссе.

Надо вернуться, решил он. И стал перепрыгивать с камня на камень так поспешно, что канистра, которую он тащил, гулко билась о выступы скал. Но дороги, с которой он сошел и где стояла его машина, по-прежнему не было видно. Он не узнавал этих мест, хотя туман уже совершенно рассеялся.

Сам он благополучно пережил войну, потому что нашлась смелая женщина, которая все эти годы прятала его. Он любил ее, это была единственная женщина, которую он за всю свою жизнь действительно любил, она была готова выйти за него замуж, но отказалась покинуть родину, оставить тот проклятый материк, где регулярно истребляли целые народы.

Он остановился, внимательно озираясь вокруг. Он не мог уйти далеко — определен-

[1] Река в Чехии.

но шел не более двадцати минут. Но уверенности в этом не было. Он сделал привычное движение рукой, чтобы взглянуть на часы, но вспомнил, что оставил их на передней панели машины. Это обеспокоило его еще больше. Он снова стал взбираться вверх. Когда наконец достиг гребня, обнаружил, что местность под ним полностью погружена в туман. Возможно, он совсем недалеко от машины, а может, стоит на другом гребне.

Он приложил руки ко рту и в направлении, где должна была находиться машина, крикнул:

— Нанита!

Выкрикнул это слово трижды, а потом еще несколько раз повторил этот тройной зов. Ему показалось, что голос его, многократно отраженный от окружающих скал, проникает далеко в глубь ущелий и долин. И он ждал, отзовется ли девушка или хотя бы клаксон автомобиля. Но никакого отзвука не было.

Он оперся о скалу и закрыл глаза.

И в тот раз он ушел один, ушел в края, которые ничем не напоминали ему родные места, чьи краски были насыщеннее и пестрее. Он был химиком, и краски привлекали его. Он изобрел лаки, под которыми стены дышали и к тому же не боялись воды. Он наладил их производство и быстро разбогател. Работа, приносившая успех, нравилась ему, впрочем, у него и не было ничего другого, что могло бы увлечь его. Он попытался вызвать к себе женщину, некогда спасшую ему жизнь, но теперь, даже при всем желании, она уже не смогла бы приехать к нему. Границы его прежней родины были обнесены колючей проволокой, и в тех, кто пытался их перейти, беспощадно стреляли. Мир, как ему казалось, близился к новой войне и новому варварству. Странный мир, поразительное существо — человек.

Когда он снова пришел в себя, туман уже отступил в долины, и он увидел вокруг множество неведомых голых скал. Теперь он уже был уверен, что заблудился, оказался на другом гребне, а поглядев вниз, понял, насколько крута скала, на которой он стоял. Голова закружилась, пришлось прижаться к голому валуну и обхватить его руками. При этом он уронил уже бесполезную канистру, и она с металлическим звяканьем полетела в пропасть. Притиснувшись животом к скале, он начал медленно сползать вниз, нащупывая ногами выступ, но посмотреть туда не решался. Когда же наконец спустился, между камнями он вновь различил узенькую стежку. Казалось, он мог бы почувствовать теперь облегчение, но он ощущал лишь все возраставшую усталость. Он сел на землю, оперся о влажную скалу и, закрыв глаза, попытался отдохнуть. Как долго можно выдержать блуждание среди скал? Ночью ударит мороз, кроме того, у него нет ни еды, ни питья. Что предпринять? Однажды, когда он работал в лаборатории, произошел взрыв, он лежал под обломками, и все же ему удалось выбраться из-под них прежде, чем подоспела помощь. Во время землетрясения он не растерялся и успел выбежать из дома до того, как обвалились стены. Еще он болел тропической лихорадкой, но и это преодолел благодаря силе воли и здоровому сердцу. Неужели, после того как он столько раз спасался от смерти, когда остальные погибали, он должен так бессмысленно расстаться с жизнью здесь, среди этих скал? Но ведь когда-то человек должен умереть, как бы ни стремился он продлить свою жизнь до бесконечности. Быть может, такая смерть лучше, чем подыхать в больнице пригвожденным трубочками к аппарату. Быть может, ему суждено умереть в одиночестве, он ведь так и прожил всю свою жизнь. Он не умел радоваться вместе с другими, умел только работать.

Придя в себя спустя некоторое время, он заметил сидящую на ближней скале огромную хищную птицу. Никогда прежде он так близко не видел застывшего в неподвижности кондора. Может, я уже мертв, мелькнула мысль, поэтому кондор не боится меня и только ждет подходящего момента, чтобы спланировать на мое тело и приступить к пиршеству. Он попробовал встать, но не мог шевельнуться и с ужасом стал ждать, что произойдет. Вскоре птица оттолкнулась от скалы, расправила крылья и бесшумно взлетела.

Только сейчас ему удалось подняться — значит, он еще жив и может пуститься в путь по каменистой стежке, не зная, правда, куда она приведет. Но разве всю жизнь он не

шел по дорогам, не зная, куда они ведут? Это и радовало и возбуждало: приставать у берегов чужого материка, испытывать новые вещества, строить заводы в безлюдных местах. Он любил новые страны, новые краски, новые очертания старого мира. Он стремился изменить его извечно серый, озабоченный лик. Так он понимал зов своей эпохи, и то, что он этот зов услышал и сообразно ему действовал, приносило ему удовлетворение.

Стежка привела к небольшой впадине и кончилась под высоким дубом на берегу тускло поблескивавшего болота.

Тихая сонная топь, полоска трясины, за ней тропка, продолжаясь, шла вверх, к следующему гребню, где вливалась в широкую дорогу. А она уж в любом случае должна привести его если не прямо к машине, то хотя бы к какому-нибудь человеческому жилью!

Надо было перебраться на другую сторону, но недвижная зеленоватая гладь, посреди которой то и дело с чмоканьем вздувался пузырь, будила в нем недоверие. Он мог бы эту топь обойти, но его охватило лихорадочное нетерпение.

Он нагнулся, снял ботинки, подвернул штанины и ступил на низкий и, похоже, крепко сидящий в земле камень. Босой пяткой он ощупал поверхность трясины: скользкая, холодная жидкость, коснувшись его ноги, чуть ли не стиснула ее невидимыми щупальцами. Медленно, очень медленно он погружал ногу в воду, пытаясь нащупать твердое дно. Вода уже доходила до колен, ее объятия вызывали в нем отвращение и страх. И тут совсем близко за спиной он услышал какой-то треск. Оглянулся, но все равно не понял, что случилось. И только когда второй его ноги коснулись холодные щупальца, он заметил, что камень, на котором он стоял, оторвался вместе с куском берега и теперь очень медленно, собирая вокруг себя пузыри, погружается в воду.

Его охватил ужас. Он попытался быстро вытащить из воды ногу и оттолкнуться от камня, но тотчас осознал, что допрыгнуть до твердого берега ему не удастся. Слишком далеко. Спасение могло прийти только сверху. И верно, поглядев вверх, он обнаружил, что самая нижняя ветка дуба вполне для него доступна. Он схватил ее и с силой, которую даже не подозревал в своих немолодых и нетренированных руках, подтянулся. С трудом перевел дух. Руки и ноги так ослабли, что он едва удерживался в развилке дерева. Но все-таки нашел подходящее место, чтобы отдохнуть. Посмотрел на топь внизу. Как он сюда попал? Кто послал или даже погнал его сюда? Это же не сам он пришел, вернее, не собственная воля заставила его приехать в эти места и отправиться к скалам. Несомненно, кто-то другой, невидимый, направлял его шаги. Помутил разум и, подчинив своей воле, привел именно сюда. И лишь тот, другой, знает, почему он выбрал такое место для его конца. Но если так, значит, есть нечто над человеком, а следовательно — существует надежда, и он из тех самых счастливчиков, которым хотя бы в последнее мгновение выпала удача узреть ее. Но умирать не хотелось, он не настолько устал, он еще не смертельно устал, мир по-прежнему привлекал его, мир, который, точно давний мореплаватель, несется по незнакомому морю к незнакомой пристани. И если такая пристань существует на самом деле — эта мысль особенно занимала его, — то он непременно доживет до той минуты, когда корабль причалит к ней.

Вдруг он осознал, что слышит отдаленный барабанный бой; удивленный, он огляделся, стараясь понять происхождение этого звука, и увидел, что на дороге, которая вилась по противоположному склону, показалась маскарадная процессия: в пестрых нарядах, под звуки бешеной музыки подскакивали арлекины, пьеро и коломбины, шествовали ангелы на высоких ходулях, клоуны и индейская Мария в белоснежной ризе, дьявол в черном облачении, а за ним два огромных петуха — один с золотыми, другой с пурпурными перьями. Несколько осликов, украшенных разноцветными лентами, тащили коляски с барабанами — в них били мужчины в громадных соломенных шляпах, скрывавших лица, другие мужчины дули в трубы, сверкавшие в последних лучах заходящего солнца.

Он с удивлением смотрел на процессию, словно пришедшую из каких-то стародавних времен или из мира, в который он так и не проник, не имея для этого ни времени, ни желания. На отдельных лицах он различал восторг, и тогда он крикнул в надежде, что его услышат и вызволят отсюда. Но оглушенные грохотом оркестра, они не могли услышать

его, не могли и увидеть его, спрятанного в кроне могучего дерева. Эта процессия была сама жизнь, с которой он уж было прощался. Но к нему словно вернулись силы. Он спустился с дерева и быстрым шагом стал обходить топь.

Когда по скале он перебрался на другую сторону болота и наконец-то попал на дорогу, она уже снова была пуста, музыка отгремела, пестрая процессия исчезла, после нее осталось лишь множество свежих следов, в пыли валялось пурпурное перо из петушиного хвоста да в редкой траве лежала кем-то сброшенная серебряная туфелька. Он пустился вдогонку за скрывшейся процессией, наверх, к самому гребню. Шел как можно быстрее, процессия явно не могла уйти далеко — ведь многие ряженые балансировали на ходулях.

Прошло каких-то полчаса, и он уже стоял на гребне, а когда глянул вниз, то вновь увидел его, свой город. Глубоко под ним террасообразно громоздились сотни и тысячи крыш. Он удивленно смотрел вниз, тщетно отыскивая на широких улицах признаки хоть какого-то движения, хоть струйку дыма над какой-нибудь из множества труб. Но город был пуст, рекламные щиты уже не светились, краски потускнели, самый высокий из небоскребов обрушился, заросли сорняков скрывали стены вилл, многие крыши провалились, обнажив внутренности домов.

С неожиданно охватившим его дурным предчувствием он оглянулся и действительно увидел то, что ожидал. Над дорогой, где он оставил машину, теперь кружила стая воронов, а внизу вместо автомобиля валялась куча ржавого железа, посреди которой краснел одинокий заплечный мешок. В какое время его занесло? Что осталось от того, ради чего он жил? Лишь он один! И его одолела такая слабость, что не было сил продолжать путь. Он лег на голую землю и уставился в небо. Оно было прежним; неизменными остались двое — он и небеса, то ли они спустятся к нему, то ли он вознесется ввысь. В момент, когда он уже начинал возноситься, послышалась приближающаяся музыка, потом он различил нежные шажки танцующей коломбины и поступь индейской Марии. Какое блаженство — вот так лежать и прислушиваться к близящимся шагам. Танцуя, они подошли к нему, и он ощутил нежное прикосновение руки.

— Что с вами, тиито[1]? — Он узнал девушку, которую оставил в машине. — Я испугалась, не стало ли вам плохо.

Вместе с ней он начал спускаться вниз. Вспомнил, что предлагал ей в этом городе сад с виллой. Он и правда с радостью одарил бы ее, но, похоже, девушка не приняла бы его дара. Да и город уже не был живым. Он почувствовал неуверенность.

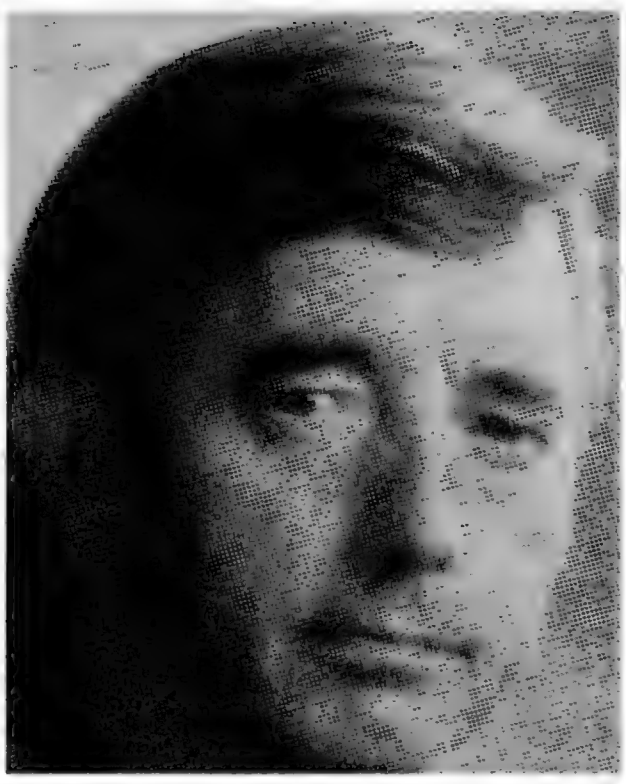
— А как насчет виллы в этом городе? — И он показал рукой в его сторону.

— В каком городе? — удивленно спросила она.

Перевод В. КАМЕНСКОЙ

■

[1] Дядя, дядюшка (*исп.*).



ДЕСМОНД ИГАН

Стихи

Перевод с английского и вступление А. КУДРЯВИЦКОГО

Авторитетный ирландский критик Брайан Аркинс писал, что в ирландской поэзии XX столетия существуют два полюса: Йейтс и Каванах. Классик Уильям Батлер Йейтс, эрудит, знаток древних кельтских легенд и античности, и Патрик Каванах, первым из поэтов «зеленого острова» начавший искать поэзию в повседневной жизни, — своеобразный ирландский Альфред Хаусмен. По его мысли, каждому ирландскому стихотворцу приходится искать литературные ориентиры, имея в виду эти два полюса. Один из самых известных современных ирландских поэтов Десмонд Иган (род. в 1936 г.) вполне вписывается в эту систему координат, причем точку его поэтического пребывания следует искать в самой середине между полюсами.

Десмонда нельзя назвать интеллектуалом «по наследству» — он выходец не из профессорской, а из обычной, относящейся к среднему классу ирландской католической семьи из Атлона, что на самом юге республики Эйре: отец его был владельцем магазина радиотоваров, а затем антикваром, мать — учительницей начальных классов. Образование же он получил классическое, свободно владеет латинским и древнегреческим языками, окончил Дублинский университет с академическими отличиями. Ему довелось преподавать эти языки, а также английский в колледжах Ирландии и Англии. Итак, обычная семья — и блестящая университетская карьера. Противоречие? Скорее, нет. В нашем веке многие могут назвать себя self-made man. Сказанное выше объясняет то, что Иган продолжает в ирландской поэзии как линию Йейтса, так и линию Каванаха.

Удивительно другое: блестящий знаток классики, Десмонд Иган избрал авангардную поэтику и стал, как аттестуют его критики, «самым нетрадиционным поэтом Ирландии». Дело даже не в используемых им приемах (свободная строфика, отсутствие рифм), а в самом мышлении поэта-авангардиста. Своим остроумием, парадоксальностью, склонностью к гротеску поэт обязан, по его собственному признанию, еще одному великому ирландцу — Сэмюэлу Беккету. Есть и такие новшества, которые привнес в поэзию сам Десмонд Иган. Так, например, он пишет стихотворения на два голоса, включающие на равных правах текст и подтекст (в соседней колонке, курсивом). Один из таких текстов публиковался в «ирландском» номере «ИЛ» (1995, № 2) в переводе Григория Кружкова.

Автор этих строк познакомился с Десмондом Иганом на Международном биеннале поэзии в Льеже, в 1998 году. Иган поразил собравшихся со всего мира поэтов дважды. Вместо чтения стихов он исполнил ирландскую народную песню — и как исполнил! Оказалось, он и в пении не любитель, а высокого класса профессионал. На последующих же культурологических чтениях после пространных французских и бельгийских докладов о процветании поэзии Десмонд Иган в своем коротком выступлении с горечью сказал о том, что поэты в мире по-прежнему изгои, что поэзия никого не может прокормить и что, если поэты и ухитряются как-то выживать, им все равно суждена участь Кассандры — не быть услышанными ни народами, ни политиками.

Десмонд Иган по себе знает, что преподавательская доля нелегка и не приносит особых доходов. Хорошо хоть стихи Игана регулярно издаются. Начиная с 1972 года опубликовано 13 его поэтических книг, книга эссе «Смерть метафоры» (1990) и переводы на английский «Медеи» Еврипида и «Филоктета» Софокла. Книги его стихов вышли также во многих странах: во Франции, Германии, Италии, Голландии, Чехии, Японии (на английском с параллельными текстами на языке страны). Готовятся такие книги в Дании и в Швеции. В 1983 году поэту была присуждена престижная премия Американской поэтической ассоциации. В США вообще его знают и ценят: там вышли две монографии о его творчестве. Известный американский публицист и автор документальной прозы Стадс Теркел пишет: «Это поэзия не для внутреннего потребления в Ирландии, а для всего мира». Как видим, во многих странах Игана уже читают. Теперь — в первый раз и, надеемся, не в последний — подборка его стихов публикуется и на русском языке.

© Desmond Egan, 1983, 1989, 1994, 1996
© А. Кудрявицкий. Перевод, вступление, 1999

Накануне февраля

Молони кричит «Хэй!» поднимает руку
проносясь мимо на мотоцикле — торопится на работу

крик его застывает
как выхваченный прожектором силуэт —
и тогда птицы нагромождения облаков трактор
снова заполняют этот день

и хотя радио уже огласило «Северные вести» —
убийство здесь (мужчина застрелен в своей
постели в 4 часа утра) убийство в Ливане
вмешательство русских в Анголе —
так много всего но ничего о доме который
наполнился пока еще не весной а лишь холодом извне

несмотря на все это а может и благодаря этому
или чему-то еще я снова обещаю себе
любить каждую минуту этого утра
улетающую подобно снежинке
любить этот день эту морозную пору
и эту радость древнюю как холмы

и пусть мой крик вернется после раскатов эха

Из цикла «ХОЛОКОСТ ОСЕНИ»

III

и в Ирландии
есть места где не поют птицы

где прошлое прорастает в настоящее

где столетия трепещут листвой

где странники встречают странников

где расколотая надвое обнесенная
пограничной проволокой душа вздрагивает в такт

оркестру печали чьи звуки приходят
из-за зазубренных стен

VIII

спаси одного и ты
спасешь мир верно но
убей одного и все рухнет

поэтому мы терявшие
надежду целыми графствами
мы испытавшие холокост
в далеком 1847-м

и века изгнания
в своей собственной стране
мы оплакавшие не счесть сколько жертв резни

несем в крови печаль
это наша поступь наш взор акцент
в нашей речи ритм нашей жизни
израненная наша тень в поношенной
одежде столь же смешная

как и каждый из нас ставший
не тем кем был задуман

Хиросима

Акиро Ясукава

Хиросима твоя тень
выжжена на граните истории

для нас пилигримов
ты необъятное пустое пространство
где можно плакать в тишине

в моем мозгу глубоко засела
стеклянная пуля память
об эпицентре взрыва где
сотни тысяч душ
в единый миг расплавились

о кадрах хроники где солдат
с участием предлагает стакан воды
обожженному ребенку
который на это никак не реагирует

о эти тонкие бумажные журавлики

Из цикла «СТИХИ ДЛЯ ОТЦА»

I

смотрю на фотографию

отец стоит у теплицы
в рубашке с короткими рукавами

такой умиротворяющий летний день
никто и не думает позировать
меньше всего — одуванчики

мать говорит что-то Кейт
у той в руках желтые розы

изгородь из бирючины — мы потом ее подстригли —
весьма живописна
кукла лежит освещенная — теперь уже навечно — солнцем

мне кажется я чувствую запах обеда
вижу стол и складные стулья
в видоискателе моего фотоаппарата

и красные салфетки подхваченные ветерком

IV

в то утро в интенсивной терапии
апрельские лучи высветили белизну
двух соседних пустых коек

мы вспоминали мое детство и отец
вдруг заплакал
широкие плечи задрожали
от безмолвных рыданий

это было настолько не похоже на него
настолько невероятно —
все равно что увидеть черную кровь
в 4.30 утра его не стало

отец...

как и тогда
сегодня в этот ветреный и дождливый августовский день
я хочу простереть на тобою руки
прикрыть тебя щитом

я у которого нет щита и для себя

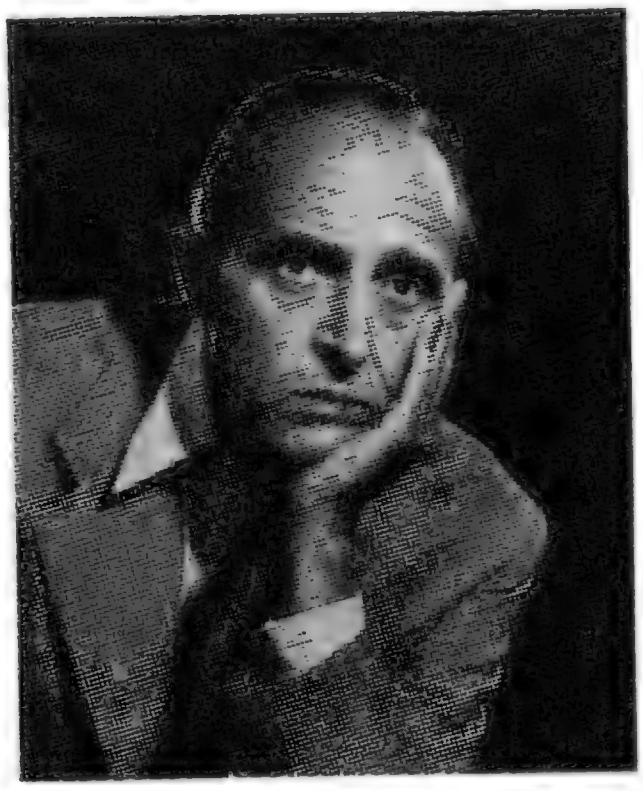
***

мне на самом деле так немного надо —
каменный домик на берегу озера
в котором отражается лес
(должен же там быть лес!)
и конечно кого-то (непохожего на других)
с кем я мог бы жить спокойно среди птиц

ты считаешь что это немного, друг мой?
но такое мало кому было дано

даже птицам

■



РЕНЕ КЛЕР

К 100-летию со дня рождения

Китайская принцесса

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского А. БРАГИНСКОГО

Почему я такой? Значит, таким мне положено быть... Здесь — да. Ну, а если где-то еще? На полюсе? У экватора? Или на Сатурне?
Дидро. Сон д'Аламбера

Как счастлив должен быть провинциал, у которого есть чердак, где, как в молчаливой памяти, оказываются свалены письма, портреты и масса безделушек, не имеющих достаточной цены, чтобы заботиться о них, но и не настолько позабытых, чтобы без сожаления от них избавиться. Городской житель, ограниченный размерами своего горизонтального улья, вынужден подчас ради настоящего производить сортировку предметов минувшей жизни, обрывая один за другим листки своего былого существования и таким образом получая возможность определить ценность собственной пыли и самому совершить похоронную процедуру, которой, существуй чердак, пришлось бы заняться какому-нибудь наследнику, не чувствительному к прелести позабытых фраз и пустых флаконов из-под духов.

Я как раз отдавался этому неблагодарному делу, когда среди пожелтевших бумаг, испещренных неизвестными почерками и моим собственным, внезапно обнаружил рукописную тетрадь, которая непонятным образом оказалась в моем архиве. Не спрашивайте имя автора и насколько описанная в ней история выдумана или имела место в действительности. Я не в силах ответить, и вы это поймете после того, как прочтете то, что засим следует.

Глава первая

Почему я родился в Париже в один из июньских дней начала века? С этого вопроса начинаются все мои проблемы. Если бы отец женился на моей матери на несколько недель позднее, я бы увидел свет под другой звездой. Тогда бы, являясь с запозданием на различные назначенные мне судьбой свидания, я бы познал совсем иную жизнь, оказался бы неповинен в тех ошибках, которые мне приписывают сегодня. Тем же, кто расположен осуждать меня за мои поступки, я отвечаю, что единственный мой промах заключается в том, что я появился на свет с пунктуальностью, за которую, надо признать, не несу никакой ответственности.

Более того, я отнюдь не виноват в факте знакомства моих родителей. Если бы, не познакомившись с моей матерью, отец нашел себе другую жену, а она, не встретив отца, — другого мужа, из каких частиц оказался бы я сложен в конце концов? Смогло ли тогда мое «я», которое представляется мне таким цельным, таким насыщенным и весомым,

© А. Брагинский. Перевод, 1999

будучи разделенным на две равные части и перемешанным с другими чужеродными элементами, прогуливаться по свету, принадлежа двум разным телам? Что стало бы с моей разделенной на две части душой? С моей разделенной надвое свободной волей? Моя мать от этого предполагаемого мужа могла бы родить мальчика, а отец от воображаемой женщины — девочку. Носитель части моего естества, мальчик, мог бы встретить девочку, наделенную другой моей половиной. Достигнув зрелого возраста, эти парень и девушка могли бы понравиться друг другу, полюбить, пожениться. Таким образом, наполовину существо женского пола, наполовину мужского, я оказался бы воссоединен с самим собой узами брака, от него бы родились дети, которые в свою очередь... Но остановимся на этом. Такое начало рассказа, который мне бы хотелось наделить максимальной ясностью, уже свидетельствует, как трудно мне было бы изложить устно свою исповедь. Меня бы сразу заставили замолчать. Пусть же эта рукопись расскажет за меня всем тем, у кого достаточно здравого смысла, что, как это ни покажется удивительным, я им тоже обладаю в известной мере.

Мои родители были мелкими буржуа. Отец, страховой агент, добился сносного положения в компании, где работал. С раннего детства я только и слышал разговоры о пожарах, граде, несчастных случаях, насилиях — о всех видах вреда, наносимых природой и людьми. Теряя характер ужасных бедствий, они превращались в кабинете моего отца в ряд цифр, готовых покорно занять положенное им место в статистических отчетах.

То, что, оказывается, можно заранее высчитать размер ущерба, причиненного каждым летом ударами молнии, представлялось мне фактом, заслуживающим уважения. Но зато более или менее точные подсчеты количества ежегодно совершаемых ограблений и самоубийств склоняют меня и сегодня к весьма скептическим размышлениям относительно человеческого общества и свободы действий, данной тем, кто его составляет.

Мой отец не был обременен подобными мыслями. Случайность и рок были для него словами, лишенными смысла. Подобно мольеровскому врачу, которого ничуть не волнует причина смерти, лишь бы она соответствовала учебникам факультета медицины, он не без удовлетворения воспринимал беды своих ближних, лишь бы ближние обладали полисом, законно составленным уважаемой страховой компанией. Он и сам должным образом застраховался, так что, идя ко дну во время рыбалки, мог с полным основанием считать, что стал жертвой оговоренного законом несчастного случая и что благодаря его дальновидности его семья, состоявшая из матери и меня, не будет ни в чем нуждаться.

Именно по этому печальному поводу я и получил возможность впервые обнаружить то, что называют, в зависимости от миропонимания каждого человека, превратностями игры или неисповедимыми путями Господними. Страховой компании удалось доказать, что драматическое событие, унесшее жизнь моего отца, произошло более чем в шести милях от побережья, тогда как семья застрахованного, как его без всякой иронии продолжали называть, при подобных обстоятельствах могла воспользоваться страховкой лишь в том случае, если он принимал участие в дуэли или имел неосторожность воспользоваться аэропланом.

Тщетно доказывали мы, что злополучная лодка была снесена течением к роковому месту; что если мой отец оказался за пределами той линии, до которой распространялась забота компании о жизни своих клиентов, то это произошло не по его воле. Ничего не помогло. Нам показали составленный собственной рукой усопшего контракт и выплатили, в виде исключения и учитывая его большие заслуги, эфемерную сумму, которая полностью утекла на гонорар адвокату.

Таким образом, все шло к тому, что детство мое пройдет в нищете и заботах о хлебе насущном, что вдовство матери возложит на мои неокрепшие плечи обязанности главы семейства и заставит провести жизнь в борьбе с материальными трудностями... Я и сегодня с умилением представляю себе, каким тщедушным, одетым в черное, склоненным над тетрадками ребенком мне предстояло быть. Несчастье подстегнуло бы мою волю, и я добился бы стипендии, чтобы поступить в лицей, не нанося ущерба нашему скромному семейному бюджету. Я был бы первым в своем классе, победителем конкурса. Я бы вел себя так, что безусловно мог в один прекрасный день услышать, будучи принят сразу в Политехнический институт и Высшую педагогическую школу: «Как бы гордился тобой отец, будь он жив».

Да, мне была уготована такая судьба, но все переменилось в один из четвергов 1915 года из-за нескольких капель дождя. Если бы не шел дождь, моя мать отправилась бы к нотариусу. Не останься она дома, ее кузина Клотильда, оказавшись проездом в Париже, уехала бы в Монпелье, так и не повидав ее... Во время разговора матери с кузиной та, огорченная нашей бедностью, выразила желание нам помочь. По ее рекомендации маму приняли на работу медсестрой в больницу. Там она познакомилась с египтянином, который увез ее в страну фараонов. Отец дипломата счел нужным умереть по их приезде, и мой отчим стал очень богат.

Прощай, добродетельные намерения потрудиться на студенческой ниве! Прощай, нищета, прощай, мужество в борьбе с нею! Я поступил в один из самых престижных коллежей, где вместе с начатками знаний узнал, как можно, не работая и не испытывая угрызений совести, тратить деньги. Отныне мой дальнейший жизненный путь вырисовывался совершенно четко: беспорядочная учеба, шикарный гардероб, провал на экзамене на звание бакалавра, успехи в барах, долги молодости, оплаченные моим весьма снисходительным отчимом, наконец, выгодный брак и должности в административных советах... Таковы были некоторые перспективы, и я собирался использовать удачу со всем мужеством, которым я запасся для борьбы с невзгодами. Но едва только я приготовился вкусить плоды этого везения, как моя мать умерла во время эпидемии испанки в 1918 году, и я больше ничего не слышал о египтянине и его состоянии.

Мне было двадцать лет. Моя душа питалась иллюзиями, а тело требовало чего-то более существенного. Чтобы удовлетворить эти требования, я перепробовал ряд профессий, которые, будучи честными, как нетрудно догадаться, не приносили мне больших доходов.

Деньги еще не все, скажут мне.

Я согласен, но тогда надо, чтобы профессия доставляла удовлетворение другого рода, а о том, какое удовольствие может принести труд, написано немало. Нельзя вообще сравнивать профессии, и, будь моя на то воля, слесарь-водопроводчик получал бы больше, чем маляр, который, радуя глаз заказчика, точными мазками покрывает щербатую стену ровным слоем краски. Маляра благодарят, угощают сигаретой, ему льстят — у маляра веселая профессия, вот почему, стоя на своей стремянке, он насвистывает и поет.

А вот кто станет сочувствовать слесарю-водопроводчику, кроме разве пауков, кто оценит его талант, когда он, согнувшись в три погибели, орудует своими инструментами под ванной или в углу кухни? О качестве его труда судят по протечке воды или утечке газа. О его искусстве вспоминают лишь тогда, когда обнаруживают неполадки. Чтобы не испортить ему настроение, лучше всего вовсе не говорить о его работе. Лишенный поощрения, на которое имеет полное право, слесарь-водопроводчик не поет и не насвистывает. У него неблагодарная профессия, ибо с тех пор, как существуют газ и водопровод, не было случая, чтобы слесаря-водопроводчика, да и газовщика тоже отблагодарили за труд широкой улыбкой.

В жизни нет ничего важнее любимой профессии. Извините за это отступление на тему морали и поверьте человеку, не любившему ни одну профессию из тех, которыми занимался.

Глава вторая

После нескольких лет весьма убогого существования судьба наконец улыбнулась мне своей бледной улыбкой. Я стал чиновником, потом секретарем, доверенным лицом одного из тех людей, которых немало появилось в деловых кругах в 1925 году. Их называли воротилами за неимением более точного определения для мошенника, волею судьбы возведенного в ранг сильных мира сего.

Господин Фу, или Жером Сен-Ромен, более известный в определенных кругах под именем «господин Жером», занимался сотней дел сразу, среди которых были спекуляции хлопком, добыча жемчужниц, любого рода шантаж и продажа сомнительного фармацевтического средства неизвестного происхождения. Переходя от одного банкротства к другому, от процесса к процессу, он стал такой значительной персоной, что для него не было никакой разницы между коротким пребыванием в тюрьме и получением самой почетной награды.

— Видишь ли, — добродушно говорил он мне, — зарабатывать деньги — это значит доказывать наличие ума. Бедными остаются одни дураки.

Хотя получаемая у него зарплата принуждала меня оставаться среди последних, я и не думал протестовать против его дружеского оскорбления. Он принадлежал к расе победителей, тогда как мое место заведомо было среди побежденных.

— Не понимаю, — продолжал он, — почему люди не становятся богатыми. Ведь все так просто!

Это чудовище вызывало у меня чувство восхищения, смешанное с отвращением и завистью. Он был из тех молодцов, которые являются в театр без приглашения, говорят одинаково небрежно «ты» контролеру у входа и встреченному в коридоре министру и перед вторым актом неизменно оказываются на лучших местах в амфитеатре.

— Нужно уметь рисковать, малыш, — говорил он, сопровождая свои слова жирным смехом. — Надо быть напористым.

Это любимое выражение господина Жерома раскрывало секрет его успеха. Рядом с ним я презирал себя за пассивность, со стыдом вспоминал свою жалкую жизнь с ее зависимостью то от своей семьи, то от учителей, от унтера или прораба. Послушно принимая все, что предлагала мне судьба, я пользовался свободой выбора ничуть не больше, чем до своего рождения, то есть до того момента, когда без моего на то согласия было решено, что я стану мальчиком, а не девочкой.

По делам Сен-Ромена я много разъезжал. Однажды он послал меня из Ниццы, где мы находились, в Монако, где мне надлежало получить крупную сумму за продажу какого-то не принадлежавшего ему участка земли. Дело было довольно мутным, и только после бесчисленных переговоров по телефону моего патрона со своим клиентом последний, по имени Гримальди, передал мне с таинственным и не слишком любезным видом толстую пачку денег, которые мы пересчитали на террасе кафе. По завершении операции я предложил дать ему расписку. Господин Гримальди поглядел на меня с презрением.

— Сколько вам лет? — спросил он.

Не ожидая ответа, он встал, сплюнул окурок сигареты, прилипший к губе, и ушел не попрощавшись.

Спустя некоторое время, проходя мимо казино Монте-Карло, я все еще испытывал чувство унижения. Неужто мне суждено всю жизнь оставаться в рядах робких, нерешительных людей, словом, рабов? Мне показалось, что я услышал смех моего хозяина.

«Нужно уметь рисковать, малыш. Надо быть напористым...»

У меня налицо был повод посмеяться в свою очередь. При мне находилась крупная сумма денег, не принадлежавшая более ни Гримальди, ни господину Фу, иначе Сен-Ромену. Врученная без расписки, она вообще не принадлежала никому. Как бы поступил патрон в моей ситуации, оказавшись в этот час напротив самого крупного в мире игорного дома? Решение, которое им было бы принято без раздумий, он продиктовал мне сам. Кто не рискует, тот ничего не имеет, не так ли, господин Жером?

И я смело направился в казино, но на пороге замер. Как всем известно, войти в это здание можно через несколько дверей главного входа. Сначала мне захотелось было войти через правую, что соответствовало бы порядку вещей и моему дисциплинированному характеру. «А может быть, именно левая приведет меня к выигрышу, — подумал я, — тогда как правая — лишь к бесчестию и позору?»

Принятое решение, похоже, исчерпало все ресурсы моего мужества. Пока я балансировал между дверями, прикованный к месту суеверным страхом, мне вспомнился один случай из моего детства. Однажды в воскресенье, сидя за столом вместе с другими членами семьи, я оказался перед необходимостью сделать выбор между двумя артишоками, оставшимися на подносе.

— Чего ты ждешь? — спросила мама.

Я покраснел и ответил, что не знаю, какой артишок из двух взять.

— Они одинаковые, — сказали мне.

Это замечание добило меня окончательно. «Раз эти артишоки одинаковые, — подумал я, — почему я должен выбрать этот, а не тот?» И под любопытными взглядами собравшихся продолжал сидеть, раскачиваясь на своем месте, словно не зная, в какую сторону падать.

— Поторопись, — сказал отец.

Я протянул было руку, но, парализованный нерешительностью, закрыл глаза, положившись на судьбу. Все засмеялись. Я расплакался и весь в слезах встал из-за стола.

— Тебе ведь сказали, что ты можешь взять любой.

— Да, но какой? — отвечал я, заливаясь слезами.

— Этот ребенок ненормален, — сказал отец.

К счастью, он не имел понятия о детской психиатрии, решив, что я просто капризничал, он так и остался в неведении относительно того, что на этот простой вопрос не смог бы вразумительно ответить ни один философ в мире.

Сей трагический вопрос и возник теперь снова, пока я стоял перед застекленными дверями, за которыми скрывалась моя судьба. На этот раз тоже самым простым делом было бы довериться случайности, а не разуму.

«Я войду, — сказал я себе, — в ту дверь, через которую пройдет в казино первая женщина».

Таким образом, я, не колеблясь, сам установил условия своего договора с судьбой. Любое другое решение обладало бы равнозначной ценностью, ибо, как известно всем суеверным людям, в такого рода делах значение имеет не просьба, а ответ богов. Трое мужчин вошли в казино, какая-то пара вышла, и когда, наконец, мимо меня прошла блондинка и открыла дверь слева, я с такой живостью бросился за ней следом, что она обернулась, словно ожидая с моей стороны неожиданных действий.

В тот момент, когда я подошел к игорному столу, состояние опьянения, в котором я пребывал, не помешало мне испытать некоторые угрызения совести. Я честно решил предоставить моей порядочности последний шанс.

«Если выигрыш падет на черное, — подумал я, глядя на рулетку, — значит, я не должен играть».

Выигрыш выпал на красное. Деньги сами полезли из моего кармана, и, так как моя воля больше не имела отношения к тому, что происходило, я не испытывал никакого чувства вины. Когда я пришел в себя, блондинка, за которой я последовал, пристально смотрела на меня, и я обратил внимание, что большинство игроков тоже не спускают с меня глаз. За несколько, как мне показалось, мгновений — на самом деле прошло не меньше двух часов — я стал обладателем маленького состояния.

Я покинул Монте-Карло в сопровождении блондинки. Нас увезла самая роскошная, взятая напрокат машина. Моя спутница напевала песенку «На берегу Ривьеры»:

Каждая женщина мечтала там
Быть красивой и обожаемой.

Уверенный, что она станет отбиваться, я заключил ее в свои объятия. Похоже, ничто не могло воспротивиться победителю, которым я был в ту минуту.

По приезде в Ниццу блондинка пожелала закусить. И мы вошли в ресторан муниципального казино. Не знаю, право, почему оно было открыто в такой поздний час? Почему моя дама была голодна? Почему я позволил себе напиться скверным шампанским? До стола, где мы ужинали, доносились нудные голоса крупье в соседней зале. Я не сомневался, что теперь все ставки принадлежат только мне и что игроки явно самым неподобающим образом распоряжаются моими деньгами. Опьяненный удачей, я бросился к столу, где играли в «железку», затем туда, где играли в баккара... На заре, когда я оказался на улице, у меня оставалось в кармане всего несколько сот франков.

Я никогда не любил рано вставать. Мне нравилось любоваться чистотой зари и наслаждаться свежестью утреннего воздуха лишь из своей постели, где, еще не очнувшись от снов, я готов был снова погрузиться в них, как и подобает ностальгически настроенному бездельнику. Но на сей раз я получил возможность должным образом вкусить все прелести зари. Я не стал ложиться в постель, я бродил по тротуарам, убитый местью разгневанных богов. Почему я не посоветовался с ними, входя в казино Ниццы, подобно тому, как поступил в Монте-Карло? Полный раскаяния, я униженно обращался к ним: «Надо ли мне сбежать или предстать перед разгневанным господином Фу? Если количество плиток на тротуаре будет четным, значит...»

Внезапно мне стало стыдно своего малодушия. Неужто я всю жизнь буду пребы-

вать в нерешительности между двумя артишоками, двумя дверями, ожидая спасения в постыдном суеверии? От подсчетов, к которым я прибегал, меня стало тошнить. Я направился в первое кафе и, подкрепленный двумя рюмками рома, решил бросить вызов богам.

«Что вы можете мне сделать, владыки судеб человеческих? Ни один из двух негодяев, у которых я был посредником, не сумеет доказать, что я когда-либо держал в руках эти деньги...»

Я вернулся в отель, принял душ, напевая, чтобы укрепить свой дух, и, тщательно одевшись, отправился к патрону. Когда я вошел к нему, он еще лежал в постели.

— Деньги при тебе? — спросил он тотчас.

Я лишь отрицательно мотнул головой.

— Гримальди не заплатил?

— Заплатил, — ответил я с восхитительной небрежностью, — но я поставил эти деньги на кон и проиграл.

А так как он явно мне не верил, я повторил, стараясь возможно лучше подражать ему, его собственные слова:

— Нужно уметь рисковать. Быть напористым...

Это его убедило. Господин Сен-Ромен издал рычание и протянул руку к телефону. Я остановил его.

— Не теряйте зря время, — сказал я ему. — У вас нет против меня никакого оружия. Деньги были вручены без свидетелей, я не дал никаких расписок. Если меня станут допрашивать, я буду все отрицать. Ведь вы бы точно так же поступили на моем месте, не правда ли?

Я вышел из отеля совершенно довольный собой. Но едва завернул за угол, как спохватился, что считаю количество букв на вывесках.

«Если пятая буква первого слова гласная, значит, все уладится...»

Увы, с вывеской «Турагентство» этого не случилось. Я попробовал исключить дурное предзнаменование контрмерами, но опять ничего не вышло. Все улицы и дома со всеми их тротуарами и витринами сообщали о беде с таким упорством, что вопреки обуявшему меня страху мне не терпелось узнать, каким оружием воспользуется рок против неуязвимого человека.

Мое любопытство вскоре было удовлетворено. В тот же вечер, когда я пришел в отель, чтобы собрать вещи, я встретил инспектора полиции, который попросил следовать за ним в комиссариат по «касающемуся меня делу». Я, конечно, догадывался по какому, но все равно разыграл, как можно искреннее, свое удивление. Оказавшись перед Сен-Роменом и Гримальди, я счел нужным перейти от удивления к чувству оскорбленного достоинства.

— Что это за махинация? — воскликнул я. — Чего от меня хотят?

Комиссар поставил меня в известность относительно предъявленного обвинения. Вместо ответа я повернулся к Гримальди и дал волю своему отлично разыгранному возмущению:

— И вы смеете утверждать, что отдали мне эти деньги?

Я так хорошо играл роль, что начал сам верить в свою невиновность. Наблюдая за обоими папашами, я с радостью отмечал испытываемое ими смущение. Своим взглядом я как бы говорил Гримальди: «Теперь вам известно, сколько мне лет?» Мне хватило наглости взглянуть и на господина Фу, и тот прочитал в моих глазах: «Как видите, я воспользовался вашими уроками!» Все шло как по маслу, и в какую-то минуту передышки я даже счел возможным посмеяться над судьбой и ее предупреждениями, не предназначенными для расы героев.

Но в мгновение ока из героя превратился в жалкого побежденного. Вошел инспектор и протянул комиссару пакет, вид которого весьма обрадовал господина Фу и господина Гримальди. В пакете оказались банковские билеты, комиссар показал их мне.

— Вам это ничего не говорит?

— Все банковские билеты похожи друг на друга.

— Но эти не совсем обычные, — ответил господин Гримальди с язвительным смехом.

Я пропал. Этот жуткий тип, вполне, между прочим, обоснованно не доверявший моему патрону, переписал номера купюр, которые я должен был отдать тому. Билеты

без труда обнаружились в казино. Обвинение располагало куда большим числом свидетелей, чем требовалось, среди крупье, «физиономистов» и инспекторов по играм, которые видели накануне, как я неосторожно обращался со своей фортуной.

— Ты заслуживаешь каторги, — с убеждением произнес мой патрон.

Несмотря на свои обширные познания по части преступлений, господин Сен-Ромен ошибся. Я был приговорен лишь к двум годам тюремного заключения.

Глава третья

Вероятно, именно в заключении я нашел себя, обретя в размеренном тюремном порядке чувство безопасности, столь необходимое моей слабой натуре. Когда я слышал от моих товарищей рассказы о разных путях, приведших их в наше убежище, я испытывал страх перед лицом свободы, которой пользовались люди, оставленные без присмотра в хаотичном мире, — мире, который вопреки гармонии своих памятников и полицейским на городских улицах таит в себе куда больше опасностей и скрытых угроз, чем леса Амазонки. Я не без страха думал о том дне, когда стены тюрьмы перестанут защищать меня от Неведомого мира.

Однако, когда этот день настал, я был другим человеком и не испытывал больше страха. Два года размышлений принесли свои плоды, позволив определить правила простого и разумного поведения, которые я поспешил разъяснить первому же повстречавшемуся мне приятелю. Этот приятель, которого однополчане прозвали Червем Удачи, служивший в данный момент вышибалой в ночном кабаре, в прежние времена поработал крупье в некоторых сезонных казино, что позволяло ему похваляться тем, что ему был запрещен доступ в игорные дома на всей французской территории.

— Я выкидывал пятерку в трех случаях из четырех, — превозносил он себя.

В то утро (было четыре часа, мы сидели с ним в маленьком кафе в окрестностях площади Бланш) Червь Удачи, успевший поведать мне кое-что интересное из своей жизни, пребывал в мрачном настроении. Я же, выпив не меньше его, чувствовал себя счастливым путешественником, вокруг которого стали рассеиваться туман и тучи и который наконец-то начинает ощущать дружеское тепло солнца. Точно так же и моя судьба представлялась мне осиянной солнечными лучами.

— Не расстраивайся, — сказал я Червю Удачи, — все может случиться, кроме невозможного. Но сначала нужно определить различие между относительной и абсолютной невозможностью.

— А ну повтори, — сказал Червь Удачи, который в столь ранний час не был способен воспринимать абстрактные мысли.

— Вот пример. Ты видишь хозяина бистро? Как ты среагируешь, если я скажу, что он сейчас взлетит, размахивая руками, на крышу противоположного дома? Ты ответишь, что это невозможно, и будешь прав. Это пример абсолютной невозможности. Но с другой стороны, нет ничего невозможного в том, чтобы ты сегодня вечером не оказался в Марселе в объятиях дочери китайского императора.

— Почему в Марселе?

— Это другой пример. Ведь ты допускаешь, что на самолете можешь сегодня добраться до Марселя?

Червь Удачи неохотно согласился с возможностью такого путешествия, заметив, что у него свои причины не появляться в департаменте Буш-дю-Рон.

— Если линия твоей судьбы проходит сегодня через Марсель, тебе под тем или другим предлогом придется туда поехать, — ответил я. — Ведь отнюдь не исключено, что у китайского императора есть дочь и что она приехала в Марсель.

— У этих косоглазых республика.

— Правильно. Ты сам подсказываешь мне причину, по которой принцесса оказалась в изгнании. Разве столь уж невероятно, что женщина обратит внимание на такого типа, как ты?

— Всегда можно найти кого получше.

— И это не так уж невозможно. Как и то, что эта женщина согласится прийти на свидание с тобой...

— ...если она не чокнутая.

— Вполне возможно, что она чокнутая! Благодарю тебя за то, что ты сделал последний мазок на картине, которую я предлагаю твоему вниманию. Все рассмотренные предположения не относились к числу абсолютно невозможных. Общая же суть моей гипотезы относится к области возможного.

— Ты меня заинтересовал, — сказал мой приятель, и лицо его разгладилось. — Я никогда не пробовал китаянку.

— Надо только сначала рассчитать количество шансов, противостоящих такой гипотезе. Не скрою от тебя, что это число близко к бесконечности, но главное в данном случае то, что у тебя есть шанс. Знакома ли тебе самая сильная Красная серия в рулетке?

— Не знаю, — сказал бывший крупье. — Я и так сыт этим по горло.

— Согласно анналам Монте-Карло, Красное никогда не выпадало более двадцати девяти раз подряд. Тем не менее, когда эта необычайная серия кончается, у Красного и Черного есть математически равные шансы выиграть еще раз. В этом случае новая победа Красного более чем невероятна, но возможна. Стало быть, все, что возможно, может стать вероятным, все, что вероятно, может случиться. В игре, как и в жизни, нужен подход, и надо знать заранее, какие номера выигрывают...

Не исключено, что именно от отца в наследство я получил вкус к статистике, склонность к классификациям событий, к раскладыванию конъюнктурных сводок по особым ящикам. Будущее представлялось мне огромным зеленым сукном, судьба — в виде шарика рулетки, а мои новые правила поведения — в виде расчетов в игре, которые мне хотелось испробовать. Ставка же была самая скромная, и мне не грозило много потерять. К моменту, когда мы расстались с Червем Удачи, положение мое было следующим:

Жилье: скромная комната в жалком отеле, за которую надлежало рассчитаться до конца недели.

Финансы: то, что находилось в карманах, не давало даже возможности воспользоваться такси, чтобы доехать до вышеупомянутого отеля.

Костюм: единственная приличная пара. Сорочки, которые обычно более всего изнашиваются в самых заметных местах. К счастью, это не относится к обуви. Если подметки прохудились, следует ступать прямо по земле и молиться, чтобы не было дождя.

Чувства: достаточно горькие. Женщины стремятся заверить в своем бескорыстии лишь богатых мужчин. В отношении остальных они не очень стараются.

Подведя эти итоги и оказавшись на углу улицы Бланш и улицы Фонтен, я почувствовал усталость и остановился на перекрестке. Вероятно, в этот самый момент поднос с двумя артишоками, столь омрачившими мое детство, пронесся в моей памяти, в то время как голос отца подталкивал к принятию решения.

— Бедный мой отец, почему же вы сами решили сесть в ту злополучную лодку? Каждый сделанный шаг приближает нас к нашему предназначению. Если линия моей удачи пересекает улицу Фонтен, разве не ужасно, что ничто не подскажет мне, какую ошибку я совершу, свернув на улицу Бланш? Собаки обладают нюхом, позволяющим им почуять зверя, приближение грозы, а их хозяева пользуются только разумом, своим превосходным разумом, который, однако, не предостерег Наполеона, когда он направился в Ватерлоо, а моего отца, когда он собрался на мирную рыбалку. Лично я не хочу больше доверять этому слепцу, разуму. Подброшенная вверх монета имеет такое же представление о будущем, как и самые светлые умы, самые ловкие расчетчики. Я превращу свою жизнь в игру случая!

— Вам бы лучше пойти спать, — сказал мне полицейский, к которому были обращены последние слова моей речи.

— Если число букв на вывеске первой же лавки у меня за спиной окажется четным, — ответил я, — я пойду по улице Фонтен.

— Согласен, — сказал полицейский.

Число оказалось нечетным. Следуя совету богов, я пошел по улице Бланш.

Фомы неверующие тщетно будут пытаться отвергнуть шанс, давая самые устрашающие имена порожденным им явлениям. Так или иначе, но шанс всегда существует. И

если бы его не было, то в отеле «Плаза» не оказался бы среди постояльцев молодой человек, обладатель дюжины отличных костюмов от лучшего портного и автомобиля, вокруг которого всегда толпились прохожие. Этим молодым человеком был я сам. Сменив имя, чтобы сбить с толку связанные с ним воспоминания, я вообще с трудом припоминал, кто я такой. Относительно происхождения моего процветания говорили много глупостей. Тогда как объяснение было самое простое, и оно станет понятно, коли вы соблаговолите последовать за мной на улицу Бланш месяцем раньше.

Если бы я пошел по улице Фонтен, я бы не встретил на тротуаре улицы Бланш бразильца в вечернем костюме, который, наклонившись над ручьем, держал в руке горевшую зажигалку. Если бы я не остановился рядом с этим забулдыгой, я бы не узнал, что он расстроен потерей брильянтовой запонки, подарка бабушки. Если бы я не нашел эту драгоценность, бразилец не пригласил бы меня подкрепить свои силы вместе с ним. Когда взошло солнце, мы уже были закадычными друзьями.

Только что приехавший в Париж бразилец не знал, что ему делать с деньгами. Поскольку я не испытывал таких затруднений, мы были созданы друг для друга. После обращения за советом к богам с помощью газеты (позднее я изложу суть этого метода) я сумел убедить своего нового друга, что мое богатство не меньше его, в результате чего его кошелек стал моей собственностью. Ничто так не привлекает к себе деньги, как сами деньги. Это напоминает рыбу, кусающую саму себя. У бразильца было несколько товарищей, как и он, не лишенных этой бесценной приманки, с которыми он меня познакомил. Оказывая то одному, то другому разные услуги, перезанимая деньги у одного, чтобы вернуть другому, я сумел поддерживать свое реноме до того дня, когда дядя одного из них, владевший то ли оловянными копями, то ли предприятием по изготовлению удобрений из рыбных отходов, не сделал меня своим доверенным лицом. Сам не зная как, я быстро стал влиятельным деловым человеком, к которому прислушивались с тем большим вниманием, что я был единственным, кто сознавал, что ни в чем не разбирается. Подобный быстрый успех предполагает серию непрерывных удач, так что пора объяснить, каким образом, пользуясь научным методом, именуемым суеверием, я избегал провалов, каждый из которых означал бы мое разорение.

Вопреки общепринятому мнению, богатство сопутствует тем, кто поздно встает, то есть тем, кто не бросается очертя голову в омут дел. Просыпаясь, я требовал принести мне газеты и, не утруждая себя прочтением новостей (газеты ведь пишут о том, что уже случилось, а меня интересовало то, что еще произойдет), кидал взгляд на последнюю букву последней строки в выбранной наобум колонке. Если эта буква была согласной, день обещал быть благоприятным. Если гласной, я понимал, что действовать надо осмотрительно. Сие первое испытание, подобное смоченному пальцу для определения направления ветра, давало, однако, лишь самую общую и суммарную информацию. Моя метеорология обладала куда более сложными правилами.

Если вдоль правой стороны все той же колонки, которую я пробегал глазами снизу вверх, обнаруживались три согласные или три гласные, следовавшие друг за другом вертикально, первая информация подтверждалась или опровергалась. Но благоприятная конъюнктура пяти согласных аннулировала неблагоприятное воздействие трех нанизанных друг на друга гласных, и наоборот (в расчет принимались только группы букв в нечетном количестве, тогда как парные — само собой — были нейтральными). Что касается цифры семь, она выражала неукоснительное предсказание оракула: семь гласных обязывали ничего не предпринимать, и я проводил весь этот печальный день в постели. Семь согласных поднимали меня с постели прыжком, и я бросался навстречу обещанной фортуне. Я излагаю мою систему в самых общих чертах, хотя она содержала ряд меньших по значению механизмов, описание которых заняло бы слишком много места.

Прошу только не делать ошибку, полагая, что эта система имеет какое-то родство с гаданием на картах, астрологией и другим вздором, предназначенным для наивных людей. Для меня кофейная гуща всего лишь горькая жижа, а ключ к снам значит не больше, чем гадание на ней. Точно так же я не считаю, что внутренности цыпленка содержат что-то иное, кроме зерен проса или остатков улитки. Мое изобретение являло собой весы для взвешивания предчувствий, некую решетку, которая просеивала обстоятельства, пробирку для анализа возможностей. Как и Наполеон, я считал, что расчет может одержать по-

беду над Случаем, как Пифагор — полагал, что у больших чисел есть свои достоинства, и я не сомневаюсь, что, если бы Буриданов осел умел играть в орла и решку, он не помер бы от голода.

Глава четвертая

Ранним утром этого летнего дня мой оракул объявил мне о том, что я ее встречу. Мне неизвестно было только ее имя, и я никогда не видел ее в лицо. Свое имя она назвала сама, ибо никто не представил нас друг другу. Ее лицо явилось мне в отблеске луны между двумя наплывами теней, за которые цеплялись кружева старинного вальса. Она так походила на образ из моих снов, что я тотчас узнал ее.

— Лелиа...

Я назвал ее по имени в первый же вечер. Мы вместе ушли с приема, который устроил один из друзей бразильца в саду Булонского леса, и я проводил ее до порога дома.

— Вам, разумеется, известно, что мы встретимся снова, — сказал я ей, когда мы расставались.

Моя уверенность подтвердилась на следующее же утро при первом взгляде, брошенном на газету. Никогда еще согласные так радостно не толпились вдоль длинной линейки, разделявшей их дружественные группы. Никогда еще гласные, разбросанные, подобно отступающим в панике войскам, не играли столь ничтожной роли в алфавите. Мой взгляд скользил вдоль напечатанной колонки, где были собраны новости о железнодорожной катастрофе, страшном пожаре, угрозе войны, убийстве и резне, а буквы, собравшиеся на краю этих дымящихся строчек, составляли нежнейшие послания:

— Она думает обо мне...

— Ты увидишь ее вечером...

— Ты будешь ее возлюбленным...

К чему приводить подробности моего счастья? Любовные откровения счастливчиков часто надоедает слушать, тогда как изложение любовных передряг всегда встречает у собеседника больший интерес, чем описание блаженства, которого многим не дано узнать. Таковы мужчины, если о них судить по мне самому. Поэтому я и пропущу рассказ о нескольких упоительных неделях, чтобы подойти к тому, что способно пробудить любопытство читателя, не вызвав с его стороны чувство зависти.

Лежа не в своей постели, я проснулся однажды под звуки арии из оперы «Богема», доносившейся из соседней комнаты. Будучи сама нежность и красота, в сочетании со всеми другими возможными женскими достоинствами, Лелиа, при ближайшем рассмотрении, обнаруживала лишь один небольшой недостаток: она была певицей и мечтала выступать в Комической опере. Спешу сказать, что этот недостаток мог бы выглядеть таковым лишь в глазах беспристрастного судьи. Для меня же, подчиняющегося законам, чтимым любовниками, чья страсть не имеет границ, утренние часы обладали бы большим очарованием, если бы их мирное течение не нарушалось музыкой Массне или Леонкавалло.

Подчас, одетая в легкий пеньюар, Лелиа, прервав вокализы, входила в комнату, где я притворялся спящим, чтобы разбудить меня поцелуем. Сегодня, когда она появилась, глаза мои были открыты.

— О чем ты думаешь?

— О том, что называется чудом, — ответил я. — Разве не чудо наша встреча? Ты родилась в Алжире, а я в Париже, близ Порт-Сен-Дени. В момент твоего рождения я, возможно, играл после школы на улице.

— Я родилась в одиннадцать часов вечера, — сказала она.

— В этот час я спал на своей железной кровати с медными шарами. Возможность грядущей любви между спящим мальчуганом и красивой девочкой, в которую превратится новорожденная, была самой незначительной. Если бы ангел вздумал держать пари на эту возможность, божественный букмекер не шибко рисковал бы, приняв у него ставку в размере десять миллионов против одного. И тем не менее ангел бы выиграл.

— Разве это не чудесно? — спросила Лелиа смешливо.

— Чудесно и тревожно. Чудесно для того, у кого ничего нет и кто надеется, что шанс обрести неожиданное состояние никогда не исключается из теории вероятности. Но может ли мужчина, как я, уже обладающий сокровищем, быть уверенным, что у него его не похитят?

Почему я сказал это? Лелиа ушла, бросив напоследок улыбку, и я остался один, смущенный продолжавшим звучать во мне эхом собственных слов. Рядом как раз лежала газета. Я поспешно развернул ее и убедился, что сегодня перевес не на стороне согласных.

— Есть ли у меня основания для беспокойства?

— Вероятно, — ответила буква «е».

— Это касается нашей любви?

И тотчас другое «е», а затем и «а» и «у» соединили свои силы, чтобы подтвердить обоснованность моего беспокойства. Группами по две и по три гласные выстраивались по вертикальной линии, и между ними терялись некоторые редкие согласные, бессильно и без всякого смысла фигурируя в парном сочетании и глядясь дрейфующими обломками кораблекрушения или останками моего разрушенного счастья.

Напевая, Лелиа вошла в комнату.

— Я не смогу с тобой ужинать сегодня вечером, дорогой. У меня хорошие новости, — сказала она, присаживаясь на постель.

И, сделав паузу, чтобы подчеркнуть значение своих слов, важно произнесла:

— Я ужинаю сегодня с администратором Комической оперы.

Ужин, на который меня не пригласили, дан был господином Эме Лефранком. Моя подруга не раз говорила об этом влиятельном господине, возглавлявшем газету «Порядочность», она читала ее каждое утро, который, будучи большим любителем музыки и театра, испытывал по отношению к Лелии восхищение, не дававшее мне пока оснований считать, что оно не было исполнено глубокого уважения. На другой день Лелиа сказала, что довольна проведенным вечером, но не сообщила никаких подробностей относительно того, что там произошло. В последующие дни мне удалось лишь узнать, что благодаря тактичной поддержке господина Лефранка дело ее было на мази, но она никак не объяснила причин, побуждавших директора «Порядочности» действовать в ее интересах. К несчастью, колонки этой газеты, читаемые в вертикальном порядке, согласно изложенному выше методу, были куда менее сдержанны, чем Лелиа, и каждый день, пробегая их, я ощущал то же самое, что испытывает человек, получающий анонимные письма. На мои сначала невинные, а затем все более настойчивые вопросы Лелиа отвечала насмешками и с оскорбленным видом отвергала подозрения, которые мне действительно нечем было подкрепить. Не мог же я раскрыть ей источники моей информированности, не поставив себя в смешное положение. Так что мне пришлось искать другие способы проверить справедливость слов оракула.

Потеряв терпение, я отправился однажды вечером в редакцию «Порядочности», где заявил, что должен сообщить директору издания совершенно конфиденциальное и большой важности известие. В приемной, куда меня ввели, я увидел стопку газет и начал по привычке подсчитывать число гласных и согласных. И тут оракул, столь же переменчивый, как стрелка барометра, стал показывать хорошую погоду: выходило, что от встречи, которой я так опасался, мне не надо ждать ничего плохого.

— Давно пора тебя изобличить, — проворчал я. — Твои бесконечные предупреждения привели меня в это место лишь для того, чтобы получить подтверждение своему несчастью. И теперь ты еще меня призываешь быть оптимистом? Что означает такой поворот?

Я не успел получить ответ на свою гневную тираду. За мной пришел курьер, и я последовал за ним, размышляя над тем, каким образом моим провидцам удается выпутаться из ситуации, в которой они оказались.

— Мой отец в поездке, но вы можете рассказать мне все, как ему самому.

Эти слова произнесла встретившая меня молодая девушка, и я был настолько удивлен, что поначалу не оценил ее любезность. Но едва начал произносить вступительную

фразу, сам не зная, чем ее закончить, как мадемуазель Лефранк, сидевшая в кожаном кресле и наполовину скрытая огромным дубовым столом, показалась мне примулой, попавшей в бухгалтерский кляссер.

— Слушаю вас, сударь, — сказала она с серьезным видом, который был ей очень к лицу.

Я смотрел на нее с таким любопытством, что она опустила глаза. Мне абсолютно нечего было сказать мадемуазель Лефранк. И тем не менее наша беседа, начавшаяся в половине седьмого, закончилась лишь за полночь.

Едва покинув ее, я расхохотался.

— Друг мой, Червь Удачи, разве я не оказался прав? — воскликнул я. — Разве можно считать абсолютно невозможным, чтобы дочь китайского императора обратила на тебя внимание!

И я вообразил себе свой разговор в утро перед визитом с Судьбой, если бы она удосужилась изъясняться без обиняков.

— Еще до конца этого дня, — сказала бы она, — ты будешь держать в объятиях дочь твоего соперника. На что я бы ответил:

— Быть того не может!

— Но такова *относительная,* а не *абсолютная* невероятность.

— Я даже не знаю, есть ли у этого Лефранка дочь.

— Вполне возможно, что у него она есть.

— Разумеется, но мне нужно увидеть ее отца.

— Он может быть в отъезде.

— Допускаю. Но его дочь...

— ...может оказаться в кабинете и, заинтересованная твоими словами, примет тебя вместо отца.

— О чем же прикажешь с ней говорить?

— Я ждала этого вопроса: твое замешательство позабавит ее.

— Я сразу распрощаюсь.

— Разве *абсолютно* невероятно, что мадемуазель Лефранк окажется красивой?

— Конечно, нет, но я влюблен в Лелию.

В этом месте Судьба начала бы смеяться, что с ней случается довольно часто.

— Мне хорошо известна хрупкость вечных чувств! — произнесла бы она. — Можешь ли ты поклясться, что не способен увлечься другой женщиной? Что не забудешь о цели своего визита? Что не захочешь продлить очарование столь неожиданной беседы?

— Это маловероятно.

— Но не невозможно.

— А с чего бы этой молодой девушке включиться в игру?

— Может быть, она пребывала в грустном настроении. Может быть, ей не захотелось в отсутствии папы ужинать в одиночестве.

— Я что, буду с ней ужинать?

— Я вижу очень милый ресторанчик на берегу Сены, благожелательные небеса над вами, приглушенный свет, скрипач, возникший из темноты, чтобы позволить вашим взглядам сказать то, что не рискуют произнести уста, прогулку вдоль ласкающей берег темной и позолоченной воды, руку, которая не отталкивает твою... Короче, тебе не захочется, чтобы ночь кончилась.

— И как она кончится?

— Целомудренно.

— А ведь ты же сказала...

— На пороге дома ты обнимешь ее. Ты получишь лишь короткий прощальный поцелуй. Но этот поцелуй завершит твою победу. И ее тоже.

Как бы я ни был искушен в причудах Судьбы, я бы не поверил подобным предсказаниям. *Но то, что может показаться невероятным в будущем, ставши прошлым, представляется вполне естественным.* Вспоминая каждую подробность этого вечера, я не мог припомнить ни одной, которая бы имела характер чуда. Мне пришлось согласиться с тем, что все, что должно случиться, сбывается, и что я влюбился в Женевьеву. Так после нашей прогулки по набережным я стал называть мадемуазель Лефранк.

Столь озаботившее меня предсказание не оказалось, однако, ложным. Моей любви к Лелии грозила опасность. Но эта опасность, вместо того чтобы воплотиться в грузного господина, каким я себе представлял Лефранка, явилась в образе его прелестной дочери, и я почувствовал себя, словно по мановению волшебной палочки, освобожденным от вызванной Лелией ревности. Мой восторг не был бы таким полным, если бы я не считал фонари, мимо которых проходил. Я загадал нечетное число, и каждый раз выходило именно нечетное.

Все, казалось, способствовало моей новой любви. На другой день Лелиа сообщила мне, что отправляется в Виши обсудить контракт. Она уезжала на два дня, и только по ее возвращении я осознал, что ее путешествие длилось неделю. Эту неделю я подарил Женевьеве, которая в отсутствии отца была тоже совершенно свободна. Возвращение Лелии, чья короткая отлучка сделала ее еще более нежной, вызвало у меня ощущение некоторой неловкости. Я почувствовал угрызения совести, которые старался погасить, твердя сам себе, что не верю в свободу выбора, что я ведь не знал, что влюблюсь! Что же касается неловкости, то она исчезла бесследно, и вскоре я смог без помех вкушать невероятное счастье, любя Лелию и Женевьеву одновременно. Я их любил настолько по-разному, что мое неискушенное сердце всецело принадлежало той, рядом с которой я находился в данную минуту, не обременяя свою совесть воспоминаниями о другой.

— Надо остановиться на одной, — твердил мне рассудок.

— Конечно, — отвечало сердце, — но на какой?

Затруднение с выбором на сей раз обладало некоторым очарованием. И я не торопил Судьбу принять за меня решение, отсрочка которого, как подтвердил ход дальнейших событий, была в моих интересах.

Глава пятая

Первый признак приближающейся грозы появился однажды после полудня на бульваре Капуцинок. Я мирно прогуливался с Лелией, когда мое внимание привлек один прохожий. Господин Гримальди, о котором я и думать перестал давным-давно, собственной персоной направился нам навстречу с самой омерзительной улыбкой на лице. Но гримаса эта была адресована не мне, а Лелии, с которой он поздоровался, казалось не обратив на меня никакого внимания.

— Кто это? — спросил я, как можно более безразличным тоном у своей подруги.

— Один из тех, кого встречаешь повсюду, — ответила она.

Я оглянулся и перехватил взгляд господина Гримальди, обращенный на сей раз ко мне.

Когда мы позднее встретились с Женевьевой, она удивилась моему дурному настроению. Как ни пытался я казаться беспечным, у меня из головы не шла эта встреча и возможные ее последствия. От Гримальди и Лелии, к Лелии и Лефранку, от этого последнего к Женевьеве как бы протянулся бикфордов шнур. Малейшая нескромность со стороны монакского жулика могла спровоцировать серию взрывов, и моему счастью пришел бы конец. Испытываемый страх пролил свет на суть моих запутанных отношений. Женевьеву я любил больше. Опасаясь разоблачений, связанных с прошлым, которого до сих пор нисколько не стыдился, я думал лишь о ней.

Напуганный опасностью, грозившей мне из-за моей двойной игры, я решился на трудный выбор. Но, дабы подстраховать себя, передоверил ответственность богам. Увы, колонки газет, вывески, номера дверей, плиты, фонари и даже монеты — все высказывались в пользу Лелии. Ничто не принуждало меня продолжать связь с Женевьевой, ничто, за исключением моего сердца.

— Должен ли я жениться на Женевьеве?

— Нет!

Я повторял вопросы, менял правила игры, пробовал мошенничать, я злился на себя самого, сердился на своего нематериального партнера, чье упрямство могло сравниться лишь с моей недобросовестностью, — ничто не сбивало его с толку. Подчас, пытаясь уличить его в противоречиях самому себе, я подходил к вопросу с другой стороны:

— Следует ли мне забыть Женевьеву и остаться верным Лелии?

— Да, — отвечала Судьба без малейшего размышления.

Тогда я посылал Судьбу ко всем чертям.

— Что это за тирания! — вопил я, — если нельзя поступать так, как хочешь! — И откладывал решение на другой день.

Женевьева рассказала мне про благотворительный вечер, на котором хотела присутствовать. Для меня это не было новостью. Лелиа репетировала большую арию из «Орфея», которую должна была петь на том же вечере. Музыка Глюка много раз проникала в мои сны, и я просыпался с печалью в душе, словно потерял одну Эвридику, отдав предпочтение другой. Я попробовал отговорить Женевьеву от ее намерения.

— Нет ничего более скучного, чем эти благотворительные гала.

— Там будет весь Париж, — ответила она.

Такой ответ не мог меня убедить. Но так как я не имел сил в чем-либо отказать Женевьеве, а с другой стороны, не хотел обидеть Лелию, не придя ее послушать, я занял самую отдаленную ложу бенуара, чтобы моя возлюбленная не увидела меня рядом с невестой. Все могло бы оказаться еще скучнее, чем я предполагал, не держи я руку Женевьевы в своей руке и не любуйся ее оголенными плечами, которые видел в первый раз.

— Зачем мы пришли сюда? — лицемерно вздыхал я, лаская взглядом ее красивые плечи.

— Я вам это объясню в свое время, — отвечала она. Интерес Женевьевы пробудился, едва на сцену вышла Лелиа. Она обернулась ко мне и прошептала:

— Мне нужно было ее увидеть.

Я сделал вид, что ничего не понимаю.

— Кого?

Женевьева движением руки указала на сцену, где Лелиа как раз начала петь.

— Она довольно красива, не правда ли? — сказала Женевьева.

В этот момент муки моего смущения могли сравниться лишь со страданиями Лелии—Орфея.

— Она не умеет петь, но я понимаю мужчин, которым она нравится.

Я осторожно покачал головой. Отрицать было бесполезно, но мне захотелось попытать счастья.

— Вам известен человек, которому она особо нравится?

— Да, этого человека я очень хорошо знаю.

Я продолжал молча вопрошать ее.

— Это мой отец, — сказала она. — Она провела с ним неделю в Виши.

И снисходительно добавила:

— Бедный папа, надо же ему время от времени развлекаться!

Едва оставшись один, то есть тет-а-тет с оракулом, я обрушил на него всю горечь моих сарказмов.

— И ты еще советовал мне соблюдать верность Лелии! Даже такая невинная девушка, как Женевьева, знает больше тебя! Либо ты несешь вздор, либо предаешь меня...

И уже ни с кем не советуясь, я решил не только не встречаться больше с Лелией, но и не обращать внимания на приметы. Разве нужны мне были теперь чьи-то советы? Закаленный жизненным опытом, любимый Женевьевой, я имел все основания считать, что будущее принадлежит мне. Просто следовало вести себя умнее.

Я решил, что поступлю правильно, попросив Женевьеву представить меня своему отцу. Важно было добиться того, чтобы он увидел меня в качестве жениха дочери до того, как узнает от досужих кумушек, что я тоже небезразличен к прелестям его любовницы. Женевьева была тронута моим порывом. Едва господин Лефранк оказался в Париже, она тотчас поговорила с ним. И как потом сказала, тот проявил ко мне интерес, и было решено, что наша встреча состоится за обедом на следующий день.

Едва проснувшись в то утро, я ощутил какое-то смутное беспокойство. Попробовал было читать газеты, как все, то есть слева направо, а не снизу вверх, интересуясь содержанием статей, а не вертикальным расположением составлявших их букв, но такой метод

чтения, к которому я был непривычен, быстро утомил меня, и я вовсе отказался от чтения. Вплоть до одиннадцати часов я тщетно пытался победить страх, поселившийся во мне при пробуждении, не прибегая к помощи отвергнутой мною и осужденной теперь практике. Наконец я встал и, полный желания произвести как можно лучшее впечатление на будущего тестя, самым тщательным образом оделся. Темный костюм был выбран почти без колебаний. Сорочка и обувь тоже не составили затруднений, а вот с галстуком возникла проблема. Отвергнув по очереди несколько галстуков, я оказался не способен выбрать один из двух оставшихся. «Белый горошек на черном фоне или в серую полоску?»

Я с яростью почувствовал, что мной снова овладела моя слабость. Совершенно очевидно, что лишь один из двух галстуков был «подходящим», способным принести мне удачу во время торжественной встречи, к которой я готовился. Я положил оба на мраморную доску камина, тщетно стараясь обнаружить в себе хоть признак решительности.

— Не имеет значения какой! — энергично заявлял я.

— И все-таки который? — с сомнением вопрошал себя в следующую секунду.

Времени у меня уже не было, и, закрыв глаза, я протянул руку к галстукам. Открыв их, я увидел, что рука легла на галстук с горохом, и уже схватил было его, когда он выскользнул и подобно мертвой змее свалился на ковер. Вряд ли кто-либо не увидел бы в этом предзнаменования. Все еще не зная, на котором остановиться, когда часы пробили время, я поспешно завязал тот, что в полоску, а другой, в горошек, положил в карман в качестве амулета.

Свидание было назначено на час дня в холле моей гостиницы. Спустившись туда, я все еще был недоволен собой и во власти предчувствия, которое часто называют неясным и которое лучше всего можно было объяснить предупреждением, сделанным мне галстуком в горошек. Не отрывая глаз от двери в ожидании прихода Женевьевы и ее отца, я прислушивался к разговору администратора с одним из клиентов по поводу отплытия парохода: «Вы прибываете в Монтевидео 27-го...» Мне и самому захотелось заказать каюту на пароходе, отплывающем в Монтевидео, чтобы избежать подстерегавшей меня опасности, характер которой я никак не мог установить. В зеркале за администратором я видел свое обеспокоенное лицо и всячески пытался придать ему безразличное выражение. Мне это удалось, и я даже выдавил самоуверенную улыбку, когда внезапно вспомнил другую, вызвавшую у меня страх, — гримасу господина Гримальди за несколько минут до того, как господин Фу, он же Сен-Ромен, вместо прощания произнес: «Ты заслуживаешь каторги».

Я так резко обернулся, что администратор вздрогнул, но Гримальди в холле не было. Я было усомнился в безошибочности своего предчувствия, но тут мимо меня прошел, будто вынырнув из небытия в ответ на призыв моего воображения и подчиняясь невольному заклинанию, сам господин Фу, он же господин Сен-Ромен, он же господин Жером. Я не видел это чудовище с того самого дня, как он передал меня в руки полиции, и был буквально сражен его появлением. Было слишком поздно отворачиваться, и мои завороженные глаза встретились с его.

— Как поживаешь? — спросил он, разглядывая каждую деталь моего костюма.

И протянул мне руку, смеясь, словно мой вид напомнил ему добрую шутку, а затем, покачав головой с притворно восхищенным видом, добавил:

— Похоже, ты в прекрасной форме. Кто тебя одевает?

Мы обменялись соображениями относительно заслуг парижских портных, а потом, прервав разговор, он взял меня под руку и отошел от стойки администратора, чтобы нас никто не слышал.

— Я рад, что ты сумел выбраться из той передряги, — сказал он. — Я иногда жалел, что расстался с тобой.

Я с беспокойством поглядывал на дверь. Знакомый со всеми, господин Жером, безусловно, знал, кто такой господин Лефранк. Не угрожает ли мне какой-либо шантаж, если наша встреча с Женевьевой и ее отцом произойдет на глазах моего бывшего патрона? Он неверно истолковал выражение моего лица.

— Не беспокойся. О прежнем забудем. Считай, что ты заплатил все сполна. Только дураки станут упрекать тебя за ошибки молодости.

И хотя я обрадовался обороту, который принял наш разговор, мне не терпелось от-

делаться от столь сердечно настроенного бывшего патрона. При первой же возможности я пожал ему руку и устремился в телефонную кабину, чтобы как-то прийти в себя. В стеклянной двери кабины я увидел свое отражение в галстуке в полоску, который, как я надеялся, должен был принести удачу. После состоявшейся встречи было бы трудно не признать свою ошибку. В одно мгновение я заменил его вытащенным из кармана галстуком в горошек, надеясь, если еще не поздно, этой постыдной жертвой ублажить богов, разгневанных моей недоверчивостью.

Когда я вернулся в холл, первая, кого я увидел, была Женевьева. Она была одна.

— Папа тут, он сейчас подойдет.

Проследив направление ее взгляда, я увидел неподалеку от нас седого, одетого в светло-серый костюм с розеткой ордена Почетного легиона в петличке господина, беседовавшего с человеком, в котором я без труда узнал все того же Жерома Сен-Ромена.

— Куда бы мы ни пошли с папой, он всюду встречает какого-нибудь приятеля, — сказала, улыбнувшись, Женевьева.

Несмотря на свое незавидное положение, я продолжал надеяться, что Судьба избавит меня от еще худших испытаний и что стоявший ко мне спиной господин Жером уйдет, не заметив меня. Но эта надежда вскоре исчезла. Пожав руку человеку с орденом, он направился к нам, в то время как Женевьева сама спокойно пошла ему навстречу.

— Папа, — сказала она моему бывшему патрону, — позволь тебе представить...

Господин Жером Фу, он же Сен-Ромен, в те времена, когда его еще не называли господином Лефранком, учил меня никогда не торопиться с ответом. Он говорил, что человек, оказавшийся в затруднительном положении, должен посчитать до пяти, прежде чем открыть рот. По возникшей паузе я понял, что он следует собственному совету.

— Я был с ним знаком под другой фамилией, — спокойно сказал он Женевьеве.

Он еще раз оглядел меня с головы до ног, продолжая, как и я, искать предлог, чтобы расстаться. Внезапно его взгляд замер. Словно чем-то заинтригованный и как бы отказываясь что-либо понимать, отец Женевьевы покачал головой.

— Я бы выбрал другой галстук, — сказал он.

И, взяв под руку ошарашенную Женевьеву, направился с ней к двери.

В тот вечер в компании бразильца я основательно напился и, когда взошло солнце, признался другу, что намерен покончить с собой из-за несчастной любви. Бразилец с восторгом поддержал мое намерение и заверил, что не переживет меня. Мы пожелали друг другу удачи и встречи в лучшем мире. Вернувшись к себе, я заснул, так и не выполнив свое намерение.

Утром меня разбудил телефонный звонок. Не успев припомнить вчерашние события и принятое в связи с ними решение, я услышал от администратора, что меня немедленно желает видеть господин Лефранк. Я поспешно вскочил с постели, кое-как причесался, накинул халат и стал ждать, медленно считая:

— Раз, два, три, четыре...

Я загадал нечетное число. В дверь трижды постучали, что вопреки всем ожиданиям сулило мне некоторую надежду. Мой бывший патрон начал с того, что стал поливать меня необычайно изощренными оскорблениями, но когда перешел к делу, его красноречие иссякло. В этот момент я сообразил, что Женевьева, которой теперь было все известно, не разлюбила меня. Короче, передо мной предстал растерянный Лефранк, который, чтобы прикрыть свое отступление, еще продолжал отдавать распоряжения.

— Ты отправишься путешествовать. Ты пробудешь за пределами Франции год... Хочешь денег?

Следуя его совету, я посчитал до пяти, после чего любезно открыл дверь, приглашая гостя покинуть помещение.

— Поскольку вы смеете усомниться в чистоте моих намерений...

Он не дал мне продолжить, возобновив свои обвинения и чередуя их с воспоминаниями о прошлом. Я невозмутимо ждал, когда разъяренный, но уже обессиленный бык станет доступным для удара.

— Только дураки способны упрекать меня за ошибки молодости, — заметил я ему, едва он смолк.

Эта его собственная цитата положила конец борьбе. Враг был укрощен. Он не признал поражения, не раскрыл мне объятия, но теперь я знал, что у этого сильного человека есть слабое место — его дочь, а она любила меня, и скоро моя победа будет окончательной. Еще мгновение — и мне ничего другого не останется, как почувствовать неуместное умиление. И когда зверь с увлажненным взором прошепчет: «Обещай сделать мою дочь счастливой», я вложу свою руку в его и стану испытывать к господину Жерому самую нелепую симпатию.

Но тут послышались поспешные шаги и в открытую дверь влетела женщина, которая устремилась в мои объятия. Это была Лелиа.

— Я успела вовремя, — произнесла она с рыданиями в голосе.

Позднее я узнал, что, протрезвев, бразилец вспомнил о моей угрозе. Не сомневаясь, что всему виной Лелиа, он поспешил предупредить ее о моем замысле. Репетировавшая со своим профессором «Тоску» и лучше других сознавая свою вину, она примчалась мне на помощь и, еще не остыв от драматургии Сарду, решила разыграть сцену, которой не хватало только музыки Пуччини. К сожалению, эту сцену наблюдал еще один зритель.

Лелиа не сразу заметила господина Лефранка, но когда после поцелуев подняла залитые слезами глаза и увидела его, это ничуть ее не удивило. Ей и в голову не могло прийти, какая искусная интрига свела всех персонажей нашей драмы в этом номере.

— Это он, — сказала она, указав на меня моему сопернику, — это он нуждается во мне!

И, дабы не осталось ни малейших сомнений, добавила, прижимая меня к своему сердцу:

— Прости меня! Я не знала, что ты так меня любишь!

Глава шестая

Сей последний эпизод, во время которого Судьба обрекла меня на пытку несбыточной надеждой, прибегнув к изощренности, не оставившей сомнений относительно ее намерений, лишь укрепил меня в принятом накануне решении. Лефранк ушел, не произнеся ни слова. Вся еще трепещущая от своего поступка, Лелиа вернулась к репетиции, полагая, что финальная сцена уже сыграна. Я же остался один, сознавая, что опустившийся занавес отнюдь не положил конец моим испытаниям. Лефранк несомненно расскажет Лелии о моем романе с Женевьевой, а Женевьеве станет известна моя связь с Лелией. Но не эти неизбежные последствия драмы подталкивали меня уйти окончательно со сцены. Я решил это сделать по той причине, что мой прежний союзник, Случай, изменил мне самым недостойным образом, словно после серии из двадцати девяти успешных ставок шарик единственный раз в истории игр выпал снова на Красное, чтобы окончательно добить проигравшего.

Игроки более склонны к самоубийству, чем другие смертные с менее изощренным воображением, которые, пережив катастрофу в битве с превратностями судьбы, возвращаются, смирившись, на пепелище, к своему муравьиному существованию. Игрок же, преисполнившись гордыни в результате столь же грандиозного, как и удача, невезения, чувствует себя античным героем и совершенно естественно начинает подумывать о достойном древнегреческой трагедии финале. С тех пор как любовь заставила меня оттолкнуть невидимую и направляющую руку Судьбы, все случившееся со мною было отмечено печатью неизбежности, и с этим не имело никакого смысла бороться.

У меня не возникло сомнений по поводу выбора средств, к которым надо прибегнуть, и я не собирался испрашивать совета богов, уже доказавших свою злопамятность. Положив в карман револьвер, с которым больше не расставался, я почувствовал некоторое облегчение. С печальной безмятежностью прогуливался я по Парижу до самого вечера, прощаясь с любимыми местами и снисходительно улыбаясь веселому оживлению прохожих.

Когда наступила ночь, я приготовился написать Женевьеве прощальное письмо. Но, подумав, что больше не увижу свою любимую, с негодованием восстал против своей

слабости. Раз я решил умереть, раз исключил себя из общества живущих людей, к чему было подчиняться общепринятым условностям? Кто мог помешать мне поступить по своему усмотрению, отправиться к Лефранку, взломав, коли потребуется, дверь, и заставить Женевьеву выслушать меня, уверить ее в своей любви? В моей искренности она сможет убедиться на другой день, когда газеты сообщат о моей смерти.

К тому же я надеялся, что не застану дома Лефранка, который, как говорила мне Женевьева, каждый вечер отправлялся в редакцию своей газеты. Женевьева скорее всего была дома. Не требовалось прибегать к помощи сверхъестественных сил, чтобы представить себе то, что произошло в течение дня: Лефранк наверняка поделился с дочерью теми сведениями, которые узнал от Лелии, и его разоблачения вряд ли могли побудить Женевьеву отправиться в город ужинать или пойти в театр. Это предположение лишь укрепилось, когда я пришел на маленькую улочку в районе Пасси, где в глубине находился особняк, в котором жила Женевьева. За шторами ее окна виднелись полоски света. Ее комната на первом этаже выходила в темный тупик, куда я и направился. Приблизившись к окну, из которого падал свет, я с радостью увидел, что оно приоткрыто. Неужели Судьба решила оказать мне последнюю милость, подобную глотку рома приговоренному перед казнью?

Я тихо позвал ее, но, не получив ответа, миновал ограду, отделявшую меня от освещенного окна, и тихо постучал по стеклу. Потом, убедившись, что никто за мной не следит, я подтянулся на руках и оказался один перед приготовленной ко сну и оставшейся нетронутой постелью. Растроганный видом этой постели и знакомым запахом духов, я застыл на месте, пока над моей головой не послышался шорох.

Я вышел в коридор с лестницей в глубине и двинулся вперед, на удивление легко ориентируясь в доме, где до сих пор ни разу не бывал. Я шел с непринужденностью человека, которому нечего терять. Но как только у меня под ногами скрипнула ступенька, я подумал, что может появиться слуга и поднять тревогу. Вынув для храбрости револьвер, который, впрочем, собирался использовать лишь против самого себя, я по привычке считал ступени. Их оказалось восемнадцать. Прежде я бы остался доволен комбинацией из двух цифр, сумма которых составила девятку, не раз благоприятствовавшую мне, но сегодня я отверг подобное поощрение со стороны обманчивой арифметики.

Достигнув площадки второго этажа, я очутился перед двумя закрытыми дверями, столь похожими друг на друга, что почувствовал вновь готовность уступить своей обычной нерешительности. Я искал средство, способное оказать давление на мою волю, но, не смея прибегнуть к отвергнутому мною методу, решил привлечь внимание Женевьевы легким покашливанием. На мой кашель, прозвучавший подобно грому, в соседней комнате ответил стук сдвинутого с места кресла. Чуть тише, дабы не испугать Женевьеву, я кашлянул снова. На этот раз послышались шаги, затем одна из дверей открылась и появилось обеспокоенное лицо господина Лефранка.

Одним прыжком я оказался рядом с ним. Угрожая револьвером и не замечая полного несоответствия между моими воинственными жестами и словами, я постарался его успокоить.

— Вам нечего волноваться, — сказал я ему тихо. — Где Женевьева?

— Жалкий подонок, — прохрипел он. — Я доберусь до тебя.

— Можете со мной расправиться хоть сейчас, — ответил я, протянув ему револьвер. — Вы окажете мне огромную услугу.

Он отступил, и я вошел следом за ним в комнату, которая служила ему кабинетом. Его искаженное страхом и гневом лицо выглядело довольно забавным. Явно ожидая подвоха, он не решался протянуть руку за вожделенным револьвером.

— Скажите только, где Женевьева. Я не желаю ей зла.

— Положи револьвер, тогда скажу.

Я слишком хорошо знал этого человека, чтобы поверить ему на слово. И тем не менее положил револьвер на отделявший нас друг от друга стол.

— Вам, видно, очень хочется завладеть этим предметом?

— Я не трону его, — ответил он.

— Разве вам можно верить?

— Даю свое честное слово.

— В таком случае перед вами доказательство моей доброй воли, — сказал я, не обращая внимание на его бесстыдный ответ.

Едва я отошел от стола, как он схватил оружие и направил его на меня.

— Стой, иначе я выстрелю.

Его бесчестность, которая, разумеется, не была для меня новостью, вызвала с моей стороны только смех. Презрение к жизни придавало мне необыкновенную самоуверенность. «Неужто это и есть храбрость?» — подумал я, радуясь превосходству над стоявшим напротив негодяем. Повернувшись к нему спиной, я направился к двери.

— Я сам найду Женевьеву, — сказал я ему.

Он снова крикнул: «Стой!» — и схватил телефонную трубку.

Я понял, что он собирается вызвать полицию. Этого я не предусмотрел и осудил себя за такое легкомыслие.

— На этот раз тебя запрут на больший срок.

Он не успел окончить фразу, как я набросился на него, стараясь вырвать револьвер. Раздались два выстрела, и я упал, уверенный, что ранен, и удивленный тем, что не испытываю боли.

Поднявшись и освободив ногу от телефонного провода, ставшего, по-видимому, причиной моего падения, я обнаружил, что в доме царила мертвая тишина. Таким же мертвым было тело господина Жерома, лежавшего у моих ног с револьвером в руке.

Последнее обстоятельство сразу поразило меня. Ничто в комнате не говорило о нашей короткой схватке за исключением сброшенного на пол телефона, который я поставил на место. «Разве теперь кому-нибудь придет в голову, что господин Лефранк не покончил с собой? Если мне удастся выбраться из дома так же незаметно, как я вошел, никто не узнает, что я был тут».

Такая мысль молнией пронеслась в моей голове в ту самую минуту, когда я решил было забрать оружие из руки, сумевшей так прекрасно им воспользоваться.

«А если будет признано самоубийство, есть ли у меня теперь основания покончить с собой? Когда Женевьева перестанет быть безутешной сиротой, кому-то придется ее утешить. А кто лучше меня сумеет дать ей счастье, препятствием которому был только ее отец?»

Не успел я всецело отдаться порожденному этим размышлением абсурдному оптимизму, как меня остановила другая мысль.

«Ты бросаешь тут оружие, которым сам собирался воспользоваться этой ночью. Ты, стало быть, идешь *безоружным* навстречу своей судьбе, которую легко предвидеть? Инстинкт самосохранения тебя обманывает, друг мой. Никто не поверит тому, что господин Лефранк покончил с собой!»

Я оглянулся. А почему не поверит? Когда я влез в окно, дождя не было. Здесь не найдут моих следов. Руки в перчатках не оставили отпечатков пальцев...

«Но, — услышал я другой голос, — даже если допустить, что все обстоятельства играют в твою пользу, остается ответить на главный вопрос. Мужчина не убивает себя просто так. Почему господин Лефранк покончил с собой?»

Представив себя следователем, я повторил вопрос: «Почему он покончил с собой?» — и, несмотря на все усилия своего воображения, не смог найти ответа.

— Никто и не найдет ответа! Версию самоубийства не станут даже рассматривать. Через несколько часов твое имя будет в списке подозреваемых. Ты жених его дочери, любовник его возлюбленной — все против тебя. Завтра вечером ты окажешься в тюрьме, если не возьмешь этот револьвер и если сам не воспользуешься им до рассвета.

Я направился к телу, чтобы забрать свое оружие, такими медленными шагами, словно давал себе время для другого решения.

«Осторожно! Если ты возьмешь револьвер, преступление станет очевидным. А если оставишь, версия самоубийства имеет шансы пройти. Дело будет закрыто. Ты женишься на Женевьеве. Девочке достанется порядочное наследство. Ты умрешь старым и почитаемым человеком...»

«Как бы ты ни поступил, тебя завтра же арестуют, если будешь еще живой».

«Вспомни, что говорил этот достойнейший господин Жером: «Нужно уметь рисковать, малыш...»

«Вспомни, что с тобой случилось, когда ты впервые применил на практике его совет. Забери револьвер!»

«Не трогай его! Возможно, Судьба устроила тебе испытание. Не отвергай сей поразительный шанс».

«Один шанс из тридцати шести, как в рулетке? Забери револьвер, и все будет кончено».

Так я метался между надеждой на счастье и готовностью к смерти. Никогда еще я так не нуждался в провидении, никогда еще совет богов не был бы мне так полезен. Но я утратил веру. Теперь мною управлял только разум. А разум твердил, что чудес не бывает, что все игроки так или иначе проигрывают, что Красное никогда не выпадало тридцать раз подряд и что мне надо бросить партию. Я взял револьвер и ушел из дома, не замеченный ни одной живой душой.

По дороге в отель я постарался как можно спокойнее обдумать происшедшее событие. До того момента как господин Лефранк невольно расправился сам с собой, у меня не было необходимости спешить с самоубийством. Я имел возможность отложить до завтра, послезавтра, на неделю, на месяц исполнение приговора, который сам себе вынес. Теперь, дабы избежать ареста, который лишил бы меня желанной свободы, мне следовало действовать быстро. Я освободился от нерешительности, чьей игрушкой оказывался так часто. Среди всех прочих возможных дней нынешний должен был стать моим последним днем. Мне больше не надо было опасаться затруднений с выбором.

— Бедняжка Судьба, — говорил я. — придется тебе тоже сделать выбор. Ты больше ничего не можешь предпринять против меня.

Бывают мгновения, когда в самую тяжелую минуту, при самых трагических обстоятельствах, вы начинаете смеяться. Мне было почти весело, когда я вошел в отель, где проживал много месяцев, и на пышную архитектуру которого до сих пор не обращал никакого внимания. «Завтра эти акантные листья будут по-прежнему обрамлять фасад коринфского шапито. Я вижу их в последний раз. Я их больше никогда не увижу. Прощайте, акантные листья!» Напевая, я подошел к ночному портье. Узнав меня, тот протянул ключ от номера.

— Вы забыли о свидании, — сказал он тоном добродушного упрека.

— Каком свидании?

Подмигнув, он кивнул в сторону читального зала.

— Там вас дожидается дама.

Я было подумал, что это Лелиа, прибежавшая снова просить прощения, которое я ей дал с тем большей легкостью, что ее измена ничуть меня не волновала. Но передо мной была Женевьева. Не говоря ни слова, она бросилась в мои объятия. Я был настолько растерян, что истолковал ее рыдания как знак того, что она уже в курсе печального события в их доме.

— Что мы будем делать? — спросила она, немного успокоившись.

Чтобы не отвечать на столь затруднительный вопрос, я спросил ее о том же в свою очередь.

— Я знаю все, — сказала она, вздохнув.

Сие требовало разъяснений. И я их получил. Все, что ей было известно, касалось моих прежних отношений с ее отцом.

— Я ему ответила, что твое прошлое меня не касается, что я тебя люблю, несмотря ни на что... Вчера вечером он заколебался. Сказал, что подумает. И сегодня рано ушел из дома.

Я не ошибся. Визит господина Лефранка свидетельствовал о том, что он готов капитулировать. И если бы не появилась Лелиа...

— Вернувшись, он был в дикой ярости. Заявил, что ты чудовище и способен на бог знает какие гнусности. Он даже произнес ужасную вещь...

Она остановилась. Я боялся, что она заговорит о Лелии, о сцене, свидетелем которой стал ее отец.

— Он мне сказал, — произнесла она шепотом, — «Сталкиваясь с подобным существом, невольно думаешь об убийстве».

— И ничего не добавил?

Она покачала головой, и я наконец понял, что господин Лефранк ничего не расска-

зал о сцене, в которой его постыдная роль не сводилась только к роли отца, что и принудило его промолчать о причине своей ярости. Таким образом, ничего не произошло такого, чего бы не предвидел мой разум.

— Он весь день пробыл дома, чтобы помешать мне уйти, — продолжала она. — Вечером мы снова поссорились. Он потребовал, чтобы я поклялась, что никогда тебя не увижу. Я отказалась. Тогда он стал грозить мне, что...

Рыдания возобновились. Образ разъяренного Лефранка невольно вызвал в моей памяти образ другого Лефранка, который, наконец успокоившись, одиноко лежал в своем пустом доме.

— Как тебе удалось улизнуть? — спросил я.

— Я сказала, что иду спать, и выбралась через окно своей комнаты. Мне не следовало так поступать, но я любой ценой хотела увидеть тебя.

Слушая ее, я уже видел, как прорисовываются невидимые петли той сети, которую Судьба сплела вокруг меня. Если бы я знал, что Женевьеве неизвестна моя измена, что она меня еще любит, что готова восстать против воли отца, я бы так не отчаивался, не пошел бы с ней попрощаться. Но не все еще было потеряно. Если бы она меня меньше любила, она бы осталась у себя, я бы с ней там увиделся, не пошел наверх, где...

— Я тоже хотел тебя увидеть любой ценой, — сказал я, вздохнув.

— Я испытываю угрызения совести, — продолжала она. — Я опасаюсь, что он прибегнет к насилию над собой.

— Он тебе чем-то грозил?

— Он грозил *себя убить*. Таковы были его последние слова, которые я услышала, уходя от него: «Если из-за тебя жизнь для меня станет невыносимой, моя смерть будет на твоей совести!»

Я отстранился от нее и сделал несколько шагов, как бы стараясь ускользнуть из этого читального зала, где, казалось, со всех сторон меня подстерегала опасность. Мне чудилось, что я присутствую при сцене, которая *могла* иметь место: полиция уже в кабинете господина Лефранка. Допрашивают его дочь: «Были ли причины для его самоубийства?» И Женевьева отвечает: «Из-за меня. Это моя вина. Мне не следовало уходить в этот вечер...» и, плача, рассказывает об угрозах отца, о его возбуждении. Перед лицом ее искренности никто не станет сомневаться в самоубийстве, вернее, никто не стал бы сомневаться, если бы... если бы я оставил в руке мертвеца револьвер, тяжесть которого ощущал в своем кармане.

— О чем ты думаешь? — спросила Женевьева.

Я снова думал о Черве Удачи, о китайской принцессе, о разнице между относительным и абсолютным. Только что мне казалось, что меня не могут не осудить по обвинению в убийстве. Но такая возможность была *относительной*. Пока я колебался, забрать свой револьвер или оставить его, у меня вопреки всякой логике был шанс на спасение. Я мог бы им воспользоваться, если бы посоветовался с подброшенной вверх монеткой, а не со своим разумом. Абсолютно невозможным было лишь то, что господин Лефранк снова задышит, поднимется с пола, словно ничего не произошло, и вернется на свое место за письменным столом.

— Останься тут, — резко сказал я Женевьеве.

Мне пришла в голову невероятная мысль: вернуться туда и вложить обратно револьвер в его руку... Но тут я услышал возглас Женевьевы.

— Уже около двух часов! — сказала она, посмотрев на часики. — Мне надо домой.

Петля сети сжимается, и я тщетно пытаюсь из нее выбраться. Она хочет вернуться к отцу. Мне тоже надо туда. Но как снова проникнуть в дом, если она будет у себя в комнате, через которую я уже однажды без ее ведома вошел в дом? И что ей сказать, чтобы ее задержать? Сейчас она направится к двери и уйдет.

— Если ему уже известно о моем уходе, что он думает в эту минуту? — прошептала она.

Пройдет немного времени, и она все узнает. А я и вправду окажусь преступником, если отпущу ее, не предупредив, что ее ждет по возвращении домой. Следует немедленно воспользоваться одной из тех нежных фраз, которые так действуют на сердце. «Моя маленькая Женевьева, ты не знаешь всего. Будь мужественна...»

Я следую за ней. Мне пока трудно говорить. Слишком много света в коридоре, среди колонн коринфского шапито с акантскими листьями на фронтоне, которые, я уж думал, никогда не увижу. На улице я заговорю с ней. *Абсолютно* невозможно не заговорить. Пусть будет, что будет!

Мы минуем вместе холл отеля, ночной портье подмигивает мне с видом соучастника. С такой улыбкой могла бы поглядеть на меня Судьба, если бы обладала человеческим лицом.

Глава седьмая

И случилось то, что на другой день меня арестовали. Когда позднее следователь не без иронии спрашивал, почему я отказался от мысли покончить с собой, я был не способен ему что-либо ответить. Мог ли этот чиновник понять все тонкости партии, которую мне пришлось разыгрывать в самых сложных обстоятельствах? В один прекрасный момент у меня в ушах зазвучал победоносный смех моего исконного противника, узнавшего о моем намерении свести счеты с жизнью.

«Так вот к чему привели меня твои бесконечные уловки! — воскликнул я. — Я еще докажу, что перед тобой свободный человек!»

И выбросил в Сену вложенное им в мои руки оружие. Столь внезапное проявление бунта принесло мне чувство удовлетворения, позволившее снести все неизбежные его последствия. Конечно, мне случается думать, что, совершая этот поступок, я лишь следовал предначертаниям судьбы. Как утверждает баснописец, свою судьбу встречаешь как раз на тех путях, которые выбрал, чтобы ее избежать.

Но я стараюсь прогнать эту, внушаемую моим врагом, мысль. Я отвечаю ему, что в самый трудный момент игрок все равно сохраняет шанс на выигрыш, что никакой физический или божественный закон не может помешать Красному после двадцати девяти побед выиграть еще раз, и что, пока ты не мертв, не исключается, что останешься жив.

Я проявил большой интерес к своему процессу. Когда господин Гримальди поклялся говорить правду и только правду, я восхитился, с какой легкостью люди пользуются словами, смысл которых им неведом. Когда в возбужденном зале давала показания Лелиа, она так легко разыграла порученную ей деликатную роль, что я готов был рукоплескать ей. Свидетельства нескольких второстепенных лиц, призванных, не стесняясь моим присутствием, без обиняков высказать, что они обо мне думают, доставили мне редкое в этом мире удовольствие. Разочаровала лишь Женевьева. Послушав ее, можно было решить, что наш роман был для нее лишь случайной связью. Так что даже председателю суда пришлось ей напомнить о наших отношениях и матримониальных планах. Та с трудом вспомнила об этом. Зная, что она обручена с чемпионом по теннису, я, вероятно, один не усомнился в ее искренности. Именно в силу отсутствия памяти женщинам удается вновь и вновь обретать девственность чувств.

С точки зрения адвоката, который требовал оправдания, мне грозило лишь легкое наказание. Я поведал ему сколь можно подробнее о своих похождениях, на что он, однако, не обратил никакого внимания. Его специальностью были преступления по страсти, и он хотел придерживаться этой линии. Когда я ему напомнил, что никого не убивал, он ответил, что это не существенно и что ему легче выгородить влюбленного убийцу, чем ни в чем не повинного человека.

— Но, — воскликнул я во время одной из наших встреч, — убийцу ведь могут отправить на эшафот!

— В вашем случае это один шанс из ста, — заявил он.

— Бывают подчас неприятные неожиданности, — заметил я со знанием дела.

— Ничего не бойтесь, — ответил он самоуверенно. — У меня есть в запасе козыри.

Во время своей защитительной речи он описал карьеру некоего Жерома Фу, иначе Сен-Ромена и Лефранка, так ярко, что будь я присяжным, то вынес бы ему смертный приговор. Моему защитнику стало известно, что покойный директор «Порядочности» публиковал диффамационные статьи против политического деятеля, занимавшего во

время моего процесса пост министра юстиции. Обвиняя Лефранка, он старался выгородить со мной вместе и министра, превратив его в возможного и полезного союзника. Результатом этой тщательно продуманной стратегии, напомнившей мне действия отца при составлении страховых контрактов, стал приговор, который удивил его куда больше, чем меня: я был приговорен к высшей мере.

Если бы я взялся оспаривать независимость суда, меня бы обвинили в пристрастности. Поэтому ограничусь лишь изложением того, что говорили по поводу моего неожиданного приговора. Судебный процесс в течение многих недель оставался предметом оживленных пересудов. Утверждалось, что я лишь пешка в политической махинации и что министр, о котором было сказано выше, воспользовался мной, заверив в своей поддержке, дабы заставить замолчать слишком много знавшего директора газеты. Эти слухи поставили министра в столь двусмысленное положение, что его министерство оказалось на грани краха, а это не так часто случается во Франции. Таким образом, в результате вынесения мне смертного приговора был нанесен удар по слухам, министр смог прийти в себя, министерство было спасено, страна вздохнула свободно. Одним словом, по мнению моего адвоката, которого все эти игры весьма забавляли, меня принесли в жертву во имя государственных интересов.

Но мне, причастному к секретам богов, хорошо известно, что я стал жертвой отнюдь не людских интриг. Освобожденный от затруднений с выбором, я вновь обретаю в тиши своей камеры вкус к теории вероятности, с которой познакомился в детстве. Если допустить, что в такой стране, как наша, тысяча преступлений составляют среднюю годовую цифру, это значит, что ежегодно по крайней мере тысяча граждан должны подчиниться статистическим выкладкам, и, если количество добровольных претендентов на то, чтобы лишиться свободы или жизни, окажется недостаточным, некоторое число кандидатов, ставших жертвой юридической ошибки, с лихвой восполнят возникшую нехватку.

Вы, читающие меня, имеете один шанс из сорока тысяч попасть в ту или другую категорию. Баран, находящийся в стаде, не лучше защищен от удара молнии, чем одиночка, бредущий по долине. Ничуть не больше вас, уж поверьте мне, я был предрасположен очутиться в нынешней ситуации. Чтобы поместить меня в эту тюрьму, из которой я пишу, Судьбе пришлось проявить крайнюю снисходительность, но это *абсолютно* не исключает вероятности того, что и вам, в свою очередь, будет оказана подобная же милость.

Точно так же, каким бы смелым не показалось такое предположение, *абсолютно* ничто не мешает мне утверждать, что моя невиновность рано или поздно будет признана, что стены тюрьмы падут, что разоблачение моих похождений придаст моему имени пусть эфемерную, но славу, что эта слава привлечет внимание дам, что одна из них окажется прекрасной восточной женщиной в изгнании, словом, что я окажусь однажды вечером, еще не успев прийти в себя от превратностей Фортуны, в объятиях китайской принцессы.

Читатель, достаточно снисходительный, чтобы не разделить презрение, которое внушает добродетельным душам печальный герой прочитанной повести, захочет, наверное, узнать конец этой истории. Мне и самому это было бы интересно. Но я не решился пойти на трудные поиски, способные пролить свет на сей счет. Однако, принимая во внимание, что рассказчик по простоте душевной и в согласии со своей философией устанавливает известную аналогию между законами, оказывающими, по его словам, влияние на его судьбу и рулеточными «сериями», я предпринял шаги, чтобы проверить справедливость его утверждений по поводу этих игровых феноменов. Поэтому я обратился к компетентным специалистам, которые прислали нижеследующие ответы на мои вопросы.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРСКИХ КУПАНИЙ
И КРУЖКА ИНОСТРАНЦЕВ В МОНАКО

Сударь,

В ответ на Ваше письмо от 19-го текущего месяца, спешим сообщить, что не располагаем статистикой серийных выигрышей, составляемой компетентными лицами для публикации в «Ревю де Монте-Карло»... Вот адрес этого издания:

«Ревю де Монте-Карло»
Бульвар Экзотических растений, Монако
Тем не менее сообщаем, что, насколько нам известно, самая крупная серия, выпавшая на Красное или Черное, как в рулетке, так и в игре 30/40, никогда не превышала 20 раз...

Монте-Карло
«Научный журнал»,
Р.-Ф. Галь,
Директор
Сударь,
С удовольствием отвечаю на Ваше письмо от 25-го.
На сегодня самая большая известная Красная серия в простой игре в Рулетку составила 29 и имела место в Монте-Карло за столом 2 задолго до войны 1914 года...

Наш рассказчик, чьи приключения пришлись на период между 1920 и 1930 годами, был, как мы видим, в курсе дела. Похоже, что игра случая все же ограничена непреодолимыми преградами и что в нашем столь совершенном мире, отлаженные механизмы которого не терпят никаких чудесных отступлений, у человеческой расы нет оснований предаваться тем безумным иллюзиям, какими приговоренный баюкал свое одиночество. Таким образом, идя от частного к общему, мы рискуем впасть в глубокое уныние, если не дочитаем до конца письмо господина Галя.

...Эта серия была расценена как феноменальная случайность и с тех пор ни разу, как полагали, не повторялась.
Однако совсем недавно я установил, что стол 9 Казино Монте-Карло выбросил в 1941 году серию в 38 попаданий на Красное, и эта любопытная подробность появится в моем ближайшем номере.
Спешу уточнить, что появление таких серий — событие совершенно исключительное, и есть все основания полагать, что оно еще долго не повторится.

Я был бы счастлив, если бы прочитанное вами интересное сообщение дало бы основание заключить, что последняя надежда рассказчика была не такой уж тщетной, и, стало быть, могла бы послужить бы современному читателю поводом для оптимизма, коим собственный разум, вероятно, не способен наделить нас в той спешке, с которой движется вперед этот мир.

■

УМБЕРТО ЭКО

Остров Накануне

РОМАН

Перевод с итальянского ЕЛЕНЫ КОСТЮКОВИЧ

20. Острота и искусство гения[1]

Роберт продолжал терять время, давал Постороннему наиграться, чтобы открыть его игру. Выставлял часы на верхнюю палубу, заводил их ежедневно, бегал кормить обитателей зверинца, чтоб опередить конкурента. Раскладывал вещи в каютах и на палубах так, чтобы, если Посторонний сунется, это было заметно. Днем не выходил на свет, но дверь приоткрывал, чтобы уловить всякий шум как снаружи, так и снизу. Ночью держал караул, напивался арака, обшаривал тайные поместилища «Дафны».

Однажды он обнаружил новых два закуточка за кладовой такелажа, ближе к носу. Один был совсем пуст, другой чрезмерно переполнен, повсюду полки с закраинами, чтобы удерживать предметы при качке. Там были ящеричьи кожи, высушенные на солнце, костянки непонятной природы, разноцветные камни, черепки, облизанные морем, кусочки кораллов, прибитые к табличкам насекомые, муха и паук в янтарях, сухой хамелеон и склянки, где бултыхались змеи, угри и ужи, а также непомерные чешуи, скорее всего китовые, меч, по-видимому снятый с рыла рыбы, и длинный рог, по мнению Роберта единорожий, но я наклонен думать, что был взят от нервала. В общем, камера редкостей, собранная эрудитом, в те времена немало подобных делалось на кораблях первопроходцев и натуралистов.

Посередине стоял открытый ящик с соломенной подстилкой, без обитателей. Кто там обычно пребывал, Роберт увидел, возвратившись в свою каюту, где, как только распахнул дверь, столкнулся нос к носу со стоячим страшилом, выглядевшим жутче, нежели даже сам Посторонний во плоти и крови.

Мышак, помойный пасюк, нет, подобие крысьего великана, ростом в полчеловека, длинный хвост занимал полпола, пронзительные глазки, стойка на задних лапах, а передние протянуты к Роберту, как пара человечьих рук. Шерсть прилизана, на пузе щель, и из пуза высунуто мелкое отродье того же вида. Мы помним, какие ужасы рисовал себе Роберт в отношении мышей в первый вечер. Как воображал их гигантскими и свирепыми хозяевами корабля. Но эта крыса превосходила самые чудовищные предвидения. И он не верил, что когда-либо человечьему взору уже являлись крысы подобного сложения, — вполне обоснованно не верил, потому что, как мы догадываемся, перед ним стоял экземпляр чревосумчатого.

После первого припадка ужаса стало ясно по неподвижности налетчика, что он — чучело, и к тому же плохо набитое или плохо хранившееся. Из-под шкуры воняло требухой, в спине торчали клочья соломы.

Посторонний, перед тем как Роберту представилась для обозрения кунсткамера, вытащил самый эффектный экспонат и, покуда посетитель был в музее, перенес главное диво к нему на квартиру, очевидно, уповая, что жертва потеряет рассудок, выкинется за борт и оставит ему корабль. Уморить меня хочет, свести с ума хочет, — лютовал Роберт, — но я ему самому вобью в пасть эту крысу, я его самого набью паклей, где ты там прячешься, гадина, где затаился, подглядываешь, не лишусь ли я рассудка, лучше побереги свой собственный, дрянь такая!

---

[1] Трактат испанского писателя и философа Балтасара Грасиана-и-Моралеса (1501—1558) «Agudeza y arte de ingenio» (1642—1648). Рус. изд.: М, «Искусство», 1977.

© 1994 R.C.S. Libri and Grandi Opere S.p.A
© Е. Костюкович. Перевод, 1999

Окончание. Начало см. в №2, 1999.

Он вышиб чучело на палубу прикладом мушкета, а там, переборовши мерзость, взял руками и кинул в море.

Решив во что бы то ни стало выкурить Пришельца из приюта, он снова полез в дровяной отсек, ступая осторожно, чтоб опять не вывернуть ногу на катающихся по полу чурбанах. После дровяного отсека, за переборкой, была камора, где на «Амариллиде» хранили сухари (этот чулан назывался soute, или sota). В этой же, под нежной ветошью, ловко завернутая, хранилась огромная подзорная труба, мощнее, нежели он видел в каюте капитана, новоявленная Гипербола Очей, рожденная для исследования неба. Телескоп был уложен в широкий таз легкого металла, рядом с тазом, тоже в тряпье, покоились инструменты непонятного смысла, с металлическими суставами, и какая-то круглая холстина с кольцами по всему кругу и рядом — подобие шлема, и три пузыря: в пузырях, судя по запаху, содержалось плотное и затхлое масло. К чему могло служить все заготовленное, Роберт не стал ломать голову. Ему важнее было найти живого вредителя.

Он ограничился проверкой, была ли там под полом еще какая-то закомара, и действительно, хотя очень тесная, она была, в нее можно было заползти на карачках. Роберт светил на пол, чтоб уберечься от скорпионов и не зажечь потолок. Пресмыкавшись недолго, он дошел до тупика и врезался головой в сосновую балку. Вот Ultima Thule, Последняя Тулэ «Дафны», дальше уже слышались удары волн о подзор корабля.

Он задумался. Мыслимо ли, что у «Дафны» не было больше от него секретов?

<...>

Не было больше тайников? Он выполнил новый чертеж. На этот раз корабль представлен был не сбоку, а как виделся сверху, с капитанского мостика, на просвет. Продумав рисунок, Роберт понял, что в изображаемом им муравейнике может быть выкроено малое местечко под отсеком, где размещался орган, если спрыгивать без трапа, через небольшой люк. Места там едва ли хватило бы для всех недостачествующих на корабле предметов, но в любом случае там было какое-то пространство. А если в низком потолке глухой кишки имелся тайный проход, значит, и оттуда можно было пробираться в часовую рубку, выходить незамеченным, разгуливать по кораблю.

Роберт совершенно уверился, что некуда Врагу девать себя на судне, кроме этого места. Он бросился вниз по трапам, все ниже и ниже, вплоть до глухого отсека, нырнул туда, но на этот раз осветил своей лампадкой не пол, а потолок. Да, в потолке был закрытый люк! Роберт удержался от первого порыва распахнуть его. Если Враг окопался в этой щели, первым делом к нему просунется Робертова голова, а он только этого и ждет. Надо было наступать с той стороны, откуда не чаяли атаки, как Роберту было памятно еще со времен Казале.

Эта каморка, если она существует, граничит с кладовой, где лежит телескоп, и входить надо, вышибая стену.

Вернувшись на ярус выше, он миновал сухарню, перешагнул через непонятные снаряды и остановился у переборки, которая — он только теперь понял — не состояла из крепких бревен, как ближние к ней шпангоуты и бимсы. Она была совсем слабая. Как в свое время с музыкальной каютой, Роберт размахнулся, пнул ногою что было силы, доски вылетели из пазов.

Перед ним была мышья нора, куда просачивался тусклый свет через скважины в круглых стенах, сходившихся под углом. Прямо в углу на подстилке, поджав колени к подбородку, вытянув навстречу Роберту пистоль, находился Двойник.

Это был старик с расширенными зрачками, с высушенным лицом, обрамленным седою бородою, с редкими и белыми волосами, дыбом стоявшими на голове, и с беззубым ртом, обнажавшим десны цвета черники, утопавший в мешке, некогда бывшем черным, ныне засаленном до белизны, сплошное расплывшееся пятно.

Он целил в Роберта пистолью, в которую вцеплялся двумя руками, локти у него дрожали, изо рта выцеживался слабый писк. Первые слова были по-немецки или по-голландски, а после этого, повторяя то же самое, он выговорил фразу на искаженном итальянском, что показывало, что он угадал происхождение попутчика, копаясь в его бумагах.

— Если ты будешь идти, я буду тебя убивать!

Роберт до такой степени был ошарашен его видом, что замешкался с ответом. Это

было к лучшему, потому что, всмотревшись, он понял, что курок оружия не наставлен и что его Противник не великий мастер военных приготовлений.

Тогда он спокойно приблизился к сидевшему, ухватил пистолет за ствол и попробовал выволочь его из пальцев, судорожно сведенных на рукояти, между тем как существо исходило в воинственных тевтонских взвизгиваниях.

Хотя с трудом, но Роберту удалось отнять пистоль, а противник повалился ниц. Роберт склонился рядом, придерживая его за голову.

— Сударь, — уговаривал он. — Я вас не трону. Я друг. Понятно? Я amicus.

Тот разевал и захлопывал рот, не говоря ни слова. Виделись одни закаченные белки, ярко-алые, и Роберт испугался, не смертный ли пришел ему час. Он поднял на руки это хрупкое тело и отправился с ним на руках наверх в каюту. Наверху он отпоил его водой, влил ему в рот и немного извина, и наконец тот сумел выговорить по-латыни «Благословен Господь», поднял руку для крестного благословения, и только тут Роберт осознал, разглядев обрывки его одеяния, что перед ним духовное лицо.

21. Священная теория Земли[1]

Не будем восстанавливать диалог, заполнивший двое суток. Причина, в частности, и та, что записи Роберта стали лаконичней. Вероятно, как Робертовы конфиденции Владычице осквернились от постороннего взгляда (подтверждения чему он так и не осмелился спросить у товарища), так он на много дней забросил сочинительство и только сжато отмечал, чему обучился и что происходило.

Итак, Роберт находился в обществе преподобного Каспара Вандердросселя из Иисусова Братства, профессора математики прежде во Франконии, а затем в коллегии иезуитов в Риме, вдобавок астронома и куратора различных дисциплин при Римской Генеральной курии. «Дафна» под командованием шкипера-голландца, уже ходившего в этих морях с грузами Коммерческой Ост-Индской компании, много месяцев назад отплыла из средиземноморской гавани, обогнула Африку и двинулась к Соломоновым островам, точно как и доктор Берд на «Амариллиде» — только доктор шел с востока на запад, а «Дафна» наоборот, но к антиподам попадаешь одинаково, как ни окручивай Землю. На этом Острове (тут фатер Каспар указывал на дюну за береговой кромкой) намечалось разместить Наблюдательную Установку, Specola Melitense. Что это за Мальтийская Установка, не было понятно, но Каспар шептал с таким видом, как будто этим интересовались все на свете люди.

Чтобы добраться до Острова, «Дафна» затратила порядочное время, как было положено в тот век и в тех странах. После Молуккских островов по пути к Сан-Томе, архипелаг Новая Гвинея (причаливали только в портах иезуитских миссий), корабль унесло штормом в неизученное море, к острову, населенному мышами величиною с подростка, с безмерным хвостом и с котомкой на пузе. Чучело одной такой мыши фатер Каспар в свое время продемонстрировал Роберту (и был в ярости, когда тот кинул в море экземпляр «чуда, ценою в Перу»!).

Двуутробки эти, по словам иезуита, незлобивы, они окружают путников и выпрашивают лапками лакомств, тянут за одежду, но, как узналось потом, от рождения жуликоваты, незаметно рыскают по карманам и крадут сухари.

Позволю себе откомментировать в поддержку отца Каспара, что такой остров действительно существует и не может быть спутан с другими: звери, похожие на кенгуру, называются куоккас и обитают только там, на острове Ротнест, это имя дали первооткрыватели-голландцы и значит оно «крысье гнездо». Но поскольку остров Ротнест располагается напротив Перта, значит, «Дафна» доходила до западного побережья Австралии. То есть она попадала на тридцатый градус южной широты к западу от Молуккских островов, между тем как имелось в виду идти на восток от Молукк и придерживаться линии экватора. Все это доказывает, что «Дафна» здорово сбилась с пути.

---

[1] Сочинение английского юриста и богослова Томаса Бернета (Burnet, 1635—1715) «Telluris Teoria Sacra» (1681), посвященное строению Земли и Всемирному Потопу.

И если бы беда была только в этом! Но ведь люди с «Дафны», видев сушу недалеко от «крысьего» острова, сочли ее за какой-то очередной островок с какими-то очередными грызунами! «Дафна» искала совсем не эту сушу, и невесть какие инструкции поступали от работавших на борту навигационных приборов фатера Каспара. А между тем нескольких гребков хватило бы тогда, чтобы добраться до Неисследованной, или Австральной, земли, о которой человечество грезило много столетий. Вдобавок еще одно практически непостижимо: это как умудрилась «Дафна», вернувшаяся, как мы увидим, к семнадцатому градусу южной широты, — как она смогла обогнуть половину берегов Австралии, не заметив этот материк! Либо они повернули резко на север и, значит, проскочили между Австралией и Новой Гвинеей, рискуя на каждом повороте застрять не на одной, так на другой мели; либо они пробирались по югу, между Австралией и Новой Зеландией, и ничего не обнаружили ни справа, ни слева — только бесконечное море.

Могут подумать, будто я сам выдумал столь неправдоподобный сюжет. Отвечу, что точно в те месяцы, когда разворачивается наша повесть, мореплаватель Абель Тасман, выйдя из Батавии, добрался до острова, который назвал землей Ван Димена (ныне Тасмания). Поскольку он тоже искал Соломоновы острова, он оставил по левую руку южную оконечность новооткрытой суши, не подозревая, что за нею, на север, обретается континент, в сотню раз ее превосходящий; затем Тасман уткнулся на юго-востоке в Новую Зеландию, обогнул ее северо-восточным курсом и, уйдя в море, оказался у Тонга; а после этого прибыл примерно туда же, где находилась и «Дафна», точно так же лавируя меж коралловых рифов и держа курс на Новую Гвинею. Как видим, путь его в действительности ничем не отличался от рикошетного скакания бильярдного шара. Похоже, что множество лет еще и после этого исследователи роковым образом проскакивали в двух шагах от Австралии, не замечая ее.

Поэтому примем на веру рассказ Каспара. Послушная прихотям ализеев, «Дафна» угодила в эпицентр другой бури, и ее изрядно потрепало, так что было нужно пристать к острову, расположенному неизвестно где и не имеющему деревьев, это был атолл — кольцо песка и озерцо. Команда подлатала корабль, и этим объяснялось, почему на борту отсутствовали строительные материалы. Потом «Дафна» снова отплыла и в конце концов опустила якорь в этом заливе. Капитан послал разведку на берег, те возвратились с сообщением, что обитателей не имеется, но для верности были развернуты в сторону острова и надежно заряжены немногие корабельные пушки, а затем началось выполнение четырех серьезных планов, один основательнее другого.

Во-первых, необходимо было набрать воды и провианта, поскольку на корабле кончалось все. Во-вторых, ловили животных и выкапывали растения, чтобы доставить их на родину для натуралистов-иезуитов. В-третьих, было намечено нарубить лесу, заготовить крупные ветви и стволы для починки корабля в случае грядущих неприятностей. В-четвертых, на высотке на этом острове водружали Мальтийскую Установку, и это было самое трудоемкое задание. Из трюма вынули и переправили на берег все плотницкие снаряды, столярный инструмент, детали Установки, на это ушло немереное время, и в частности из-за того, что непосредственно в бухту вход не только кораблю, но и шлюпке был заказан. Между кораблем и берегом виднелся, почти вровень с волною, с небольшими проемами, чересчур тесными для мореходства, порог, кряж, отмелина, горб, песчаный нанос, «стена земли» — «Erdwall», как выражался отец Каспар — в общем, то, что сегодня имело бы название «коралловый риф». После безрезультатных попыток было выяснено, что надо всякий раз заходить за мыс, ограничивающий залив с юга, где имелся узкий проход, позволявший проскользнуть шлюпке. «Вот поэтому мы не имеем возможности ныне ту лодку, которую оставили те матросы, видеть, хотя она и в настоящий момент близко за мысом пришвартована, heu me miserum!» Из Робертова конспекта явствует, что его тевтонский знакомец, проживая в Риме, общался с собратьями из ста далеких земель по-латыни, а в отношении итальянского вовсе не имел привычки.

Соорудив Установку, фатер Каспар перешел к наблюдениям и великолепно проводил время в течение двух месяцев. Чем в это время занимался экипаж? Сходил с ума от лени. Расшатывалась дисциплина. В каком-то порту капитан запасся немаленьким числом бочонков спирта, собираясь употреблять алкоголь для лечения болезней, с крайней постепенностью, а также для меновой торговли с дикарями; между тем, взбунтовавшись

против авторитетов, экипаж принялся таскать водку из трюма, и все злоупотребляли спиртным, включая капитана. Фатер Каспар трудился, команда оскотинивалась, до ушей наблюдающего в Установке доносились срамные песни.

В один прекрасный день фатер Каспар из-за жары, занимаясь в одиночестве на Установке, снял рясу (вопреки заповеди стыдливости, горько каялся примерный пастырь, да простит ему сию слабость Господь, безотлагательно наказавый нарушителя по грехам его!), и какое-то насекомое устрекало его в грудь. Сперва он ощутил только корчу боли, но вечером, по возвращении на корабль, почувствовал горячку. Он никому не сказал о бывшем, ночью страдал от звона в ушах и был с тяжелой головой, капитан ослабил ему рясу, и что увиделось? Волдырь, как те, что случаются от ос, да что там, и от крупных комаров. Но в глазах капитана этот укус обернулся карбункулом, черным фурункулом, прыщом, коротко говоря чумным бубоном, и якобы недвусмысленно свидетельствовал о чумной заразе, pestis, quae dicitur bubonica, что немедленно было записано в бортовой журнал.

Паника охватила борт. Напрасно фатер Каспар пытался объяснять про насекомое. Зачумленный прибегает ко лжи, чтоб от него не отшатывались, это ясно. Напрасно он убеждал, что чума превосходно им изучена и что его случай не является чумой по множеству разнообразных причин. Но экипаж был близок к тому, чтобы бросить его в море, дабы воспрепятствовать заражению.

Отец Каспар говорил, что во время великого чумного мора, охватившего Милан и Северную Италию около дюжины лет назад, он был послан вместе с собратьями по ордену работать в переполненных лазаретах и исследовал феномен в самом близком приближении. Есть хвори, поражающие в разных местах и в разное время, как например Английское потение (Sudor Anglicus). Имеются недуги определенных областей: Мальтийский мыт (Dysenteria Melitensis) и Египетская слоновая болезнь (Elephantiasis Aegyptia); и, наконец, есть такие болезни, как чума, разящие в течение длительных сроков всех обитателей большого края. Подобный мор обычно предвосхищается знамениями: это могут быть пятна на солнце, затмения, кометы, исход животных из-под почвы, порча урожая от зловредных ветров. Но в настоящем случае ни один из знаков не был виден ни на борту, ни на земле, ни на небе, ни на море!

Во-вторых, причиной чумы несоменно является прогнивший воздух, он выходит из болота, или производится разложением многих умерших тел после войны или битвы, или же когда при странствиях саранчи целые полчища ее тонут в море и потом этой трупной массой засоряются берега. Причиной болезни выступают поветрия, влетающие в рот, а затем из легких через полую вену восходящие до сердца. А на «Дафне» в течение всего плавания, не считая тухлой еды и воды, от чего в любом случае люди болеют цингой, а не чумою, путники не испытывали никаких дурновонных воздействий, напротив, дышали чистым целебным воздухом морей.

Капитан отвечал, что следы заразы удерживаются и на одежде и на предметах и что на борту «Дафны» должно содержаться что-то, долго хранившее и наконец передавшее хворобу. Тут вспомнили о иезуитовых книжках.

Фатер Каспар, заселяясь на корабль, принес с собою несколько хороших руководств по навигации, таких, как «Искусство судовождения» Медины, «Тифоны Батавии» Снеллиуса и «Об океанах и Новом Свете, в трех декадах» Петра Ангиерского, и как-то рассказывал капитану, что приобрел их за бесценок именно в Милане. По окончании чумы на парапете одного миланского канала была выложена для продажи целая библиотека кого-то безвременно усопшего, там иезуит пополнил свое небольшое личное собрание, которое захватил с собою в поход за океан.

Капитан не сомневался, что книги чумного мертвеца доставили на судно заразу. Всякому известно, что чума передается через гнойные мазки и что некоторые умирали, дотронувшись пальцами до листов, ослюненных ядом.

Фатер Каспар надрывался: это неверно, в Милане он сам смотрел на кровь заболевших через новый оптический «технизм», называемый увеличителем или микроскопом, и сам видел, как в чумной крови путешествовали мелкие глисточки, они-то и есть переносчики живой заразы — contagium animatum, которые родятся натуральною силой из всякой цвели, а потом передаются propagatores exigui, посредством мелковидных пере-

носцев, через потоотделяющие поры, или через рот, или даже, в редких случаях, через ушные трубы. Однако подобные кишащие нутряки должны быть в живом виде, и необходима живая кровь, чтоб они питались, и они не способны просуществовать двенадцать и более лет среди мертвых волокон на листе бумаги.

Капитан не хотел слышать доводов рассудка, и маленькая прекрасная библиотека фатера Каспара была отдана волнам. Но и этого было мало: как ни усердствовал иезуит убедить окружающих, что чуму могут распространять собаки и мухи, но, насколько свидетельствует наука, крысы чуму не переносят, — весь экипаж занялся стрельбой по грызунам, рискуя сделать серьезные пробоины в скулах судна. И наконец еще через день, поскольку лихорадка фатера Каспара не ослабевала, а прыщ не падал, капитан предпринял новый шаг: всем составом переместиться на остров и подождать, покуда иезуит или помрет, или излечится, а хиль и злокачественные силы выветрятся с корабля.

Сказано — сделано: все насельники судна погрузились на шлюпку, набив туда оружие и инструмент. Так как предполагалось, что со смерти отца Каспара до момента, когда корабль оздоровится, должно пройти от двух до трех месяцев, они решили построить себе на берегу хижины, поэтому все пригодные и сохранившиеся в трюме материалы были приторочены к шлюпке и переплавлены с корабля.

И, разумеется, на берег была отвезена львиная доля бочонков с ромом и араком.

— Но они нехорошую вещь для себя сделали, — подытожил фатер Каспар с печалью и перешел к рассказу о том возмездии, которое небеса уготовали покинувшим его, будто пропащую душу.

Действительно, только прибыв, они отправились пострелять в лесу кой-какого зверя, зажгли огромные костры вечером на берегу моря и гуляли-пировали несколько дней и ночей.

Вероятно, эти костры привлекли внимание туземцев. Хотя Остров и был необитаем, на архипелаге обретались люди, черные, как африканцы, умевшие ловко грести и плавать. Настало утро, когда фатер Каспар увидел с десяток пирагв, возникших непонятно откуда, из-за того большого острова, который открывался на западе; они правили к месту пира. Пирагвы были выдолблены из стволов, как и лодки у индейцев Нового Света, но только скреплялись попарно: в одной сидели, другая скользила по воде, как полоз санок.

Фатер Каспар сначала опасался, что пирагвы приблизятся к «Дафне», но те, по всему судя, желали избежать встречи и держали курс на то место, где причалила шлюпка с экипажем. Священник пытался кричать, оповещать команду, но все спали, пьяные. Короче, матросы оказались с ними нос к носу, когда пришельцы повыскакивали из-за деревьев.

Туземцы выглядели воинственно, пьяная команда не могла припомнить, где побросала оружие. Только шкипер двинулся им навстречу и уложил первого выстрелом из пистоли. Услышав грохот и увидев товарища на земле без жизни, хотя никто к нему не прикасался, дикари выразили, что готовы подчиниться, и один стащил ожерелье и поднес капитану. Тот наклонился посмотреть, потом, явно ища что-то дать взамен, обернулся к своим людям.

Тем самым он показал черным дикарям спину.

Фатер Вандердроссель предполагал, что туземцы, скорее всего, еще до выстрела были смущены повадкой и фигурой капитана, великана батава с русой бородой и светло-голубым взглядом; надо думать, у туземных обитателей подобная внешность считалась приметой богов. Но сразу же после зрелища его тыла (а, несомненно, эти лесные троглодиты не допускали мысли, чтобы у богов мог иметься тыл) их начальник, державший в руке дубину, занес ее и с размаху опустил тому на череп, и капитан рухнул лицом в песок и остался недвижен. Черные люди налетели на матросов «Дафны» и еще до того, как те начали обороняться, всех поубивали.

Затем начался устрашающий душу пир, продлившийся трое суток. Фатер Каспар, охваченный своей хворью, следил за происходившим в телескоп. Членов экипажа разделали, как на бойне. Каспар видел, как сначала с них стащили одежду (и под радостные возгласы дикари поделили вещи), после этого рассекли их туши, испекли на костре, обглодали и обсосали размеренно и спокойно, прихлебывая дымящееся пойло и распевая хоровые гимны, мелодия которых всякому показалась бы миролюбивой.

Наевшись, язычники стали показывать пальцами на «Дафну». Навряд ли они со-

прягли ее присутствие с появлением матросов. Величественная постройка, вся в мачтах и парусах, несказанно отличающаяся от их каноэ, не могла им представляться рукотворным произведением человека. По мнению фатера Каспара (считавшего себя достаточно глубоким специалистом по мировоззрению идолопоклонников всего мира, наслушавшись рассказов путешественников-иезуитов после их возвращения в Рим), дикари сочли «Дафну» животным, и ее безучастное поведение в то время, когда они вершили свой каннибальский шабаш, убедило их в правоте. С другой стороны, уже и Магеллан, добавлял фатер Каспар, рассказывал, что некоторые племена думали, будто корабли слетают на крыльях с неба и что их детищами являются шлюпки, они льнут к их бокам, млекопитаясь сосцами, а корабли отлучают их от груди, спуская на воду.

Однако какого-то дикаря, похоже, посетила мысль, и он делился ею с сотоварищами: что, если животное не свирепо и если плоть его так же сочна, как и мясо съеденных матросов, не попробовать ли его заарканить. И пирагвы повернули носы к «Дафне». Тут наш благостный священнослужитель, не желая близкого знакомства (ибо правило ордена предписывало ему жить ad majorem Dei gloriam[1], а не расставаться с жизнью ради облаготворения бессмысленных кумирников, cuius Deus venter est[2]), подпалил фитиль одной из пушек, заранее заряженной и нацеленной на берег, и выпустил одно ядро. Ядро с великим шумом, притом что бока «Дафны» окрасились ореолом дыма, как будто левиафан пыхнул злостью, хлопнулось посередине эскадры черных, перевернув две их ладьи.

Этого хватило. Туземцы повернули суда к берегу и удалились в рощу, а вышли с венками из листьев и цветов и уложили венки на воду, почтительно наклоняясь и приплясывая. Затем направились курсом на юго-запад и исчезли за западным отрогом Острова. Они выплатили большому злому существу сколько нашли справедливым и безусловно не помышляли соваться снова на эти берега, в бухту, ибо она стала неспокойной по вине заселившейся в нее мнительной и гневливой твари.

Таковая история фатера Каспара Вандердросселя. После того не менее недели он промаялся, до самого появления Роберта, и чувствовал себя погано, но благодаря препаратам собственного изготовления (Олей, Флора и прочие полезные Вегетальные, Анимальные и Минеральные Медикации) вошел уже в период выздоровления, как тут однажды ночью послышалось топанье вверху.

С этого мига от непомерной боязни он снова занедужел, покинул свою каюту и забился, как мышь, в закут, унеся с собой медикаменты и пистолет, не ведая, что тот не заряжен. Выходил только на поиск съестного и воды. Однажды он украл яйца, чувствуя потребность восстановить силы, с тех пор удовлетворялся незаметным потаскиванием фруктов. Удостоверившись, что Посторонний (а в глазах отца Каспара Посторонним, естественно, являлся Роберт) был ученый человек, любознательный до корабля и до его начинки, Каспар заподозрил, что это вовсе не жертва невзгоды, а лазутчик еретической державы, запущенный выведывать секреты Мальтийской Установки. Вот почему достославный иезуит стал ребячиться и изводить Роберта, пытаясь выгнать его с этого судна, захваченного бесами.

Роберт поведал собственную повесть и, не имея представления, насколько далеко Каспар зашел в прочтении его тетрадей, подробно остановился и на своей миссии, и как он выполнял ее на «Амариллиде». День клонился к вечеру, собеседники отварили петушка и раскупорили последнюю бутылку капитана. Фатер Каспар поправлялся от малокровия, и к тому же оба отмечали событие, символизировавшее их возврат в объятия человечества.

— Пресмехотворно! — реагировал Каспар на описание системы действий доктора Берда. — Подобную идиотичность не рассказывали мне никогда. Почему они ему причиняли такое страдание? Много раз мне рассказывали о секрете длиннот, но никогда мне не рассказывали, чтоб применять для этого секрета unguentum armarium! Если было бы это выполнимо, это бы изобрел один иезуит. Это же не имеет никакого отношения к секрету длиннот! Я тебе сейчас объясню, до чего я хорошо выполняю свою работу, и ты увидишь, что моя работа выполняется иначе.

---

[1] Во славу Господню (*лат*).
[2] Чей бог — живот (*лат.*).

— Так все-таки,— спросил тогда Роберт, — вы искали Соломоновы острова или решали тайну долгот?

— Но и то и другое я разыскивал, не так ли? Ты находишь острова имени Соломона, и ты умеешь разрешить вопрос, на каком месте проходит меридиан номер сто восемьдесят. Ты находишь меридиан номер сто восемьдесят, и ты узнаешь, на каком месте располагаются острова имени Соломона.

— Почему им там быть?

— О майн Готт, да извинит меня Всемилостивейший Господь за то, что я использую его имя всуе. Будем исходить из сведения, что когда царь Соломон сконструировал свой храм, он организовал большую морскую экспедицию, как свидетельствует текст Книги Царств, и эта большая экспедиция отправилась на остров Офир, с которого доставила Соломону четыре сотни и восемьдесят золотых талантов, это очень значительное количество денег; в Библии не очень много говорится, но там есть намерение сказать очень много, в риторике подобную фигуру принято называть pars pro toto, часть за целое. Но не существовало никакой такой области в окрестностях Израиля, которая бы располагала подобным значительным количеством денег, и поэтому мы предполагаем, что экспедиция побывала на окраинном пределе мира. Тут!

— Почему же тут?

— Потому что тут проходит меридиан номер сто восемьдесят, и он именно тот, который разделяет земной шар на две половины, а с другой стороны земного шара проходит меридиан номер один. Когда тут середина ночи, там середина дня. Понимаешь теперь, по какой причине острова имени Соломона были названы таким образом? Соломон предложил разделить ребенка пополам. Соломон предложил разделить Землю пополам.

— Ясно. Если эта долгота сто восьмидесятая, мы на Соломоновых островах. Но почему мы считаем, что это долгота сто восьмидесятая?

— Мы это узнаем с помощью Мальтийской Установки, не так ли? Если бы всех моих предварительных экспериментов было недостаточно, мою правоту подтвердила бы Мальтийская Установка. — И, потащив Роберта на мостик, обернул его к заливу: — Ты видишь ту косу на севере, где стоят эти высокие деревья с этими высокими ногами, наподобие гуляющих по воде? А теперь ты видишь еще один этот мыс на юге? Теперь ты проведи одну линию для соединения этих двух оконечностей. Видишь ты, что эта линия пролегает между нашим местом и берегом, причем расстояние этой линии от берега несколько меньше, нежели расстояние этой линии от нашего корабля? Видишь ли ты эту линию? Она представляет собой мысленную линию меридиана номер сто восемьдесят!

На следующий день фатер Каспар, тщательно следивший за календарем, известил, что воскресенье. Он отпраздновал мессу в кают-компании, освятив одну из немногих оставшихся частиц Святых Даров. Потом они вернулись к уроку, сперва в каюте с глобусом и картами, потом на мостике. Роберт заикнулся, что глаза не выносят света, иезуит достал очки с закопченными стеклами, использовавшиеся для исследования вулканов. Роберту мир представился в очаровательных умягчившихся красках, и он постепенно примирился с солнечными днями.

Чтоб уяснить последующее, мне придется вставить отступление, без которого я и сам мало что способен разобрать.

Итак. Отец Каспар был убежден, что «Дафна» находилась между шестнадцатой и семнадцатой южной параллелью и на сто восьмидесятом меридиане. В отношении широты можно ему поверить. Но теперь предположим, что он не ошибся и с долготой. Из запутанных пометок Роберта явствует, что отец Каспар делил весь шар на триста шестьдесят градусов, начиная с Железного острова, расположенного в восемнадцати градусах на запад от Гринвича. К этому его побуждала вся традиция, начиная с Птолемея. Поэтому сто восьмидесятая долгота в его понимании для нас должна равняться сто шестьдесят второму градусу по Гринвичу. Соломоновы же острова, хотя и действительно находятся на сто шестидесятой гринвичской долготе, однако имеют другие широтные координаты — от пятой до двенадцатой южной параллели; будь справедливо указание широты у Каспара, «Дафна» оказывается чересчур близко к югу, чуть западнее Новых Гебридских

островов; а там вообще нет суши, повсюду только одни коралловые мели, впоследствии получившие имя Ресиф д'Энтрекасто.

Мог ли отец Каспар отсчитывать от другого меридиана? Безусловно. Как свидетельствует опубликованная в конце XVII века книга Коронелли «Трактат о Глобусах», за первый меридиан считались «...у Эратосфена Геркулесовы столпы, у Мартина Тирского Счастливые острова; Птолемей в книге «О географии» поддержал то же мнение, а в книге «Об астрономии» сместил первый меридиан в Александрию Египетскую; среди современных ученых Измаил Абульфеда поместил первый меридиан в Кадис, Альфонс — в Толедо, Пигафетта и Эррера с ним согласились. Коперник провел этот меридиан по Фрауэнбургу, Рейнольд — по Королевской горе, иначе зовомой Кенигсбергом; Кеплер — по Ураниборгу; Лонгомонтан — по долготе Копенгагена; Лансбергиус — по долготе Геза; Риччоли — по Болонье. Атласы Янзония и Блеу берут за отсчет меридианов расположение Пиковой горы. Ради установления порядка, в моей «Географии» я избираю на нашем шаре местом первого меридиана самую западную оконечность Железного острова, как, в частности, предписывает и декрет Людовика XIII, который в ходе Географического консилиума 1634 года определил первый меридиан именно здесь».

Но если отец Каспар не послушался постановления Людовика XIII и исчислял свои меридианы, предположим, откуда-то от Болоньи, значит, «Дафна» стояла на приколе где-то между Самоа и Таити? Нет, местные жители не настолько черны кожей, как те, которых наблюдал наш иезуит.

Предлагаю гипотезу Железного острова.

Дело в том, что отец Каспар считал первый меридиан за непреложную черту, определенную Создателем в начале творения.

Попробуем понять, где же Создателю могло быть удобно провести эту черту. Неужели в неясном и безусловно восточном краю, где лежал Эдемский сад? Неужели в Последней Тулэ? В Иерусалиме? До нынешних пор никто не осмеливался реконструировать теологическое решение, что не случайно, ведь Бог рассуждает не так, как люди. Достаточно вспомнить, что Адам был сотворен, когда уже существовали и солнце, и луна, и день, и ночь, а значит, и меридианы.

Следовательно, решение должно приниматься не на основании истории, а на основании священной астрономии. Постараемся соотнести сведения, содержащиеся в Библии, с небесными законами.

Как сказано в Начале, Господь прежде всего сотворил небо и землю. В это время была еще тьма над бездной и дух Божий носился над водами, но эти воды не могли быть такими, которые нам известны. Воду в нашем понимании Господь создал только на второй день, отделив воду, находящуюся поверх тверди (из нее состоит дождь), от воды, помещенной ниже тверди (реки с морями).

Это означает, что начальным результатом творения явилось Первовещество, бесформенное и безразмерное, не имеющее свойств, качеств, тяготений, не знающее ни движения, ни покоя — чистый первозданный хаос, hyle, материя, еще не являющаяся ни светом, ни тенью. Плохо переваренная масса, где еще перемешаны четыре стихии: жар и холод, жидкость и сушь. Магматическое варево, прыщущее брызгами кипятка, подобное горшку с фасолью, подобное расстроенному желудку, или засорившемуся сливу, или болоту, где вычерчиваются и исчезают круги воды в такт проклевыванию и ныркам подслеповатых личинок. Еретики доказывали, будто эта косная, неподдающаяся любому творческому вдохновению материя не менее вечна, нежели вечен Господь.

Ничего подобного! Ведь понадобился Божественный Дух, чтоб из нее, этой материи, и в ней и на ней учредилось коловращение света и тени, дня и ночи. Этот свет (и этот день), о котором рассказывается как о втором этапе творения, это был еще не тот свет, с которым знакомы мы — свет звезд и двух великих неботечных светил, — так как они сотворены только на день четвертый. Это был творящий свет, Божественная энергия в чистом виде, похожая на взрыв порохового бочонка, когда из черных гранул, сбитых в матовую массу, от какого-то щелчка создается разбегание пламен и концентрированное излучение распространяется до пределов отдаленнейшей периферии, за краями которой, согласно противоположности, образуется темнота (даже если у нас этот взрыв совершился в дневное время). Как если бы из удержанного дыхания, из уголька, который,

казалось, едва краснел и едва дышал, из этого Золотого источника Мира разворачивалась шкала, внутри которой сиятельные превосходства градуально деградировали вплоть до самых непоправимых несовершенств; как если бы творчее дуновение истекало из бесконечно сжатой светосилы божества, доведенной до такого накала, чтобы выглядеть темной как ночь, и спускалось все ниже и ниже, мимо относительного совершенства Херувимов и Серафимов, мимо Тронов и Владычеств, вплоть до последнего отброса, где пресмыкается червец и где переживает все и всех бесчувственный булыжник — на самый край Ничего. «Und das ist die Offenbarung göttlicher Majestät!» — «И такова наглядная величественность Творца!»

На третий день являются деревья, травы и зелень; Библия говорит не о таком еще ландшафте, что увеселяет взор, но о мутной вегетативной мощи, о слиянии сперм, о трепете корней, корни страдают, корни изворачиваются в стремлении к солнцу, которое в третий день еще не произошло.

Жизнь появляется на четвертый день, в который созданы луна и солнце и звезды, дабы дан был свет земле, дабы отделился день от ночи в смысле, в котором мы это себе представляем, когда совершаем исчисление времян. Это на четвертый день обустраиваются круги неба, от первого подвижного круга и от закрепленных звезд вплоть до луны, с землею посередине — с самоцветом, который облучается двумя великими пламенниками и имеет кругом себя гирлянду драгоценных камней.

Определяющие наши дни и наши ночи солнце и луна были первой непревзойденной моделью всех будущих циферблатов, каковые, передразнивая небесную твердь, сопрягают человеческое время с кругом солнопутья; наше человеческое время никак не подобно времени космоса, оно, наше человеческое время, имеет направление, оно — тревожное пыхтение через вчера к сегодня, через сегодня к завтра, никак не подобное спокойному отдыханию Вечности.

Остановимся теперь на этом четвертом дне, призывал отец Каспар. Бог создал солнце, а когда солнце было сотворено — разумеется, не ранее, — оно пошло в путь. Ну так вот, в тот момент, когда солнце начинало свой бег, коему уже не прекращаться, в этот блицмиг, когда блудным бликом предвосхитился первый шаг, солнце стояло отвесно над чертою, разделявшей землю ровно пополам.

— И это Первый Меридиан, на котором вдруг наступила середина дня! — выпалил Роберт в восторге от собственной догадки.

— Не суди по себе! — гневно перебил его учитель. — Неужели Господь Бог такой же глупый, как глуп ты? Как он мог начать первый день Творения с середины? Это с тебя бы сталось начинать Творение обрывочным днем, жертвой аборта, выкидышем суток, насчитывающим всего только двенадцать часов! Нет, конечно. На первом меридиане бег солнца должен был начинаться при свете звезд, когда стояла полночь и была еще чуть-чуточка, а до этого было Не-время. И на этом меридиане — ночью — состоялось Начало того самого первого мирового дня.

Роберт возразил, что, если на этом меридиане была ночь, ублюдок дня получался на обратном меридиане, там неожиданно высунулось солнце, притом что до этого не было ни ночи, ни чего-либо иного, но только хаос, безвременный и мерклый. Отец Каспар отвечал на это, что в Писании не сказано, будто солнце появилось без предупреждения и что скорее он придерживается теории (к которой склоняют также и природная и божественная логика), что Господь выделывал солнце, постепенно двигая его по небу, в течение нескольких первых часов, как некую холодную звезду, которая разогревалась мало-помалу, переходя от первого меридиана к его противнику, подобно тому как молодая древесина от первых искр огнива коптит, а потом при раздувании огня начинает с потрескиванием загораться и наконец охватывается ярким и радостным полымем. Разве не мило сердцу воображать, как Отец Мироздатель дует на наш зеленый, пока еще шар, тужится расшевелить его, чтобы отпраздновать свой подвиг, все первые двенадцать часов, начиная с сотворения времен, и наконец достигает успеха в точности над Противным Меридианом, то есть над тем, где они в текущий момент обретаются? Оставалось решить, какой меридиан брать за первый. Фатер Каспар все же считал наилучшей точкой отсчета Железный остров, учитывая, что именно там (как Роберт уже слышал и от Берда) стрелка компаса не колеблется, являя неопровергаемый прообраз прочности.

Итак, подытожим. Если именно с «железной» линии Каспар отсчитывал меридианы и если он верно определил долготу, значит, удачно проложив путь как навигатор, он потерпел крушение как географ. «Дафна» оказывается не у истинных Соломоновых островов, а где-то к западу от Новых Гебридов, и точка.

Однако обидно пересказывать сюжет, который, как мы убедимся, просто обязан разворачиваться на сто восьмидесятом меридиане, иначе повесть утратит всю соль, и оговаривать в скобках, что в действительности дело происходит невесть на каком расстоянии восточнее или западнее этой долготы.

Поэтому предложу гипотезу, и пусть мои читатели опровергают ее сколько угодно. Я предлагаю думать, что фатер Каспар обсчитался и что в результате математической ошибки он оказался ровно-таки на нашем сто восьмидесятом градусе, я имею в виду, по гринвичскому счету, хотя для Каспара Гринвич был последним на свете местом, с которого ему пришло бы в голову начинать, поскольку Гринвич был в государстве раскольников-антипапистов.

Если они на нашей сто восьмидесятой долготе, значит, «Дафна» стоит на якоре в районе Фиджи (где аборигены действительно черны), конкретно — перед островом Тавеуни.

Кажется, похоже на правду. В абрисе Тавеуни есть вулканическая гряда, как и в большом острове, открывавшемся Роберту на западе. Хотя отец Каспар толковал Роберту, будто роковой меридиан проходит по крайним мысам бухты меньшего острова... А мы, если поместимся на точку западнее меридиана, увидим Тавеуни на востоке, а не на западе; если же мы поместимся так, чтобы Тавеуни был слева, а маленький остров (я предлагаю Куамеа) справа, знаменитый меридиан пройдет у нас за спиной. Скажем прямо, что точно сориентировать «Дафну» в пространстве так, как описывает Роберт, невозможно.

Радует, однако, что все эти островки для нас как японцы для европейцев, и взаимно: на одно лицо. И хотя я честно решал проблему (вознамерившись даже проделать вслед за Робертом его путешествие), утешает и то, что география сама по себе, а сам по себе — наш рассказ. Уточнения нерелевантны для нашей пугливой повести. Отец Вандердроссель гарантировал Роберту, что «Дафна» на сто восьмидесятом меридиане, который — антипод антипода. Значит, в данной повести на сто восьмидесятом градусе долготы будут лежать не наши с вами Соломоновы острова, а их Соломонов остров.

Какая разница, лежит ли остров там в реальной жизни? Мы вникаем в повесть, где главные герои уверены, что это так, а чтобы вникнуть в повесть (вот догма из самых либеральных), нужно отрешиться от недоверия.

Постановляем: «Дафна» находилась напротив сто восьмидесятого меридиана, в точности у Соломоновых островов, и супротивный Остров был самым из них Соломоновым, не в меньшей степени, чем мое соломоново решение заявить, что это так, и все.

— И что же, — задал вопрос Роберт по окончании обзора, — вы рассчитываете найти на Острове сокровища, описанные Менданьей?

— Сокровища — лганье испанских монархов! Но возможно ли, что, находясь пред лицом величайшего Wunder[1] всей человеческой и священной истории, ты продолжаешь не понимать? В Париже ты смотрел на дам и следил за ratio studiorum[2] эпикурейцев, а не размышлял о самых великих необычайностях этого нашего универсума, да препрославится божественное имя Творца!

Как мы удостоверимся, цели путешествия отца Вандердросселя мало что общего имели с хищническими аппетитами мореплавателей многих стран. Все объяснялось тем, что святой отец трудился над монументальным опусом, «бронзы литой прочней», на тему о Всемирном Потопе.

Как человек клира, он собирался продемонстрировать, что Библия не солгала, в то же время, как человеку науки, ему хотелось примирить Писание с ученостью своего времени. Поэтому он коллекционировал окаменелости, изъезживал восточные страны, искавши и на вершине Арарата. Он дотошным образом высчитывал размеры и конфи-

---

[1] Чудо (*нем.*).

[2] Наукомудрствованиями (*лат.*).

гурацию Ковчега, позволяющую разместить всех тварей (и заметим, чистых — по семи пар) и в то же время соблюсти надлежащую пропорцию между подводной частью и надводной, дабы не потонуть от перегрузки и не перевернуться от первого вала из тех, что во ходе Потопия были, надо думать, изрядно сильномогучи.

Он мигом набросал чертеж Ковчега в разрезе, это была квадратная постройка о шести этажах, птицы помещались на верхнем, где они получали лучи солнца, млекопитающие содержались в загонах, рассчитанных на разную живность — и на слонов, и на котят, — а пресмыкающиеся в чем-то вроде клоаки, где у них были ванны и в них могли сидеть даже земноводные. Гигантам в Ковчеге не отыскалось места, и из-за этого племя Гигантов при Потопе вымерло. Хорошо еще, Ною не пришлось возиться с рыбами.

При всем при том, обдумывая Всемирный Потоп, отец Вандердроссель столкнулся с одной физико-гидродинамической проблемой, на первый взгляд неразрешимой. Господь, рассказывает Библия, велел идти сильному дождю в течение сорока суток, и воды поднялись над землею, закрыв даже самые высокие горы и даже более того — превзошедши на пятнадцать локтей вершины наивысочайших из высоких гор. При этом воды укрывали землю в течение ста пятидесяти дней. Что же, прекрасно.

— Но ты когда-нибудь пробовал собирать дождь? Хлещет весь день, а у тебя набирается совсем мало воды на донце бочонка! И если будет даже лить целую неделю, еле-еле тебе удастся набрать бочонок воды! Вообрази теперь уж совсем неслыханный ливень, такой, под которым совершенно находиться невозможно, когда все, что имеется в небе, падает к тебе на бедную голову, вообрази такой дождь, который даже сильнее урагана, которым тебя добросило из твоего места сюда ко мне... Все равно за сорок дней это никак не будет возможно, чтобы переполнилась водой вся земля выше самых высоких наверший!

— Что ж, Святое Писание лжет?

— Только не это! Нет, разумеется! Но следует доискаться, откуда Господь добыл всю эту воду, если нет возможности, что он велел ей выпасть из небес! Той, которая в небесах, недостаточно!

— Ну и?..

— Ну и я наконец дошел! Фатер Каспар додумался до секрета, о котором ни один человек на земле еще не думал. In primis, я хорошо прочел Библию, и я прочел в ней, что Господь не только растворил окна неба, но ввел в употребление источники бездны. Бытие-семь-одиннадцать. Когда же он кончил заливать, источники бездны были выключены, Бытие-восемь-два!

— Какие источники?

— Это вода из океанов и морей, именно из того места, где мы сейчас! Господь пользовался не только дождевой, но и морской водою, и получал ее из самых глубоких впадин. Отсюда, где мы сейчас! Потому что, если самые высокие горы расположены около первого меридиана, между Иерусалимом и Железным островом, значит, по симметрии самые глубокие впадины находятся на обороте шара!

— Да, но вод всех морей на шаре не хватит, чтобы покрыть горы. Не то бы море постоянно их покрывало! А ежели бы Господь вознес все воды моря над горами, море с вынутою водой оказалось бы пустою канавой, и Ковчег бы туда повалился...

— Ты говоришь весьма верную вещь. И не только. Если бы даже Господь взял всю воду из Терра Инкогнита и обрушил на Терра Когнита, а на этом полушарии вообще ничего бы не оставил, на земле бы переместился центрум гравитатис, и она бы перекосилась и, возможно, покатилась бы по небу, будто мяч, который пнули ногою.

— Так что же?

— Так то, что попробуй подумать, что бы ты делал, если ты был Бог.

— Если я был Бог, — отозвался Роберт (к этому времени он уже начал строить фразы по фатер-Каспаровой грамматике), — я бы сделал еще воду.

— Ты. Но Бог не так. Он, конечно, в состоянии сделать воду. Но куда он денет воду после Потопа?

— Тогда, значит, у Бога имелось с самого начала времен водохранилище под бездной, в середине земли, и ради такого случая он выпустил на сорок дней воду из запасника, это и называлось открыть источники бездны, как вулканы.

— Вот как? Но из вулканов извергается огонь. Весь центрум земли, вся сердцевина подземельного мира представляет собой массу огня! Где огонь, там не вода! Если там вода, вулканы были фонтанами.

Роберт не хотел сдаваться:

— Ну тогда, если бы я был Бог, я бы обратился к одному из тех миров, которые существуют кроме нашего, поскольку миры бесконечны, и позаимствовал там воду для Потопа.

— Ты слушал в Париже атеистов, они твердят о бесконечности миров. Нет, Бог сотворил только один мир, и этого хватает для его преславности. Нет, ты задумайся лучше, если ты не имеешь миров бесконечных и ты не имеешь времени их создавать специально для Потопа, а потом выкидывать в Никуда.

— Ну, тогда я не знаю.

— Потому что у тебя скудная голова.

— Значит, скудная у меня голова.

— Очень, очень скудная. Нет, ты думай получше. Если Бог мог бы взять ту воду, что вчера была на земле, и поместить ее в сегодня, а завтра взять ту воду, которая имеется, а ее уже стало вдвое, и перенести в послезавтра, и до бесконечности, то настанет ли такой день, когда он сумеет залить водою всю сушу и закрыть горы на несколько метров?

— Я не силен в подсчетах, но думается — сумеет...

— Вот! В сорок дней он нальет на землю сорок раз удвоенную воду из морей, а удвоивши сорокакратно то, что во впадинах морей, он перекроет уровень гор. Ведь пропасти настолько же глубоки или даже более глубоки, нежели высоки горы.

— Но откуда же Бог мог черпать вчерашнюю воду, если вчера миновало?

— Откуда? Отсюда! Нет, вот ты слушай. Представь, вот ты на первом меридиане. Можешь представить?

— Могу представить.

— Теперь представь, что там полдень, ну скажем, полдень Страстного четверга. Сколько часов в Иерусалиме?

— На основании всего, чему меня учили относительно движения Солнца мимо меридианов, отвечу, что в Иерусалиме полдень к тому времени уже давно минует и будет вторая половина дня. Я понял, к чему вы клоните. На сто восьмидесятом меридиане, на нашем, к этому времени наступает полночь.

— Кончается Страстной четверг.

— И наступает Страстная пятница.

— Как, не на Первом меридиане?

— Нет, там у них еще полдень четверга.

— Чудесно. Вундербар. У них пятница, а тут суббота. Настает Пасха, и тут у нас Христос воскресает, в то время как у них он все еще мертвый, разве не так?

— Так, но...

— Но, но! Погоди! Когда здесь полночь четверга и еще одна минута, даже одна минускульная частица минуты, ты говоришь, что уже пятница?

— Пятница.

— Теперь вообрази, что обо всем этом ты рассуждаешь не с корабля, а с берега Острова. Там что, тоже уже пятница?

— Нет, еще четверг.

— Вот! В один и тот же миг у нас уже пятница, а на Острове четверг!

— Разумеется, и... — тут Роберт задохнулся под обаянием новой мысли. — Не только! Я понимаю так, что, если стоять ровно на меридиане, надо мной будет полночь, но поглядевши на запад, я увижу полночь пятницы, а поглядевши на восток, увижу полночь четверга. Господи!!

— Ты не говори «Господи» всуе.

— Извините, святой отец, но это невероятно.

— Самая невероятность в том, что это вероятно! Это верно! Все было предвидено в Начале. Солнце за двадцать четыре часа окручивает землю и начинает на западе, на сто восьмидесятом меридиане, новый день, а на востоке еще пребывает полночь предыдущего дня. Полночь пятницы на корабле — это полночь четверга на Острове. Ты не зна-

ешь, что случилось с моряками Магеллана, когда они оплыли земной шар? По рассказу Петра Мартира, они думали, что прибыли накануне, а был уже следующий день. Они думали, что Господь их карает, лишая дня, за то, что они не попостились в Страстную пятницу. А все было закономерно. Они ведь путешествовали на запад. Путешествуя из Америки в Азию, теряешь день, путешествуя в обратном направлении, выигрываешь день. Вот по этой причине «Дафна» прибыла сюда через Азию, а вы, бестолочи, через Америку. Теперь ты на день старее меня! Ну не смешно ли?

— Да стоит мне попасть на Остров, и я опять стану на день моложе! — парировал Роберт.

— В этом весь фокус. Мне безразлично, моложе ты на день или старше. Мне важно, что тут проходит линия, откуда по одну сторону предыдущий день, а по другую сторону последующий. И не только в полночь, а и в шесть, и в семь, и в десять часов, и каждый час! Господь черпал в этом месте вчерашнюю воду, вон с той стороны, и переливал ее в сегодняшний мир, на следующий день точно так же, и так сорок дней. Все без чудес, естественно! Sine miraculo, naturaliter! Господь организовал землю в виде огромных часов. Подобно тому как имелся бы циферблат, куда нанесены не двенадцать, а двадцать четыре деления. На этих часах продвигается стрелка к цифре двадцать четыре. Справа от этой цифры стоит вчера, слева стоит сегодня.

— Но как же вчерашняя земля удерживалась на небе, если в одном из полушарий не оставалось воды? Не теряла ли она центрум гравитатис?

— В человеческих представлениях о времени — не теряла! Для людей вчера уже не существует, так же как завтра еще не существует. А время Господне, вечность, Aevum — это уже не наше дело.

Тут и Роберт понял, что, если Господь вычерпывал воду из вчера и подливал ее в сегодня, может быть, земля и перекашивалась из-за этого смещения центра тяжести, но для сегодняшних людей это уже не могло иметь значения. В их-то вчерашнем дне никакого перекоса не было, перекос был в Божьем вчера, а Богу, несомненно, удавалось как-то иначе улаживать связанные со временем вопросы, со временем и с сюжетами; так сочинитель может писать несколько разных повестей с одинаковыми персонажами, но помещать их в неодинаковые ситуации и этим варьировать свой рассказ. Предположим, в одной «Песни о Роланде» Роланд умирает под морской сосною, но зато в другой восходит на трон Франции после смерти Карла, а с Ганелона сдирают кожу и кладут вместо половика.

Этой мысли суждено было сопровождать Роберта долгое время, подводя к раздумиям не только о бесконечности миров в пространстве, но и об их параллельности во времени. Однако он почел за благо не особо докладываться фатеру Каспару, и так державшему за ересь идею сосуществования многих миров в одном месте. Кто знает, как бы он отнесся к новой глоссе Роберта. Роберт ограничился вопросом: в практическом смысле, как действовал Господь, чтобы перелить всю эту воду из вчера в сегодня?

— С помощью подводных вулканов, конечно! Подумай! Они испускают огненные ветры, и происходит то же, что и с кастрюлей, где перегретое молоко! Молоко убегает из кастрюли, а из моря убегала вода! Гроссе катастрофе!

— А как потом Господь убрал эту прибежавшую воду?

— Когда дожди перестали лить, снова выкатилось солнце и начало испарять влагу. Библия говорит, что понадобилось сто пятьдесят дней. Рубаху можно за день и вымыть и просушить. А земля просушивается за сто пятьдесят дней. Кроме того, множество воды затекло в подземные озера, и теперь она между поверхностью и центральным огнем.

— Вы почти убедили меня, — сказал Роберт; ему не столь казалось важным переливание вчерашней воды, сколь волновала мысль, что он находится в двух шагах от вчерашних суток. — Но прибыв сюда, что тем самым вы доказали? Что такое, чего нельзя было прежде продемонстрировать силой логики?

— Силу логики ты оставь старорежимной теологии. Нынче в науке применяются доказательства опытом. Опыт доказывает, что я здесь. По пути я замерял глубины впадин и удостоверился, что глубины с той стороны весьма основательны.

Оставив геоастрономическую тему, фатер Каспар вернулся к описанию Потопа. Блистая великолепной эрудированной латынью, помавая и разводя руками, как будто

заклиная различные феномены небесной и подземной сферы, широкими шагами он мерил верхнюю палубу. Тем временем воздух над заливом сгустился тучами и небо загрозило бурей, из тех, что, бывает, неожиданно разражаются над тропиками. О, когда отворились все источники бездны и все отверстия неба, какое, должно полагать, зловещее и дивное зрелище представилось глазам Ноя со всем его семейством!

Люди лезли на крыши, но оттуда их сбрасывали волны, катившие от антиподов и силою божественного ветра колеблемые и подвигаемые; люди карабкались на деревья, но эти деревья буря выдергивала словно прутья; люди, увидев перед собою макушки вековых дубов, хотели держаться, но ветры стряхивали их с такою злостью, что им не удавалось удержать хватку. Теперь в этом море, покрывавшем и горы и долы, плавали распученные трупы, и на них последние ошалелые птицы пытались обосноваться, будто на жутком оплоте, но скоро птицы утрачивали и эту последнюю пристань и тоже, измочаленные, становились жертвами урагана, с отяжелевшими перьями, с крыльями, неприменимыми из-за усталости. Устрашительно зрелище кары Господней, подытоживал отец Каспар, и это ничтожная еще картина, продолжал он, в сравнении с тою, что будет дано видеть в день, когда Христос явится судить живых и мертвых...

Великому трепетанию природы отвечали скоты из Ковчега, улюлюканью ветра отзываясь воем волчиным, и рычанию грома — львиным рыканием, и мельканию молний — ржаньем слонов. Кобели лаяли в ответ погибающим братьям, овцы блеяли на рыдания детей, граяли грачи, подражая барабанному стуканью струй дождя по покрышке Ковчега, буйволы мычали в унисон мутному пению волн, и обитатели воздуха и земли скулежом и бешеным воем заунывно отпевали гибнущую планету.

Но именно в этой обстановке, уверял отец Каспар, Ной и члены его семейства снова обрели для себя язык, которым изъяснялся Адам в Эдеме, и который сыновья Ноя позабыли после изгнания из рая, и который впоследствии потомки того же Ноя почти что напрочь снова утеряли вследствие сумятицы при великом столпотворении Вавилонском; все народы забыли его, кроме потомков Гомера, которые укрылись со своим наречием в глушь непроходимых северных лесов, и там немецкому народу удалось эту речь благоговейно сохранить.

— Только немецкая речь, только она, — голосил теперь фатер Каспар на родном языке, будто одержимый, — redet mit der Zunge, donnert mit dem Himmel, blitzt mit den schnellen Wolken, иначе говоря, — бесновался он во власти вдохновения, дико перемешивая обрывки разнообразных языков, — только в немецком наречии слышны звуки живой природы, только немецкая речь способна крякать кряквой, гулить куликом, граять грачом, кричать кречетом, свистеть свиристелем, бликать будто гром под облаками, хорскать лебедицею, румкать кабаном, циккать перепелкою, горланить горлицею и мявать будто катц! — Тут он осип и охрип от буйного словоизвержения, но успел убедить Роберта, что истинное наречие Адама, новообретенное в ходе гибельного Потопа, сохранилось до наших дней исключительно под державой августейшего монарха Священной Римской Империи.

Покрытый ручьями липкого пота, священнослужитель окончил свое выступление. Тем временем небеса, похоже устрашенные описываемыми последствиями дождевых осадков, отозвали собравшуюся непогоду, будто чиханье, как бывает, что, кажется, вот уже неодолимо грянет, но потом по какой-то странной причине отступает обратно в переносицу и вырождается в хрюк.

22. Пламяцветная голубица

В последующие дни стало ясно, что к Мальтийской Установке им не добраться. Шлюпка как была так и стояла на острове, в затоне. Плавать фатер Вандердроссель не умел и Роберт не умел тоже.

Ныне, имея при себе молодого сильного мужчину, отец Каспар вполне бы смог руководить строительством парома с веслом, если бы только, как он уже пояснял, все снаряды рукомесла не были с корабля убраны. Ни топора, чтобы срубить мачты или реи, ни молотка, сколотить плот из дверей.

С другой стороны, фатер Каспар, по всему судя, не тяготился затянувшимся сидением на «Дафне». Он, наоборот, был заметно рад возвратиться к своему жилищу, к прогулкам по палубе и к инструментам, позволяющим работать и наблюдать.

Роберт гадал, кто перед ним. Ученый? Безусловно. По крайней мере, эрудит, интересующийся божественными и естественными науками. Чудак? Не без того. Каспар обронил, что и корабль отряжался не на средства иезуитского общества, а на его личные, вернее на деньги его брата, разбогатевшего торговлей и не менее сумасшедшего чем он. Постоянной темой было коварство собратьев по ордену, «присвоивших плодотворные идеи», после того как, лицемеря, их осмеяли в качестве бредовых. Это давало основания думать, что иезуиты города Рима не сильно огорчались, когда их покинул сей софистический индивид, и учитывая, что снарядил он поход на собственные деньги и с немалой вероятностью не возвратиться из неисповедимых странствий, иезуиты благословили его, чтобы убрался с глаз.

Все, что изучал Роберт и в Провансе и в Париже, предрасполагало его воспринимать концепции физики и натурфилософии, слышимые от старца, с известной осторожностью. В то же время, как мы уже знаем, Роберт усваивал науки будто губка, не стараясь подвергать сомнению взаимоисключающие тезисы. И дело не в том, что Роберту не хватало системности. Это был выбор.

В Париже мир являлся будто сцена, где представлялись обманчивые видимости, где каждый вечер зрители желали следить за новой историей, как если бы привычные вещи, даже чудесные, уже никого не озаряли, и только непривычно неопределенные или неопределенно непривычные умели еще возбуждать. Древние мудрецы требовали, чтобы на один вопрос имелся только один ответ. В большом французском театре показывалось, как на один вопрос отвечается самыми разными способами. Роберт решил отвести половину своего духа тем вещам, в какие верил (или верил, будто верил), и держать другую половину свободной на случай, если верным окажется обратное.

Раз таково было расположение его духа, понятно, почему у него не было стимулов оспаривать даже самые неправдоподобные откровения отца Каспара. Из всех выслушанных им в жизни рассказов речи иезуита были самыми экстраординарными. Как же можно было считать их за ложь?

Кого хотите вызываю оказаться на порожнем судне, между небесами и морями в неведомом пространстве — и не расположиться к грезе, поверив, что пускай по невезению, но все же вы угодили в самое средопупие времян.

Так что и Роберт мог бы забавы ради выставить против россказней иезуита свои аргументы, но очень часто следовал примеру учеников Сократа: они почти напрашивались на поражение.

С другой стороны, как отказаться от поучений того, кто стал местодержателем отца и кто единым духом вызволил Роберта из отчаянного отшельничества и дал ему роль пассажира на корабле, кем-то знаемом и кем-то ведомом? По обаянию ли сана, по праву ли изначального обладателя этой пловучей твердыни, но отец Каспар олицетворял в Робертовых глазах Власть, а Роберт напитался идеологией века достаточно, чтобы знать, что властям следует поддакивать, ну хотя бы притворно.

Стоило Роберту усомниться в благорассудности назидающего, тот немедля, проводя его по кораблю для нового знакомства и показывая ему снаряды, не привлекшие ранее Робертова взгляда, позволял ему узнать столько важностей и таких важных, что сразу возвращалась и вера.

Например, он обучил Роберта употреблению сетей и удильных крюков. «Дафна» была на рейде в богатейших водах и неэкономно было тратить бортовую провизию, если можно иметь свежую рыбу. Роберт, выходя теперь на палубу даже днем благодаря солнцезащитным очкам, быстро обучился ставить сети и наживлять приманку и без труда таскал из воды животных такой непомерной крупности, что они не раз угрожали стащить в воду его самого.

Он выкладывал пойманное на мостик, и отец Каспар, мнилось, каждого зверя знал лично по имени. Наделял он их именами по природе или по собственной прихоти, Роберту не дано было ведать.

Рыбы на родном его полушарии были серые, в крайнем случае отливали серебром,

а здешние сияли синевой при плавниках цвета мараскина, имели шафрановые бороды и пурпурные морды. Был извлечен из пучины угорь о двух головах на двух концах тулова, обе с выпученными глазами, но отец Каспар показал Роберту, что вторая голова представляла собою простой рисунок, выполненный природой для устрашения противников даже со спины. Выловили рыбу с крапчатым животом, с дегтярными полосами по спине, всеми отливами радуги вокруг глаза, с козьим лицом, но отец Каспар велел ее отпустить в море, потому что знал (по рассказам собратьев? по опыту странствий? из легенды моряков?), что эта рыба была отравленнее поганки.

О второй рыбе, с желтым оком, с надутыми губами и зубами как из гвоздильни, фатер Каспар сразу предупредил, что она отродье Вельзевула. И что следует морить ее на палубе до издыхания, а потом швырнуть откуда появилась. Судил ли он по опытной науке или только по виду? Однако заметим, что все рыбы, знаемые Каспаром за съедобные, оказывались превосходной пищей, а об отдельных он даже заранее говорил, вкуснее ли они в жареном или в отварном виде.

Знакомя Роберта с секретами Соломоновых морей, иезуит походя рассказывал подробности и об Острове. «Дафна» по прибытии обошла остров по кругу для разведки. На востоке было много небольших бухт, открытых ветру. Сразу за выгибом южного мыса, там, куда потом матросы причалили со своей шлюпкой, имелся тихий затон, но мелководье, однако, не дозволяло приблизиться кораблю. То место, где «Дафна» кинула якорь, почли самым безопасным. Чуть-чуть ближе к острову судно стало бы на подводные камни, чуть-чуть дальше от берега оказалось бы над резвым течением, перерезавшим пролив между двумя островами в направлении с юго-запада на северо-восток. Чтоб показать течение Роберту, иезуит велел швырнуть туда тушку Вельзевуловой рыбы, и точно, вода стремительно уволокла труп.

Фатёр Каспар вместе с матросами обошли дозором Остров, выбирая место для Установки, и увидели, что с вершинки холма просматривалась практически вся территория, обширная как Рим в городской черте.

На Острове имелся водопад, имелась пышнейшая растительность, не только кокосы и бананы, но также и деревья со стволами звездообразной формы, их грани заострялись как ножи. Что до животного мира, многих его представителей Роберт видел на гон-деке. На Острове, похоже, был настоящий птичий рай, там обитали даже летающие лисицы. По роще бегали кабанчики, но их не изловили. Змеи водились, однако ядовитых или злых замечено не было, и бесконечно разнообразные шныряли ящерицы.

Однако самая изобильная фауна наблюдалась вдоль коралловой опояски. Черепахи, раки, устрицы какой угодно формы, несравнимые с устрицами наших морей, размером с корзину, со сковородку, растворяющиеся туго, но зато уж в середине сочившиеся белым, жирным и мягким мясом, настоящий деликатес. К сожалению, на корабль доставлять их не было смысла, они немедленно портились от жары.

Им не попалось ни одного крупного хищного зверя, какими полнятся области Азии: ни слонов, ни тигров, ни крокодилов. С другой стороны, не встретилось и ничего похожего на буйволов, быков, лошадей или собак. В этой земле формы жизни создавались не архитекторами, не скульпторами, а ювелирами; птицы — разноцветные кристаллы, лесные зверьки — статуэтки, рыбы были почти прозрачны, как люстры из хрусталя. Ни отцу Каспару, ни шкиперу, ни матросам ни разу не попадались в этих водах злобные акулы, заметные, как известно, с далеких расстояний благодаря их режущим, как топорики, плавникам. И это при том, что на тех широтах акулы изобиловали повсюду. Я склонен думать, что отсутствие акул около Острова — обольщение нашего прихотливого первопроходца, но все-таки это могло быть и справедливо, если по причине близости быстрого течения акулы предпочитали бытовать по другую его сторону, где рассчитывали найти более разнообразный корм. Как бы то ни было, важно для развития нашей истории, что ни Каспар, ни Роберт не должны были опасаться присутствия акул, иначе они побоялись бы спускаться в воду моря, а я не знал бы в этом случае, что рассказывать вам.

Роберт от речей священника все больше очаровывался недостижимым берегом, воображал и форму, и цвет, и движения описываемых существ. А кораллы, каковы они, эти кораллы, знакомые ему только как драгоценности, которые в поэзии отображают цвет румяных девьих губ?

Что до кораллов, тут отец Каспар не мог выискать слов и ограничивался тем, что возводил очи горе с выражением блаженства. Кораллы, известные Роберту, были погибшие, как давно погибла добродетель тех придворных дам, к чьим устам либертины применяли это натянутое сравнение. На коралловом отроге погибшие тоже не недостачествовали, и именно они царапали руки тех, кто хотел потрогать их под водой. Но настоящим изумлением являлись кораллы живые, они похожи, как бы описать, на подводные цветы, на анемоны, гиацинты, васильки, лютики, колокольчики, нет же, это ничего не передает, это живые завитки, локоны, почки, распуколки, пузыри, бутоны, жлуди, завязи, пупырышки, узлы, кочерыжки, прожилины, плодоножки, да нет, надо рассказывать иначе, они подвижны, они многоцветны, как сады Семирамиды, они пересозидают все злаки полей и огородов, от репы до репейника и до кочанной капусты...

Фатер Каспар смотрел на них в среде их природы, пользуясь снарядом, изобретенным его сотоварищем по братству, это устройство до сих пор лежит где-то в сундуке у него в каюте: кожаная личина с большим стеклянным окуляром, закраины обшиты валками, а по краям имеются лямки для завязывания узла на затылке, с тем чтобы маска покрывала лицо. Продвигаясь на плоскодонке, опустивши голову к воде, можно было наслаждаться подводным царством, в то время как без этой защиты, кроме соляной рези в глазах, ничего не ощущает человек.

Каспар считал, что прибор, именовавшийся Проницательным, Визирным либо же Стеклянной Личиной (то есть маска, но призванная не укрывать, а открывать), мог бы применяться не только с лодки, а и пловцами; конечно, рано или поздно вода забиралась под окантовку, но хоть малое время, покуда хватало дыхания, можно было бы осматривать дно. После этого полагалось выныривать, облегчать от воды стекло и заново утопать.

— Если ты научался плавать, мог глядеть под водой, — говорил Каспар Роберту. А Роберт, с той же грамматической бойкостью: — Если я научался плавать, под воду мне утопать расчета нету. — Однако его слегка удручало, что он не способен добраться до этих чудес.

А еще, а еще, не мог угомониться фатер Каспар, на Острове живет Пламяцветная Голубка.

— Как это? Какая она? — вскрикивал Роберт, и пылкость его вопрошания представляется нам тревожной. Может, Остров с самого начала обещал ему некую смутную эмблему, и лишь в этот момент решение сиятельно обрисовалось перед ним?

Отец Каспар отвечал, что затруднительно изъяснить все великолепие облика этой птицы и что нужно видеть ее, чтобы понять, как она хороша. Он заметил ее в наблюдательную трубу в первый день, как приплыли. Издалека она была как ком огненного злата, или язык раззолоченного огня, срывавшийся с верхушек стволов стрелою к небу. Высадившись, он начал искать эту птицу и велел искать ее всем матросам.

Следопытствовали они долго, прежде чем узнали, на каких деревьях она бывает. Ее токованье «ток-ток» напоминало щелк языка во рту. Каспар научился подманивать птицу на такую щелкотню и наконец смог разглядеть, как она перепархивает с ветки на ветку.

Каспар снова и снова приходил на место засады с увеличительной трубою и однажды застал ее довольно долго в неподвижности; голова темно-оливковая или, нет, цвета спаржи, такие же и лапки; клюв горчичного оттенка, от него к окружности глаза тянется широкая полоса, и глаз напоминает кукурузное зерно, в центре которого блестящая черная точка. Золотистый ошейник, позолота на кончиках крыльев, а тельце, от грудки и до рулевых перьев хвоста, перьев тонких и завитых, как женские локоны, это тельце красное... о как бы это...

Багряное, багровое, червленое, пурпурное, алое, кровавое, огненное, воспаленное, рдяное, рубинное, маковое, гвоздичное? — предлагал Роберт. А иезуит на это: бледно, невыразительно. Роберт снова: цвета клубники? герани? малины? редиса? остролиста? кошенили? калины? мухомора? красноперки? снегиря? марены? сандала? Да нет, негодовал фатер Каспар, воюя с собственным и чужими языками за верное определение. По синтезу Роберта не поймешь, кто в конце концов нашел результирующую эмфазу, информатор или информируемый. Но похоже, что остановились на ликующем цвете померанца и сочли, что речь идет об окрыленном солнце, короче говоря, на фоне белого

неба эта голубка была как если бы денница выкатывала на овиди снегов раскаленный апельсин, сиятельнее херувима.

Пояснял отец Каспар: голубице жаркого цвета негде было и водиться, если не на острове имени Соломона, потому что в Песни Песней этого великого царя сказано о голубке: блистающая как заря, светлая как солнце, грозная, как полки со знаменами. Голубица, как говорится в другом псалме, с крыльями, покрытыми серебром, и с перьями чистого золота.

Наряду с этим животным отец Каспар обнаружил другое, сходновидное, только перья были не апельсинные, а иззелена-синие, и по тому, что пара занимала одну ветку, можно было судить, что это самец и самка. Они принадлежали к роду голубей, как указывали и форма и частое гуленье. Кто из них был петушок, а кто курочка, определить было трудновато, в любом случае матросам велели их не убивать.

Роберт хотел знать, сколько таких голубей могло водиться на Острове. По соображениям отца Каспара, который всякий раз наблюдал только один шар оранжевого цвета, вздымавшийся в облака, и только одну пару птиц в высоких кронах, не исключалось, что на Острове только одна пара этих голубей, из них только один экземпляр апельсинного цвета. Догадка, доводившая Роберта до умопомрачения своей редчайшей красотой: единственная, нежная голубка дожидалась именно его, выкликала из минувшего дня.

С другой стороны, Роберт, считал фатер Каспар, если так уж нетерпел узреть эту голубицу, мог добиться своего, просидев много часов с подзорной трубою. Только надо было снять с носа копченые стекла. На ответ Роберта, что состояние глаз не позволяет, Каспар пренебрежительно отмахнулся, как от дамского жеманства, и посоветовал капли, которыми лечился от бубона (Спиритус, Олей и цветочные масла).

Неизвестно, применил ли Роберт все эти леченья, или же просто приучился понемногу воспринимать мир, не затуманенный очками, начав с рассветов и закатов и постепенно переходя к дневному зренью, или же продолжал надевать очки даже когда, как будет рассказано, учился плавать, — но в любом из этих случаев, слабость глаз больше не упоминается в его записях как оправдание нежелания или бегства. Так что законно предположить, что мало-помалу, может, благодаря целебному дару свежего воздуха или отсвету морской глади, ему удалось избавиться от болезни, настоящей или предполагаемой, которая побуждала его как волколака делать свои дела ночами вот уже более десяти лет (если, конечно, читателю не захочется возразить, что попросту Роберт мне понадобился ясным днем на верхней палубе, и не находя к тому противопоказаний в его записках, по-авторски безапелляционно я излечил его от всех хвороб и вывел на шканцы).

Но, может быть, Роберт хотел излечиться, чтобы во что бы то ни стало посмотреть на Алую Голубку? Он и припал бы на много суток к окуляру подзорной трубки, впериваясь в кроны деревьев, если бы не отвлекала внимания еще одна неразрешенная проблема.

По окончании описания Острова и его сокровищ фатер Каспар провозгласил, что многие великолепные вещи могли отыскаться только там, на антиподном меридиане. Роберт возразил: «Святой отец, вы говорили, что Мальтийская Установка подтвердила вам, что вы на антиподной долготе, и я в это верю. Но вы же не собирали Установку на каждом острове, который проходили. Вы ее собрали только здесь. Каким же образом, прежде чем Установка это подтвердила, вы могли предполагать, что отыскали именно здесь искомую долготу?»

— Ты сказал очень верно. Если я приезжал сюда, не зная, что это тут, значит, до тех пор я не знал, что я тут... Сейчас объясню. Я знал, что Установка — единственный истинный способ. Но чтоб понять, где же поставить для пробы эту верную Установку, в моем распоряжении были только ложные способы. Их я и применил.

23. Театр математических и механических инструментов[1]

Поскольку Роберт занял позицию недоверчивости и потребовал объяснить, каковы были, и до какой степени были они бесполезны, разнообразные способы установления долгот, отец Каспар начал с того, что способы, хотя каждый в отдельности был из них и ложен, однако же давали суммарно позитивные выводы, взаимно коррегируя недостатки. «Сие есть математика!»

Разумеется, часы, протрясясь на корабле тысячи миль, уже не сообщают достоверных показаний. Ну, а совокупность разных часов, в том числе особо аккуратно выверенных, как все то множество, которое Роберт видел под палубой «Дафны»? Сравним их данные, сумеем учесть, как каждый механизм ведет себя относительно показаний других, тех, что рядом, — и кое-какая уверенность сможет быть обретена.

Есть метод лага, или мерного троса. От обыкновенного лага не будет толку. Но отец Каспар изобрел модификацию лага: ящичек с двумя вертикальными стержнями, на один из них наматывается, а с другого сматывается канат установленной протяженности, соответствующий установленной морской миле. На наматывающем стержне сверху приделаны лопасти, и эти лопасти вращаются подобно мельнице под напором ветра, продвигающего судно. Так наворачивающие шпеньки либо ускоряют, либо замедляют свои обороты, а соответственно и скорость выматывания каната, в зависимости от быстроты ветра и крутизны хода корабля. Осуществляется, в частности, корректировка замера, когда судно идет при косом либо противном ветре. Это не самое надежное из мыслимых измерений, но превосходное в сравнении с другими.

Лунные затмения? Безусловно, наблюдающему их с пловучей палубы уготованы неисчислимые огрехи. Однако так ли свободны от огрехов те, кто следит за светилами с твердой суши?

— Необходимо иметь много обсерваторов и во многих точках Земли и расположенных сотрудничать во имя и во славу Господню, а не сбивать друг друга с толку и оккультировать результаты. Вот слушай. В 1612 году, восьмого ноября, в Макао, достопочтеннейший отец Юлиус де Алексис зарегистрировал лунное затмение с восьми тридцати часов вечера до одиннадцати тридцати. Он проинформировал достопочтеннейшего Каролуса Спинолу, который в Нагасаки, в Японии, произвел аналогичное наблюдение в девять тридцать. Отец Христофорус Шнайдер отметил то же самое в Ингольштадте в пять дня. Если разница в один час дает сдвиг в пятнадцать градусов долготы, следовательно, именно этому равна дистанция между Макао и Нагасаки, а не шестнадцати градусам двадцати минутам, как утверждает Блеу. Ясно? Конечно, при этих замерах нужно беречься от курения и пития, иметь изрядный хронометр, не пропустить начало полного погружения в потемки, правильно определить средопутие между началом и концом смеркания, а также промежуточные моменты, когда затеняются пятна, и в подобном духе. Если обсерваторы далеко отстоят друг от друга, маленькая погрешность несерьезна, но если они расположены рядом, даже ошибка в несколько минут может много напортить.

Не станем придираться; однако что касается Макао и Нагасаки, был, по моим представлениям, прав Блеу, а не фатер Каспар, что в очередной раз показывает, как мучительно проходило определение долгот в те времена. Добавим к этому, что, суммируя и перерабатывая материал, полученный от собратьев, рассредоточенных по миру, иезуиты построили Католические Часы, что означает не «часы, прославляющие римского папу», а мировую систему измерения времени. Эти часы имели форму карты полушарий с обозначением каждой миссии иезуитского ордена, и для всех на свете миссий указывался местный час. Благодаря этому, поясняет фатер Каспар, путник должен был радеть о поддержании точности хода всех корабельных часов не с порта отплытия, а начиная с последнего форпоста христианства, его-то долгота была известна. Поэтому поле вероятных ошибок существенно сужалось, а между одной подставой и другою можно было проверять методы, абсолютно не обещавшие гарантий, к примеру метод отклоняющейся иглы или расчет по лунным пятнам.

---

[1] Сочинение лионского химика и математика Жака Бессона (вторая половина XVI в.) «Théâtre des Instruments Mathématiques et Méchaniques» (1587).

По счастью, миссии иезуитского ордена имелись понемногу повсеместно, от Пернамбуко и до Гоа, от Минданао до Сан-Томе, и если ветры не споспешествовали заходу в какую-то гавань, немедля отыскивалась еще одна рядом и тоже иезуитская. Взять эпизод с Макао, о, Макао, при воспоминании о той истории святого отца просто трясло. Макао был португальской колонией, местные китайцы называли новоприбывших долгоносиками, потому что первыми из европейцев к ним явились португальцы, и щипец у каждого отличался габаритами, в том числе и у иезуитов. Весь этот город представлял собой гирлянду дворцов и замков белого и лазурного цвета на вершине холма, заправляли городом иезуиты, не исключая и оборонной части, так как бывали набеги голландцев-еретиков.

Отец Каспар решил зайти в этот Макао, потому что знал там одного собрата, пресведущего в астрономии. Но он не учел, что путешествует на фликоте.

Эти священносподвижники из Макао, как увидали голландское судно, похватали пушки и фальконеты, и бесполезно фатер Каспар жестикулировал на баке и отчаянно указывал на иезуитские штандарты, поднятые на верхней райне; идиотские длинноносцы, португальские иереи, окутанные военным дымом, который накалял их благонамеренную истребительность, даже не разглядели, что к ним обращаются, и закидали ядрами и «Дафну» и все море вокруг нее. Чистое чудо, что «Дафна» успела развернуть паруса, лечь на другой галс и убраться куда глаза глядели под лютеранское сквернословие капитана в адрес духовных лиц с подобным возбудимым характером. И с ним действительно нельзя не согласиться: одно дело топить голландцев, другое дело когда на борту иезуит.

По счастию, недалеко располагались другие миссии, к примеру более гостеприимная Минданао. Вот от стоянки к стоянке они и вели учет долготы (как уж там вели, одному Господу известно, поскольку чуть не врезались в Австралию, и значит, не имели никакого представления о реальном курсе корабля).

— А теперь проведем новейшую экспериментацию, дабы четко и очевидно продемонстрировать, что мы на градусе номер сто восемьдесят. В противном случае мои собратья из Римского коллегиума предположат, что я балабонщик.

— Продемонстрировать? — переспросил Роберт. — Не вы ли говорили, что Установка вам показала с полной убедительностью, что вы на сто восьмидесятом меридиане и что этот остров — Соломонов?

Да, ответствовал иезуит, он-то в этом не сомневается; сопоставив результаты многих неудовлетворительных способов, применявшихся другими, он синтезировал из чужих слабых методологий собственную сильную уверенность. Так и одно из доказательств бытия Божия основывается на consensus gentium[1], хотя несомненно и то, что веровать в Господа свойственно многим таким людям, которые наклонены к ошибке, но невероятно, чтобы ошибались все, от джунглей Африки и до пустынь Китая. Тому же подобна наша вера в круговой ход Солнца и Луны и остальных планет, или в лечебность чистотела, или в существование посередине Земли жидкого огня. Тысячи и тысячи годов люди веруют в это, и вера помогает обитать на нашей планете и извлекать полезные результаты из того, каким образом они прочитывают великую книгу природы. Но такое крупное открытие, как долгота, должно сопровождаться многими новыми подтверждениями, с тем чтобы даже скептики сдались перед очевидностью.

К тому же науку следует углублять не из одной только любви к процессу, но и ради приобщения к ней всего человеческого рода. А потому, учитывая, что для святого отца стоил огромнейших усилий поиск истинного меридиана, он обязан теперь обосновать полученные выводы более коротким путем, чтобы сделать это знание достоянием всех людей-братьев, «или хотя бы братьев во христианстве, скажу даже только в католицизме, потому как отщепенцы и голландские и английские, а еще хуже того, моравские, лучше бы к нашим секретам не имели никакого касательства».

Так вот, из всех приборов измерения долготы — два представлялись отцу Каспару надежными. Один, применимый на твердой суше, это была драгоценнейшая Мальтийская Установка. Другой, годный даже и для палубы корабля, — Закрепительная Снасть,

---

[1] Совместном убеждении людей (*лат.*).

Instrumentum Arcetricum, она покоилась в трюме и до сих пор ни разу не была испытана, поскольку сперва надлежало с помощью Мальтийской Установки прийти к уверенности относительно собственной координаты, а уж потом посмотреть, подтверждалась ли эта координата данными, получаемыми с Закрепительной Снасти, и если подтверждалась, то метод Снасти следовало объявить самым надежным среди всех.

Фатер Каспар провел бы эксперимент значительно раньше, если бы только не случилось все то, что случилось. И вот теперь возможность есть, и надо действовать неотложно: и по Солнцу и по астрономическим справочникам (эфемеридам) явствует, что нынешняя ночь — та самая ночь.

Закрепительная Снасть была спроектирована за много лет до того Галилеем. Изобретена, вычерчена, продумана, но не построена! Первым, кто ее сделал, является фатер Каспар. Роберт спросил фатера, тот ли это Галилей, кем представлена возбранная гипотеза о вращении Земли, и получил ответ, что тот, и что в метафизике и в вопросах Писания этот Галилей нагромоздил много гадких гипотез, но относительно механики являлся гением, и величайшим. На вопрос, не дурно ли использовать идеи человека, которого Церковь осудила, иезуит ответил, что к вящему восславлению Господню могут сгодиться в дело и идеи еретика, если в корне они не еретичны. Интересуясь всеми сущими на свете методами, ни одному не отдавая предпочтения, но стараясь извлечь истинное зерно из их сварливой многоголосицы, он не мог не экстрагировать истинное зерно и из метода Галилея.

Напротив, было бы очень полезно и для науки и для веры, если б эту концепцию Галилея как можно скорее пустили в работу. Галилей уже пытался запродать ее голландцам, и счастье еще, что последние, как и испанцы несколькими десятилетиями прежде, не осознали ее истинной значительности.

Галилей выводил свои сумасбродства из идеи более чем обоснованной, а именно: уворовать прожект подзорной трубы у фламандцев (употреблявших трубу только для рассматривания кораблей в порту) и повернуть это орудие в небеса. И вот там-то, среди прочих явлений, для отца Каспара не подлежавших сомнению, Галилей обнаружил, что Юпитер, или Зевс, как он его именовал, обладал четырьмя спутниками, то есть чем-то наподобие четырех маленьких лун, никем и никогда не замечавшихся от происхождения мира и до наших дней. Четыре звездочки вертелись около Юпитера, в то время как сам Юпитер вертелся около Солнца. Кстати, мы видим, что для отца Каспара было вполне позволительно, чтобы вокруг Солнца обращались какие угодно планеты, лишь бы никто не покушался закрутить вокруг Солнца нашу с вами планету Земля.

Так вот. Существуют моменты затмения нашей Луны, когда она попадает в тень Земли. Эти моменты заранее высчитаны астрономами и отражены в эфемеридах. Естественно, и луны Юпитера имеют затмения, и даже с нашей земной точки зрения их вдвое больше, чем затмений Луны: на каждое настоящее затмение приходится одна оккультация. (Луна исчезает с наших глаз только когда Земля встает между нею и Солнцем, а спутники Юпитера — и когда они проходят сзади и когда они проходят спереди, сливаясь с сиянием планеты, и при помощи хорошей трубы великолепно можно наблюдать их появление и исчезновение.) Вдобавок неоценимо преимущество, что, в то время как затмения Луны наступают с такою же частотой, с какой умирают епископы, и это дело очень долгое, затмения Юпитеровых лун часты и скоротечны.

Предположим, что и часы и минуты эклипса юпитеровых сателлитов (из которых каждый гуляет по собственной орбите известного диаметра) высчитаны с высокой степенью точности для какого-то конкретного меридиана, и в эфемеридах это указано. Тогда достаточно установить час и минуту, когда эклипс проявится на меридиане (неизвестном), с которого его наблюдают, и подсчитать разницу во времени легче легкого, а следовательно, легко подсчитывается и расхождение географической долготы.

Вообще-то имеются незначительные помехи и этому методу, их, наверное, незачем и обсуждать с профаном, но скажем вкратце, долготу вполне можно получить, если уметь прилично делать подсчеты и иметь в распоряжении прибор измерения времени, так называемый перпендикулум, или маятник, или колебательные часы, способные определить с волосною точностью расхождение даже только в одну секунду, затем иметь еще и двое хороших часов, чтобы точно знать время начала и окончания феномена, во-первых,

на меридиане, откуда ведется наблюдение, а во-вторых, на Железном острове; затем необходимо с помощью графика синусов уметь измерять глазомерный угол между телами — угол как бы между идеальными стрелками часов, отображающий в минутах и секундах дистанцию между двумя светилами и постепенное изменение этой дистанции.

Важнейшим условием, следует повторить, является пользование хорошими эфемеридами, которые Галилей, состарившийся и больной, не сумел закончить, но они завершены собратьями фатера Каспара, уже доказавшими свою великолепную точность при предрассчитывании затмений Луны.

Каковы были основные неудобства метода, раздутые противниками Галилея чуть ли не до невозможности? Что якобы наблюдения неосуществимы без сильного телескопа? Фатер Каспар как раз обладал телескопом дивной работы, таким телескопом, что Галилею и не снился. Что якобы измерения и подсчеты недоступны простому моряку? Но если все другие приемы измерения долгот, за исключением разве что метода лага, не предполагают даже участия астрономов! Капитаны способны пользоваться астролябией, которая тоже отнюдь не на уровне профанов; они, наверно, и с подзорной трубой управятся.

Но, возражают педанты, подобные точные обсервации требуют неподвижной опоры, а с плывущего корабля, где никто не в силах удерживать трубу четко нацеленной на небесное тело, невидимое человеческим глазом... Ну так вот, фатер Каспар именно для того здесь и сидит, дабы продемонстрировать миру, что при некотором умении, обсервация может быть проведена и с идущего корабля.

Наконец, испанские оппоненты выдвигают контрвозражение, что затмения сателлитов не показываются днем и не видны в грозовые ночи. «Может, они думают, затмения Луны им сервируются по первому требованию?» — иронизировал фатер Каспар. Кто им сказал, что обсервации должны делаться каждую минуту? Все путешествовавшие от одних Индий до вторых Индий знают, что вычислять долготу нет потребности чаще чем широту, и что даже и широту, астролябией ли, или же балестрильей, невозможно замерять при неспокойном море. Если бы удавалось как следует определить эту благословенную долготу хотя бы раз в два, раз в три дня, между первым и вторым замерами можно прикидывать прошедшее время и пройденное расстояние, как обычно, с помощью лага. С той только разницей, что сейчас мерят дорогу лагом в течение нескольких месяцев подряд. А в будущем, по методу Каспара, будут мерить в течение двух-трех дней, а потом снова проводить точное измерение. «Но эти люди, — не мог угомониться добрый иезуит, — подобны тем, кто при голоде получает корзину хлеба и не благодарит за нее, а спрашивает, почему не дают барана или зайчатину. О недальновидные! Ты что, выкинешь в море эти пушки по причине, что из сотни выстрелов девяносто уцеливают прямо в воду?»

Вот так отец Каспар вовлек Роберта в приготовление опыта: вечер того дня, астрономически удовлетворительный, ясный, обещал среднее волнение на море. Проводить опыт в штиль, объяснял Каспар, все равно что проводить на суше, то есть ясно, что он пройдет удачно. Нет, истинный опыт призван воссоздать условия штиля на судне, испытывающем и бортовую и носовую качку.

Прежде всего требовалось найти среди часовых механизмов, неухоженных в эти последние недели, хотя бы один в добром здравии. Требовался только один, в данном счастливом случае, а не двое; эти единственные часы будут установлены по солнцу на местное время, а зная, что опыт проводится на антимеридиане, нет нужды во втором циферблате, отсчитывающем время на Железном острове. Ясно, что на Железном острове ровно на двенадцать часов меньше, чем в месте опыта.

По здравом размышлении здесь можно увидеть логический порочный круг: если дано, что наблюдение ведется со сто восьмидесятого меридиана, что же доказывается? Но отец Каспар был до того убежден в верности своих предыдущих обсерваций, что стремился только подтвердить их выводы, а кроме этого, скажем прямо, после всего раззора, случившегося на корабле, скорее всего у него не оставалось ни одного хронометра, все еще помнящего отсчет времени на противоположной стороне земного шара. И Роберт не стал мелочно въедаться в этот логический изъян.

— Я скажу пошел, тогда смотри время и пиши. И тут же пихай перпендикулум.

Перпендикулум был укреплен на маленьком металлическом пьедестале, на нем были

восставлены воротца, а в них качался медный шатунчик с круглой маятницей. Внизу, под маятницей, имелось зубчатое колесико, каждый кулачок с одного боку обрублен, с другого скошен. Покачень при колебании толкал рычажком шатун, шатун цеплялся за прямую сторону кулачка, колесико смещалось; при обратном движении шатунчик проходил вдоль скошенной стороны зубца и колесико стояло. Пометив кулачки цифрами, по остановке маятника можно было определить число прошедших долей времени.

— Так что ты не должен считать один-два и так далее, а когда я скажу раз, остановишь перпендикул и скажешь, сколько зубьев переместилось, ясно? Запишешь. Потом запишешь час. Когда я снова скажу пошел, опять сильно пихни перпендикул. Понятно и для ребенка.

Перпендикулум давал не ахти какой точный результат, это сознавал и фатер Каспар, но еще не наступило время, когда начали изобретать более совершенные приборы.

— Весьма нелегкое дело, и многому еще надо учиться, хотя если бы Господь не возбранял die Wette... пари, или как сказать...

— Не запрещал загадывать.

— Вот. Если бы не запрещалось это, я бы поспорил, что в будущем долгота станет измеряться, и все земные феномены станут тоже этим измеряться, то есть перпендикулом. Но многое непросто на корабле, и ты должен быть очень внимателен.

Роберту надлежало поместиться с двумя механизмами и всем необходимым для письма на юте, ют являлся самой высокой точкой для обсервации на «Дафне», и там предполагалось водрузить Закрепительную Снасть, Instrumentum Arcetricum. Были вытащены детали, виденные Робертом в трюме. Металлический таз с трудом подняли по трапам. Но отец Каспар, одушевленный замыслом, оказался, при всей тщедушности, невероятно энергичен.

Почти без помощи он соорудил, пользуясь особыми закрепами, железный каркас, куда приторочили круглый холст и вышло нечто вроде парусиновой лунки два метра в поперечине. Просмолили, чтобы не вытекло, и влили зловонное масло из бутылей. Роберт зажимал нос, но отец Каспар серафически увещевал его: не в готовку же пойдет эта ворвань.

— А на что она пойдет?

— Попробуем пустить в это малое море малый корабль, — и Каспар погрузил туда металлический таз. — Ты не слышал сравнений, что, бывает, все идет как по маслу? Вот видишь, нашу «Дафну» качает налево, а жир в бассейне идет направо. Жир всегда параллелен горизонту. Вода то же самое делала бы, но на масле наш тазик будет плавать, как по морю в штиль. Я уже такой маленький эксперимент в Риме проводил. Две маленькие мисочки, в большой вода, в меньшой песок, в песок поставил шесток, клал одну в другую и тряс, а шесток стоял ровно, как башня, но не такая косая, как ваши башни в Болонье!

— Вундербар, — одобрял юный ксеноглот. — А теперь что будет?

— Будет, что меньшую миску надо вытянуть и на нее установить всю конструкцию.

Подо дном меньшей миски были пружины, для того, чтобы когда она в нагруженном виде задрейфует в большой миске, она отстояла бы от дна по меньшей мере на палец, и если при резком движении сидельца прижмется чересчур сильно к поду (какого еще сидельца, спрашивал Роберт; увидишь, отвечал Каспар), пружины дали бы ей возможность мягко выправить положение. Внутри миски приклепали скамью, чтобы человек мог на ней полулежать, устремив глаза в небо и поставив ноги на железную ступень, служившую противовесом.

Конструкция была возведена на юте, под таз подсунули для выравнивания клинья, фатер Каспар воссел на стульчак, а Роберт под его руководством опер на его плечи и пристопорил к пояснице сбрую из холщовых и кожаных лямок, к которой присоединялся еще и яйцевидный шлем, на прилбище шлема имелся стержень с обручем. Туда просовывался телескоп, от него отходил прут, на конце прута был крюк. Таким образом, Гипербола Очей могла свободно шевелиться и искать на небе намеченную цель. Однажды установившись на небесное тело, телескоп мог быть удержан точно в том же положении, потому что крюк прута имелась возможность прицепить за одну из многих петелек, заготовленных в грудном ремне. При этом сохранялись границы поля видения даже в случае необдуманных рывков новоявленного циклопа.

— Идеально! — ликовал иезуит. Закрепительная Снасть дрейфовала по масляному штилю, и это позволяло следить за самой ускользающей звездой, не обинуясь никаким волнением на море. — И это господин Галилей предописал, и это я совершил!

— Замечательно, — сказал Роберт. — И кто теперь переместит все это в таз с маслом?

— Сейчас я отвяжусь и сойду, потом мы поставим один таз в другой, потом я сяду в него.

— Не думаю, чтобы это было просто.

— Более просто, чем переставлять таз со мною в нем.

Пусть с некоторой натугой, но все же им удалось пустить в плавание миску вместе с седалищем по масляному океану. Потом фатер Каспар, в доспехах, с телескопом на шишаке, попытался воссесть туда, поддерживаемый Робертом одной рукой под локоть, а другой пихаемый в зад. Попытка была повторена неоднократно, но безуспешно.

На металлический каркас, державший нижнюю миску, не то чтобы не мог ступить лезущий, но он не мог удержаться. Когда отец Каспар пытался одной ногой опереться на металлический остов, а другую быстро поставить на внутренний таз, этот последний, получив толчок, отшатывался по маслу в противоположную сторону, циркульно раздвигая ноги преподобномудрого, который тревожными криками оглашал воздух, покуда Роберт, обнимая его за поясницу, не притягивал к себе и не возвращал на, так сказать, твердую землю — палубу «Дафны», причем предавал громогласному поношению память покойного Галилея и восхвалению — действия галилеевых палачей. Почтенный иезуит, возлегая на мышцах своего спасителя, слабым голосом спорил с ним, что палачами галилеевы преследователи не были, а были славнейшими иеромонахами, и преданными исключительно обереганию истины, и что с Галилеем они поступили снисходительно и отечески. После чего, броненосный и недвижный, с тем же задранным к небу лицом, как паяц с металлическим носом, он призывал Роберта поверить, что Галилей в этом-то изобретении никак не обманулся и что дело было только за надлежащей проверкой и доказательством. «И вот поэтому, майн либер Робертус, — говорил он, — может, ты позабыл, каков я, и думаешь, что я черепаха, буду обескуражен, оказавшись наружу брюхом? Нет, ты давай-ка, толкни меня снова, дай стану, вот теперь переверни, прекрасно, ибо мужу приличествует прямостоятельность».

Во всех этих нелегких эволюциях масло не оставалось спокойным как масло, и через малое время оба экспериментатора облепились слизью и, что хуже того, провоняли ворванью, да будет позволена подобная вставка от повествователя, не документируемая источниками.

В то время как фатер Каспар уже отчаивался взойти на желанный трон, Роберту пришло в голову, что практичнее было сначала вычерпать масло, затем усадить иезуита, а потом снова влить масло, уровень которого, подымаясь, заставит всплыть и тазик и мудреца, находящегося в нем.

Так и поступили, с великими похвалами учителя ученику, в то время как полночь приближалась. Не то чтобы вся постройка выглядела такой уж крепкой, но если фатер Каспар побережется от стремительных движений, могли быть благие надежды.

Настал момент, когда Каспар прокричал: «И вот я вижу этих!» При вопле он пошевелил носом, и труба, довольно тяжелая, угрожающе поползла с окуляра, Каспар подхватил ее, рывок руки и плеча перекосил все эквилибры и тазик чуть не опрокинулся. Роберт оставил бумагу и часы, поддержал иезуита, наладил равновесие и увещал звездосоглядатая не ерзать, осмотрительнейшим образом подвигать свое усиленное око и в особенности не выражать эмоций.

Следующее извещение было подано шепотом, который, усугубленный шлемом, звучал хрипче, нежели труба Тартара: «Я вижу опять этих», — и плавным манием руки телескоп был прикноплен к грудной перевязи. «О, вундербар! Три звездочки от Юпитера на востоке, одна только на западе... самая близкая меньше всех, и она... о погоди... вот, она в нуле минут и тридцати секундах от Юпитера! Ты пиши. Сейчас она касается Юпитера, вот она пропадает. Внимательно запиши, в какой момент она пропала».

Роберт, покинувший было свое место, чтобы поддерживать учителя, снова посунулся к таблице, куда следовало вписывать цифры, но часы-то стояли у него за плечами.

Он обернулся всем корпусом и задел пендулум. Стерженек соскочил с подпорки. Роберт стал цеплять обратно, отец Каспар надседался, чтоб отметили очередной момент, Роберт метнулся опять к часам, перо, торчавшее из чернильницы, попало под руку, чернильница накренилась. Инстинктивно махнув рукой, чтоб не дать вылиться чернилам, Роберт обрушил часы на палубу.

— Ты записал время? Пихай перпендикулум! — выкрикивал Каспар.

Роберт отвечал:

— Не могу, не могу!

— Как ты не можешь, безмозглый! — вопил ученый. И не получивши ответа, еще оголтелее: — Как ты не можешь, ничтожество! Ты писал, ты пихнул, ты следил? Отвечай же! Вот звезда уже пропала, ну!

— Все растерял, то есть растерялся, все разломал, — отвечал Роберт.

Отец Каспар отвел телескоп от забрала, увидел переломанный пендулум, опрокинутые часы, Роберта с руками в чернилах и испустил такое «Himmelpotzblitzsherrgottsakrament!», которое сотрясло все его тело. Этим неблагорассудным жестом таз перекосился, и обсерватор низвергся в миску с ворванью. Наблюдательная труба выскочила из его руки и сорвалась со скобы на панцире, после чего, под воздействием качки, прокатилась кубарем по юту, прогрохала весь трап и, разлетевшись на палубе, ахнула о лафет бортовой пушки.

Роберт не знал, спасать учителя или телескоп. Каспар, барахтаясь в своей мерзотине, геройски указывал на трубу. Роберт рванулся догонять эту Гиперболу-беглянку и настиг в помятом виде, с двумя растресканными стеклами.

Когда же Роберт извлек священнослужителя из олея, тот ничем не отличался от поросяти, готового для вертела, однако твердил с дерзостным упорством, что потеряно еще не все. Телескоп равной мощности с этим имелся на Острове, на макушке Мальтийской Обсервации. Оставалось только взять трубу с Острова.

— Как взять?

— Доплыть.

— Но вы же говорили, что не умеете плавать и не осилите в вашем возрасте...

— Я нет. Ты да.

— Но мне тоже недоступно это распроклятое плавание.

— Учись.

24. Диалоги о величайших системах[1]

Все последующее имеет неясный характер: возможно, мы читаем конспекты диалогов Роберта с отцом Каспаром, а может, это пометки, набросанные Робертом по ночам от несогласия с иезуитом. Как бы то ни было, пока они были на судне вдвоем, писем Владычице Роберт не писал. В тот же период ночная жизнь постепенно вытеснилась дневным режимом.

<...>

Роберту предстояло найти общий язык с водной средою, а остальное, предполагалось, образуется само. Было решено, что он начнет сходить по канатному трапу, тому самому, который носил прозвище Лествицы Иакова, но для уверенности его обвяжут линем, или кабельтовом, или какою попало снастью, длинной и надежной, прикрепленной концом к бархоуту. Будет тонуть — потянет за конец.

Нечего говорить, что его учитель, никогда сам не плывший, недоучел множество сопутствующих осложнений, недоучитывавшихся и мудрецами Греции. К примеру, для свободы движений к Роберту был приторочен настолько длинный шкот, что учащийся моментально пошел на дно и был еле спасен, но наглотался соляного раствóра до такой степени, что отказался, по крайней мере на тот день, от новых упражнений.

---

[1] Сочинение Галилео Галилея (1564—1642) «Dialoghi sui massimi sistemi». То же название (но «Диалог», не «Диалоги») носит известная в Италии первая книга Томмазо Ландольфи (1908—1979), вышедшая в 1937 году. Имеются текстовые связи романа Эко с книгой Ландольфи.

И все же начало казалось завидным. Сойдя по трапу и погрузясь наполовину в воду, Роберт почувствовал, что морская жидкость приятна для тела. От кораблекрушения в его памяти сохранились холод, злость волн, а тут, попробовавши теплого моря, он ощутил настоящее удовольствие и окунулся целиком, продолжая держаться за трапик, но зайдя в воду до подбородка. Думая, что плаванье будет настолько же сладко, он разнежился воспоминаньями о парижском житье.

С тех пор как его выбросило на корабль, он поддерживал чистоту, как мы наблюдали: наподобие кота, который ежедневно моет мордку и под хвостом. Что до остального тела, и в особенности по мере того как он озверевал в бореииях со злопакостным Неведомцем, ноги Роберта облепливались палубным мусором и пот постепенно приращивал одежду к коже. Теперь, в теплых струях, которые ополаскивали одновременно и тело и платье, Роберт относился мечтами к тому дню, когда обнаружил во дворце Рамбуйе целых две лохани с водой, приготовленные для маркизы, забота которой об опрятности была темой подтруниваний в высшем обществе, где омовения не были слишком часты. Даже самым изысканным посетителям было свойственно думать, что чистота состоит в свежести белья, белье было принято менять то и дело, а мыться было не принято. Те душные облака благовоний, в коих маркиза утапливала своих приглашенных, она нагнетала отнюдь не из роскоши, а для необходимой обороны своего чувствительного носа от сального смердения гостей.

Так что Роберт превзошел аристократичностью самого себя в Париже, когда, схватившись одной рукой за трап, другою тер и наяривал свои рубаху и штаны о заскорузлое тело, а пальцы левой ноги в то же самое время отскребали пятку правой.

Фатер Каспар наблюдал за ним заинтригованно, но хранил молчанье, давая Роберту возможность обвыкнуться с водой. В то же время из опасений, как бы Робертов разум не отошел на второй план от чрезмерной заботы о бренном теле, он развлекал его умной беседой. На этот раз темой выступали приливы моря и притягательные способности Луны.

Старик обращал внимание Роберта к явлению, содержащему некую невероятность. Если приливы отвечают на приглашения Луны, они должны приключаться именно тогда, когда Луна стоит над ними, а не тогда, когда она светит на противоположную сторону планеты. А между тем высокая и низкая вода чередуются на обеих сторонах земного шара, почти наперебой вступая в действие через каждые шесть часов... Роберт выслушивал соображения о приливах, однако думал о луне, о которой во все эти прошедшие ночи он думал больше, нежели о приливах.

Поэтому он спросил, отчего выходит, что луна кажет нам всегда одно и то же и только одно свое лицо, а отец Каспар ответил, что она вращается по орбите, будто мяч, который атлет раскручивает, привязав на веревку, и который виден ему только с привязанной стороны.

— Но, — не отступался Роберт, — этот бок показывается и жителям Индий, и нам. А вот жители Луны совсем иначе наблюдают свою лунную луну, иногда еще называемую Вольвой, которая и есть наша с вами Земля. Субвольванцы, живущие на поверхности, повернутой в земную сторону, видят ее постоянно, в то время как Перивольванцы, населяющие противоположное полушарие, не имеют о ней представления. Вообразите теперь, что происходит, когда они приезжают на обратную сторону своего шара. Что они чувствуют, увидев, как в ночи на полнеба полыхает круглая луна в пятнадцать раз крупнее той луны, которую наблюдаем мы с вами! Как пугаются, ждя, что того и гляди она свалится им на макушку, точно как древние галлы опасались, что им на голову обрушится небо! Не говоря уж о тех, кто живет на самой границе нашего и не нашего полушарья и поэтому видит Вольву вечно полувысунутой из-за кромки небозема!

Иезуит парировал иронией и издевками Робертовы пустобредства насчет обитателей Луны, ибо небесные тела не обладают тою же натурой, что Земля, и поэтому не пригодны к обитанию живыми существами, так что лучше предоставить их когортам ангельским, которые умеют перемещаться духовным бегом в хрустале небес.

— Да возможны ли небеса из хрусталя? Кометы раздробили бы их на куски.

— Кто это информировал тебя, якобы кометы передвигаются в помещении эфира? Кометы передвигаются в подлунном помещении, то есть здесь, а тут есть воздух, как ты это сам можешь видеть.

— Движутся только тела. Небеса движутся, эрго они тело.

— Ты ради того, чтобы говорить бестолковщину, становишься даже аристотеликом. Но я знаю, по какой причине ты говоришь это. Ты хочешь, чтобы в небесах тоже был воздух. Тогда получается, нету различий между верхом и низом, значит, все вертится, и Земля вихляет своею задницей вроде вертихвостки.

— Звезды каждую ночь предстают в новом положении.

— Конечно. Звезды действительно перемещаются.

— Постойте, я не кончил. По-вашему, и Солнце и все светила, которые являются огромными телами, оборачиваются вокруг Земли каждые двадцать четыре часа. Что же, и неподвижные звезды, вместе с тем огромным обручем, в который они впаяны, пробегают за каждые сутки расстояние в двадцать семь раз по двести миллионов лиг? А ведь выйдет именно это, если вообразить, что Земля не вертелась бы вокруг своей оси раз в двадцать четыре часа. Как удается неподвижным звездам бегать с такой быстротой? У их обитателей закружится голова!

— Это если там есть обитатели, что составляет собой petitio principii[1].

И фатер Каспар пустился в доказательство, что легко изобретается только один аргумент в пользу движения Солнца, но что существует множество аргументов против вращения Земли.

— Знаю, знаю, — не унимался Роберт. — Екклесиаст говорит: terra autem in aeternum stat, sol oritur[2], а Иисус Навин остановил Солнце, не Землю. Но именно вы намедни предостерегали меня, что если интерпретировать Библию буквально, получится, будто свет существовал еще до появления Солнца. И мы решили, что Священное Писание надо воспринимать с разбором; и еще святой Августин подмечал, что в тексте Библии многое сообщается more allegorico...

Фатер Каспар с тонкой улыбкой парировал, что вот уже немалые годы иезуиты отказались в борьбе с противниками прибегать к священнотекстовому крючкотворству, а действуют посредством непобораемых аргументов, основанных на астрономии, на разуме, на математических и физических резонах.

— На каких же резонах, интересно? — отзывался Роберт, соскребая отложения грязи с живота.

— Интересно, — отвечал на это задетый иезуит, — было бы тебе послушать знаменитое Рассуждение о Колесе. Теперь ты слушай меня. Вздумай колесо.

— Вздумываю колесо.

— А теперь попытайся соображать своими мозгами, вместо того чтобы как обезьяна повторять то, что тебе втемяшили в твоем Париже. Теперь вообрази себе, что это колесо мягко насажено на ось, как будто колесо у горшечника, и ты хочешь повращать это колесо. Что тогда будешь делать ты?

— Рукой или просто пальцем трону обод, колесо завертится.

— Не думаешь ты, что лучше завертеть ось?

— Нет, так ничего не выйдет...

— О! А ваши галилеяне с коперникианцами ставят неподвижное Солнце посреди Вселенной и доказывают, будто оно вращает весь большой круг планет около себя, и не видят, что движение касается именно этого большого круга планет, в то время как Земля неподвижно пребывает в центре, как ось вращения. Как бы мог Господь Бог поместить Солнце на несущественное место, а Землю, подверженную порче, темновидную, ввести в компанию сияющих и вечных звезд? Теперь ты осознал свою ошибку?

— Нет, Солнце должно стоять в самой середине Вселенной! Телам природы необходимо это радикальное пламя, пламя должно гореть в центре царства, дабы удовлетворять потребности, имеющиеся во всех краях. Работа зарождения, где следует ей корениться, как не в середине? Природа разве не расположила семя в гениталиях, на половине дороги от возглавия к ногам? Разве семена не в середине яблока, кость не в пупе сливы? Вот и Земля, которой потребны и свет и жар от серединного пламени, крутится вокруг него, дабы принимать на любые свои поверхности солярные достоинства. Пресмехотворно

---

[1] Предвосхищение основания (*лат.*) — логическая ошибка, заключающаяся в скрытом допущении недоказанной предпосылки для доказательства.

[2] Земля же пребывает вовеки; солнце восходит (*лат.*).

полагать, будто Солнце вращается около точки, которая неведомо зачем нужна. Это как если бы, жаря жаворонка, оборачивали около него печку и с угольями.

— Ах вот? Значит, когда епископ обходит по кругу церковь, благословляя ее, с кадилом, ты хотел бы, чтобы церковь ходила около епископа? Солнце способно вращаться, потому что принадлежит к стихии огня. А тебе хорошо известно, что огонь летает и двигается и никогда не пребывает в покое. А горы ты когда видел, чтоб они двигались? Как же может способна быть двигаться земля?

— Лучи солнца подталкивают ее и сообщают ей силу движенья. Так можно подталкивать мяч рукой, а если мячик маленький, то и поддуванием... И наконец, неужели, по-вашему, Господь Бог гоняет Солнце, которое в четыреста тридцать четыре раза крупнее Земли, только для того, чтобы вызревала на огороде капуста?

Дабы придать наивящую театральную выразительность этому последнему аргументу, Роберт воздел руку с перстом по направлению фатера Каспара, а ногами отпихнулся от борта, стараясь по возможности попасть в поле зрения священника. При этом движении второю рукой он тоже отпустил канат, голова запрокинулась и потянула все туловище Роберта в пучину моря, и вовсе не полезен оказался, как мы уже указывали, привязанный к пояснице канат, так как длина его была чрезмерной. Роберт проделал все то, что положено утопающему: бурно барахтался и поглощал воду, покуда Каспар не догадался с силой вымотать линь, причалив Роберта обратно к трапику. Роберт взобрался, клятвенно обещая, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сойдет больше вниз.

— Завтра ты попробуешь снова. Соленая вода как медицина, не вижу никакого большого зла, — улещивал его на палубе фатер Каспар. И покуда Роберт вновь налаживал свои отношения с морем путем рыболовства, Каспар объяснял ему, сколько и какой пользы получат они оба, если Роберт доплывет до Острова. Кроме очевидного — заново обрести шлюпку и иметь возможность, как свободные люди, ездить с моря на Остров и обратно — они бы смогли работать на Мальтийской Установке.

Эта Установка по пересказу Роберта рисуется смутно, и остается заключить, что ее замысловатость превосходила Робертовы способности постижения, а может быть, загвоздка и в том, что речь фатера Каспара, как случалось весьма нередко, слагалась из эллипсисов и восклицаний, которыми священнослужитель пытался отобразить и форму и назначение постройки, и даже идею, которая ее предвосхитила.

Идею, вдобавок, изобрел не сам преподобный Каспар. Он проведал набросок Установки в бумагах почившего собрата, который, в свою очередь, перенял эту мысль от другого иезуита, побывавшего на благородном острове Мальта, который он именовал Мелита, и слышал, как восхваляли сей наблюдательный снаряд, выстроенный по приказу Верховного Князя Иоанна Павла Ласкариса, Великого Магистра ордена знаменитых Рыцарей.

Какова была Установка, воочию никто не видел; от первого собрата имелась какая-то тетрадь с набросками, да и ту не удалось сохранить. С другой стороны, жаловался Каспар, в тетради были «беглые записи и ни одной schemate visualiter, ни одной табулы, изображения, ниже практических указаний на строительный счет».

На основании этих скудных сведений отец Каспар, в ходе долгого плавания на «Дафне», взявши в работу корабельных древоделов, перепроектировал (или перекроил) различные элементы техназма, они были созданы, и Установка сооружена на Острове, и на месте были промерены все ее неисчислимые добродетели, и Установка воистину собой представила Ars Magna во плоти и крови, то есть в дереве, железе, холсте и прочих материалах, новоявленные Мега-Часы, Ожившую Книгу, способную огласить все тайны универса.

«Она, — проповедовал фатер Каспар с очами сияющими как карбункул, — была Единственной Синтагмой Новейших Приборов Физики и Математики, «по дискам и циклам искусно размещенных». Потом он что-то рисовал пальцем на досках палубы или на воздухе и предлагал вообразить какую-то круглую основу, что-то вроде основания или цоколя, который соответствует Недвижному Горизонту с означенными по окружности небосклата румбами тридцати двух ветров, и с учетом всего Навигационного Искусства, что потребно для предсказания погод. «Серединная часть, — продолжал он, — на эту основу насажена и представляет собой куб, то есть нам дается пять граней, нет, не

шесть, а пять, так как шестая смотрит вниз на цоколь и из-за этого ты не можешь видеть ее. На первой грани куба, сия грань есть Хроноскопиум Универсальный, виднеются восемь колес извечной цикличности, изображающих времясчисление по Юлию и по Григорию, и на какие дни должны выпадать Воскресения, и Високосные прибавки, и как разбит Круг солнопутья, и когда бывают Передвижные праздники, и Пасхи, и новолуния, и полнолуния, и каковы квадратуры Солнца и Луны. На второй же грани куба, коя есть Спекулум Космографии, отображение Вселенского времени: на первом месте помещен Гороскоп, где задается время мальтийское и сообщается возможность увидеть точный час на всех других поясах нашего земного шара. Там расположено Колесо с двумя планисферами, одна из которых показывает и поучает обо всей науке, касательной Девятого небесного круга, по Птолемею («primo mobile»), а другая обо всей науке Восьмого круга и о неподвижных звездах, и о теории, и о движении. А также о приливах и отливах, вернее сказать о повышенье и пониженье морей, кои по причине движения Луны то задерживаются, то ускоряются во всей Вселенной...»

Именно этою гранью куба был страстнее всего увлечен иезуит. Именно она давала ему возможность использовать Католические Часы, о них уже рассказывалось выше, то есть отсчеты времени во всех католических миссиях на любых меридианах; и не только, а еще, похоже, ею исполнялись функции хорошей астролябии, поскольку она указывала еще и продолжительность дня, и продолжительность ночи, и положение Солнца с пропорцией Отвесных Теней, и полуденники, и высокий и малый притины Солнца, то есть как отвесный, так и наклонный; и еще длительность сумерек и кульминацию постоянных звезд в отдельные годы, месяцы и дни. Как раз-таки путем проверок и перепроверок данных с использованьем этой части куба преподобный Каспар пришел к уверенности, что наконец оказался на антиподном меридиане.

Существовал еще у этого куба, на третьем боку, набор из семи колес, передающий всю Астрологию и все ожидаемые затмения Солнца, а также затмения Луны, все астрологические формулы для подсчета периодов полевых работ, лечебного дела, навигаторского мастерства, а также описания двенадцати небесных Домов, и физиономия природных явлений, которые от каждого знака зависят, а также соответствующий Дом.

У меня не хватает таланта резюмировать все Робертовы резюме. Кратко подытожу сказанное о четвертой грани: все чудесности врачебства ботанического, спагирического, химического и герметического с медикаментами как однородными, так и составными, вытянутыми как из минеральных, так и из животных веществ, а также «Алексифармаки привлекающие, мягчительные, болеутолительные, послабительные, разрешающие, разъедающие, стягивающие, нарывные, горячительные, прохладительные, очистительные, облегчительные, возбуждающие, усыпительные, мочегонные, наркотические, едкие и успокоительные».

Я не способен передать и в некоторой степени выдумываю сам, что же совершалось на пятой стороне, иначе говоря на крышке этого куба, параллельной линии глазоема, по некоторым деталям похоже, что она воспроизводила устройство небесного свода. С другой стороны, упоминается некая пирамида, которая, безусловно, не имела основанием крышку куба, иначе бы эта крышка целиком пирамидою бы закрывалась, так что более вероятно, что пирамида накрывала собою весь куб как палатка, но тогда она должна была быть выполнена из прозрачного материала. Разумеется, ее четыре ската должны были передавать идею четырех частей света, и для каждой части приводились алфавиты и языки различных народов, не исключая элементов примитивного Адамова языка, иероглифов египтян и закорючек китайцев и индейцев Мексики, и фатер Каспар прославляет эту фигуру в следующих выражениях: «Мистагогический Сфинкс! Эдип Египетский! Иероглифическая Монада! Ключ к Соразмерности Языков! Театр Космографии Истории! Чаща Чащ всех алфавитов естественных и искусственных! Новая Любопытная Архитектура! Лампада Комбинаторики! Мерильня Исиды! Метаметрикон! Сжатый перечень Антропоглоттогонии, то есть Рождения человеческих языков! Базилика Криптографии! Амфитеатр Науки! Раскрытая Тайноменесис! Зерцало Полиграфии! Газофилиациум Верборум, иначе говоря Сокровищница Родовой преемственности Глаголов! Таемница Искусства Стеганографии! Ковчег Арифмологии! Сборник Полиглотских Архетипов! Эйисагога Гораполлонова! Долгое перечисление, другими

словами Конгестиорум Изобретательной Памяти! Расследователь Потаенных Литературных Смыслов! Меркурий Возродившийся! Счастливый Вертоград Этимологий!»

Что вся эта громада премудрости была предназначена для их, двоих, исключительного пользования, будучи они обречены вовек не обрести дороги возвращения, совсем не угнетало иезуита, то ли от преданности промыслу Провидения, то ли от любви к познанию, нацеленному на самое себя. Однако что изумительно — это позиция Роберта, его в свою очередь не посетила ни единая реалистическая мысль, и он начал вожделеть причаливанья к Острову как события, призванного наделить содержанием, и навсегда, всю его будущую жизнь.

Прежде всего, в очаровании для Роберта Установки играло определяющую роль и то уж единственное соображение, что этот оракул способен знать, где обретается и чем занимается в данную минуту Владычица его помыслов. Вот доказательство, до чего бессмысленно с влюбленным, даже который отвлечен полезными физическими упражнениями, толковать о «Звездных Нунциях»; он взыскует одних лишь только упоминаний о своей милой нуде и о любезной тревоге.

Кроме того, что бы ни говорил учитель плавания, Роберт направлялся не на тот Остров, который маячил прямо перед ним в настоящем времени, в настоящем Робертом; Роберт двигался к тому Острову, коий по промыслу Господню обретался в нереальности, в небытии предыдущего дня.

Готовясь помужествовать с волнами, он уповал попасть на Остров, который был вчера и которого символом выступала Рдяноцветная Голубица, неуловимая, ибо ускользнувшая в прошлый день.

Робертом двигали смутные предощущения, он чувствовал, что желает некую вещь, которая не была фатер-Каспаровой; но не вполне понимал, что это. И можно представить себе его нерешительность, поскольку с тех пор, как существует история человечества, ему первому предлагалась возможность уплыть на двадцать четыре часа назад.

В любом случае Роберт был убежден, что он действительно должен научиться плаванию, а всем известно, что даже только одна добрая причина помогает преодолеть тысячу страхов. Поэтому на следующий день мы снова видим его в воде.

<...>

На одном уроке плавания и астрономии они крупно поссорились, и мир восстановился лишь на следующий день. Роберт признал, что гипотеза водоворотов не полностью убеждает и его самого и он скорее склонен принять идею бессчетных миров, образующихся в результате вихрения атомов среди пустоты, что отнюдь не противоречит существованию располагающего Божества, которое подает этим атомам команды и организует их соответственно своим заповедям, как учил Диньский каноник. Фатер Каспар, однако, восставал и против такой формулировки, поскольку в ней подразумевалась пустота, где этим самым атомам вихриться, но тут Роберт не имел уже никакой охоты полемизировать с новоявленной Паркой, до того щедрой, что вместо обрезания нити его жизни она нередко покушалась удлинить.

В обмен на обещание больше не топить его, он возобновил ученье. Фатер Каспар уговаривал его начать двигаться в воде, что является обязательным условием пловческого искусства, и подсказывал, как надо медленно развиливать руками и ногами, однако Роберт предпочитал нежиться наподобие поплавка.

Фатер Каспар оставлял его в этой неге и использовал время, дабы втакивать ему остальные свои аргументы против идеи вращения Земли. In primis, Аргумент о Солнце. Последнее, если бы стояло неподвижно, и мы бы ровно в полуденный час взирали на него из середины комнаты в окно, а Земля действительно обращалась бы с тою скоростью, кою ей приписывают, — а приписывают скорость не маленькую, чтобы ей успеть обежать завершенный круг только за двадцать четыре часа, — Солнце бы незамедлительно ускользало из нашего обзора.

Наступал черед Аргумента о Градобитии. Град часто падает целый час напролет, но движутся ли тучи на восточие либо же на западенье, на полночь или на полдень, они никогда не покрывают площадь пространнее двадцати четырех или тридцати миль. Если же Земля бы обращалась, и когда грозовые тучи были бы относимы ветром насупротив ее кружения, выходило бы, что град мог побить не менее трехсот или четырехсот миль.

Затем преподносился Аргумент об Облаках. Они парят в мироколице, когда погода спокойна, и вид такой, будто всегда неспешны. Если же бы Земля действительно обращалась, белые облака, плывущие в сторону запада, пролетали бы с дивной быстротой.

Завершался разговор Аргументом о Тварях, обитающих Землю. Они вынуждены были бы по инстинкту всегда перебирать ногами в сторону Востока, разгоняемые вращением земного шара, на котором стоят. Что же до хода на Запад, этот неестественный ход вызывал бы у них противленье.

Роберт отчасти соглашался со всеми этими аргументами, отчасти соскучивался от них и выдвигал против всего услышанного свой главный — Аргумент Желания.

— Ну и все-таки, — отзывался он, — не отнимайте у меня радость думать, что я мог бы подлететь в воздух и увидеть, как за двадцать четыре часа Земля прокрутится подо мною, и проплывут в низине тысячи лиц, разноцветных, белых, черных, желтых и оливковых, кто в шляпах, кто в тюрбанах, и в городах колокольни одни круглые, а другие со спицами, и с крестами, и с полумесяцами, и города с фарфоровыми башнями, и селения с шалашами, и ирокезы, которые готовятся сожрать живым военного противника, и женщины, живущие по течению реки Тэс-Хем, подводящие губы красками индиго для своих мужчин, самых уродливых на планете. И женщины калмыков, которых мужья предоставляют в пользование первому пришедшему, как рассказывает путевой журнал мессира Миллиона...

— Что? Вот я и говорю! Когда философию обсуждают в трактирах, вечные похотливые мысли! А если бы развратные мечтанья тебя не отвлекали, ты бы мог проделать подобное странствие, по соизволению Господню, кругосветно вокруг земного шара, что не меньшая Божеская милость, нежели подвешиваться к небу.

Роберт не был в этом уверен, но не умел возразить. Тогда он выбирал самую дальнюю дорогу, отправляясь от других услышанных аргументов, которые тоже, по его мнению, не противоречили идее Располагающего Господа, и спрашивал у Каспара, согласен ли он считать природу грандиозным театром. Декорации и механизмы предрасположены, чтобы производить приятное впечатление издалека, а колеса и противовесы, которыми производится движение, скрыты от публики. И все же среди зрителей может найтись искусный механик, способный угадать, как слажено, чтобы сделанная птица внезапно подлетела в небо. Тому же должен предаваться и философ при лицезрении мира. Безусловно, философу труднее, потому что в природе приводы машин запрятаны изрядно, и в течение долгого времени гадалось, кем же движимы механизмы природы. И тем не менее даже в этом нашем театре, если Фаэтон воспаряет к солнцу, это происходит потому, что на какие-то нити оказывается натяжение и какой-то противовес близится к земле.

— Эрго, — торжествовал в заключение Роберт, возвращаясь к той посылке, из-за которой он начал разглагольствовать на данную тему, — сцена демонстрирует нам вращающееся Солнце, но природа этого механизма не такова, хотя это и не заметно с первого взгляда. Мы видим зрелище, но не коромысло, продвигающее Феба, и, что еще более изящно, сами восседаем на том коромысле... — тут, правда, Роберт запутывался, потому что если он прибегал к метафоре коромысла, разваливалась метафора театра, и сравнение становилось до того принужденным, что в нем отпадала нужда (как сказал бы острозыкий Сен-Савен).

Преподобный Каспар отвечал на это, что человек, дабы запела машина, должен обработать дерево и металл и пробуровить на нужных местах дырки, натянуть на деку струны и елозить по этим струнам смычком; или даже — как он сделал в свое время на «Дафне» — соорудить водяной автомат; а у настоящего соловья, сколько ни заглядывай в глубину глотки, нету такого устройства; се знак, что Господь следует по путям для нас неисповедимым.

Потом он спросил, что если Роберт так уж сильно напирает на идею бесконечных солнечных систем, которые обращаются на небе, не допускает ли он, что каждая из этих систем входит частью в некую систему покрупнее, которая вращается в свою очередь в составе другой системы, еще более огромной, и так далее, и сознает ли он, что, продвигаясь такой дорогой, можно увидеть себя в положении девицы, совращаемой развратником, которая, пойдя на маленькую уступку, вынуждена предоставлять тому все больше и больше свободы и, в сущности, не отпирает его поползновений.

Разумеется, ответствовал Роберт, думать можно о чем угодно. О вихрях без планет, о завихрениях, налетающих друг на друга, о воронках не круглых, а шестиугольных, причем к каждой грани шестиугольной фигуры примащивается новая воронка, и все вместе слепливаются как будто медосборные соты, но можно вообразить себе и вихри-многоугольники, которые соприкасаются не тесно, и остается пустота; природа заполняет пустоту другими, более мелкими водоворотиками, и все они сообщены между собой, как шестерни часового механизма, и их совокупность двигается во вселенных небесах как огромный вихрь водоворотов, который, вертясь, запитывает энергией мелкие колеса, содержащиеся у него внутри, и целое это величайшее колесо прокатывается по небу по гигантскому кольцу протяженностью в тысячелетия, может быть, вокруг иной воронки вихрей водоворотов... На этом месте Роберт рисковал вообще пойти на дно от великого кружения в голове, которое у него вызывали эти мысли.

И именно на этом месте для фатера Каспара начинался звездный час. Ну в таком разе, заявлял он, если Земля обращается вокруг Солнца, ну а Солнце против еще чего-то (с молчаливым допущением, что это «еще что-то» способно крутиться вокруг еще чего-то нового), мы получим ситуацию с трансцендентными кривыми, о чем, по-видимому, Роберт должен был слыхивать в Париже, поскольку именно из Парижа завезли эту теорию в Италию галилеянцы, подбиравшие все возможное и невозможное, дабы в мире добавилось беспорядка.

— Что такое трансцендентная кривая? — спросил Роберт.

— Можешь звать еще трохоидой или циклоидой, мало что переменится. Вздумай колесо.

— Я уже вздумывал.

— Нет, не такое, теперь вздумай колесо, как у повозки. Представь, что на ободе колеса гвоздь. Колесо не едет, гвоздь смотрит в землю. Теперь вздумай, как колесо поехало, что делает гвоздь?

— Если колесо поехало, значит, гвоздь сначала поднимается, потом снова опускается на землю.

— Значит, думаешь, гвоздь описал окружность?

— Не квадрат же он описал.

— Так слушай на это, болванская голова. Скажи, гвоздь приземляется в то место, на которое опирался сначала?

— Минутку... Нет, повозка-то двинулась вперед, значит, гвоздь упрется в землю значительно дальше, чем он был раньше.

— Значит, он не описывал окружность.

— Значит, нет, разрази меня на этом месте!

— Нельзя выражаться: разрази меня на этом месте.

— Извините. Что же описал гвоздь?

— Трохоиду он описал, а чтоб до тебя дошло, скажу: это похоже на прыготню мяча, который ты швыряешь оземь, он от земли отскакивает, после этого описывает полукруг, снова бьется... С той только разницей, что у мячика полукруги каждый раз уменьшаются, а у нашего гвоздя они равномерны, если колесо вращается с равномерной скоростью.

— И к чему приводит это рассуждение? — спросил Роберт, чуя убийственность Каспаровой логики.

— Приводит, что ты толкуешь о водоворотах и бесконечности миров, и будто Земля вращается, а вдруг и выйдет очевидно, что Земля твоя вовсе и не вращается, а прыгает по бесконечному небу как будто мячик, шлеп, шлеп, шлеп, хороша траектория для такой важной планеты! Если же твоя теория водоворотов справедлива, значит, и все небесные тела делают шлеп, шлеп, шлеп, это мне препотешно, никогда так не смеялся в моей жизни!

Затруднительно опровергнуть довод столь утонченный и геометрически идеальный, а также идеально бессовестный, ибо отцу-то Каспару не могло не быть ясно, что нечто сходное будет иметь место, даже если планеты будут двигаться по рецепту Тихо Браге. Роберт отправился в постель мокрый и потрепанный, как пес. Ночью он порассудил, не следует ли ему в таком случае отказаться от всех своих еретических идей о вращении Земли. Поглядим, сказал он себе. Если правда окажется на стороне фатера Каспара и Земля не вращается (так как в противном случае она вращается как-то чересчур и нет возмож-

ности ее попридержать), что из этого следует? Поставит это под сомнение его открытие антимеридиана, и его теорию Потопа, и то обстоятельство, что Остров на горизонте находится во вчерашнем дне? Не поставит ни в малой мере.

А следовательно, сказал он себе, мне, наверное, лучше не обсуждать взгляды на астрономию с моим новым учителем, а поусердствовать в плавании и добиться того, что на самом деле меня интересует, а интересует меня не разбор, был ли прав Коперник, или Галилей, или этот шарашливый Тихо из Ураниборга — а поглядеть на Апельсинную Голубку да совершить прыжок в день вчерашний. О таком ни Галилей, ни Коперник, ни Тихо и ни один из моих учителей и друзей в Париже и не мечтывали.

Поэтому на следующее утро он предстал перед отцом Каспаром как почтительнейший последователь, как в отношении водоплавания, так и астрономии.

Однако отец Каспар, сославшись на волнующееся море и на новые расчеты, которые его чрезмерно занимали, на этот день отказался преподавать ему плавание. К вечеру он объявил Роберту, что учиться плавать можно только при большой концентрации и в молчании, и нельзя, чтобы голова витала в облаках. Поелику Роберт был настроен на совершенно обратное, следовало заключить, что к плаванию у него не имелось дара.

Роберт спросил себя, как же это его преподаватель, столь гордившийся идеей, внезапно оставил дорогой ему замысел. И, по-моему, вывод, к которому он пришел, справедлив. Фатер Каспар забрал себе в ум, будто лежать или даже ворочаться на глади моря под солнышком для Роберта приводило к такому кипению фантазии, что рассудок приобретал опасное развитие. От благорастворения в телесности, от омывания влагою, которая являла собой ту же материю, он в значительной степени оскотинивался, и в его голове заводилось нечто по качеству своему нечеловеческое и дикое.

Поэтому фатеру Каспару Вандердросселю следовало поискать чего-то иного для приближения к Острову, чего-то, что не стоило бы Роберту здоровия души.

25. Занимательная техника[1]

Когда фатер Каспар сказал, что снова воскресенье, Роберт осознал: миновало более недели с их знакомства. Фатер Каспар отслужил мессу, а потом обратился к Роберту с решительным видом.

— Не могу дожидаться, пока ты учишься плавать, — сказал он.

Роберт ответил, что не виноват. Иезуит согласился, что, может, Роберт и не виноват, но что время идет и непогоды с лесными зверями портят ему Установку, а она требует ежедневного ухода. По этой причине, ultima ratio, остается только одно решение: на Остров отправится сам Каспар. На вопрос, как же ему удастся такое, священник ответил, что попытается применить Водяной Колпак.

Он пояснил, что вот уж долгое время изучает, как передвигаться под водой. И собирался даже построить деревянную лодку, обнести ее металлом и сделать двойной корпус, вроде короба в футляре. Длиною этот корабль должен был быть в семьдесят два фута, высотою в тридцать два, шириною в восемь и достаточно тяжел, чтоб вверзиться в глубину морскую. Двигало бы корабль колесо с лопастями, приводимое двумя матросами изнутри, как вращают ослы жернова на мельнице. Чтобы видеть, куда корабль плывет, применялся бы трубоспекулум, то есть очко на высокой трубе, которое благодаря поставленным зеркалам позволяло бы наблюдать изнутри все происходящее над поверхностью моря.

Почему он не выстроил эту лодку? Потому что такова природа, сокрушенно разводил он руками, унижающая нас в нашей малости. Некоторые идеи превосходно выглядят на бумаге, но в действительности они далеки от превосходства, и никто не может объяснить, какова тут причина.

Однако отец Каспар соорудил Водяной Колпак! «И безграмотные людишки, если бы им сказали, что по лону Рейна можно гулять, не омочая одежд и даже неся раскаленную

---

[1] Латиноязычный трактат немецкого иезуита, механика Каспара Шотта (вторая половина XVI — первая половина XVII в.) «Technica Curiosa».

головню, ответили бы, что это благодурствование. А между тем подобный опыт уже производился около столетия тому назад в Испании, близ блокгауза Толедо. Вот я и намерен дойти до острова с помощью Водяного Колпака, шагая, как сейчас я шагаю перед тобой».

Он снова нырнул в глубины трюма, который поистине представлял собою на «Дафне» неисчерпаемую сокровищницу. Кроме астрономического арсенала, там складировалось много других вещей. Роберту было велено выволакивать из трюма на верхнюю палубу какие-то новые палки и дуги из металла, а также тяжеленную юбку из кожи, до сих пор сохранявшей запах своего рогатого протовладельца. Мало проку было от Робертовых напоминаний, что негоже-де работать в воскресение Господне: фатер Каспар отвечал, что это вовсе не работа, и в особенности не работа низменная, а исповедание благочинного искусства и что сегодняшняя рачительность будет ими посвящена усовершению знания великой книги природы. Так что это таково же, как и раздумывание над святынным писанием, от коего книга натуры не далеко отстоит.

Роберт потому был вынужден заняться работою, понукаемый фатером Каспаром, включавшимся в труд на самых затруднительных стадиях, когда металлические части нужно было просовывать в пазы. Проработавши целое утро, они взгородили клетку в форме обрубленного конуса, чуть выше роста человека, из трех обручей, самого узкого сверху, серединного в центре и широкого снизу, параллельно соединенных посредством четырех наклонных жердей.

К серединному колесу прицепливался подгузник из холстины, на котором мог сидеть человек, и при этом благодаря лямкам, обкручивавшим его грудь и плечи, хомут не только не давал бы ему выпасть, но и сам не осаживался бы вниз, и голова бы не могла проходить наружу через верхнее отверстие.

Пока Роберт гадал, для чего предназначалась постройка, фатер Каспар развернул дубленый фартук, и стало видно, что тот — идеальный чехол для металлического костяка, куда он легко и насадился, зацепляясь крючками за готовые петли таким образом, чтобы, единожды насевши, кожаная полость не сползала. Целокупная постройка представляла собой все тот же усеченный по верхушке конус, закрытый сверху и открытый снизу, или, если угодно, колпак. В его боку, между верхним и средним кругом, открывалось стеклянное окошко. В крышу колокола было вращено мощное кольцо.

Собранный колокол подтащили к площадке кабестана и зацепили за лебедку, благодаря шкиву которой обреталась возможность его поднимать, опускать, вывешивать за борт, снижать и подтягивать, как любой другой тюк, ящик или сверток, грузимый на корабль или сгружаемый с него.

Подъемный ворот немного оборжавел от неупотребления, но потом Роберту удалось раскрутить его и приподнять колпак над палубой, так чтобы были видны все потроха. Колпак был готов, он ждал пассажира, готового сесть и привязаться, повиснуть в сердце колокола, как повисает в колоколе язык.

Туда мог поместиться человек любой комплекции: достаточно было регулировать рубезки, затужать и ослаблять пряжки и узловины. Должным образом подсупоненный, обитатель колпака мог отправляться в путь, неся дом свой на себе, а ремни придерживали окошко прямо против глаз, а нижний край колпака доходил путешественнику приблизительно до лодыжек.

Теперь Роберт сам имел возможность вообразить, торжествующе провозглашал фатер Каспар, что бы случилось, если бы лебедка опустила колокол вместе с подвязанным туда человеком в морскую глубь.

— Случилось бы, что пассажир бы потоп, — отвечал на это Роберт, как сказал бы любой на его месте. На что отец Каспар обвинил Роберта, что он мало еще понимает о «равновесии жидкостей».

— Ты, может быть, и веришь, что где-то существует пустота, как тебя учили эти украшенья синагоги Сатаны, с которыми ты водил дружбу в Париже. И все-таки, наверное, ты согласишься, что под колоколом не пустота, а воздух. Когда ты погружаешь колокол, под которым воздух, вода не может войти. Или там воздух, или там вода.

Это справедливо, признал Роберт. А значит, как бы глубока ни была пучина моря, человек в ней может идти, и вода в колпак не вступает, хотя бы вплоть до того времени, пока человек своим дыханием не вытребует весь воздух, преобразовавши его в пар (ко-

торый виден, когда мы дышим на зеркало). Пар же этот, будучи жиже воды, ей постепенно освобождает место — окончательное доказательство, ликовал отец Каспар, что природа не терпит пустот. Но при колоколе таких размеров у пассажира в распоряжении имеется, как подсчитал отец Каспар, по меньшей мере тридцать минут времени. Берег представлялся очень далеким, если до него плыть без лодки, но пешком эта прогулка, наверное, не будет долгой, потому что на полупути пролегает коралловый волнорез, из-за которого, кстати, шлюпке в свое время не было прямого хода к Острову и она должна была заходить в бухту за мыс. На некоторых участках рифа кораллы почти торчали из воды. Дополнительное сокращение дистанции достигалось, если наметить экспедицию на час отлива. Надо только добраться до хребта, а там, как выйдешь на место, где вода по колено, свежий и добрый воздух снова ворвется в колокол.

Но как удастся Каспару продвигаться по донной почве, должно быть, полной преград, и как он подымется на скалы, отроги которых круты, а кораллы режут хуже лезвий? И как добиться, чтобы колокол опустился в воду, не опрокидываясь и не выталкиваясь из жидкости тем же манером, которым всякого ныряющего снова выпихивает на поверхность вода?

Отец Каспар с хитрейшей улыбкой добавил, что Роберту не пришло в голову самое важное возражение. А именно, что для погружения в воду колокола, в котором воздух, должно прийти в движение такое же количество воды, эквивалентное воде в объеме колокола, и вес этого количества существенно превзойдет вес погружаемого тела, и образуется сопротивление. Так вот, чтоб этого не страшиться, присчитаем к весу самого колокола и фатер-Каспаровы фунты, а кроме того, наденем Металлические Подковы! И с видом человека, у которого продумано все возможное, Каспар вынес из неисчерпаемого трюма пару сапог с железными подпятниками по пяти дюймов, с застежками у колен. Железо должно было служить балластом, к тому же подошвы защищали ступню от острого камня. Путь в таких сапогах, разумеется, замедлялся, но зато можно было не опасаться, куда опираешь ногу.

— Но как же из котловины вам выбираться на берег, когда дорога пойдет резко вверх!

— Ты не был, когда опускали якорь. Я промерил дно лотом. Нет провалов. Если бы «Дафна» прошла еще немного вперед, пропорола бы киль!

— Но как вы удержите на голове колокол, такую тяжесть? — не успокаивался Роберт. А отец Каспар на это, что в воде тяжесть перестает ощущаться, и Роберту тоже это следовало бы знать, и он знал бы, если бы имел опыт, толкал бы шлюпку или пробовал выудить рукой железный шарик из ванночки, он бы помнил, что тяжесть вещей в воде совсем не такая, как на воздухе.

Роберт, увидев упрямство старика, старался отдалить момент его похода. «Но даже опустивши колпак на дно журавлем, — говорил он, — как удастся отцепить его от каната? А в противном случае веревка не даст вам уйти и вы не удалитесь от корабля».

Каспар отвечал, что как только он достигнет дна моря, Роберт почувствует удар колокола о почву и натяжение каната прекратится. Тут надлежит веревку перестричь. Неужели, по представлению Роберта, возвращаться он станет той же дорогой? Нет, конечно! Достигнув Острова, иезуит вступит во владение прекрасной шлюпкой, и на ней обратно доплывет до «Дафны» с помощью и волею Господней.

Но когда выйдет Каспар на землю, даже если он выпутается из лямок, ведь колпак, не будучи присоединен к другой лебедке, не захочет подниматься и выпускать преподобного узника из недра? «Вы что, хотите провести остаток своих дней на Острове в заключении в кожаном колпаке?» Но старец отвечал, что как только он освободится от подгузника, уж оболочку-то колокола он вспорет без труда острым ножиком и заново родится на свет, как Минерва из Юпитеровой головы.

А если подле морского дна Каспару повстречается большая рыба, из того разряда, которые нападают на людей? Иезуит расхохотался: даже самая свирепая акула, надо полагать, повстречавшись с блуждающим колпаком, перетрусит, как перетрусили бы и люди, и будет искать спасения в стремительном побеге.

«Ну ладно, — подвел итог Роберт, искренне озабоченный судьбой друга. — Вы стары и немощны, если кому-то и пробовать, тогда уж мне!» Отец Каспар поблагодарил его, но отвечал в таком духе, что Роберт-де уже неоднократно продемонстрировал свою

легковесную натуру, и неизвестно, на какие дурачества он оказался бы горазд, сойдя в колоколе; что он, Каспар, уже отчасти ознакомился с этой областью моря и с этим рифом, и похожие рифы он уже исследовал в других местах, когда плавал на плоскодонке; что этот колокол соорудил он сам и сам имеет понятие о всех его прелестях и пороках; что он понимает побольше Роберта в гидростатической физике и будет знать, как выйти из затруднения в случае неожиданностей; и наконец, заключил свою речь последним аргументом в свою пользу, «я имею веру, а ты нет».

И Роберту стало ясно, что это вовсе даже не последний, а главный довод, и, конечно же, самый прекрасный. Фатер Каспар Вандердроссель веровал в свой Водяной Колпак, как он верил в Мальтийскую Установку, и верил, что именно Колпак поможет ему достичь Установки, и верил, что все, что он делает, совершается во имя и во славу Господню. А поскольку вера движет горы, она, несомнительно, сумеет доставить и Водяной Колокол к Острову.

Оставалось собирать на мостике колокол и готовить к погружению. Это занятие отняло у них весь день до ночи. Промазать жиром колпак, чтобы ни вода не проходила внутрь, ни воздух вовне не просачивался. Следовало варить особую смесь на медленном огне: три части воска, одна часть венецианского терпентина, четыре части клея, используемого столярами. Затем пропитать этой субстанцией кожу и выдержать до следующего дня. А потом другой промазкой из дегтя и воска надо было залакировать все щели по краям окна, где стекло прикреплялось особым клеем, а поверх клея наносить слой смолы.

«Omnibus rimis diligenter repletis»[1], — сказав так, отец Каспар провел ночь в молитвенном бдении. На восходе они проверили колокол, все его завязки и крюки. Каспар выждал наилучший миг, когда можно было использовать осушающее действие отлива, но чтобы солнце стояло уже достаточно высоко и таким образом освещало воду впереди от идущего, отбрасывая все тени за спину ему. Потом они обнялись.

Отец Каспар повторил, что речь идет об усладительнейшей вылазке, в ходе которой он сумеет увидеть такие дива, с которыми ни Адам ни Ной не знакомились, и опасался, что предается гордынной греховности, ибо тщеславится, будучи первым из человечьего рода, кто сойдет на дно морское. «Притом, — добавил иезуит, — это и доказательство смирения: Господь прошествовал по водам, я же пройду под водами, как приличествует грешному».

Нужно было только поднять колокол, опустить его на Каспара и проверить, способен ли он перемещаться куда ему надо.

В течение нескольких минут Роберт присутствовал при эволюциях улитки, даже не улитки, а какого-то гриба, перекати-поля, переползавшего тягуче и неуклюже с частыми остановками и разворачивавшегося целым боком, когда ему требовалось на что-то взглянуть. В большей степени чем ходьбой, движения ходячей шляпы казались гавотом или каким-то еще старинным танцем, вдвойне несуразным из-за отсутствия музыки.

Наконец отец Каспар, удовлетворенный своими пробами, и таким голосом, который как будто раздавался у него из-под подошв, велел приступать к опусканию.

Колпак установился около лебедки, Роберт его подцепил и начал действовать воротом, потом решил посмотреть, все ли в порядке и не выпадает ли из колокола подвешенный иезуит. Тот, раскачиваясь в своем футляре, заверил, что все подвесы надежны, но что действовать следует поскорее: «Эти копыта вырывают мне ноги из брюха! Скорее опускай меня в воду!»

Роберт прокричал еще несколько ободрительных фраз и погрузил в морские волны и кожаный гриб, и его поселенца. Труд был нелегок, приходилось в одиночку справляться с задачей нескольких матросов. Поэтому размот кабестана показался ему бесконечным, казалось, уровень воды постепенно понижался сообразно тому как Роберт прилагал все более отчаянное усилие. Наконец послышался плеск, он почувствовал, что напряжение уменьшилось, и еще через несколько мгновений (показавшихся годами) колесо лебедки пошло вхолостую. Значит, колокол сел на дно моря. Роберт отрезал канат и кинулся к борту, чтобы посмотреть, что внизу. Внизу не было ничего.

От фатера Каспара и от колпака не оставалось никакого следа.

---

[1] «Надлежаще просмолишь щели внутри и снаружи». — Бытие, 6, 14.

«Вот же, иезуитская голова, — в восхищении сказал сам себе Роберт. — Вот же, сумел! Подумать только, там под водою разгуливает себе иезуит, а кто бы мог это заподозрить? И, может, дно всех на свете океанов кишмя кишит иезуитами, а кто бы мог заподозрить?»

Вслед за тем его охватили мысли более рассудительные. Что отец Каспар находится там, в этом не могло быть сомнения. Но что он оттуда выберется куда-нибудь, это еще не было доказано.

Роберту показалось, что вода в том месте неспокойна. День был выбран еще и за то, что погода стояла превосходная; но все-таки во время последней подготовки поднялся ветер, который здесь, на рейде, только-только наморщивал водные глади, но вблизи берега создавал какое-то волнение, которое у оголенных отливом скал могло усугубить трудности высадки.

Возле северного мыса, там, где скала сходила в море отвесно и плоско, клубы пены лупили о каменную стену и раздроблялись на воздухе роем белых искр. Разумеется, это волны резались рядами мелких незаметных зазубрин, полувысунутых из-под воды, но с корабля казалось, будто дракон изрыгает хрустальные вздохи из скрывающих ярость пучин.

Тем не менее берег выглядел спокойным, зыбь простиралась только до половины дороги, и в глазах Роберта это был хороший знак: именно там, надо думать, пролегала борозда за коралловым рифом, и значит, добредя туда, фатер Каспар находился бы уже в безопасности.

Где же сейчас старик? Если он идет с той минуты, как опустился на дно, время ему уже достичь суши... Но сколько на самом деле времени прошло? Роберт потерял чувство пролетающих мгновений, каждая частичка времени воспринималась им как вечность, и теперь он старался переосмыслить инстинктивный результат и уговаривал себя, что преподобномудрый сошел совсем недавно и, наверное, еще копошится под килем, ориентируется. Но тут появлялась забота: что если канат, закручиваясь по мере спуска, завертел колпак на пол-оборота, и потому фатер Каспар, сам не зная того, оказался с окошком, глядящим на запад, и по этой причине ушел в открытый океан?

Потом Роберт сказал себе, что, поворотившись на запад, любой бы понял, что дно в том направлении не восходит, а опускается ниже, и вернулся бы в сторону подъема. Да, но что, если в том месте случайно подымала свои края какая-нибудь дюна? Не важно, все равно указателем должен был служить свет солнца. Да, но насколько проницаются светом солнца морские глубины? И как доходят туда лучи — будто через витраж храма, направленными пучками, или они раздробляются, преломляясь в каплях влаги, и глядящий со дна видит луч как мерцание, лишенное направления?

Нет, перебивал он сразу же сам себя. Старец знает, куда и зачем держит он свою дорогу, он уже на полупути от корабля к волнорезу, и более того, уже достиг своей цели и сейчас выкарабкивается на своих здоровенных подошвах и через миг я его увижу...

Другая мысль. Действительно, до сегодняшнего дня никто из людей не углублялся в морскую пучину. Кто может знать, а вдруг на глубине нескольких футов наступает великая чернота, обитаемая только теми тварями, из очей которых сочится призрачный блеск? И кто знает, присутствует ли на глубине моря чувство прямого пути? Может, старик кружит по собственному следу, повторяет пройденные круги, вплоть до мига, когда воздух внутри его грудной клетки претворится в мокроту и затянет родственную стихию влаги в середину колпака...

Он сожалел, что не запасся, идя на мостик, хотя бы песочными часами. Сколько прошло минут? Может, и более получаса, увы, вполне возможно, что и более, и вот Каспар уже задыхается внизу. Роберт задыхался. Опамятовавшись, набирал полные легкие воздуха, приходил в себя и убеждал себя, что именно это доказательство, что на самом деле времени прошло еще очень мало и что у фатера Каспара еще есть в запасе чистый воздух.

Иезуит имел полную возможность пойти вкось вдоль берега, и Роберту не имело смысла вперивать взор строго вперед себя, как если б Каспар был обязан выбираться на пляж в месте напротив судна, на дистанции выстрела из аркебузы. Он мог отдалиться в любую сторону, выбирая самый удобный подступ к коралловой мелине. Не говорил ли он, когда подвязывали колокол к кабестану, что это удивительно удачное место, потому что в десяти шагах от той точки риф обрывается вниз, и там стоит гладкая стенка, о кото-

рую однажды стукнулась лодка, а вот именно напротив спуска колокола имеется проход, и там легко проходила шлюпка и мягко выплывала на береговой песок в месте, где каменные скалы постепенно подымались к пляжу.

Вот, может быть, он спутался в маршруте и оказался у подножия стены, и теперь бредет вдоль нее в южном направлении, отыскивая проход. А может, он огибает стену в северном направлении. Поэтому берег следовало осматривать по всей его ширине, от северной оконечности до южной, иезуит мог вынырнуть где придется, опутанный водорослями... Роберт вертел головой туда и сюда вдоль линии залива, опасаясь, что, вглядываясь в левый край, он может не заметить Каспара, вышедшего на правом. Хотя на этом расстоянии не рассмотреть человека было невозможно, а уж тем более не потерялся бы из виду кожаный колпак, сверкающий брызгами на солнце, как медная кастрюля.

Рыбина? Может, и вправду в глубине воды повстречалась людоедка, собака-рыба, и не устрашенная колоколом, растерзала иезуита? Невозможно! Роберт разглядел бы ее черную тень. Если встреча имела место, то между кораблем и подступами к коралловому отрогу, никак не дальше. Нет, видимо, старец добрался до барьера, но какие-то животные или минералы своими шипами продырявили колокол, и вышел тот немногий воздух...

Еще одна мысль. Кто меня уверит, что воздуха в колоколе действительно хватило на порядочное время? Уверял Каспар сам, но ведь и он ошибается. Он ошибался, когда уверял, что таз с ворванью сработает. В конечном счете, добрейший фатер часто оказывался сумасбродом, и, может быть, все его рассуждения о великом Потопии, об антимеридиане, об острове Соломона не что иное как бредни. И потом, если бы он был и прав относительно Острова, может, он ошибся именно в подсчете количества воздуха, потребного человеку. Кроме того, кто поручится, что наши масла, замазки и клеи действительно просмолили все щели в обшивке? А что если в данную минуту внутренность колокола напоминает те гроты, в которые сочится влага с потолка и всех стенок? Если кожаная полость пропускает воду, как губка, разве наша собственная кожа не являет собою сито из невидимых дырочек, через которые, однако, пот выпаривается каплями? Если такова кожа человека, почему должна иною быть бычачья? Быки разве не потеют? Но если идет дождь, бык что, промачивается насквозь?..

Роберт заламывал руки и проклинал свою поспешность. Конечно ясно: когда он мнил, будто пробежали часы, на самом деле пролетели только миги, немногие сокращения пульса. Он сказал себе, что не имеет никаких причин дрожать, он, Роберт, и гораздо более причин на то имеет отважный старец. Может быть, Роберту следовало споспешествовать путешествию иезуита молитвой, или же хотя бы надеждой и упованьем на удачу.

И к тому же, сказал он себе, я навоображал чересчур много перипетий трагедии. Меланхоликам свойственно изобретать напасти, которым реальность не в силах противоборствовать. Отцом Каспаром изучены законы гидростатики, он промерил дно этого моря, он изучал Потопие и даже те окаменелости, которые находятся в морях. Спокойствие, сказал Роберт, надо только чтобы я усвоил, что миновало совсем немного времени, и сумел подождать.

Он осознал, что полюбил, что любит того, кто представлялся некогда Посторонним, и он понял, что плачет уже сейчас — от мысли, что с ним могло приключиться недоброе. Ну, старый, бормотал он, вернись, возродись, воскресни, во имя всех чертей, и скрутим шею самой откормленной куре, ты же не хочешь оставить без призора свою Наблюдательную Постройку?

И внезапно он отдал себе отчет в том, что скалы около суши уже не виднеются из моря, значит, море прилило к берегам; и солнце, которое до этого смотрело прямо ему в лицо, теперь отвесно прожаривает темя. Значит, от момента опускания колокола миновали не минуты, а часы.

Он был вынужден проговорить эту истину вслух и громким голосом, чтоб уверовать. То, что он принимал за секунды, были минуты. Он убеждал себя, что внутри груди у него обезумевший механизм, чье биение слишком быстро, а на самом деле помещенные в теле часы не торопили, а замешкивали свой гон. Неизвестно как давно, стараясь себе внушить, что отец Каспар только что погружен, он поджидает существо, воздух у которого не мог не кончиться и чье время истекло. Неизвестно, как давно он дожидается появления тела, которое безжизненно покоится у придонного бугра под водой.

Что могло приключиться? Все. Все из того, о чем думал Роберт. Не злосчастные ли его фантазии накликали беду, не сам ли Роберт черными мыслями навел злую долю на старца? Гидростатические принципы фатера Каспара могли оказаться непроверенными. Может, вода в данном опыте заходит в колокол и снизу, в особенности если тот, кто в нем идет, движениями выбрыкивает воздух из обиталища? И впрямь, много ли понимал Роберт о равновесии жидкостей. А может, падение в воду было чересчур стремительно, колокол перевернулся? Или, может быть, Каспар споткнулся, когда пошел? Сбился с дороги? Или более чем семидесятилетнее сердце, не умея соответствовать его порывистости, остановилось? И наконец, кто поручится, что на такой глубине вес воды, навалившись на скорлупку, не расплющил ее, как лимон или фасолину?

Но если священник погиб, разве труп не всплывет? Нет, он отягощен железными котурнами, из которых его бедные ноги высвободятся только когда совместными усилиями едкой влаги и маленьких голодных рыбок оголится скелет и отполируются иезуитовы кости...

Вдруг, как-то внезапно, у Роберта наступило просветление. О чем это он тут бормочет и сокрушается? Ну разумеется, ведь сказано же Каспаром, что Остров, который видится напротив, это Остров не сегодняшнего, а вчерашнего дня! Как Роберт может ждать, что на берег, где сегодня еще не наступило, выйдет тот, кто спустился в воду сегодня? Невозможно! Погружение состоялось в понедельник на заре утром, но на Острове стояло до сих пор воскресенье, и фигура старика вырисуется на излучине только завтра в утренний час, когда понедельник на Острове настанет...

Значит, надо дождаться завтра, сказал он себе. Однако... Каспару невозможно до завтра ждать, у него воздуха лишь на малое время! И сам себе возразил: да это мне надо ждать, а не Каспару, Каспар просто возвратился в воскресенье, как только пересек линию меридиана. О Господи, но тогда, значит, видимый мною Остров не находится в воскресенье, потому что, если в воскресенье туда высадился старик, я должен бы этого старика мочь сейчас видеть!

Нет, я путаю все. Остров, видимый мной, лежит в сегодняшнем дне. Невозможно, чтобы я созерцал прошлое, как сквозь магический шар. Это только там на Острове, только для Острова самого, все еще длится вчерашний день. Но если для меня виден Остров сегодняшний, должен быть виден и старик, который в островном вчера уже присутствует и сейчас снова проживает воскресный день... Как бы то ни было, высадись старик вчера, высадись сегодня, но должен же оставаться на песке вспоротый колокол! Однако колокола не видно. Может, старик затащил колокол в рощицу? Когда он это мог сделать? Вчера. Так, поразмыслим еще раз. Предположим, что видимый мною берег Острова обретается в воскресенье. Если я подожду до завтра, значит, я увижу появление старика в понедельник...

Мы могли бы сделать вывод, что Роберт окончательно лишился рассудка, и не без причин: с которой стороны он ни считал, концы с концами не увязывались. Парадоксы времени способны сводить с ума и нас. Поэтому было нормально, что Роберт не в состоянии был уяснить, что ему делать. Тогда он ограничился тем, что любой и каждый, кто оказался в роли жертвы собственной надежды, сделал бы. Прежде чем охватиться отчаянием, он решил подождать наступающего дня.

Как он ждал, нелегко восстановить. Шагал взад и вперед по мостику. Не притрагивался к еде. Разговаривал с собой, с фатером Каспаром и со звездами и, скорее всего, часто обращался за помощью к крепкой водке из бочонка. В любом случае мы находим Роберта на палубе на следующее утро, в то время как ночь бледнеет и окрашиваются небеса, а немногим позднее того подымается солнце, и он все более напряжен по мере того, как часы протекают, вот он уже в неистовстве между одиннадцатью и полуднем, вот он вне себя в промежутке от полудня до заката, вот наконец сдается перед неопровержимостью — и на этот раз без всякой тени сомнений. Вчера, несомненно вчера фатер Каспар спустился под толщу вод южного океана, и ни вчера ни сегодня он не выходил оттуда. А поскольку вся диковинность антиподного меридиана состоит в перепрыгивании со вчера на сегодня, никак не со вчера на послезавтра или с завтра на запозавчера, не подлежало сомнению, что из моря фатер Каспар не выберется уже никогда.

Имелась математическая, более того, космографическая и астрономическая уверенность, что бедный друг его погиб. И не имелось понятия, где находится тело. В неопределенном месте внизу. Может быть, существовали неистовые течения под водою, и тело унеслось ими в открытый океан. Или же нет, мог существовать под «Дафной» обрыв или колодец, туда провалился колокол, и иезуит был погребен под ним, истрачивая свое немногое дыхание, все сильнее насыщавшееся мокротою, на стоны о помощи.

Может, желая спастись, он взрезал путы, и колокол, временно сохранявший воздух, сделал скачок в вышину, но металлические ковы укротили импульс и освободившемуся пришлось зависнуть в толщине вод, неизвестно в котором месте. Фатер Каспар хотел скинуть сапоги, но не умел совладать с замками. И теперь внутри расщелины, пронизывающей скалу насквозь, безжизненное тело бултыхается, как водоросль.

И покуда Роберт так думал, солнце вторника переместилось уже куда-то за его плечи, и час гибели фатера Каспара становился все более и более далеким.

Закат лил желтуху на небо за мрачною зеленью острова, вода была цвета Стикса. Роберт понял, что натура сокрушается с ним вместе, и, как бывает с теми, кто лишился дорогого человека, постепенно начал плакать не о его несчастии, а о собственном, и о собственном вновь обретенном одиночестве.

Только несколько дней Роберт был от одиночества избавлен, фатер Каспар превратился ему и в друга, и в отца, и в брата и стал его семьей и родиной. Отныне Роберту предстояло снова быть отрешенцем и отшельником. И отныне навсегда.

И все-таки среди уныния новая илюзия обретала форму. Он был уверен отныне, что единственно куда ему можно выйти из заключения, это не в Пространство, а во Время.

Теперь уж точно он должен был научиться плавать и достичь того Острова. Не затем, чтобы найти останки отца Каспара, затерянные в складках минувшего, а чтоб предотвратить чудовищное наступление собственного завтра.

28. О происхождении романов[1]

Любовники любят свои несчастья сильнее, чем свои радости. Роберт не мог бы предположить, что, отделенный навеки от той, кого любил, чем более разведен был с нею, тем сильнее он терзался из-за мысли, что кто-либо другой мог быть к ней близок.

Как мы видели, обвиненный Мазарини, будто был в том месте, где он не был, Роберт забрал в голову, что Феррант находился в Париже и в некоторых обстоятельствах занимал его место. Если это было правдой, Роберт был арестован кардиналом и отправлен на борт «Амариллиды», но Феррант остался в Париже и для всех (включая и Ее!) был Робертом. Некуда было деться, таким образом, от вывода, что она с Феррантом... тут океаническое чистилище преображалось в жженье ада.

Роберту было ведомо, что ревность образуется вне всякого уважения к тому, что на самом деле есть, чего нет или чего никогда не будет; что в угаре ревности воображаемые бедствия родят настоящую боль; что ревнивый, будто ипохондрик, болеет из-за боязни заболеть. Значит, Бог убереги, говорил он себе, от этих отравительных фантазий, которые понуждают представлять себе Ее с Другим, и ничто так не питательно для подозрения, как одиночество, и ничто успешнее фантазии не перековывает подозрение в свершившийся факт.

И действительно, ревнивость из всех страхов самый нерадостный. Когда страшишься смерти, можно надеяться, что проживешь долго или в путешествии наткнешься на источник вечной молодости. Когда боишься бедности, можно мечтать найти клад; на каждую боязнь находится бодрящая душу обратная надежда. Не то, если влюблен, а любимая где-то. Разлука для любви как ветер для пламени: слабое загасит, сильное воспалит.

Если ревнивость возбуждается крепкой любовью, значит, кто не ревнует любимую, тот не любит или любит легковесно. Памятны случаи любовников, которые, опасаясь, что любовь их догорает, подпитывали ее, ища любой ценою причины ревновать.

---

[1] Трактат французского епископа, ученого и антиквара Пьера-Даниэля Юэ (Huet, 1630—1721) «De l'origine des Romans».

Таким образом, ревнивый (который в то же время желает или желал бы возлюбленную целомудренную и верную) не может и не хочет воображать ее иначе чем заслуживающую ревности и, значит, виноватую в предательстве, возжигая таким образом в наличествующем страдании радость отсутствующей любви. В частности, из-за того, что воображать себя в обладании далекой любимой — если ясно, что обладания быть не может, — это бессилие, и не обогащаются такою живостью мысли о ней, о ее теплоте, о ее алении, о ее запахе, как обогащаются когда воображаешь ее в обладании Другого. В то время как твое собственное отсутствие бесспорно, присутствие врага небесспорно, и если ты в этом не убежден, то по крайней мере не безусловно разуверен. Любовные отношения, в том виде в котором воображает их ревнивый, являются единственным способом, позволяющим воспроизвести с известной долей правдоподобия связь ее с Другим, каковая связь, если не несомненна, то по крайней мере возможна, в то время как связь с нею самого ревнивца невозможна совершенно.

Поэтому ревнивый не способен и не имеет желания хотеть противоположности того, что его устрашило, более того, он не может наслаждаться иначе как преувеличивая беду и сокрушаясь из-за преувеличенного великолепия того, что ему не дано. Радости любви — это бедствия, которые заставляют себя желать. В них сочетаются сладость с мучением; любовь — это добровольное заболевание, адов парадиз и небесный ад, в общем, сочетание мечтанных противоположностей, болезный смех и хрупкий диамант.

Тоскуя приблизительно на этот манер, но и облегчая себя соображениями о бесконечности миров, на тему, многократно обсужденную в предшествовавшие дни, Роберт выработал идею, Идею с большой буквы, великое анаморфичное проявление Гения.

Он замыслил создать повествование, героем которого являлся бы, разумеется, не он, поскольку повесть разворачивалась бы не в пределах мира сего, а в Романической Державе, и события в повести текли бы параллельно событиям мира, где был Роберт, и две череды событий не могли бы никоим образом сопрягаться, пересекаться.

Что могло это дать Роберту? Очень много. Решив изобрести повесть о другом мире, существовавшем только у него в голове, он оккупировал в этом мире хозяйское место и мог следить, чтобы происшествия не превысили его сил терпеть. С другой стороны, в качестве читателя романа, чей он был автор, он получал возможность участвовать в драмах героев: разве не случается с читателями обыкновенных книг влюбляться в Тисбу, без всякой ревности, и использовать Пирама как наместника, или томиться по Астрее, вселяясь в Селадона?

Любовь в Романном Государстве не сопрягалась ни с какою ревностью; ведь внутри романа то, что не наше, все равно наше, а что в реальном мире было нашим и было отнято у нас, в Стране Романов не существует — даже если то, что там существует, походит на то, что существовало на самом деле и не было нашим или было нами утрачено.

Таким образом, Роберт должен был бы составить (на бумаге или в мыслях) роман о Ферранте и о его любви к Лилее, и только создавши романтический мир, он избавился бы от терзаний, причиняемых ревностью, бытующей в мире реальном.

Вдобавок к этому, рассуждал Роберт, чтобы понять, что произошло со мною и как я влип в ловушку, расставленную Мазарини, мне следует восстановить Истории всех этих событий, узнавши их мотивы и секретные пружины. Но есть ли что недостовернее в мире, нежели История, повествуемая в книгах, где два автора описывают одно сражение, но столь несоразмерны несоответствия двух рассказов, что кажется, будто речь ведется о двух битвах, не об одной? И есть ли что достовернее, нежели Сюжет Романа, в развязке которого любая Загадка получает свое Объяснение, подчиненное закону правдоподобия? Роман рассказывает то, что, допустим, и не бывало на самом деле, но что прекрасно могло бы быть. Объясни я мои несчастия в форме Романа, и мне гарантируется возможность хоть как-то распутать создавшийся наворот, и, следовательно, я не буду больше добычею кошмара. Эта идея коварно противоречила предшествовавшей идее, поскольку в подобном случае романный сюжет был призван заслонить собою Историю реальной жизни.

И вдобавок, рассуждал далее Роберт, мое положение определяется любовью к женщине; раз так, единственно Роман, и никак, разумеется, не История, посвящается проблемам любви, и только Роман, никак не История, занят объяснением того, что думают

и ощущают дочери Евы, которые с эпохи земного рая и до адовых придворных штатов настоящего времени столь весомо повлияли на дела нашего человеческого рода.

Все перечисленные аргументы были резонны каждый сам по себе, но никак не все вместе. Действительно, существует разница между тем, кто пишет роман и кто страдает от ревности. Ревнивый наслаждается, воображая то, что он бы не хотел, чтобы происходило, но в то же время отказывается верить, что это произошло; а автор романа прибегает к любому изощрению, лишь бы читатель не только наслаждался, воображая то, что не происходило, но и в какой-то миг забыл бы, что занят чтением, и поверил, что это действительно произошло. Уже и без того причина сильнейших мучений для ревнивого читать роман, написанный другим; что бы там ни было сказано, ревнивый принимает на собственный счет. Куда уж говорить о том ревнивце, который собственную историю делает вид, будто выдумывает. Не говорят ли о ревнивых, что они облекают плотью призраки? Вот, сколь бы призрачными ни были создания в романах, поскольку Роман есть кровный брат Истории, эти призраки кажутся ревнивому чересчур плотскими, а тем более если они являются призраками не другого, а самого его.

С другой стороны, у романов, кроме достоинств, есть недостатки. Роберт должен был это знать. Как медицина учит, в частности, ядам, как метафизика неуместными мудрствованиями подрывает догмы религий, как этика понуждает к щедротам (что не для всех полезно), астрология попустительствует суеверию, оптика строит обманы, музыка воспламеняет страсти, землемерие поощряет неправосудный захват, математика питает скупость — так и Искусство Романов, предостерегая нас о том, что будут предложены вымыслы, открывает дверь Дворца Абсурдностей, и стоит необдуманно перешагнуть порог этой двери, как дверь захлопывается за плечами у нас.

Однако не в нашей власти удержать Роберта от этого шага, поскольку нам достоверно известно, что шаг был Робертом совершен.

29. Душа Ферранта[1]

С какого места возвращаться к истории Ферранта? Роберт решил начать со дня, как тот, предав французов, с которыми обманно соратоборствовал в Казале, прикинувшись капитаном Гамберо, утек в испанские палатки.

Возможно, там его с распахнутым объятием дожидался некий гранд, обещавший забрать Ферранта по скончании войны с собою в Мадрид. Там началось восхождение Ферранта к периферии испанского света, там он постиг, что добродетель властителей — это их самоуправство, что власть — ненасытимое чудовище, перед которым необходимо пресмыкаться преданнейшим рабом, ловя самомельчайшие крохи с накрытого для начальства стола, и иметь путь для медленного и мучительного восхождения, сначала в качестве наушника, наемного убийцы и конфидента, впоследствии выдавая себя за благородного.

Ферранту было не отказать в живости ума, хоть и направленного ко злу, и в той обстановке он сообразил, как надлежит орудовать, то есть либо перенял по наущению, либо усвоил по наитию азбуку царедворной психологии, которую господин Салазар в свое время втолковывал Роберту, цивилизуя.

<...>

Так он ждал день ото дня, замерев, подобно убийце, подкарауливающему жертву под палисадом, в темном месте, там, где клинки кинжалов не выдадут себя сверканьем. Он знал, что первейшая формула успеха, это дождаться оказии, и переживал из-за того, что оказия слишком долго не возникала.

Мрачная и упрямая дума лишала спокойствия его душу. Он забил себе в голову,

---

[1] «L'Anima di Ferrante» — одно из произведений авантюриста и сочинителя Ферранте Паллавичино (1616—1644), биография которого наряду с многими другими источниками легла в основу линии Ферранта в романе Эко. Некоторые сюжетные ходы Паллавичино переработаны Лесажем. Паллавичино был обезглавлен в Авиньоне по приговору инквизиции.

будто Роберт узурпировал место, принадлежавшее ему по праву, и какое ни есть награждение оставляло его неублаженным, и единственною формой благосостояния и счастья в глазах его души могла быть невзгода брата при условии, что он бы, Феррант, явился причиной этой невзгоды. В остальном же, его воображение было населено исполинскими призраками, побивающими друг друга, и не было моря или земли или неба, где бы он имел убежище и покой. Что он имел, ему казалось оскорбительно; что он желал, было мучительно для него.

Он не улыбался, разве только в кабаках, подпаивая очередных невольных осведомителей. Но в сокровении своей комнаты подолгу показывался перед зеркалом, чтобы понять, способны ли движения выдать его беспокойство, не выглядит ли у него взгляд дерзким, не придает ли чересчур склоненная голова ему нерешительный вид, а слишком глубокие морщины лба не делают ли его зловещим.

Когда же он прекращал упражнения, когда отбрасывал и по усталости и по вечерней поздноте свои личины, становился ясен его истинный облик, и вот тут... О, единственное, что мог произнести тут Роберт, были строки стихов, читанные несколькими годами прежде:

Кромешны у него зеницы,
Но в них звездится алый свет,
И злокипучие зарницы
Там брызжут, будто сонм комет,
И вопль гремящ, и дух паскуден,
И облик дик, и лик бессуден.

Поскольку никто не совершенен, и паки в злокачественности, и он не был вполне способен усмирять излишества своего лиходейства, Феррант не избег промаха. Подосланный хозяином на похищение целомудренной девушки из высокой семьи, сговоренной за достойного человека, он осыпал ее любовными письмами от имени своего принципала. Дальше, притом что девушка отстранила ухаживания, он проник к ней в альков и — низведя до жертвы насильственного соблазнения — надругался над ней. Единым махом он оскорбил и ее, и жениха, и того, кто заказывал увоз.

По оглашении злодейства, подозрение пало на барина, и тот погиб на дуэли с поруганным женихом изнасилованной, но Феррант в это время уже пересекал границу Франции.

В минуту веселости Роберт надумал переправлять Ферранта через пиренейский перевал ночью, в январе, верхом на ворованной ослице, по всей видимости совершавшей искупительное паломничество, что явствовало не только по покаянной истертости ее шкуры, но и по великому пощению, трезвости, воздержности и умеренности, способствовавшим умерщвлению плоти; богобоязненность этой твари была такова, что при каждом шаге, преклоняя колена, лобызала землю.

Отроги горы были обмазаны свернувшимся молоком, отвердели, звенели под копытом. Те немногие деревья, что не были погребены под снегом, казалось, стояли без нательных рубах и потому еще больше мерзли и тряслись не под ветром, а в ознобе. Солнце сидело в своем дому и не отваживалось даже выходить на балкон. Если же оно высовывало кончик носа, даже эта часть лица была плотно укутана отрепьями облаков.

Редкие встречные, как монахи Монтеоливето, могли бы пропеть гимн аббатства «Снегом омывшись и обелившись, я...». Сам Феррант, убеленный мучнистыми присыпками, принимал все более итальянский вид, напоминая «мукомола» из флорентийской академии «Отрубей».

Одною из ночей столь велики и жирны были комья хлопяной ваты, что он опасался, не обратится ли в снеговой столп, как другие — в соляной. Сипухи, нетопыри, сычи, пугачи с канюками токовали вокруг него в такой сарабанде, будто собирались подманить. В конце концов он ткнулся носом в пятки повешенного, болтавшегося на суку, — гротескный эскиз по сумрачно-свинцовому фону.

Однако Феррант — хотя романы и принято украшать забавными описаниями — не мог выступать героем комедии. Он должен был преследовать цель, воображая по собственному подобию тот Париж, к которому подвигался.

И вот Феррант вожделел: «О Париж, беспредельная бухта, где киты видятся мелкостными, как дельфины, о страна сирен, о ярмарка тщеславия, сад удовлетворений, меандр интриг, о Нил низкопоклонничества и Океан притворств!»

И тут Роберт, желая изобрести такой ход, который никем из сочинителей романов до оных пор не использовался, с целью передать ощущения этого прожорливца, шедшего на завоевание города, где затмевают друг друга Европа вежеством, Азия изобилием, Африка причудливостью и Америка богатством, и который для новизны является полем, для обмана королевством, для роскоши центром, для доблести ареной, для красоты амфитеатром, для моды колыбелью, а для добродетели гробницей, вложил в уста Ферранту вызывающий выкрик: «Париж, посмотрим, кто кого!»

От Гаскони до Пуату, а от Пуату до Иль-де-Франса — Феррант повсюду наплел интриг и бесчестностей, давших ему переложить маленькое состояние из карманов некоторых простаков в собственные и прибыть в столицу в облачении молодого дворянина, выдержанного и приветливого, господина дель Поццо. Пока не достигла еще Парижа молва о его мадридских проделках, он наладил связи с испанцами, вхожими к королеве, которые сразу оценили его ловкость в деликатных делах для государыни, которая, хоть и верна была супругу и уважительна к Кардиналу, поддерживала сношения со станом врагов.

Его слава безотказного исполнителя донеслась до сведения Ришелье, который, глубокий знаток человеческого сердца, рассудил, что индивид без совести, услужающий монархине, как всем известно неимущей, ради более щедрого вознаграждения послужит и ему, Ришелье, как и было сговорено в настолько глубочайшей тайне, что даже самые доверенные сотрудники не знали о существовании этого молодого агента.

Не говоря уже о навыках, приобретенных в Мадриде, Феррант имел редкие способности к быстрому усвоению языков и к подражанию акцентам. Не в его обычае было выставлять дарования, но однажды, когда Ришелье принимал английского шпиона, Феррант показал, что способен беседовать с тем предателем. Поэтому Ришелье в один из трудных моментов взаимоотношений между Францией и Англией отправил Ферранта в Лондон, где тот должен был притвориться мальтийским купцом и собирать информацию о движении судов в портах.

Феррант в какой-то степени увенчал мечту жизни: теперь он шпионил не на простого хозяина, а на библейского Левиафана, чьи руки досягали куда угодно.

Шпион! — возмущался охваченный омерзением Роберт. Чума прилипчивее любых придворных хвороб, Гарпия, простирающаяся над тронами с нарумяненным лицом и обостренными когтями, парящая на вампирьих крыльях, подслушивающая широчайшими перепонками, мышь летучая, видимая только в ранних сумерках, гадюка среди роз, аспид, цветочная тля, обращающая в отраву нектар, сладостно пригубляемый, мизгирь коридорный, тот, кто ткет паутину утонченных разговоров, дабы улавливать любое насекомое; попугай с крючковатым клювом, который все, что слышит, пересказывает, превращая истинное в ложь и выдавая ложь за истину, хамелеон, перенимающий каждый цвет и облаченный в любое, кроме одежд, соответствующих его подлинному виду. Подобных качеств всякому приличествовало бы устыдиться, кроме как раз того, который волею небес (или преисподни) был рожден для угождения злу.

Но Феррант не довольствовался шпионажем и владычеством над теми, чьи признания он переторговывал; ему хотелось быть, как говорили в его эпоху, двойным шпионом, который, подобно мифическому уроду амфисбене, одновременно шел в обе стороны. Ежели агон, на котором сталкиваются власти, может представлять собой лабиринт интриг, кто будет Минотавром, воплощающим сращение двух несходственных естеств? Двойной шпион! Если поле, на котором разворачиваются придворные ристанья, носит имя «сущий Ад», где струит по руслу Неблагодарности свои полные воды Флегетон забвения, в бурно-мутных водоворотах страстей, — кто же будет трехзевым Цербером и залает, вынюхав пришельца, вступившего в адские края, дабы быть пожранным? Тоже двойной шпион...

Засланный в Англию шпионить на Ришелье, Феррант решил обогатиться, оказывая услуги и англичанам. Набравшись сведений от челяди и от низкоразрядных конторских под пиво из громадных кружек, в притонах, продымленных бараньим салом, он предстал пред священнослужителями, заявив, что является испанским пастырем, желающим отринуть Римскую Церковь, не вынеся ее мерзот.

Мед для ушей антипапистов, искавших оказий для обличения католического духовенства. Не потребовалось даже от Ферранта присягать в том, что ему не было известно. У англичан имелись анонимные показания, то ли выдуманные, то ли подлинные, какого-то католического священника. Феррант только завизировал их бумагу, подписавшись именем одного викария из Мадрида, который некогда повел себя с Феррантом высокомерно и которому тот решил отомстить, как подвернется случай.

Посылаемый от англичан снова в Испанию, на поиски новых свидетельств от представителей клира, расположенных оклеветать Священный Престол, в портовом кабачке Феррант познакомился с генуэзцем, вкрался в доверие и выведал, что тот на самом деле Махмут, ренегат, принявший на Востоке магометанство и под видом португальского купца собирающий данные о состоянии английского флота, в то время как другие разведчики Высокой Порты занимаются тем же делом во Франции.

Феррант открылся тому, будто работает на турецких агентов в Италии и будто тайно перешел в ту же мусульманскую веру и имеет имя Дженнет Оглу. Он продал Махмуту сведения о передвижениях английских судов и взял за это награждение, а также за согласие оповестить кое о чем собратьев во Франции. В то время как английские церковники считали, что он отправился в Испанию, он решил попользоваться еще одной выгодой, сопряженной с бытностью в Англии, и связался с флотским ведомством под именем венецианца Грансеолы (вымышленное имя означало «морской паук», в честь приснопамятного капитана Гамберо — «креветки»), состоявшего якобы на секретных поручениях при Совете Венецианской республики, в частности разведывающего планы французского торгового мореходства. Ныне, объявленный вне закона за дуэль, он, словно, не имеет дороги, кроме как искать приюта в дружественной стране. Дабы доказать добрую волю, он оповестил уполномоченных английского адмиралтейства, что Франция заслала разведывать английские гавани одного Махмута, турецкого шпиона, и тот проживает в Лондоне, прикидываясь португальцем.

У Махмута, арестованного в тот же день, были найдены планы английских доков, и Феррант, под именем Грансеолы, был признан личностью, заслуживающей доверия. Получив обещание английского вида на жительство по исправлении службы и с задатком в виде крупной первой суммы, он был отправлен во Францию, где должен был объединиться с другими английскими разведчиками.

В Париже он сразу преподнес кардиналу Ришелье всю информацию, которую англичане выпытали у Махмута. Потом связался с друзьями генуэзского ренегата, адреса которых были от того получены, и явился к ним как Шарль де ла Бреш, монах-расстрига, переметнувшийся к неверным и сумевший затеять в Лондоне такую интригу, которая дискредитировала все христианское племя. Те подосланные взяли Феррантовы речи на веру, благодаря тому что к ним уже попала книжица, в которой англиканская церковь обнародовала низости одного испанского священника, — а в это время в Мадриде, по публикации брошюры, арестовали прелата, которому Феррант приписал предательство, и ныне он дожидался казни в застенках инквизиции.

Феррант разузнавал от этих турецких агентов все, что они успевали нашпионить во Франции, и понемногу пересылал эти сведения в английское адмиралтейство, получая каждый раз причитающуюся плату. Через некоторое время он пошел к Ришелье и объявил ему, что в Париже, у всех перед носом, работает турецкая шпионская сеть. Ришелье в очередной раз восхитился ловкостью и преданностью Ферранта — до такой степени, что поручил ему еще более замысловатое дело.

Вот уж немало времени, как кардинал интересовался тем, что делалось в салоне маркизы Рамбуйе, и подозревал, что у тамошних вольнодумцев случаются нелестные отзывы о нем. Ошибкой кардинала было заслать к Рамбуйе своего порученца, который в наивности задал маркизе вопрос, не было ли недозволенных высказываний. Артеника ответила, что ее приглашенные превосходно представляют себе ее мнение о Его Высокопреосвященстве, и, даже имейся у них противоположные взгляды, они не осмелились бы обнародовать их в ее, Артеникином, присутствии.

Обескураженный кардинал начал выжидать, пока появится в Париже чужестранец, который сможет получить доступ в этот ареопаг. Тут Роберт, не имея охоты выдумывать разные обманные перипетии, за счет которых Феррант сумел бы втереться в общество,

решил, что проще всего провести его по чьей-то рекомендации и в переодетом обличье: парик, седая накладная борода, кожа, состаренная гримом и притираньями, черная повязка на левом глазу, вот перед нами аббат де Морфи.

Роберт не мог допустить, что Феррант, целиком и полностью походивший на него, был рядом с ним в те самые, вспоминавшиеся теперь как столь далекие, вечера; но он помнил, что видел одноглазого аббата, и решил, что это, по-видимому, был Феррант.

Феррант, который именно в этом благородном собрании, по прошествии десяти и более лет, снова встречает Роберта! Невозможно описать ликование злобы, когда наглый проходимец вновь обрел ненавистного брата. С лицом, которое выдала бы искажающая гримаса враждебности, не будь оно прикрыто атрибутами маскарада, он сказал себе, что наконец уничтожит Роберта и завладеет его именем и имением.

Вечер за вечером он наблюдал за жертвой, выискивая на ее лице мельчайшие подробности сокровений. Умея неподражаемо скрывать свои мысли, Феррант был ловок в открытии чужих. Впрочем, любовь не скроешь; как пламя, она обнаруживается по дыму. Проследив направление взглядов Роберта, Феррант моментально догадался, какие чувства тот питает и на кого они нацелены. Раз так, сказал он себе, прежде всего отберем у Роберта то, что ему дороже всего.

От Ферранта не укрылось, что Роберт, сумев привлечь внимание Прекрасной Дамы, не находил храбрости приблизиться к ней. Стеснительность брата играла на руку Ферранту. Владычица могла помыслить, что тут недостаток интереса, а разыгрывать пренебрежение — лучший способ завоевывать. Роберт подготовил Ферранту дорогу. Феррант дал Госпоже дозреть в нерешительном поджидании, а потом — улучив подходящую минуту — бросился обольщать.

Но мог ли Роберт разрешить Ферранту испытывать любовь, равную его собственной? Разумеется, нет. Феррант видел в любой женщине портрет непостоянства, жрицу обмана, легкомысленную в речах, мешкотную в действиях и резвую в капризах. Воспитанный сумрачными аскетами, которые ему вбивали в голову, что «El hombre es el fuego, la mujer la estopa, viene el diablo y sopla»[1], он привык считать всех дочерей Евы несовершенными животными, ошибками натуры, при уродстве — пыткой для очей, при красоте — растравой для сердца, для тех кто их любит — тираншами, для тех, кто недооценивает — врагинями, беспорядочными в требованиях, непреклонными в гневе, в чьих устах очарование, а в очах кандалы.

Однако именно это неуважение подталкивало его обольщать. Пуская с губ льстивые речи, в сердце он наслаждался униженностью жертвы.

Итак, именно Феррант торопился наложить руку на тело, которого он (Роберт) не отваживался коснуться даже в мечтаньях. Феррант же, ненавистник всего, что для Роберта было предметом преклонения, намеревался — теперь — отнять у него Лилею, дабы низвести до роли пресной любовницы в безвкусной комедии. Какая мука. И какой огорчительный удел, следуя безумной логике романов, разделять самые гнусные чувства и пестовать, как чадо собственного воображения, самого омерзительного из сюжетных героев.

Но деваться Роберту было некуда. Ферранту надлежало взять Лилею — а иначе зачем автор завязывал интригу, если не для того, чтоб самому ею удушиться?

Каким образом и что из событий имело место, Роберту представить не удавалось (потому что никогда не удавалось попробовать захотеть представить). Может быть, Феррант проник глубокой ночью в почивальню Лилеи, вскарабкавшись, конечно, по плющу (крепко вцепляющемуся в камни — о ночная приманка для любого очарованного сердца!), и вьющемуся вплоть до подоконника ее алькова.

Вот Лилея проявляет знаки оскорбленной добродетели, да так, что всякий отступил бы пред подобным негодованием, всякий, но только не Феррант, уверенный, что человеческие существа всегда расположены к притворству. Вот Феррант становится на колени и держит речь. Что говорит Феррант? Он говорит, своим лживым голосом, все то, что Роберт не только хотел бы ей высказать, но даже и высказывал, хотя она никогда не узнала, от кого поступали эти послания.

---

[1] Мужчина — огонь, женщина — пакля, приходит дьявол и дует (*исп.*).

Как же сумел бандит, недоумевал Роберт, разведать содержание тех писем, которые посланы мною ей? И не только! Даже и тех, которые Сен-Савен продиктовал мне в Казале, а я уничтожил! И даже тех, которые пишу я ныне, сидя на корабле! Тем не менее нет сомнений, это так, и Феррант декламирует с чистосердечным видом фразы, Роберту памятные как нельзя лучше:

«Госпожа, в изумительной архитектуре универсума было отражено с самого первого дня Миротворения, что я повстречаю вас и я вас полюблю... Простите исступление отчаявшегося, или лучше скажу, не смущайтесь этим исступлением, поскольку неслыханно, чтобы правители отвечали за гибель своих подданных... Не вы ли претворили в два аламбика мне очи, дабы они дистиллировали жизнь и перегоняли в прозрачную воду? Прошу, не отворачивайте прекрасную голову от меня. Лишенный вашего взора, я слеп, так как вы меня не видите, без ваших речей я нем, потому что вы не говорите ко мне, и беспамятен, потому что вы меня не вспоминаете. О, если бы любовь превратила меня в бесчувственную руину, в мандрагору, в каменный источник, смывающий слезами любое томление!»

Теперь Владычица его души, конечно, трепетала; в очах ее пылала та любовь, которую она пыталась прежде утаивать; к ней пришла энергичность узника, которому некто взломит решетку Сдержанности и вбросит шелковую лестницу Случая. Не подлежало сомнению, что атаку следует усилить. Феррант не ограничился тем, что было сочинено и записано Робертом, он ведал и другие речи, лил речи в ее завороженные уши, чаруя и ее и самого Роберта, который до этих пор не знал, что знает такие слова.

«О тусклое мое солнце, от вашей сладостной бледности утрачивает алая заря весь пламяогненный жар! О сладкие взоры, от вас прошу я только — позволить томиться недугом! Не стоит мне утекать в поля или в пущи, дабы от вас отрешиться. Нет пущи подобной на свете, нет древа подобного в пуще, нет ветви подобной на древе, такого побега на ветви, нет цвета на этом побеге, такого плода этой почки, чтобы в нем мне не виделся милый, единственный, нежный ваш лик...»

И при ее первом рдении: «О Лилея, когда бы вы ведали! Я любил вас, не зная ни обличья ни имени вашего. Искал вас, и не знал, где вы находитесь. Но однажды вы поразили меня, как ангел... О, я знаю, вы гадаете, отчего моя любовь не осталась в незапятнанном молчании, в целомудренной дали... Но я умираю, сердце мое, вы же видите сами, дух уже излетает, не позвольте ему улетучиваться в воздух, дайте сохраниться, опочивши на ваших устах!»

Тон Ферранта при этих речах был до того искренен, что Роберту и самому уж хотелось, чтоб она пала в сладкие сети. Только этим доказалось бы, что она его любит.

Поэтому Лилея наклонилась, чтоб поцеловать, и не посмела, и, приникая и отшатываясь, трижды близила уста к желанному дыханью, три раза отстранялась и потом вскричала: «О да, о да, ежели вы меня не прикуете, я не буду свободна и не буду целомудренна, ежели вы не обесчестите меня!»

И взявши кисть руки его, она ее поцеловала и возложила на грудь; потом привлекла его к себе, нежно похищая дыхание его уст. Феррант склонился на этот сосуд ликования (в котором Роберт захоронил останки собственного сердца), и два тела слились в единую душу. Роберт уже не знал, кто находится в объятии, поскольку Лилея полагала, что лежит в Робертовом, а он, приближая к ней уста Ферранта, стремился отворотить собственные, поскольку не мог снести, чтобы она дала этот поцелуй.

И вот так, в то время как Феррант наносил поцелуи, а она их возвращала, поцелуи уничтожались, и в Роберте укреплялась уверенность, что его обворовали кругом. Но он не мог уберечься от мыслей о том, чего не хотел воображать: он знал, что в природе любви заложена избыточность.

Разобидевшись на эту избыточность, забывая, что, отдаваясь Ферранту, она считала его Робертом и что то был знак для Роберта донельзя желанный, он ненавидел Лилею и метался по кораблю, завывая: «О ничтожество, оскорбил бы я всю породу твою, наименовав тебя женщиной! То, что наделала ты, более достойно фурии, нежели дамы, и даже имя свирепой скотины слишком лестно для такого исчадия ада! Ты хуже аспида, отравившего Клеопатру, хуже рогатой гадюки, что обманно приваживает пернатых, дабы закласть

на алтаре собственного аппетита, хуже амфисбены, двухголового гада, который коснувшегося так опрыскивает отравой, что в течение немногих минут незадачливый умирает, хуже головогрыза, который, вооруженный четырьмя ядоносными клыками, портит мясо, когда кусает его, и хуже гиены, когда она кидается с дерев и удушает свою жертву, и хуже дракона, изрыгающего смертное зелие в фонтаны, и василиска, изничтожающего свою жертву единым взглядом! О супостатка и мегера, не знающая ни Неба, ни земли, ни веры, и ни женского и ни мужского рода, урод, порожденный камнем, горою, дубом!»

Потом он останавливался и снова сознавал, что она отдавалась Ферранту, полагая его Робертом, и что не попрана, а оборонена должна быть от этого наскока: «Осторожнее, любимая моя любовь, сей представляется тебе с моим лицом, ему известно, что другого, то есть того, кто не является мною, ты не взлюбила бы никогда! Что же я должен теперь делать, если не враждовать с собственной персоной, дабы вражда перекинулась на него? Могу ли я оставить тебя во власти обмана, чтоб нежилась в его объятии, полагая, что нежишься в моем? Я, который уже смирился с жизнью в этом узилище, чтобы всецело посвящать и ночи и дни размышлениям о тебе, могу ли я позволить, чтобы ты , будто околдовывая меня, на самом деле становилась суккубом соблазнительного чародея? О Любовь, Любовь, Любовь, разве ты меня еще недостаточно наказала, и разве это не смерть помимо смерти?»

31. Краткое руководство для политиков[1]

<...>

Мазарини, принимая Ферранта, собственными руками прибавлял последние штрихи, заканчивая сервированный для гостей стол. Триумф мнимости, все на этом столе прикидывалось чем-то иным. Светильники расставлены были в плошках из льда, цветные бутыли сообщали вину неожиданные оттенки, корзины латука были наполнены композициями из цветов, подобранных, чтоб напоминать плоды, и обрызганных фруктовыми эссенциями.

Мазарини, полагавший, что Роберт, то есть на самом деле Феррант, обладает секретом, из которого он, кардинал, сможет извлечь выгоду, решил делать вид, будто знает все, в расчете, что собеседник выдаст себя.

В то же время Феррант, оказавшийся в присутствии кардинала, догадался, что Роберт владеет неким секретом, из которого ему, Ферранту, хорошо бы получить как можно большую выгоду, и решил принять вид, будто знает все, в расчете, что собеседник выдаст себя.

Поэтому на нашей сцене двое, и каждый из них не знает ничего того, что, по его мнению, известно второму, и, дабы взаимно обманывать друг друга, они выражаются намеками, каждый из обоих в напрасной надежде, что у другого есть ключ от шифра. Какая красивая фабула, говорил себе Роберт, нашаривая кончик нити от силка, расставленного им самим.

— Господин де Сан Патрицио, — начал Мазарини, перекладывая на блюде живых омаров, казавшихся ошпаренными, с вареными, имевшими вид живых. — Неделю назад мы отправили вас из Амстердама на борту «Амариллиды». Вы не могли попросту выйти из игры: ведь вам известно, что цена такого поступка — смерть. Значит, вы уже разведали то, что вам поручено разведать.

Перед лицом подобной дилеммы, Феррант догадался, что не в его интересах заявлять, будто он не стал выполнять задание. Значит, оставалась только альтернативная дорога.

— Раз уж угодно спрашивать Вашему Высокопреосвященству, — отвечал он, — в некотором смысле, мною выведано то, что Вашим Высокопреосвященством предполагалось узнать. — А сам себе подумал: «Теперь я знаю, что секрет находится на борту корабля «Амариллида», отплывшего на прошлой неделе из Амстердама».

— Так к делу, отбрасывайте ложную скромность. Нет сомнений, что вы обнаружи-

---

[1] «Breviarium Politicorum» — латиноязычное сочинение итальянского кардинала и французского премьер-министра Джулио Раймондо Маззарино (1602—1661).

ли гораздо больше, чем вас попросили. С тех пор, как вас заслали туда, мною были собраны дополнительные данные, ведь вы не можете думать, правда, будто вы у нас единственный агент? Так что само собой разумеется, что добытое вами дорогого стоит, и мы не постоим за ценою. Однако непостижимо, отчего вам взбрело в ум возвращаться ко мне такою кривой дорогой. — Он указал официантам, куда следует ставить разварное мясо в деревянных формах, имевших фигуры рыб, и залитое не бульоном, а желе.

Феррант все сильнее уверивался, что тайна такова, что цены ей нет, и он знал: легко застреливают птицу, летящую прямо, и с большим трудом ту, которая мечется. Так что он тянул время, испытывая противника: — Ваше Высокопреосвященство знает, что ставка в этой игре вынуждала к изощренным методам.

«Ну и шельма, — бормотал себе тем временем Мазарини, — ты не знаешь, какова точно цена добытых знаний, и хочешь, чтобы я назвал сумму. Но я добьюсь, чтобы ты высказался первым». Он передвинул на середину стола мороженое, сделанное в виде персиков, отягчавших урожайную ветвь, и сказал громким голосом: — Мне известно, чем вы владеете. И вам известно, что никому, кроме меня, вы это не предложите. Неужели вам выгодно прикидываться, будто белое — это черное, а черное — белое?

«О, проклятая лисица, — бормотал про себя Феррант. — Ты понятия не имеешь, что же мне следовало узнать. Беда, что и я не имею понятия». Затем вслух: «Вашему Высокопреосвященству известно, что зачастую истина становится поместилищем горечи».

— Знание не приносит вреда.

— Но нередко наносит боль.

— Ну, так наносите же, и покончим с этим. Я огорчусь ничуть не больше, нежели когда мне сказали, что вы запятнали себя в государственной измене и единственный выход — передать вас палачам.

До Ферранта дошло наконец, что продолжая разыгрывать роль Роберта, он рискует очутиться на плахе. Лучше уж было обнаружиться, кто он на самом деле, и рисковать самое большее быть побитым палками.

— Высокопреосвященство, — произнес он тогда. — Я ошибся, не открыв вам с первых слов истину. Господин Кольбер перепутал меня с Робертом де ла Гривом, и его ошибка сумела смутить даже такой непогрешимый глаз, как ваш. Однако я не Роберт, я его естественнорожденный брат, Феррант. Я явился предложить вам некие сведения, которые, я уповал, заинтересуют Ваше Высокопреосвященство... Учитывая, что Ваше Высокопреосвященство было первым, кто наименовал пред покойным и незабвенным Его Высокопреосвященством Кардиналом те козни англичан, вы знаете... Порошок симпатии, выяснение долгот...

Заслышав эти речи, Мазарини досадливо махнул рукой, чуть не сваливши супницу, окрашенную под золото и сверкающую поддельными самоцветами из стекла. Он выругал за это официанта и процедил Кольберу: «Верните туда, где был».

Воистину, боги ослепляют тех, кого намерены погубить. Феррант надеялся пробудить интерес, намекнув, будто знает заповедные секреты опочившего Кардинала, но перебрал меру, по гордыне ябедника, захотевшего показаться осведомленнее, чем хозяин. Однако никто до тех пор не докладывал Мазарини (и достаточно тяжело было бы теперь доказать это), что между Робертом и Ришелье имели место тайные сношения. Перед Мазарини оказался некто, будь он Робертом или будь он иным лицом, который знал не только, что было говорено между Мазарини и Робертом, но и что было писано между Мазарини и Ришелье. Откуда он выведал это?

Когда Ферранта увели, Кольбер сказал: — Ваше Высокопреосвященство наклонны верить словам этой особы? Если он и впрямь двойчатник, этим объясняется многое. Роберт до сих пор находится в море, а этот...

— Нет, если речь идет о близнецах, наш случай объясняется еще менее. Как может новоявленный брат знать то, что до этих пор знали только вы, я, наш английский шпион и господин де ла Грив?

— От брата...

— Нет, брат узнал секрет только от нас и не ранее той самой ночи, и с этих пор ни разу не был выпущен из виду, пока корабль не вышел из порта. Нет-нет, этому человеку известно гораздо больше, чем ему приличествует знать.

— Что будем делать?

— Интересный вопрос, Кольбер. Если данная особь — Роберт, он что-то выведал на корабле и хорошо бы он с нами этим поделился. Если он не Роберт, нам абсолютно необходимо знать, откуда он взял сведения. В обоих случаях исключается допрос на суде, где он расскажет слишком много и слишком многим слушателям. Но мы не можем и всадить ему пару дюймов клинка под лопатку: он еще не успел нам исповедаться. Если же это не Роберт, а, как он там рекомендовался, Ферран или Фернан...

— Феррант, кажется...

— Как предпочитаете. Если он не Роберт, кто стоит за этой личностью? Для такого и Бастилия недостаточно надежна. Известно, что из Бастилии и отправляли послания и получали ответы. Надо добиться, чтоб этот субъект заговорил, то есть найти способ развязать ему язык, а до тех пор ухоронить его в такое место, чтобы никому не было ведомо и чтобы в том месте никому не было ведомо, кто он.

Тут Кольбера осенило зловещей гениальностью.

За несколько дней до того французские моряки захватили у берега Бретани пиратское судно. Это был, по совпадению, голландский флибот с непроизносимым именем «Tweede Daphne», иначе говоря «Дафна Вторая», сигнал, заметил Мазарини, что где-то существует «Дафна Первая», и блестящее подтверждение, что протестантам свойственно не только иметь мало веры, но и мало фантазии. Бандитская шайка состояла из отребья всех племен. Повесить всех зараз, но ждали развязки следствия, не состояли ли часом эти бродяги на службе у английской монархии, и у кого они отбили корабль— вдруг законные владельцы заплатят за его возврат.

Поэтому было решено держать судно на приколе у устья Сены, в бухточке, укрытой от глаз, не замечаемой даже паломниками Св. Иакова, маршрут которых из Фландрии пролегал поблизости. На песчаной косе, замыкавшей бухту, был старый форт, в свое время он служил тюрьмою, теперь его забросили. Туда, в подвальные камеры, замкнули пиратов, для охраны хватало трех человек.

— Это годится, — сказал Мазарини. — Возьмите десяток моих гвардейцев, найдите хорошего командира, не лишенного рассудительности...

— Бискара́. Прекрасная репутация, с тех самых пор как отличался в дуэлях с мушкетерами к прославлению имени Кардинала...

— Замечательно. Заключенного перевезут в тот форт и поместят в квартиру с гвардейцами. Бискара будет принимать пищу с ним в его комнате и будет лично водить его на прогулку. Караульный пост к дверям комнаты, как днем, так и ночью. Сидение под стражей смягчает самых упорных. Наш строптивец будет иметь возможным собеседником одного Бискара. Может, он заоткровенничает. Пусть никто не видит его лица — ни в поездке, ни в укреплении...

— Ни во время прогулки.

— Вот-вот, Кольбер, поизобретательнее. Прикройте ему физиономию.

— Осмелюсь предложить... Железная маска, закрывается на замок, ключ выбрасывается в море...

— Ну-ну, Кольбер, что мы, в Стране Романов? Вчера мы смотрели итальянских комедиантов. Вот у них такие кожаные маски с большими носами, лицо искажено, а рот остается свободным. Найдите такую маску, и пусть ее прикрутят, чтобы самому было снять невозможно, и повесьте зеркало в комнату, чтобы он все время огорчался от своего непристойного вида. Он хотел маскироваться под брата? А мы его замаскируем в Полишинеля. И присматривайте хорошенько. Отсюда и до форта — закрытая карета, остановки только ночью и в чистом поле, пусть не высовывается на почтовых станциях. Если кто-нибудь спросит, надо отвечать, что провозят в ссылку знатную даму, злоумышлявшую против Кардинала.

Феррант, ошарашенный шутовским маскарадом, целыми днями рассматривал через щели в решетке, пропускавшей в его узилище слабый свет, серый амфитеатр кривых дюн и «Дафну Вторую» на рейде залива.

Он был в полном самообладании и в присутствии Бискара прикидывался то Робертом, то Феррантом, так чтобы реляции, направляемые Мазарини, носили противоречи-

вый характер. Он подслушивал за гвардейцами и из обрывков их разговоров сделал вывод, что в подземелье тюрьмы содержатся пираты.

Желая расквитаться с Робертом за оскорбление, никогда не наносившееся, он измышлял способы затеять мятеж, освободить ватагу, захватить корабль и догнать Роберта. Он знал, как действовать: в Амстердаме он связался бы со шпионами, которые добыли бы ему сведения о назначении «Амариллиды». Он догнал бы «Амариллиду», вырвал тайну у Роберта, потопил бы в океане опостылевшего брата и сумел бы продать этому кардиналу кое-что за высочайшую цену.

А может, и не так. Выведав секрет, он попробовал бы сбыть его кому-то другому. И вообще, зачем сбывать? Насколько он догадывался, тайна Роберта могла относиться к карте острова сокровищ, или к секрету алумбрадос и розенкрейцеров, о которых молва так много говорила в последнее двадцатилетие. Он обернул бы открытие на собственную пользу, кончилось бы шпионство на хозяина, он бы начал нанимать шпионов для собственной нужды. А по обретении богатства и власти, и отеческая фамилия и нежнейшая Госпожа перешли бы в его владение.

Разумеется, Феррант, с его внутренним разладом, не был способен на истинную любовь, но Роберт говорил себе, что есть люди, которые вообще никогда не полюбили бы, если бы не слыхали о существовании подобных чувств. Может быть, Ферранту попался под руку роман, и он прочел его и убедил себя, будто любит, чтоб убежать от реальности, в которой был.

Может, Она в их первую встречу подарила Ферранту в залог любви свой гребень? Теперь Феррант целовал его и, целуя, самозабвенно утопал в золотистых струях, что недавно бороздились белоснежной и матовой костью?

А может, кто знает, даже подобный подонок мог быть тронут воспоминанием о такой чистоте... Роберт так и видел Ферранта, сидящего в полумраке напротив зеркала, которое в глазах всякого глядящего сбоку отражает только поставленную напротив свечку. Вглядываясь в игру двух огней, причем один — повторение другого, зрачок приковывается, воображение околдовывается, и являются виденья. Постепенно подвигая свой взгляд, Феррант находит в зеркале Лилею, лик ее из очищенного воска, он от сияния настолько влажен, что будто впитывает любой новый луч, и белокурые пряди рядом с толикой белизною темнеют и струятся ручьями, перехваченные лентой за плечом, грудь едва обрисовывается под тончайшею пеленою...

После этого Феррант (ну, так тебе и надо! — торжествовал Роберт), домогаясь слишком многого от суетного сна, хищно двигался к зеркальному стеклу, и за таявшим свечным отблеском он узревал одну только срамотную харю, заменявшую ему лицо.

Зверем, не переносящим отнятие незаслуженного дара, он бросался мерзко ласкать заповедный гребень, но теперь, в чаду коптящего огарка, эта вещица (которая для Роберта могла бы стать самой обожаемой из бесценных реликвий) враждебно скалила пожелтелые зубья, как олицетворенное угрызение.

33. Подземный мир[1]

Кораллы бросали Роберту вызов. Обнаружив, на какие причуды способна Натура, он будто вступал с нею в состязанье. Он не мог забросить Ферранта в той темнице, а повесть на середине. Ублаготворилась бы его ненависть к сопернику, но не тщеславие романиста. Что ж содеять с этим Феррантом?

Идея пришла Роберту в голову одним утром, когда, как обычно, он засел перед рассветом глядеть на берег Острова, поджидая Огнецветную Голубицу. С зари сверкание ослепляло очи, и Роберт даже попробовал насадить на конечное стекло своей зрительной трубки что-то вроде козырька, вырвав лист из корабельного журнала, но навесец загораживал обзор и давал видеть сплошное бликованье. Когда же солнце установилось над горизонтом, море отразило лучи, как зеркало, и удвоило световые пучки.

---

[1] «Mundus Subterraneus» — название еще одного произведения отца Атанасиуса Кирхера (см. примечание к названию главы 6).

Но в этот день Роберт внушил себе, будто на его глазах что-то воспарило от деревьев к солнцу, а потом смешалось с сияющей сферой. Наверно, это была иллюзия. Какая угодно птица в подобном освещении показалась бы жароцветной... Роберту было ясно, что он видел голубку, и в то же время обидно, что так обманулся. В подобном двойственном настрое он жил с ощущением подлога.

Для такого, как Роберт, то есть дошедшего уже до способности ревниво наслаждаться только тем, что у него отобрано, не было труда вообразить, что Феррант, напротив, получает все то, что ему, Роберту, не воздано. Но поелику Роберт этой повести приходился еще и автором и не желал чересчур много потачек давать Ферранту, он решил, что позволит тому иметь дело только с самцом-голубем, с тем, кто был зеленовато-синего цвета. И все потому, что Роберт, оторванный от каких бы то ни было достоверностей, произвольно постановил, что в голубиной паре апельсиновая птичка должна непременно быть самкой, это как бы означало «быть Ею». Так как в повести о Ферранте голубиная роль не символизировала самоцели, а скорее касалась средства обладанья, Ферранту предстояло обходиться голубком.

Имел ли возможность голубовато-зеленый голубь, попархивающий только над южными морями, присесть на подоконник острога, за которым Феррант вздыхал по утраченной воле? В Романической стране — имел, конечно. Вдобавок, разве не могла «Дафна Вторая» только-только возвратиться из далекого океана, завершив свой путь успешней, нежели старшая сестрица, и привезти в трюме пернатое, которое бы теперь освободилось?

В любом случае Феррант, не ведающий об антиподах, не желал на этот счет объяснений. Он заметил птичку, сперва подкормил ее крошками, скорее от нечего делать, потом задумался, нельзя ли получить от птички пользу. Он знал, что голуби иногда переносят вести; разумеется, вверяя послание подобной твари, никто не мог быть гарантирован, что оно попадет куда надо, но учитывая скуку, отчего было не попробовать этот способ?

К кому он мог обратиться за поддержкой, он, враждебствовавший со всеми, вплоть до себя, а о тех немногих, кем пользовался — знавший, что они готовы быть с ним лишь при успехе и никак не в несчастьи? Он сказал себе: обращусь-ка к Госпоже, она меня любит («но с чего же он так уверен?» — завистливо терзался Роберт, выдумывая этот гордый довод).

Бискара приготовил в его спальне письменные припасы, если ночью надоумится повиниться, сочинить показания кардиналу. Феррант обозначил на одной стороне местожительство Дамы и добавил, что донесшему письмо будут выплачены деньги. На другой стороне листа он указал, куда его заключили (о чем подслушал от гвардейцев) и что виною тому отвратительная интрига кардинала, и умолял освободить. Лист этот он скрутил в трубку, привязал к лапе голубя и согнал того с подоконницы.

По правде говоря, в скором времени он забыл, или почти забыл, о затее. Мог ли он думать, что зеленоватый голубь донесет послание до Лилеи? Так бывает исключительно в сказках, а Феррант был не из тех, кто вверяет себя сказочникам. Может быть, голубку подстрелил какой-то охотник, и, рухая наземь, в сучьях дерева она выронила пакет?

Ферранту было невдомек, что этот голубь попал на смолу к мужику, который решил подзаработать, догадавшись, что записки безусловно дожидается кто-то, может быть, войсковой командир.

Поэтому грамотку снесли к единственному в деревне знавшему буквы, а именно к приходскому священнику, и он организовал все как нельзя лучше. Он отправил к Госпоже бывалого человека, чтобы сговориться об условиях доставки пакета, причем было сторговано щедрое пожертвование в пользу церкви того села, а также чаевые для крестьянина. Лилея прочла, поплакала и поговорила с надежными людьми, ища совета. Разжалобить кардинала? Легче легкого для миловидной придворной дамы. Но эта дама посещала салон Артеники, который не вызывал у кардинала доверия. О новом министре двора гуляли сатирические куплеты, и поговаривали, что родятся они именно в тех гостиных. Прециозница, идя к кардиналу за милосердием для друга, могла бы добиться только отягчения приговора.

Нет, оставалось собрать команду отважных и атаковать укрепление. Но к кому обратиться?

И тут Роберт останавливался в великой трудности. Будь он королевским мушкетером или неимущим гасконцем, Лилее прямой бы путь был к его славным собратьям, к тем, кто известен взаимовыручкой. Но кто рискнет немилостью государственного министра, а может быть, и короля ради чужестранца, завсегдатая библиотекарей и астрономов? Что же до самих астрономов с библиотекарями, просьба уволить; потому что, как ни размашист Роберт был в сочинении сюжета, он все же не мог изображать каноника Диня или господина Гаффареля, стелющихся наметом в атаке на Робертову темницу, то есть на Феррантову, поскольку Феррант для всех, кто знал его, был Робертом.

Озарение осенило Роберта чуть позже. Он забросил на несколько дней Ферранта и снова плавал осматривать коралловые плесы. В тот день он преследовал косяк рыб, у них на головах были желтые шлемы, и вся их стая напоминала гарцующий полк. Одна за другой прошмыгивали эти рыбы меж двух каменных башен, там, где кораллы напоминали полуразрушенные дворцы затонувшего царства.

Роберту подумалось, что эти рыбы кружат среди развалин легендарного города Ис, о котором он слышал рассказы, будто бы он лежит на дне моря в нескольких милях от побережья Бретани, там, где воды его затопили. Так вот, самая крупная рыбина — исконный царь той державы, сопровождаемый свитой, генералы гарцуют на самих себе, ищут богатства, заглотанные океаном...

Но к чему вспоминать старинную сказку? Почему не вообразить, что рыбы живут в особенном мире, где есть леса и горы, деревья и долины, и ничего не ведают о мире суши? Так же точно и мы существуем, не зная, что полые небеса содержат миры иные, где люди не ступают и не плавают, а летают и парят на воздухе; то, что мы зовем планетами, это подзоры их кораблей; мы видим золотой киль каждой лодки. Так и эти детища Нептуна видят на высоте лишь тени днищ наших галеонов и считают их эфирными телами, движущимися по раскинутой на вышине водной тверди.

Если жизнь идет под водой, значит, жизнь может идти и под землею: цивилизация саламандр, способных прокапывать туннели к сердцевинному огню, греющему планету.

Рассуждая подобным образом, Роберт вспомнил аргументацию Сен-Савена: мы считаем, что невозможно жить на внешней стороне Луны, потому что там безводно, но ведь можно допустить, что вода имеется там в подземных резервуарах и что природа предусмотрела на Луне колодцы, они-то и есть те пятна, которые нам заметны. Кто исключит, что обитатели Луны находят пристанище именно в этих нишах и укрываются от невыносимой близости Солнца? И не под землей ли обитали первохристиане? Лунатики никогда не выходят из катакомб, там и есть их местопребыванье.

Притом не обязательно там у них темнота. Может, существуют множественные отверстия в корке спутника, и внутренность его получает свет через эти тысячи дыр, там в Луне стоит вечная ночь, проницаемая пучками света, очень похоже на освещение соборов или на освещение гон-дека «Дафны». Или же нет: на поверхности Луны изобилуют фосфорические камни, которые днем напитываются солнечными лучами и отдают лучи ночью, так что лунатики запасаются камнями каждый день на закате, и у них галереи блистательнее, чем дворец короля.

Париж, подумал Роберт. Разве не общеизвестно, что там, как и в Риме, подпочва продырявлена катакомбами, и там отогреваются ночами побродяги и нищая вошва?

Вошва! Вот идея для спасения Ферранта! Вошвой, по рассказам, управляет Верховный Вшивец, у них есть жесточайшие законы; вошва — это государство босяцкого сброда, живущее злодеяниями, грабежами и надувательством, разбоем и плутовством, мошенством, татьбою, при лицемерном представительстве, будто доходы у них берутся от христианской милостыни!

Такое зарождается лишь в душе любящей женщины. Лилея — по сюжету, создаваемому Робертом, — доверилась не светским друзьям и не знакомым законникам, а последней из горничных девок, зная, что у той шашни с извозчиком, который столуется в трактире подле церкви Нотр-Дам, а туда каждый вечер стекаются христарадники, до закрытия храма клянчащие на погосте. Это был единственный путь.

Лилею провели глубокой ночью в собор Сен-Мартен-де-Шан, вынули плиту пола в хоре, и она сошла в парижские катакомбы и отправилась при факельном свете на условленную встречу с Верховным Вшивцем.

Вот она, переодетая в мужскую одежду, гибким и стройным андрогином проскальзывает по туннелям, поднимается по лестницам, пролезает в щели и внезапно разглядывает в полумраке там и сям развалившиеся на лохмотьях и тряпках, раскоряченные туловища и лица, испещренные вередами, нарывами, бородавками, волдырями, пузырями и булдырями, огневиками, наростами, паршой, волчанкой, коростой, и чирьями, и раком, и все они громко воют, с вытянутой вперед рукою, неразличимо: не то «подайте сирому убогому», не то «пройдите, вас ожидают».

Ее действительно ожидал владетель вшивого царства, Верховный Вшивец, на помосте в центре тронного зала, тысячей футов ниже уровня почвы, восседая на пивном бочонке в окружении карманных тяглецов, уличных певцов, ночных придорожников, обирал, плутов, рукоприкладчиков, словом, мошенников, непревзойденных в кривде и лихоимстве.

Каким быть ему, Верховному Вшивцу? Разумеется, в драной мантии, с шелудями по голове, со сгнившим носом, с мраморными глазами, один из которых был черен, другой с прозеленью, с куньим взором, с нависшими бровями, с заячьей губой, из-под которой торчали острые, как у волка, выкаченные вперед зубы. Волосы его курчавились, кожа серела, ногти короткопалых рук были окогчены.

Он выслушал Госпожу и ответил, что у него под рукой войско, в сравнении с коим армия короля Франции — заштатный гарнизонишко. И обходится оно значительно дешевле: если братву пожалуют, скажем, двойною выручкой в сравнении с той, которую наканючили бы люди за то же время, они ради такой дарительницы не пожалеют живота.

Лилея спустила с пальца рубин (как положено в подобных эпизодах) и царственно проронила: «Этого с вас довольно?»

— Довольно, — отвечал Верховный Вшивец, лаская яхонт лисьим оком. — Скажите где. — И, узнавши имя местности, добавил: — Мои люди не пользуются ни конями, ни колесным тяглом, но вижу, что туда можно доплыть на барже по течению Сены.

Роберт воображал себе Ферранта, как он дышит воздухом на закате на часовой башенке форта в компании Бискара, и вдруг появляются они на горизонте. Сначала на вершинках дюн, потом заполоняют всю долину.

— Паломники Сант-Яго, — пренебрежительно комментирует Бискара. — И самые жалкие или самые несчастные, те, кто тащится за здоровьем, а сами одной ногой в могиле.

Действительно, пилигримы, вытянувшись длинною цепочкой, подходили все ближе, видны были бредущие гуськом слепцы со сцепленными вытянутыми руками, и кол-ченогие на костылях, и прокаженные, и гноеточивые, и изъязвленные, и чесоточные, скопище кривых, косых и убогих, в опорках и в обносках.

— Не хватало еще, чтобы они запросились к нам на ночь, — проговорил Бискара. — Наносить сюда грязь.— И велел прострелять троекратно из мушкета в воздух, чтобы дать понять, что эта крепостца — для них не харчевня.

Однако выстрелы почему-то возымели обратный результат. Издалека все появлялся и появлялся новый сброд; вся эта богомольщина обкладывала стены форта, и слышалось их нечленораздельное бормотанье.

— Черт побери, отгоняйте же их, — прокричал Бискара и велел бросать со стены хлеб, будто поясняя, что на этом благотворительность местного начальника кончается и чтобы большего не ожидали. Однако подлая ватага, разрастаясь на глазах, теснила свой авангард прямо на крепостную стену, топтала подаяние и глядела вверх на укрепление, будто ждала более лакомую добычу.

Теперь можно было разглядеть всех по отдельности: они не походили на пилигримов, обиженных богом, молящих небеса об исцелении. Нет сомнений, обеспокоенно пробормотал Бискара, что тут бандиты, подорожная вольница. По крайней мере, насколько удавалось разглядеть, потому что день вечерел, и логовина превращалась на глазах смотрящего в серо-неразборчивое копошенье крысьих теней.

«В ружье, в ружье!» — кричал Бискара, наконец понимая, что не о пилигримстве и

не о попрошайничестве идет дело, а о военном приступе. И велел стрелять прямо по шайке, по тем, кто лез на стену. Но это было как палить в свору гнуса: кто набегал сзади, подталкивал вперед стоявших перед насыпью, на тела упавших карабкались следующие, трупы использовали как подпорки, можно было видеть уже самых ближних у трещин старого укрепления, они вцеплялись в щели и амбразуры, сотрясали прутья решеток, совали обрубки конечностей в воздуховод. Тем временем новый отряд прохвостов штурмовал ворота, пытаясь вышибить их ударами плеч.

Бискара скомандовал забаррикадировать двери, но самые крепкие балки переплетов уже скрипели под натиском мерзейшей голи.

Гвардейцы палили из ружей, однако на место каждого застреленного катилась новая гурьба, теперь уже различалось только кишенье, откуда постепенно начали выметываться, подобно гибким ужам, концы веревок и захлестывали воздух, и постепенно сделалось понятно, что на концах у веревок железные крючья и что некоторые из крючьев уже зацеплены за зубцы. И стоило высунуться одному гвардейцу, чтоб отцепить клюку от кирпичей опояски, как вздыбился от низу целый лес дреколья, и вмиг его запетлили, зацепили баграми, замели и стащили в месиво остервенелого отребья, без всякой возможности даже распознать вопли несчастного от завывания душегубов.

Короче говоря, наблюдающему эту свалку с дюны почти не видно было бы замок, а только кипение мух на падали, рой пчел на колоде, снованье муравьев на куче.

Тем временем послышалось крушение ворот и суматоха во дворе. Бискара и гвардейцы кинулись к другому борту часовой башни и не занимались Феррантом, который спрятался за косяком дверей, откуда шла вниз лестница, не слишком-то напуганный, как будто понимал, что нападавшие в некоторой степени для него свои.

Эти «свои» уже оседлали зубцы ограды, не заботились о жизнях, косимых последними выстрелами мушкетов, не прикрывая грудей, перли на выставленные шпаги, приводя в ужас гвардейцев безобразными гримасами дикого лика. И потому гвардейцы Кардинала, не знавшие ни страха ни упрека, бросали оружие и молили небеса о милосердии пред лицом тех, кого считали исчадиями ада, а те сначала сшибали их наземь дубьем, а потом кидались на тела, в которых еще теплилась жизнь, и лупили, терзали, кромсали, загрызали, впивались зубами, врезались когтями, неистовствовали, давая выход зверству, глумились над останками, Феррант видел, как они вспарывали утробы, выхватывали неостывшие сердца и пожирали с урчанием, леденящим душу.

Последним из живых был Бискара, оборонявшийся как лев. Видя, что победа невозможна, он с парапетом за спиной черкнул окровавленною шпагой линию вокруг себя и выкрикнул: «Icy mourra Biscarat, seul de ceux qui sont avec luy!»[1]

Однако в тот самый миг кривой с деревянной ногою, вздымая секиру, показался из лестничного проема и пресек кровопролитие, велев, чтобы связали Бискара. Потом он увидал Ферранта, узнавши именно по маске, чье назначенье было — делать неузнаваемым. Приветствовав его оружным салютом от самого плеча, как будто прикоснувшись к полу перьями украшенной шляпы, он сообщил Ферранту: «Вы свободны».

Он вытащил из куртки письмо с печатью, которая была Ферранту знакома, и подал. Она писала, что Феррант должен довериться этому отряду, неприглядному, но благонадежному, и ждать ее в том месте, а она прибудет на рассвете.

Феррант, избавленный наконец от гадкой маски, первым делом вызволил из подземелия пиратов и заключил с ними пакт. Речь шла о приведении в порядок судна и об отплытии куда укажет он, и без вопросов. Вознаграждением будет казна, превосходящая размером монастырскую кашеварню. Сообразно своей привычке, Феррант не предполагал сдерживать слово. Как поравняется с нагоняемым Робертом, он собирался донести на свою команду в первом же порту, и чтобы всех повесили, а ему бы достался корабль и имущество.

Вшивая братва тоже его не интересовала. Их предводитель, видимо человек порядочный, сообщил, что за побоище плата получена. Босяки торопились восвояси, так что орава рассыпалась и побрела себе обратно в Париж, попрошайничая по дороге.

Не стоило трудов сесть на лодку, зачаленную в заливе, добраться до корабля и сбро-

---

[1] Здесь падет Бискара, единственный из тех, кто с ним вместе бился (*старофранц.*).

сить в море двух часовых. Бискара был закован в цепи в трюме в качестве заложника, который имел ценность. Феррант доставил себе удовольствие отдохнуть, а на рассвете снова поплыл на лодке к берегу, как раз подоспевши к карете, из которой вышла Лилея, еще более прекрасная, чем всегда, и с мальчишеской прической.

Роберт подумал, что жесточайшая для него пытка — воображать, как они сдержанно раскланяются друг с другом, не выдавая себя перед пиратской командой, которая должна посчитать новоприбывшее лицо благородным дворянином. Они поднимаются на борт, Феррант проверяет, готово ли к отправке, и по поднятии якоря спускается в каюту, заранее приготовленную пассажиру.

Та, что ожидает его, с очами, не просящими ни о чем кроме ласок, в многоструйном великолепии кудрей, теперь свободно распущенных и покрывающих плечи, готова к счастливому самопожертвованию. Кудри вьющиеся, бьющиеся, чьими кольцами я околдован и очарован, кудри жаркие и желанные, летящие и шутящие и с ума сводящие, — сходил с ума Роберт, на месте Ферранта...

Лица их сблизились, дабы собрать урожаи поцелуев от давешнего сева вздохов, и тут Роберт притиснулся мечтою к ее телесно-розовым губкам. Феррант целовал Лилею, а Роберт ощущал трепетанье и страсть при приближении устами к этому истинному кораллу. Однако миг — и он чувствовал, что она исчезает, ветреное дуновенье, и рассеивается теплота, которую, казалось, он впитывал в предыдущую секунду, и все замещалось холодным видением в зеркале, она в обьятиях чужого, на дально распростершемся ложе, на другом корабле.

Для защиты любовников он опустил ревнивый почти непрозрачный полог, и обнаженные тела стали фолиантами солнечной некромантии, сакральные их записи были внятны лишь для этих двух избранных, которые переведывали их друг другу, шепот в шепот, уста в уста.

Корабль несся прочь, летел быстро, Феррант овладевал, Лилея любила в Ферранте Роберта, чье сердце эти образы прожигали и воспламеняли, точно искры охапку сухостоя.

35. Утешение мореплавателей[1]

Феррант рассказывал Лилее, а она была расположена верить любой напраслине, слетавшей с возлюбленных уст, почти что подлинную повесть, только с разницей, что он выступал в роли Роберта, а Роберт в роли его. И убедил ее в необходимости употребить все ценности из ларца, захваченного из дома, чтоб отыскать узурпатора и отнять у него бумагу капитальной важности для судеб государства, которую обманно исторгли и, возвратив которую, можно было добиться помилования от Кардинала.

Бежав французских берегов, первый заход в гавань «Дафны Второй» состоялся в Амстердаме. Там Феррант, отъявленный двойной шпион, без труда нашел возможность разузнать о судне «Амариллида». Действуя на основании узнанного, через несколько дней он был уже в Лондоне и кого-то искал. Кому он доверился, это могло быть только существо его же отродья, готовое предать всех, ради кого обыкновенно предательствовало.

И вот Феррант, неся Лилеин бриллиант чистейшей воды, входит ночью в грязное логово существа неопределенного пола, где его встречает обитатель, бывший прежде евнухом у турок, безбородый и с крошечным ртом, чтоб ухмыльнуться, ему надо двигать носом. Камора, где его гнездо, ужасна. Всюду копоть от груды горящих в топке на медленном огне костей. В углу повешен за ноги мертвец, из его рта в латунную чашку высачивается крапивного цвета жижа.

Скопец признает в Ферранте преступного собрата. Он слышит вопрос, видит алмаз, предает хозяев. Он ведет Ферранта в соседний закут, где у него зельница, стоят глиняные жбаны, банки из стекла, олова, меди. Его снадобья помогают изменять свой истинный

---

[1] Произведение немецко-голландского химика Иоганна Рудольфа Глаубера (1604—1668) «Consolatio Navigatium».

облик и мегерам в погоне за юным видом, и плутам, стремящимся к неузнаваемости: у него есть косметики, смягчительные, корневища асфоделей, кора драконова куста, мыший чай, рогатая трава, заячий горох, петров крест и другие вещества, истончающие кожу, изготовленные из костного мозга козлят и отвара каприфолия. У него есть месиво для высветления волос из каменного дуба, ржи, шандры, селитры, квасцов и тысячелистника. Чтобы менять оттенок кожи, он предлагает кал коровы, медведя, кобылы, верблюда, ужа, кроля, кита, выпи, лани, кота и выдры; притирания для лица — стораксовое, лимонное, кедровое, вязовое, люпиновое, виковое, бобовое. Держит он и пузыри, переделывать блудниц на девственниц. Кому надо любовный приман, заготовлены гадючьи языки, перепелочьи головы, ятрофа, чилибуха и черная белена, барсучьи пазанки, камни с орлицына гнезда, сердца из сала, нашпигованные поломанными иглами, и иные предметы, сделанные из помета и свинца, отталкивающего внешнего вида.

На столе посередине, под салфеткою в пятнах крови, стояла миска, на которую евнух кивнул с заговорщическим видом. Феррант продолжал не понимать. Тогда кастрат объяснил ему, что он попал как раз к тому, кого ищет. Именно он в свое время изъязвил бок Бердовой собаке и теперь ежедневно в условленный час мочит купоросным раствором напитанную кровью тряпку, или подставляет ее к огню, и на «Амариллиду» посылаются сигналы для Берда.

Кастрат рассказал все, что знал об экспедиции Берда и о портах, куда тот намерен был заходить. Феррант, который на самом деле почти ничего не ведал о миссии определения долгот, не смог поверить, будто Мазарини заслал Роберта на корабль только ради того, что ему, Ферранту, казалось настолько нехитрым; он заподозрил, что Роберту было поручено выведать для кардинала местоположение Соломоновых островов.

Феррант рассчитывал, что «Tweede Daphne» поплывет быстрее «Амариллиды», верил в свое везенье, надеялся, что без труда нагонит Бердов корабль в одной заветной бухте, а экипаж будет в это время на суше, и удастся перерезать всех, включая Роберта, и попользоваться богатствами Острова, назвавшись первооткрывателем.

Евнух подсказал ему важный способ, как не сбиться с дороги. Достаточно раскромсать еще одну собаку, а уж он берется каждый день колдовать над порцией ее крови, и собака на корабле будет вертеться как ошпаренная, и у Ферранта будут в распоряжении такие же сигнальные оповещения, какие есть у Берда.

Отплываем сегодня, сказал Феррант. Когда скопец возразил, что не нашли собаку, «есть у меня одна уже на примете», ответил тот. Евнуха отвезли на корабль; уверились, что один из команды знает брадобрейное дело, кровопусканье и в этом роде. «Да я, капитан, — захлебывался тот, чудом ушедший от сотни виселиц и тысячи футов веревки, — как корсарствовали, больше понаотрезал ног и рук у ребят из команды, чем наделал царапин врагу!» Спустившись в трюм, Феррант велел привязать Бискара к двум перекрещенным балкам, потом собственной рукою глубоко взрезал ему бок. Бискара выл, а кастрат собирал его кровь на тряпку, тряпку вложил в мешок. Потом цирюльнику растолковали, как следовало поддерживать язву в разверстом виде всю продолжительность плаванья, чтобы раненый не испускал дух, но и отнюдь не лечился.

После этого нового злодейства Феррант отдал приказ подымать паруса и брать курс на Соломоновы.

Окончив эту главу своего романа, Роберт ощутил омерзение, усталость, изнеможение от гадостных описанных картин.

Он не желал продолжать думать об этом и мысленно взмолился к Натуре, дабы она, подобно матери, укладывающей дитя, покрывающей его благоснисходительным пологом и создающей малую ночь, — распростерла бы ночь над планетой. Он молил, чтобы ночь, удаляя все предметы от зренья, принудила его взор к отуманению; чтоб с темнотою пришла тишина; и чтоб точно так же, как по восхождении солнца львы, медведи и волки (им, как ворам и разбойникам, свет ненавистен) бегут упрятываться в гроты, где имеют себе убежище и укрому, так, чтоб, напротив, когда солнце убирается за кромку заката, угомонились бы мельтешение и сумятица дум. Чтобы, как умрет свет, обмерли бы внутри него и те духи, которые светом оживляются, и воцарились молчание и покой.

<...>

Многообразны и причудливы были земли, открываемые Робертом во сне. Однако

в грезах он сознавал, что любовникам нужно обособленное место, где бы они могли насладиться отрадной взаимностью.

И он привел свою пару на берег седьмого и ласкающего душу острова, где прелестная роща подбегала почти к самой кромке пляжа. Пройдя в глубину, они увидели королевский сад, где была центральная аллея посреди газонов и клумб и били фонтаны.

Но Роберт, поскольку двоица искала более задушевного уединения, а он — более яро́го терзанья, провел их под убранную цветами арку, за которой расстелилась ложбина, опушенная колышущимся озерным камышом, и воздух в ней сочился благоуханно-свеже, потому что нежное озеро искрилось неподалеку прозрачной, как пронизи жемчуга, струей.

Требовалось — и мнится, что при этой режиссуре были соблюдены все правила, — чтобы плотная листва дуба дала место любовникам раскинуться для трапезы, и Роберт обсадил место действия жизнерадостными платанами, земляничными деревьями, цепкими можжевельными кустами, хрупкими тамарисками и гибкими липами, и эта диадема обвила собою луг, создав узорчатый бордюр, как в арабском гобелене. Чем должна была заткать это зеленое поле природа, художница всего сущего? Фиалками и нарциссами.

Предоставив дуэту забыть обо всем на свете, а примятый ими мак все тщился приподнять головку от тяжелого наркотического сна и причаститься росистых воздыханий, Роберт поразмыслил и решил, что даже маков цвет, устыженный открывшимся зрелищем, запламенеет невероятным по силе стыдливости пурпуром. Точно как и сочинитель, Роберт. Поделом ему за все его фантазии.

<...>

Роберт пробудился, липкий от пота.

«Как же так, — спросил он себя. — Я поддался соблазну проживать жизнь сквозь Ферранта, а теперь мне приходится видеть, что на самом деле это я являюсь для Ферранта посредником, и пока я тут строю воздушные замки, он в реальности переживает то, что я даю ему возможность переживать!»

Дабы охладить негодование и посмотреть хоть на что-то такое, чего Ферранту уж точно невозможно было видеть, он снова спустился в воду моря в самые первые часы утра, с концом линя вокруг бедер и со Стеклянной Личиной, навязанной на голову, разглядывать мир кора́ллов.

36. Человек на кону[1]

Додрейфовав до волнолома, Роберт поплыл, опуская лицо к вековечным подводным логам, но не мог сосредоточиться на созерцании живых скал, поскольку некая Медуза его самого превратила в мертвый камень. Во сне Роберт успел-таки перехватить взоры, которые Лилея обращала к узурпатору. Если во время сна эти взгляды его воспламенили, ныне они оледеняли его память.

Желая снова вступить в обладанье Лилеей, он плыл, зарывая лицо глубоко в морскую воду, как будто это совокупление с морем способно было вернуть ему ту пальму первенства, которую во сне он уступил Ферранту. Не стоило больших усилий, при его-то привычке строить умственные концепты, ощутить Лилею в волнообразном ритме затопленного дола, увидеть ее губы в каждом морском цветке, в который ему хотелось впиться, ненасытимому, как пчела. Морская рябь казалась ему завесой, покрывавшей ее лицо в первый вечер, и он тянул руку, чтобы приподнять покрывало.

В самозабвении рассудка он огорчался, что очи не могут прядать, как хотелось бы сердцу, и выискивал среди кораллов мелкие принадлежности суженой: хоть пряжку, хоть сеточку для волос или подвеску, облагораживавшую мочку ее уха, а может, роскошные ожерелья, красившие лебединую шею.

---

[1] «L'Uomo al Punto» — произведение на тему о часе смерти, написанное итальянским литератором иезуитом Даниелло Бартоли (1608—1686), который считался лучшим стилистом века; в романе Эко много скрытых цитат из Бартоли.

Весь предаваясь охоте, он соблазнился бирюлькой, видневшейся в расщелине скалы, снял маску, выгорбил дугою спину, с силой плеснул ногами и ушел в толщу вод. Толчок, по-видимому, был слишком сильным, он инстинктивно попридержался за выступ склона, и за какие-то полмига до того, как пальцы его сомкнулись вокруг заскорузлого камня, ему помстилось, будто бы открылся в камне заплывший сонливый глаз. В это же мгновение он и вспомнил, как доктор Берд рассказывал о Камень-Рыбе, что примащивается на коралловых рифах, уготавливая для всего живого, что в окрестностях у нее, смертный яд колких плавников.

Слишком поздно! Ладонь уже соприкоснулась с отравой, и острейшая боль пронизала руку до плеча. Цепенея, напрягая все тело, чистым чудом он удержался и не въехал лицом и грудью в ершистое страшилище, однако чтоб остановить разгон, ему пришлось выставить вперед маску. От удара она раскололась, но в любом случае приходилось выпустить ее из рук. Он толкнулся ногами от скалистого выступа и достиг поверхности, в те же секунды провожая глазами Стеклянную Личину, опускавшуюся в пропасть, недостижную для него.

Правая кисть и рука вплоть до локтя опухли, плечо цепенело, подступала дурнота. Он стал выбирать линь и с великою натугой смог подтягивать его понемножку одной здоровой рукою. Всполз по трапику, почти как в первую ночь своего появленья, и, как в первую ночь, рухнул на палубные доски.

Но сейчас солнце стояло высоко. Зубы его плясали, и Роберт припоминал слышанное от Берда: после встречи с Камень-Рыбой большинству людей помочь невозможно, но кое-кто выживает, а противоядия этой одури нет. Невзирая на отуманенное зренье, он рассмотрел порез. Почти неразличимая царапина, но ее достаточно было, чтобы впустить в его жилы ядовитую пагубу. Он лишился чувств.

После обморока он понял, что у него горячка. Очень хотелось пить. Он сказал себе, что на этой оконечности корабля, весь во власти стихий, вдалеке от питья и питанья, он не выживет. Он сумел доползти на нижний ярус в переход между провиант-камерой и куриным загоном. Жадно припал к бочонку с водою, но, попив, почувствовал рвотный позыв. Опять упал в обморок в собственную блевоту.

В ходе ночи, во власти злодыхательных снов, он винил в своих страданиях Ферранта, который сделался неотличим от Камень-Рыбы. Почему он препятствует сближению Роберта с Островом и со Рдяной Голубицей? Почему ему надо преследовать его, Роберта?

Он видел самого себя, распластанного, глядящего на второго самого себя, тот сидел напротив этого, у камина, в домашней одежде, и пытался решить, были ли руки, которыми он касался себя, и тело, которое ощущал, для него своими. Он же, глядящий на того, чувствовал, что платье его огненное, хотя платье было надето на втором, а он сам был голым, непонятно было еще, кто из них грезит, а кто существует взаправду, и он подумал, что безусловно, эти два порождены во сне его разума. Он же сам — нет, потому что он думал, эрго существовал.

Второй же (но который?) в определенный момент поднялся, но, очевидно, злобный гений переиначивал видевшийся мир в сон, потому что он был уже не он, а фатер Каспар. «Возвратились!» — промычал Роберт, раскрывая ему объятье. Но тот и не пошевелился и не ответил. Только смотрел. Безусловно, это был фатер Каспар, но похоже, будто бы море, возвращая иезуита, вычистило его и омолодило. С подстриженной бородой, свежими щеками, розовый, как отец Иммануил, и на рясе больше ни махров, ни сальных пятен. Помолчав, бездвижный, как читающий монолог актер, с безукоризненным выговором оратора, угрюмо усмехнувшись, он произнес: «Бессмысленно тебе бороться. Теперь от целого мира остается только половина, и она ад».

И продолжал торжественно, как будто читал церковную проповедь: «Да, ад, о котором мало вам известно, тебе и всем, которые с тобою движутся убыстренным шагом и в безрассудности души! Вы полагали, будто ад вам готовит мечи, кинжалы, колеса, лезвия, горящую серу, расплавленный свинец, ледяную воду, котлы с решетками, секиры и дубье, и шила для глазных орбит, и клещи для лунок зубов, и когти для выдирания ребер, и цепи для дробленья костей, и что в аду грызущие звери, волокущие шипы, удушающее вервие, саранча, крестные муки, секиры и плахи? Не так! Все сие суть лютые муки, но такие, что уму человеков еще под силу вымыслить их, потому что вымыслили люди брон-

зовых быков, железные кресла и раскаленные иголки, чтобы загонять под ногти... Вы надеялись, что ад — риф кораллов, нашпигованный Камень-Рыбами. Нет, не таковы адовые муки, потому что рождаются не из нашего предельного понятия, но из запредельного понятия Бога, от Бога ярого и мстливого, принужденного возвеличивать неистовство, дабы показать, что как великую употребляет благостыню в грехоотпущении, такое же непомерное правосудие употребляет при каре! И муки адовые таковы должны быть, чтоб проявилась несоразмерность между нашим бессилием и Господним всемогуществом!»

«В этом мире, — продолжал глашатай покаяния, — вам привычливо, что на всякое зло обретается спасение, и что на всякую рану находится мазь, и на любой яд — притирка. Но не думайте, что такое же повторяется в аду. Там взаправду, это точно, несказанно болезненны раны, но не находится бальзама на эту боль; жгуча жажда, но нет освежающего питья; глад звериный, но нету брашна, чтобы глад утолился; и позор непереносим, но не существует полога, прикрыться от срама. Была бы там по крайней мере смерть, чтобы положить границу несчастиям, о смерть, о смерть... Наихуже, что там вы не можете питать надежду на снисхождение даже настолько чудовищное, как быть истреблены! Взалчете смерти от какого угодно способа, взыщете смерти и никогда к вам она не приидет. Смерть, Смерть, где же ты (вечно вы станете кричать), найдется ли щирый бес, ниспосылающий нам ее? И тогда вы убедитесь, что в аду никогда не прекращаются мученья!»

В этом месте старец сделал паузу, протянул руки к небу и зашептал, будто поверяя ужаснейшую тайну, не должную распространяться за стены. «Никогда не прекращаются мученья? Это значит — мучиться мы будем, покуда самый крошечный воробей, выпивая по капле в год, не осушит мировые океаны? И даже после того! In saecula! Во веки! Будем мучиться, пока малая кустовая тля, откусывая по разу в год, не обезлистит все леса на свете? И даже после того! In saecula! Значит, нам мучиться до того часа, когда муравей, ступая по шагу за год, не сумеет обойти всю землю? И даже после того! In saecula! А если весь существующий мир был бы только пустыней песка и в каждый век изымалось бы оттуда по одной крупинке, может быть, кончится терзанье, когда пустыня будет оголена? Нет, не кончится! In saecula! Загадаем себе, что если мучимый раз в миллион лет будет ронять из глаз две слезинки, надо ли ему терзаться даже после того, как из этих слез накопится великое потопие, большее даже, нежели то, что в древности погребло под собой целый человеческий род? Вот что, хватит вопросов, мы не ребята! Вы ждете, чтобы я вам повторил? In saecula, in saecula надлежит обреченным маяться, in saecula, а это значит, столько веков, что нет векам счисления, ни скончания, ни предела».

Теперь лицо у отца Каспара напоминало кармелита из имения Грив. Он возводил очи к небу, как будто ища там единственной надежды на сострадание. «Но Господь Бог, — вопросил он голосом кающегося, уповающего на жалость, — но Господь Бог не смилосердствуется ли, зря на толикие обиды? Не родится ли в нем сочувствие, и не выкажет ли он сопечалование, дабы мы хоть тем утешались, что делили кручину Богову? До чего же, ах, простодушны вы! Господь Бог, к прискорбию, предстанет вам, только вам невдогад, в каком виде! Вознесяся взорами горе, мы увидим, что Господь... продолжать ли?... мы увидим, что Господь, приняв против нас роль Неронову, не из пристрастия, а из суровости, не только не спешит утешить нас, утишить муки, но и с несообразным удовольствием восхохочет! Подумайте, в коликое уныние повергнет нас веселость Божия. Как, скажем мы, мы горим, а Бог смеется? Мы горим, а он смеется! Жесточайший ты Бог! Отчего не поражаешь нас грохотом молнии, а унижаешь хохотом? Удваивай лучше, безжалостный, пыточный жар у нас, но не веселись от этого! О, смех для нас горчее наших слезных рыданий! О, радость для нас отравнее скорбей! Почему в нашем аду нету прорвы, чтобы, в нее погрузившись, избегнуть зрелища этого Бога, который смеется? Ужасно мы были обмануты теми, кто предуказывал, будто карой суждено нам — глядеть на лик гневного Господа. Следовало иначе упреждать: смеющегося! Чтоб не видеть тот лик и не слышать тот смех, мы предпочтем, чтоб горы обрушились нам на темя или земля ускользнула из-под ног. Но и при этом, о печаль, будем видеть того, кто глумится, и сделаемся глухи и слепы ко всему, кроме того, к чему желали бы оглохнуть и ослепнуть!»

Роберта воротило от отрыжки и прогорклого курьего корма, вонявшего из щелей в палубе, а грай морских чаек, доносившийся с воздуха, он воспринимал как Божий смех.

«Но за что же в ад меня, — задал он вопрос, — и за что всех прочих? Разве не для того, чтобы в ад идти лишь немногим, искупил нас всех Христос?»

Фатер Каспар захохотал всем черевом, точно Бог окаянных: «Да когда ж это он искупил вас? Да на какой же планете и в каком универсуме думаешь ты, что живешь ныне?»

И он взял Роберта за руку, с силой сдернувши с настила, и потащил по меандрам «Дафны», в то время как больному, мнилось, выворачивало кишечник, а под черепом дребезжали тысячи маятников. Часы, говорил он себе, часы, время, гибель...

Каспар доволок его до закуточка, о существовании которого Роберт не знал. Беленые стены, посередине закрытый катафалк с круглым окном в одной из боковин. Перед этим круглым оком, по рифленому рельсу, двигалась деревянная планка, пронизанная одинаковыми круглыми очками со вставными мутноватыми стеклянными пластинками. Передвигая рейку, можно было совмещать стеклянные вделанные оконца с отверстием короба. Роберту вспомнилось, что он уже в Провансе осматривал экземпляр подобного этому устройства, о котором объяснялось, что оно способно оживлять свет, основываясь на действии тени.

Каспар подвинул и разнял один бок короба, вдвигая туда на треножнике большую лампу, которая на стороне, противоположенной носку, имела вместо рукояти закругленное зеркало особого выгиба. Когда зажгли фитиль, зеркало стало метать сияющие лучи вовнутрь трубки, короткой подзорной трубы, конечной линзой которой являлось вделанное в ребро короба окно. Из этой машины, стоило Каспару закрыть свой короб, лучи пронизывали стеклышко в планке, затем расширялись веером и высвечивали на стене разноцветные картины, и Роберту показались они оживленными, до такой степени все было ярко и подробно.

Первая картина показывала человека, лицо его было демонское, он был прикован к скале в океане и побиваем волнами. От этого виденья Роберт никак не мог отвести взгляда, и оно будто слилось с другими образами, которые возбуждал к жизни Каспар, двигая линейку перед окном, и движение было настолько живо — сон внутри сновиденья, — что он не мог отграничить того, что ему рассказывали, от того, что видел.

К той скале приближался корабль, можно было опознать «Tweede Daphne»; с корабля сошел Феррант, который теперь вызволял заключенного. Все было понятно. В ходе плавания Феррант обнаружил прикованного — соответственно распространенной легенде — посреди океана Иуду, в наказание за его злодейство.

— Благодарю, — обратился Иуда к Ферранту. Но до Роберта его слова излетали как будто из уст отца Каспара. — С тех пор как я тут утесняем, с девяти часов сегодняшнего утра, я все надеюсь, что смогу исправить содеянное мною... Я благодарен, брат...

— Ты здесь только день, даже меньше дня? — переспросил Феррант. — Но ведь твое греходеяние совершилось в тридцать третий год по рождении Спасителя, а следовательно, тысячу шестьсот десять лет тому...

— О наивный человек, — отвечал Иуда. — Разумеется, тысяча шестьсот десять лет вашего людского времени прошло с тех пор, как меня посадили на эту скалу. Но не исполнилось еще и не исполнится никогда даже одного дня по моему исчислению. Ты не ведаешь, что, вплыв в море, окружающее этот мой остров, ты попал в другой универсум, который живет рядом с вашим и внутри него, и тут у нас Солнце, обращаясь вокруг Земли, уподоблено желвецу, который каждый шаг проползает медленнее, чем предыдущий. Так, уподобляясь черепахе, в этом моем мире первый мой день соответствовал двум дням вашим, потом стал равняться трем, потом все более долгому сроку, каждый раз более долгому, и так до нынешнего времени; имея тысячу шестьсот десять ваших лет, я внутри своего дня все еще на девятом вечернем часу. Вскоре время мое потечет еще медлительнее, я буду вечно проживать девятый час тридцать третьего года по счислению от Вифлеемского сочельника...

— Но почему? — спрашивал Феррант.

— Да потому что Господь захотел сделать так, чтоб мое наказание состояло в вечном переживании Страстной пятницы, ежедневно и ежечасно существуя в час страсти человека, которого предал я. В первый день моей кары, между тем как для других бли-

зился закат, а потом сошла ночь, а потом занялся рассвет Святой субботы, в моем мире миновал только атом атома мига девятого часа той приснопамятной пятницы. Затем, замедлился еще и еще бег Солнца, и для вас Христос воскрес, а я остался вдалеке от воскресенья. Ныне для вас пролетели столетия и столетия, а я отошел на какую-то кроху от первой минуты...

— Но ведь это твое Солнце продвигается тоже, и наступит время, может, через десять тысяч или более лет, для тебя начнется суббота...

— Да, и тогда будет хуже. Я покину чистилище и попаду прямо в ад. Не остановится страдание из-за той смерти, которая вызвана мной, но я утрачу возможность, какую имею сейчас, сделать так, чтоб случившееся не случилось.

— Но как ты можешь сделать...

— Ты не знаешь, что недалеко от нашего места пролегает антиподный меридиан. За той линией и в моем и в твоем универсуме — накануный день. Если я, ныне освобожденный, мог бы переступить эту линию, я бы оказался в Страстном четверге, потому что наголовник, который у меня накинут, повелевает моему Солнцу сопровождать меня подобно тени, и где бы я ни оказывался, там время исчисляется в соответствии со мной. Я мог бы успеть и в Иерусалим, путешествуя в этом длиннейшем четверге, и прибыть туда скорее, чем совершится мое душепродавство. И отвратить от Учителя его участь.

— Но, — перебил его Феррант, — если ты предвосхитишь Страсти Господни, не совершится Искупление, и мир останется поныне во власти первородного греха.

— Ну вот, — прокричал, рыдая, Иуда. — А я думал только о себе! Но как же тогда мне быть? Оставлю свои деяния в том виде, в каком содеял, и буду проклят. Предупрежу свою ошибку и воспрепятствую промыслу Господню, и обрету проклятие. Что же, где-то было с самого начала прописано, будто я обречен на обречение?

Шествие образов угасло с плачущим Иудой: выгорело масло в фонаре. Опять говорил отец Каспар, но голос его был для Роберта неузнаваем. Слабый свет, проходящий через щель в стене, освещал только половину лица говорящего, переиначивая форму его носа и странно разделяя бороду: одна ее сторона казалась седой, а другая темной. Глаза настолько запали, что даже глаз, остававшийся на свету, казался затененным. Только сейчас Роберт различил на нем черную нашлепку.

— И вот тогда-то, — продолжал возглашать говоривший, и он несомненно представлял собою аббата де Морфи, — твой брат сумел изобрести шедевр своего Гения. И он проделал путь, намеченный Иудой, воспрепятствовал совершению Господних Страстей и не дозволил искупления грехов. Никто на свете не искупится! Все будем жертвами единого первородного греха, все обречены проклятью! Твой брат пребудет грешником, но не в большей степени, чем остальные люди, что вполне извинимо!

— Но возможно ли такое и свершилось ли? — спрашивал Роберт.

— О, — с издевкой ухмыльнулся аббат, — свершилось, и очень запросто. Вполне возможно обмануть Державца: не все извращения истины он постигает. Достаточно было умертвить Иуду, что я тогда же и совершил на морском утесе, облекся в его наголовник, отправил судно вперед себя к противоположному берегу Острова, а сам прибыл сюда к тебе в обманном подобии и не допустил тебя как следует обучиться плаванию, чтобы ты не мог последовать за мной туда, куда я вознамерился, и я использовал твою подмогу для создания подводного колокола, чтоб я смог добраться до Острова.— Говоря все это, чтобы показать наголовник, он совлек с себя широкое платье и оказался в наряде пирата, а потом столь же медленно отнял от лица бороду, стащил накладной парик, и Роберту померещилось, будто он перед зеркалом.

— Феррант! — закричал Роберт.

— Именно я, братец! Я, пока ты бултыхался то как кобель, то как жаба, у противоположного берега Острова снова взял под командование свой корабль, и проплыл на нем весь мой бесконечный Святой четверг до Иерусалима, и нашел там четвергового Иуду, готовящегося предать, и повесил его на осине, и не дал передать Сына Человечьего Стражникам Тьмы, я пробрался в Гефсиманский сад с моими наемниками и похитил Нашего Господа, уберегши его от распятия! И теперь ты, я, мы все проживаем в мире, который не был искуплен!

— А Христос, похищенный Христос, где он?

— Ты, видимо, не знаешь, что в самых древних текстах Писания говорится, что бывают Рдяноцветные Голубицы, потому что Спаситель, перед тем как взойти на крест, облачился в тунику цвета алого? Тысячу и шестьсот и десять лет Христос в заключении здесь, на Острове, и отсюда стремится бежать в обличии Голубицы цвета пламени, но он не в силах расстаться с этим местом, потому что около Мальтийской Установки я оставил Иудин наголовник, и, значит, там постоянно длится один и тот же самый день. Сейчас для меня единственное — уничтожить тебя, а затем жить счастливому во Вселенной, откуда удалено раскаяние, где ад обеспечен всем, и там в аду, когда наступит мой час, меня восприветствуют, как нового Люцифера! — И он хохотнул, подступая ближе к Роберту, чтоб совершить последнее из злодейств.

— Нет, — крикнул Роберт. — Я тебе это не позволю! Я убью тебя и возвращу Христу свободу. Я еще не забыл шпажной науки, а тебя мой отец не учил потаенным приемам!

— У меня не было отца и ни матери, я порожден твоим закоснелым домыслом, — отвечал на это Феррант с грустной улыбкой. — Ты учил меня только ненавидеть. Думаешь, ты меня сильно осчастливил, дав мне жизнь лишь ради того, чтобы я в твоей Романной Стране олицетворил Подозрение? Покуда ты живешь и думаешь обо мне то, что и я вынужден о себе думать, я не могу не презирать себя. Следовательно, ты меня убьешь или я тебя, исход одинаков. Выйдем.

— Прошу о прощении, брат, — прокричал Роберт, рыдая. — Да, выйдем, кто-то из нас должен перестать жить!

Чего хотелось Роберту? Умереть? Вызволить Ферранта, предав Ферранта смерти? Мы никогда не узнаем, потому что этого не знал и он сам. Но во снах такое случается.

Они поднялись на палубу, Роберт стал искать свое оружие и нашел шпагу переломанной (в памятных обстоятельствах) посередине. Но он воскликнул, что Господь ниспошлет ему силу в битве и что добрый фехтовальщик должен уметь сражаться и со сломанным клинком.

Братья встали друг против друга впервые в жизни, чтобы решить исход последнего из их несогласий.

Небо стояло при братоубийстве, как секундант. Розовая туча внезапно растянула от корабля до воздушной тверди алые нити, как будто кто-то перерезал горловые вены скакунам солнца. Природа разрешилась великим торжеством громов и молний с дождепролитием, и небо и море ошеломляли слух дуэлянтов, затуманивали им зренье, лупили мерзлой водой по рукам.

Те же двое увертывались от зарниц, разивших повсюду, и сыпались уколы, и разворачивались фланконады, и совершались ретирады, и канаты использовались для спасенья, чтобы, взвиваясь в лет, убежать от жала шпаги; воздух полнился обидами, каждый удар сопровождался оскорблением, и наскоки мешались с толчками и с воем ненастья, охватившего их.

На скользкой палубной настилке Роберт сражался, чтоб Спаситель мог быть распят, и просил в том помощи у Бога; а Феррант за то, чтобы Спасителю не казниться, и на то звал по именам всех дьяволов ада.

Как воззвал он к Астароту, в этот миг Вредитель (выступавший Вредителем и для Божественного Провидения) неосознанно подставился для Удара Баклана. А может быть, он сознательно сделал это, дабы прекратить бесконечный и безначальный сон.

Роберт сделал вид, будто падает, и тот набросился на него, чтоб прикончить, и тут, опершись на левый локоть, Роберт подставил свои полклинка ему под сердце. Не вышло вывернуться легким пируэтом, как это делал Сен-Савен, но Феррантом в свою очередь был набран чересчур сильный разгон, и он не избежал крушенья, и сел всем туловом на шпагу, и сам пропорол себе грудину обрубленным клинком врага. Роберта захлестнула лавина крови, которую противник, испуская дух, излил изо рта.

Роберт ощущал во рту привкус крови, наверное в припадке бреда куснул себя за язык. Теперь он плыл в этой крови, плыл в пурпурной струе, тянувшейся от корабля на Остров. Он не хотел поддаваться тяге, опасаясь Камень-Рыбы, но миссия его не была кончена, и Христос ждал его на Острове, чтобы смочь пролить кровь за людей, и Роберт оставался Его единственным мессией.

Что он делал теперь в своем сне? Палашом Ферранта нарезал паруса на длинные ленты, которые увязывал за концы, укрепляя линями. Другими канатами он опутал самых крепких журавлей, аистов и цапель, которые сидели в клетках нижней палубы, и приделал к лапам этих гонных птиц свой ковер-самолет.

Воссев на воздушный настил, он поднялся на воздух, правя путь к приобретшей доступность суше. У подножия Мальтийской Установки он нашел наголовник и уничтожил. Вернувши времени нормальное пространство, он смог наблюдать сошествие Голубицы, которую наконец лицезрел, восхищаясь, в полнейшей Ее славе. Но было естественно — более того, сверхъестественно — что она низошла не в апельсиновом, а в белейшем обличье. И это не могла быть голубка (потому что этой птице не дозволяется олицетворять второе лицо Троицы), а, наверное, Божественный Пеликан, который воплощает Господня Сына; Роберт не четко видел, какая же птица впряглась, будто вещий кормчий, в летучую упряжку крылатого корабля.

Он видел только, что летит все выше и выше, и образы чередовались перед ним по желанию причудливых видений. Поочередно он причащался неисчислимых и нескончаемых миров, со всех планет и со всех звезд, ради того, чтобы в каждом таком мире, почти в один и тот же миг, свершалось грехоискупление.

Первая из планет на их пути была непорочная Луна, во власти ночи, освещавшейся сиянием дня Земли. А Земля была видима вдалеке, на линии небоската: огромная, навислая гора кукурузной поленты, почти над головой Роберта варимой и варящейся, валящейся выспрь, с воркотанием взрывающейся, ворошимой, ворчащей в лихоманке, в корче, в желтухе, в тряско-бледной лихорадке, пробуровленной буграми бурно-бурых пузырей, бормочущей, бурлящей и бурунами бурчащей... Лихорадочный жар преображает заболевшего в кукурузную бурду, и любой блик в глазах отдается, будто бур пробирается в череп, превращающийся в бурдюк...

Он на Луне и с Голубкой.

Согласимся, что не стоит искать связности и правдоподобия в том, что рассказывалось выше, поскольку речь идет о кошмаре отравившегося ядом Камня-Рыбы. Но то, что я намерен изложить далее, превосходит любые наши ожидания. Мысль или душа Роберта, в любом случае его vis imaginativa[1], посягнули на святотатственную метаморфозу. На Луне он увидел себя в обществе Голубки, но она была не Владыкою небесным, а Владычицей его дум. Это была Лилея, наконец отбитая у Ферранта. Подле морей Селены Роберт вступал во владение тем же, что было отобрано у него братом подле озер фонтанного острова. Он лобзал ее лик своими очами, он созерцал устами, впивался, вкушал и впитывал, и играли в прятки друг с другом влюбленные языки...

Только тогда Роберт (лихорадка, по-видимому, слабела) наконец-то опамятовался, но остался в очаровании пережитого, как бывает после сна, который, отойдя, оставляет затронутым не только дух, но и самое тело.

Он плакал, но из-за чего? От счастья снова обретенной любви? Или от жалости, что перекроил, при поборничестве лихорадки, для которой не писаны жанровые законы, Священную Мистерию в скабрезный фарс?

Этот миг, сказал он, мне действительно будет стоить ада. Ибо я, конечно же, не лучше Иуды или Ферранта. Более того, я и есть Феррант, до сих пор я использовал его, беззарочного, дабы делать такое, до чего сам не допускал себя по причине трусости.

Может, меня и не призовут к ответу за эту грешность, потому что грешил не я, а Камень-Рыба, которая заставляла меня блудить на свой лад. Однако если я достиг подобной безотчетности, это сигнал, что и взаправду близится моя кончина. Надо было мне повстречаться с Камнем, чтобы отважиться возмыслить себе смерть. А ведь этот помысел обязан быть первейшим долгом хорошего христианина.

Почему же я никогда не помышлял о смерти и о гневе хохочущего Господа? Потому что следовал поучениям моих философов, согласно которым смерть составляет на-

---

[1] Сила воображения (*лат.*).

туральную необходимость, а Бог есть тот, кто к беспорядку атомов применил Закон, располагающий их в гармонии мирозданья. Мог ли подобный Бог, учитель геометрии, спроектировать беспорядок Преисподни, хоть бы и в целях возмездия, и мог ли он смеяться над подобной перетряской всех на свете потрясений?

Нет, Господь не смеется, говорил себе Роберт. Но он сдается пред лицом Закона, который сам Он постановил. Этот Закон взыскует, чтобы порядок нашего тела был нарушен, как несомненно разрушается уже и сейчас мое тело посреди всей этой прорухи. Говоря, Роберт видел червей у рта. Эти черви выходили не из кошмара, а из щелей между досками, где самопроизвольно возникали на куриных пакостях, будучи порождением их экскрементов.

Роберт приветствовал приход этих возвестников распада, сознавая, что растекание в бесформенной материи следует воспринять как скончание мук, как соответствие с расположением Природы и с волей Небес, управляющих ею.

Надо немного подождать, бормотал он как на молитве. Через совсем немного дней мое тело, пока еще хорошо сбитое, претерпит изменения в расцветке и сделается брюзглым, как чечевица, потом почернеет от головы и до ног и выделит подспудную теплоту. После этого тело опухнет, и по его пухлоте пойдет гнойная плесень. Вскоре после того живот растрескается, и вывалится брение, и в жиже станут колыхаться, может, глазное яблоко с червобоем, а может, полгубы. По этой слякоти полезут многие семейства малой мошкары и мелких тварей, которые пойдут клубиться по моей крови и переваривать меня, кроху за крохой. Какая-то часть их выползет из груди, другая вытечет со слизью из носа; прочие, обмазанные прелью, обживут мой рот, вползая и выползая, а самые сытые закопошатся в горле... Пока все это будет, «Дафну» обживут пернатые, и занесенная ими с Острова зелень даст начало былью, и из моего перегноя корни злаков возьмут корм. Наконец, когда от моего телесного единства останется голый скелет, за месяцы и годы — а может, тысячелетия — этот каркас распылится на атомы, по которым станут ступать живущие, не задумываясь, что весь земноводный шар с морями, с пустынями, с лесами и долами не что иное, как населенное ими кладбище.

Ничто так не споспешествует здоровью, как Опыт Благого Умирания, в котором через смирение обретается легкость. Так говорил ему когда-то кармелит, и это было правдой, потому что к Роберту возвратились голод и жажда. Он был слабее, чем когда грезил, будто фехтует на юте, но не так слаб, как когда простирался около куриц. У него хватило силы выпить яйцо. Жидкость, стекавшая по горлу, имела прекрасный вкус. И еще вкуснее показалось ему молоко ореха, который он вскрыл в кладовке. По окончании медитаций о своем мертвом теле сейчас он умерщвлял ради потребы этого тела, чтобы его оздоровить, тела, исполненные здоровья, ежеденно получающие от Природы жизнь.

Так вот почему, за вычетом некоторых фраз учителя-кармелита, никто в имении Грив не подводил его к мыслям о смерти. В часы семейных бесед, почти всегда совпадавших с ужином и обедом (в перерывах — одинокие скитания Роберта по закоулкам старинного дома, где он часами медлил в тенистых полуподвалах, вдыхая аромат яблок, оставленных дозревать на полу), говорилось только об урожае дынь, о жатве хлебов и об ожидаемом сборе винограда.

Роберт припоминал, как мать его поучала жить счастливо и благоденно изобильными плодами Гривского домохозяйства: «И нехудо, ежели ты не будешь забывать запасаться засоленным бычачьим мясом, а также овечьим и бараньим, телячьим и свиным, потому что запас сохраняется долго и пригожается всегда. Режь мякоть умеренно большими кусками, клади на поднос и засыпай густо солью и держи так неделю. Потом вешай на балки на кухне около печи, и пусть коптятся себе в дыму, и делать это надо, когда прохладно, ведрено и дует ветер, и после ноябрьского Мартына, и заготовки сберегутся, сколько пожелаешь. В сентябре же заготавливают птицу и бьют ягней на целую зиму, а также каплунов, старых куриц, уток, готовят гусиные полотки. Не пренебрегай даже ослом, если осел ломает ногу, вели выделать из ливера круглые колбаски, которые потом пусть надрежут и жарят, и это самая господская пища. Пусть к Великой Четыредесятнице будут припасены и грибы, и суповые наборы, и изюм, и яблоки, и все, что Господь позволяет; на тот же срок, на Великий Пост, надобно иметь разные корни и клубни и такие

травы, которые обваливать в муке и жарить на растительном масле, и выходит вкуснее миноги. Тогда же делают пресные пирожки и в них кладется постная начинка. На тесто отпускай оливковое масло, муку, розовую воду, шафран и сахар, потом подливают немного мальвазии, вырезывают кружочки, как оконные стекла, а на начинку идет тертая булка, отварные яблоки, гвоздичный цвет и толченый орех, потом подсаливают и суют в печь, чтобы подрумянилось. Вкуснее, чем у архиерея в доме. Когда минует Пасха, будет время молочных козлят, спаржи, голубей... Потом начинают делать творог и мягкий сыр. Но не забывай и горох с фасолью, они хороши как в вареном виде, так и в жареном, и запеченные в тесто, это превосходные и полезные блюда. Так что, любезный сын, надеюсь, ты проживешь, как живали деды, миловзорно и без хлопот...»

Вот так-то, в имении Грив не было в заводе разговоров о смерти, о суде, загробной муке и рае с адом. Со смертью Роберт повстречался в Казале, а в Провансе и в Париже он приучился рассуждать о смерти то для благочинной беседы, то для разнузданного спора.

Я обязательно умру, говорил он себе ныне, если не от Камня-Рыбы, то через некоторое время, поелику понятно, что с этого судна мне никуда не деться, тем более теперь, когда я утратил — вместе с Визирной Личиной — всякую возможность безопасного подплыва к коралловому рифу. И чем я обольщал себя? Я все равно бы умер, пускай и несколько позднее, даже если бы не угодил на этот обломок. Я вступил в бытие, и мне сказали, что законом предписывается раньше или позже ретироваться. Как говорил Сен-Савен, мы разыгрываем собственные роли, у некоторых роль длиннее, у некоторых короче, и сходим со сцены. Многие, я видел, играли и уходили, многие увидят, как я сыграю и уйду, и сами составят подобное же зрелище для своих преемников.

С другой стороны, как же долго до меня меня не было, и как долго не будет снова! Я занимаю столь невеликое пространство в протяжении времян. Предоставленному промежутку не под силу разграничить меня — и то ничто, в которое мне предстоит вернуться. Я был в мире только для добавления единички к огромному числу. Моя роль была настолько маленькой, что, если бы я не выступил из-за кулис, все сказали бы все равно, что пьеса была превосходна. Это как попадание в шторм. Одни тонут сразу, другие крушатся о скалы, третьи плывут на обломках, но суждено погибать и им. Жизнь затухает сама, по образу свечки, вещество которой сократилось. И следовало бы с этим свыкнуться живя, потому что, как и свеча, мы начинаем утрачивать атомы с того самого первого мига, когда нас затеплили.

Невеликая мудрость знать подобные вещи, говорил себе Роберт, не спорю. Их следует знать начиная с минуты, когда мы родимся. Однако обычно мы обдумываем исключительно смерть чужую. О да, все мы наделены достаточной силой, чтоб выдержать чужое несчастье. Потом наступает момент задуматься о смерти, когда несчастье становится нашим, и тогда мы понимаем, что ни на солнце, ни на смерть невозможно смотреть прямо. Если только в твоей жизни не было правильного учителя.

У меня они были. Кто-то мне говорил, что на самом деле мало кто видит смерть. В большинстве случаев ее принимают по глупости или по обычаю, но не с решительностью. Умирают из-за того, что поделать нечего. Только философы умеют понимать смерть как долг, встречать ее охотно и без боязни: пока мы существуем, смерти еще нет, а когда она придет, мы уже существовать не будем. Зачем иначе я столько часов проговорил на философские темы, если теперь я не способен сделать из собственной смерти достойный венец моей жизни?

Силы возвращались к нему. Он благодарил мать, ее память побудила его отбросить мысли о развязке. И не могла подействовать иначе она, даровавшая ему начало.

Роберт задумался о своем рождении. Он знал о нем еще менее, чем о смерти. Он сказал себе, что думать о зачатках имманентно для философа. Философ без труда оправдывает смерть: что предстоит вверзиться в темноту, это одна из самых ясных вещей на свете. Что гораздо сильнее томит философа, это не естественность конца, а загадочность начала. Мы можем пренебрегать той вечностью, что идет за нами, но как нам уйти от томительной проблемы вечности, предварившей наш приход. Вечность материи она или вечность Бога?

Вот для чего он был заброшен на эту «Дафну», втолковывал себе Роберт. Потому что только тут, в отдохновенном отшельничестве, он возымеет достаточно досуга, дабы размыслить о единственной проблеме, которая освобождает нас от страха небытия, преисполняя изумления перед фактом бытия.

38. О природе и местоположении ада[1]

Исполненный нового энтузиазма, Роберт решил перелицевать последнюю главу своего Романа.

Он не знал, что часто, особенно когда авторы вознамериваются умереть, Романы принимаются писать себя сами и идут своей дорогой, куда они хотят.

Роберт решил рассказать, как, скитаясь с острова на остров и ища в большей степени забавы для себя, нежели верного маршрута, Феррант, неспособный применять для пользы те сигналы, которые евнух посылал через раненого Бискара, наконец потерял всякое представление о том, где находился.

Корабль тем не менее плыл, и небогатые запасы провизии попортились, вода загнила. Чтобы команда не заподозрила, Феррант велел каждому по очереди спускаться только один раз в день в место возле провиант-камеры и там чтобы выдавали в потемках порцию, достаточную для жизни, и чтоб никто не подсматривал, что там есть.

Только Лилея ни о чем не догадывалась, спокойно переносила утеснения и, казалось, готова была жить каплей воды и одним сухарем в день, жаждая лишь, чтобы ее желанный преуспел в замышленном походе. Что до Ферранта, он, будучи бесчувствен к той любви и ощущая только похоть, которую та любовь удовлетворяла, продолжал подстрекать своих матросов, ослепляя их жадность призрачными прообразами богатства. Вот так слепец, ослепленный обидой, гнал вперед других слепцов, отуманенных алчбою, томя в плену своих тенет незрячую красу.

У многих членов экипажа, однако, от великой жажды пухли десны и в них утопали зубы. Ноги нарывали и сочились мертвым салом, воспаление поднималось до детородных мест.

По всему сказанному, примерно у двадцать пятого градуса южной широты на корабле вспыхнул бунт. Феррант усмирил его с помощью пяти верных из команды корсаров (Андрапода, Борида, Ордония, Сафара и Аспранда) и изменников с небольшим запасом еды спустили за борт в шлюпке. Но «Tweede Daphne» осталась без средства спасения. Какая разница, говорил Феррант, очень скоро мы пристанем к месту, куда нас влечет угожденье богу злата. Но у него не хватало людей для управления судном.

Да они и не желали работать; выручив командира, теперь они притязали быть с ним на равной ноге. Один из пятерых выследил таинственного незнакомца, который очень редко подымался на палубу, и обнаружил, что это женщина. Тогда головорезы приступили к Ферранту, требуя отдать пассажирку. Феррант, Адонис обличьем, но Вулкан душою, больше ценил Плутона, нежели Венеру, и Лилеино счастье, что она не слыхала, как он шепотом обещал бунтовщикам удовлетворить их запрос.

Роберт обязан был помешать Ферранту исполнить последнюю гнусность. И он устроил так, чтобы Нептуну неугодно показалось вторжение в его округу без страха пред его, Нептуновым, гневом. Или, избегая описывать событие в столь языческих, хотя и живописно-концептуальных, тонах: Роберт посчитал невероятным, чтобы (так как Романы должны содержать моральный урок) Небеса оставили без возмездия это поместилище мерзот. И ликовал, воображая, как Ноты, Аквилоны и Австры, неутомимые неприятели океанической тиши, хотя до тех пор предоставляли миролюбивым Зефирам заботу о той тропе, по коей продвигалась «Tweede Daphne», в глубинах своих подводных местожительств уже выказывали знаки досады.

Он спустил их со сворки всех зараз. Скрипу снастей вторили стоны моряков, море

---

[1] «Enquiry on the Nature and Place of Hell» — название произведения английского теолога Суиндена (XVII в.).

лило блевотину на них, а они в море, некоторые волны обертывали их саваном, и казалось, будто закатывают их в ледяной саркофаг, а около гробницы молнии стояли неподвижными погребальными свечами.

Буря сперва наталкивала тучи на тучи, воды на воды, ветры на ветры. Но очень скоро море вышло из предписанных ему берегов и стало расти, набухая, кверху, к небу, низвергался губительный дождь, вода перемешивалась с воздухом, птица оказывалась на плаву, рыба в полете. Это была уже не битва природы с мореходством, а сражение стихий между собой. Не оставалось такого атома в воздухе, который бы не превратился в градобитье. Нептун вздымался, чтоб затушить молнии в руках у Юпитера, дабы отбить у него охоту жечь человеческий род, который Нептуну хотелось потопить. Море выкапывало могилу в собственном лоне, дабы похитить тела у суши, и, видя, как судно без руля и ветрил несется на утес, внезапной оплеухой отметывало его в противоположный край.

Корабль закапывался то кормой, то носом, и каждый раз летел, казалось, с верха колокольни. Корма уходила в море вместе с балконом, а что до носа, водой покрывался и бушприт. Андрапод, пробуя вытравить парус, был смыт со шкаторины и, уносимый в море, захлестнул веревкой Борида, цеплявшегося за какой-то леер, и тому оторвало голову. Корабль отказался подчиняться кормчему Ордонию. Сильным ветром снесло грот-стеньгу. Сафар стал убирать паруса, понукаемый Феррантом, изрыгавшим богохульства, но не успел он поставить первый гик, как корабль сам пошел на траверс и получил прямо в борт три волны такой страшной силы, что Сафара выкинуло за противоположный ширстрек прямо в пучину. Затем сломалась и упала в океан грот-мачта, развалив палубу и пробив череп Аспранду. И наконец, был разнесен в мелкую щепу руль, а также простился с жизнью Ордоний, неудачливый рулевой этой команды. Теперь беспомощное дерево, без экипажа, покидалось последними крысами, выпрыгивающими за борт, в ту воду, от которой они рассчитывали спастись.

Представляется невозможным, чтобы Феррант в таком тарараме стал думать о Лилее, поскольку от него мы ждем только заботы о собственной особе. Не знаю, сознательно ли Роберт захотел нарушить законы правдоподобия, но чтобы подать спасение той, которой он препоручил свое сердце, он позволил иметь сердце даже и Ферранту, хотя бы на несколько минут.

Итак, Феррант выволакивает Лилею на мостик, и что он делает? Опыт подсказывал Роберту, что он должен привязать ее к доске и пустить на волю моря и надеяться, что даже неистовство пучин смилосердуется над подобной красотой.

После того и Феррант ухватывается за кусок древесины и накручивает на него шкот, чтобы обвить вокруг себя. Но в этот миг на мостик, Бог весть как освободившийся от своей голгофы, со все еще скованными руками, более мертвый, нежели живой, на вид, но с очами, ободряемыми ненавистью, выкарабкивается Бискара.

Бискара, который весь их путь промаялся, точно пес на «Амариллиде», в пытке на своей дыбе, каждый день ему бередили рану, которую потом чуть-чуть лечили. Бискара, который день за днем лелеял единственную надежду: выместить все на Ферранте.

Deus ex machina, Бискара неожиданно выныривает за Феррантом, уже поставившим ногу на транец, воздымает руки и опускает, используя оковы как удавку, руки на плечи Ферранта, и охватывает ему цепью горло с воплем: «Пропадай, пропадай в аду со мною!», — видно, и почти слышно, как ломаются позвонки шеи, лезет язык из богохульных уст, и на них останавливается проклятье. А потом тело казненного своим весом стягивает повисшего на плечах, как мантия, карателя, еще живого, и тот победоносно встречает воинственные волны, он, получивший наконец в сердце мир.

Роберт представить себе не мог, что должна была чувствовать Лилея при виде этого, и понадеялся, что она не видела ничего. Поскольку он не помнил, что происходило с ним с минуты, как его закруговертило в воронку, ему не удавалось придумать и что должно было происходить с ней.

По существу, он так увлекся организацией законного наказания Ферранта на том свете, что предпочел следить за его загробным уделом и пока что оставить Лилею в бурлении шторма.

Безжизненный труп Ферранта был выброшен на пустынный брег. Море стояло спокойно, как вода в стакане, на берегу не виделось никакого прибоя. Все было подернуто легкою дымкой, как бывает, когда солнце уже закатилось, но ночь еще не полностью овладела пейзажем.

Где кончался пляж, там не было кустов или деревьев, а сразу начиналась голокаменная равнина, где даже то, что на расстоянии выглядело кладбищенскими кипарисами, вблизи оказывалось памятниками из свинца. На горизонте в стороне заката вырисовывалась темная гряда гор с огоньками по склонам, что тоже было сходно на вид с могильными лампадками. Над этим массивом коченели длинные облака цвета потухших углей, твердые и плотные, напоминающие контуры на некоторых картинах, которые, если приглядеться к ним искоса и приспособить глаз, оказываются закамуфлированными черепами. Меж облаками и горой проглядывало желтоватого оттенка небо. Можно было бы сказать, что это самый крайний воздух, куда еще отбрасывает свет умирающее солнце, если бы не присутствовало ощущение, что последняя судорога захода никогда не имела начала и скончания тоже иметь не будет.

Там, где равнина приобретала покатость, Феррант углядел небольшую группу людей и побрел им навстречу.

Эти люди, во всяком случае человекоподобные создания, выглядели таковыми издали, но когда Феррант подошел к ним ближе, он увидел, что их тела побывали или, может, готовились побывать на столе анатомического театра. Так рассудил Роберт, припоминая, как был приведен однажды в подобную залу, где лекари в темных одеждах, краснощекие, с рубиновыми прожилками на носах и щеках, напоминая заплечных мастеров, грудились подле трупа, занятые выведением вовне того, что природа спрятывает вовнутрь, чтобы выведывать у мертвых тайны устройства тех, кто живет. Лекаря сволакивали кожу, надрезывали мясо, вывертывали кости, распутывали нервы, вытаскивали мускулы, разбирали органы чувств, растягивали перепоны, раскладывали хрящи, разматывали потроха. Отделивши мышцы, вынув жилы, оголив костный мозг, они показывали обступившим орудное обустройство. Вот, говорили они, здесь уваривается пища, здесь проходит кровеоборот, здесь питание усваивается, там вырабатывается гумор, а отсюда вылетает дух. И кто-то поблизости от Роберта проговорил полушепотом, что после нашей земной кончины не что иное проделает с нами естество.

Однако Бог-Анатомист пожелал выделать по-другому тех обитателей Острова, которых Феррант мог теперь разглядеть получше.

Первый был освежеван, с натянутыми связками, с покорно опущенными руками, и в страдании он возносил лицо к небу, задирая череп и скулы. У второго была спущена кожа с кистей и крепилась на подушечках пальцев, на ногах была подвернута около колен, образуя сапоги из морщухи. У третьего кожа и лопасти мышц были так распахнуты, что вся его фигура, и в особенности лицо, напоминали раскрытую книгу. Как будто этому телу взманилось показать и кожу, и мясо, и мослы, трикрат живо и трикрат бренно, однако лохмотья плоти оказались мотыльковыми крыльями, и если бы на острове был ветер, они бы трепетали. Но ветра не существовало, и крылья никли в бездвижности и вяло тащились за шевелениями этого надорванного существа.

Неподалеку какой-то костяк оперся на заступ, которым, видимо, копал себе могилу, пустые глаза пучатся в небо, выскаливаются дуги зубов, левая рука умоляюще протянута. Другой скелет, круто скрюченный, показался со спины ссутуленными лопатками, он куда-то брел, припрыгивая, закрыв костлявой плюсной склоненное лицо. Третий остов, тоже видевшийся с тыла: на облезлом черепе сохранились какие-то космы, съехавший набекрень колпак. Но странная у колпака опушка, белой и розовой кожи, будто изнанка раковины. Это вывернутая кожа, подрезанная от загривка и завернутая на скальп.

Были в толпе такие, с которых содрано почти все, они подобны статуям из ганглий; с обезглавленных шейных стволов свешиваются беложилия, которые некогда тянулись в мозги. Стегна и лядвеи выплетены из лоз.

У тех, что с распоротыми брюшинами, желейно дрожат брыжейки шафранового колера, как будто безудержные обжоры налакомились непроваренной требухой. Там, где был некогда уд, нечто облупленное до тонины нитки колышется рядом с иссушенной мошной.

Феррант глядел. Черно-алые трубчатые тяжи, передвижная лаборатория алхимика: в сосудиках и канальцах брызжет сукровная пасока, кровь безжизненной мошкары, выгоревшей в бессветном брезге несуществующего солнца.

Они стояли в великой прискорбной тиши. По некоторым можно было проследить знаки медлительной перемены: изваяния из мяса преображались в изваяния из жил.

Последний из всех, ободранный наподобие Варфоломея, высоко поднимал на деснице свою кровоточащую кожу, дряблую, как изношенный плащ. Можно было еще разобрать черты лица, хотя на месте глаз и ноздрей были отверстия, на месте рта каверна, и вся физиономия походила на последнюю отливку восковой маски, перегретую и оттого расплывшуюся.

И этот человек (верней, беззубый и обезгубленный рот его снятой кожи) обратился к Ферранту и держал такую речь:

— Дурно пожаловать, — сказал он, — в это Владение Смерти, которое зовется Везальским островом. В твое время и с тобой повторится, что с нами сейчас, но не надейся, будто в здешней юдоли разложение пойдет с такою же быстротой, как в простом могильнике. Сообразно тяготе приговора, каждый из нас дойдет до условной степени распада, как будто отведает небытия, и каждому из нас небытие представится наивысшим счастьем. О, какое упоение, если бы наши мозги при касании порошились, если б грудные черева лопались при вдохе, покровы разлезались, мякоть мягчилась, жир растекался ручьем! Но нет! Такими, как видишь, мы стали нечувствительно, в исходе длительного томления, и каждое наше волоконце распадается долгие тысячи тысяч тысяч годов. Никто не ведает, до какого предела суждено каждому разложиться; те, которых ты видишь невдалеке, дошедшие до костья, мнят, будто вскорости смерть ими овладеет, но, вероятно, минуют столетия, прежде нежели их жданное сбудется. Другие, подобно мне, пребывают в таком обличии не знаю с которого срока, потому что здесь, в неотвратимой ночи, мы утрачиваем временной счет. И все-таки надеюсь, что мне даруется, пусть медленное, уничтожение. Каждый из нас вожделеет распаданья, которое точно не будет окончательным, но каждый надеется, что Вечность для нас еще не начиналась, и опасается, что Вечность началась в миг давнего прихода на эту землю. Быв в живых, мы полагали, что ад — долина безнадежности. Так нам говорили. Но нет, и горе мне! Ибо ад — место надежды, из-за этого каждый новый день ужаснее предыдущего, потому что неизбывное жаданье поддерживается в нас, но никогда утолено не будет. Всегда имея крохи тела (а телам нормально или расти или гибнуть), мы не перестаем надеяться. Именно так судил Господь, положивший нам мучение in saecula.

Феррант тогда спросил: — На что же ваша надежда?

— Скажи лучше: наша, будешь надеяться и ты. Будешь надеяться, что легким сквозняком, что брызгою морскою, что укусом малейшего жучка ускорится распад и возвращение одного за другим твоих атомов в бескрайнюю пустоту универсума, чтобы снова могли как-то вступить в коловращение жизни. Но здесь сквозняки не дуют, море не брызгает, не бывает ни холодно ни жарко, мы здесь не знаем ни закатов ни зорь, и земля, которая еще мертвее нас, не приемлет никакого животного существа. О могильные черви, ими пугали когда-то нас! О любезные нутряки, восприемники человечьего духа, который мог бы хоть в них отродиться! Высасывая нашу желчь, вы окропили бы нас милосердым млеком невиновности! Вгрызаясь, усмирили бы угрызения наших грехов, смертными ласками вдохнули бы новую жизнь, и сень гробницы сравнилась бы для нас с материнской утробой... Несбыточно. Об этом мы знаем, но наши телеса забывают в каждый особенный миг.

— А Бог, — спросил Феррант. — Бог, Бог смеется?

— К сожалению, нет, — ответил тот, кто без кожи. — Ведь даже унижение окрылило бы нас! Блаженство — видеть пусть и хохочущего, издевающегося, но Бога! Как развлекла бы нас картина Господа со всеми его святыми, что с тронов потешались бы над нами! Видеть веселие, пусть не наше, не менее было бы отрадно, чем видеть не нашу печаль. Нет, никто не презирает, не осмеивает, никого не видно. Нет Бога. Есть только надежда без всякой цели.

— Тогда пусть прокляты к дьяволу все святые, — вскричал Феррант, рассвирепев,

— и если я проклят, хоть самому себе я покажу всю меру лютейшей злости! — Но он заметил, что голос вяло выделяется из гортани и что тело его угнетено и ему не удается озлобиться.

— Видишь, — сказал на это ободранец, не умея улыбнуться морщинистым ртом. — Твоя кара уже началась. Даже ненависть не выходит. Этот остров — единственное место вселенной, где не дозволено страдать и где надежда без энергии неотличима от нуды без конца.

Роберт продолжал выдумывать конец Феррантовой были, не уходя с верхней палубы, голый; раздевшийся, чтоб, как решил, стать камнем. Солнце опалило ему лицо и грудь и ноги. Его снова, как давеча, трясла лихорадка. Он перепутывал не только роман с реальностью, но даже жар души с телесным, и снова чувствовал горение любви. Где Лилея? Что стало с нею, тем временем как труп Ферранта бродил в Местожительстве Мертвецов?

Приемом, нередким у рассказывателей Романов, которые часто грешат торопливостью и не блюдут единства времени и пространства, Роберт перескочил через несколько дней, чтоб найти Лилею, привязанную к доске, дрейфующую на успокоившихся волнах, посверкивающих на солнце, в то время как она подплывала (вот этого, любезнейший Читатель, ты, безусловно, не посмел предугадать!) к восточной кромке Острова Соломона, со стороны, противоположной той, где стояла на якоре «Дафна».

На востоке, как знал Роберт от Каспара, берег был не столь гостеприимен, как с его, западного, края. Доска, вконец размокшая, треснула, налетев на утес. Лилея, очнувшись от сна, удержалась на этом утесе, в то время как щепки утлого плотика утаскивались водоворотом струй.

Теперь Лилея находилась на камне, где еле хватало места, и небольшой пролив — но ей он представлялся океаном — был между нею и берегом. Истерзанная ветром, изможденная голодом, измученная превыше всего злою жаждой, она не в силах была перебраться с утеса на кромку пляжа, за которой тусклый взор угадывал растительную благодать.

Скала припекала нежный бок, глубокое дыхание не только не освежало внутреннюю сухотку, но и палило ей внутренности жаром сухого зноя.

Она воображала, как неподалеку на Острове журчат проворные ручейки в тенистых ущельях, но эти грезы не утоляли, напротив, жесточе воспаляли жажду. Хотела просить помощи у Небес, но скорблый язык присушился к заскорузлому небу, и вместо слов выходило косное бормотанье.

Чем дольше тянулось пребыванье, тем суровей бичевали ее когти ветра, и она опасалась (более, чем умереть) дожить до того, что стихии изуродуют ее, превратят в предмет отвращения, а не любви. Опасалась, что если она и доберется до водяной глади, до проточной или стоялой воды, то, приникая ртом к воде, встретится взглядом с отражением своих глаз, прежде бывших двумя золотыми звездами, обещавшими жизнь, ныне — отвратительными затмениями; и лицо, где любились и поигрывали Амуры, станет приютом отвращения. Если даже и достигла бы она вожделенного пруда, очи ее бы пролили из сочувствия к собственной жалкости больше влаги, нежели восприняли бы из озера жаждущие уста.

Так Роберт дал Лилее наконец возможность подумать о себе. Однако тут же ощутил неловкость. Ему было неловко за нее, что она на пороге смерти предалась раздумьям о своей красе, как часто описывается в Романах. И неловко за себя, за то что он не умел отобразить, не загораживаясь высокопарными гиперболами, зрелище своей гибнущей любви.

Как же выглядела Лилея в эти минуты на самом деле, без орнаментальных слов? От лишений длительного пути и дней в волнах волосы стали колтуном с седыми прядями; грудь, бесспорно, утратила свою лилейность, на лицо легли борозды времени. Шея и плечи наморщились... Нет, описывая в подобных красках ее отцветание, он будто снова заводил поэтическую машину отца Иммануила. И Роберт принудил себя описать истинный вид Лилеи.

Голова запрокинута, глаза выкачены и уменьшены болью так, что кажутся слишком

удаленными от заострившегося носа, и вдобавок отягощены мешками; уголки глаз покрыты сеточками мелких морщин, как гусиными лапками. Ноздри расширены, и одна ноздря другой мясистее. Рот потрескан, аметистового цвета, с дугами морщин по краям, верхняя губа выдается над нижней, и выпирают резцы отнюдь не жемчужного оттенка. Кожа лица кажется мягко-вислой, под подбородком два валика, безобразящие линию шеи.

И все-таки этот полуувядший плод он не обменял бы на всех ангелов неба. Он любил ее и такой, ведь не знал же он ее облика, когда возжелал впервые под занавесом черной вуали, в незапамятные вечера.

Он дал себя сбить с твердой линии в дни корабельного плена: решил воображать Лилею совершенной, как система планет; но и о системе планет он вообще-то слышал (хотя не посмел затронуть эту тему с фатером Каспаром), что составляющие ее тела, по всей видимости, не описывают безукоризненные окружности, а ходят около Солнца довольно кособоко.

Красота проста, а любовь замысловата. Он вдруг понял, что любит не только весну, но и другие времена милой, она желанна даже в осеннем упадке. Он всегда любил и чем она была и чем могла стать, и только такая любовь означает самоотдачу без требований дать взамен.

Он позволил себя одурманить океаническому пустынножительству и стал выдумывать в ближних отражения себя: скверное в Ферранте, славное в Лилее, величием которой возвеличивался сам. На самом же деле любить Лилею означало желать ее подобной себе, в рубцах обиды. До этой минуты он прибегал к ее красоте, чтоб уравновешивать чудовищность своей фантазии. Вкладывал в ее уста свои речи и в то же время мучился из-за того. Сейчас он знал, что она ему нужна и в красоте страдания, в сладострастном изможденнии, в отцветшей прелести, в очаровательной слабости, в худости и хилости. Он бы заботился, ласкал, слушал ее слова, настоящие, а не навязанные им самим.

Одержать Лилею, избавиться от себя.

Но слишком поздно. Больному кумиру уже не надобились дары.

С обратного боку Острова по Лилеиным жилам плавно текла разжиженная Смерть.

39. Экстатический небесный маршрут[1]

Так ли должны завершаться Романы? Обычно Романы разжигают в нас ненависть, чтобы затем ублаготворить зрелищем, как проиграли ненавистные; и преисполняют сопереживанием, чтобы затем усладились зрелищем, как избегли опасности те, кто нам полюбился. Романов же с настолько плохим концом Роберт не читывал никогда.

Разве что решить, что Роман пока не кончен и имеется тайный Герой, способный на подвиг, какие совершаются только в Романной стране. Ради любви Роберт сказал себе, что этот подвиг совершит он сам, войдя в собственную повесть.

Только б добраться до Острова, говорил он, я бы сумел выручить Лилею. Это лень удерживает меня тут. Мы во власти одного моря и стремимся ступить с двух сторон на одну и ту же землю.

Тем не менее проиграно не все. Она сейчас умирает, но доберись я до Острова, я попаду на него днем прежде, нежели появится она, и смогу встретить ее и спасти в безопасное место.

Не беда, что я приму ее из моря уже почти бездыханной. Известно же, что когда тело на последнем пределе, сильное чувство может возбудить в нем прилив лимфы и сообщение, что избыта причина бед, приводит к новому расцвету.

А какое же чувство отраднее для этой умирающей, нежели благополучно новообрести любимое лицо? И я не должен даже оповещать ее, что не тот, кого она обожала, поскольку именно мне, и не иному, отдавала она себя; тот лишь захватывал место, изна-

[1] «Itinerarium Extaticum Coeleste» — также сочинение отца Кирхера (см. прим. к названиям глав 6 и 33).

чально мое. И вдобавок Лилея безотчетно ощутила бы новую любовь в моем взгляде, очищенную от похоти, трепещущую поклонением.

Как же (задастся вопросом кто угодно) Роберт не смущался, что оказаться на Острове он должен до скончания суток, ну в крайнем случае в первые часы утра следующего дня, а это, как свидетельствовали прежние попытки, неисполнимо? Как он не сознавал, что ищет на Острове ту, которая заведена туда одною прихотью его вымысла?

Но Роберт, как мы уже наблюдали, отлетая мыслями в Страну Романов, стороннюю его собственному миру, сумел взаимоналожить две вселенные и перекрестить их законы. Он считал, что сумеет добраться до Острова, поскольку так ему воображалось; и воображал, что Лилея прибудет на Остров после того, как доберется он, поскольку такова была его сочинительская воля. С другой стороны, привыкнув к свободе воображать события и совершать их (залог непредсказуемости всех Романов), Роберт применил ту же свободу к событиям реального мира. Таким образом, он обрел возможность достичь Острова на следующем основании: в противном случае Роберт не знал бы, о чем дальше рассказывать рассказ.

Исходя из подобной позиции, которая любому не сопровождавшему рассказчика с нами с начала до этого места показалась бы бредом, он теперь рассуждал математически, не упуская ни единой вероятности, которая подсказывалась ему благоразумием и осторожностью.

Как генерал, составляющий диспозицию ночью накануне боя и не только предусматривающий все затруднения, которые могут возникнуть, и все помехи, которые потребуют изменить план, но и отождествляющий себя умственно с командующим противника, дабы предвидеть ходы и контрходы и рассчитать будущее, вытекающее из расчета противника, вытекающего из его собственных расчетов, вытекающих из расчетов расчетов противника, — так Роберт соразмерял действия и цели, причины и следствия, за и против.

Он решил распрощаться с идеей плыть до кораллового переката и от него на берег. Без Личины не имелось возможности увидеть подводные протоки, а опираясь на торчащие вершины рифа, он рисковал попасть в коварные, несомненно гибельные капканы. Наконец, даже при допущении, что он пробрался бы за риф — по воде или под водой, — как узнать, осилили бы ослабелые голени дорогу бродом до Острова? И не таились ли в том дне смертельные обрывистые воронки?

Значит, к Острову он мог пристать только повторяя маршрут шлюпки, то есть с юга, описавши по заливу дугу приблизительно на расстоянии, на котором стоит «Дафна», а потом, заплыв за южный мыс, резко повернувши к востоку, чтоб попасть в бухточку, о которой говорил фатер Каспар.

Подобный замысел не мог считаться дельным по двум причинам. Во первых, потому что до сих пор Роберт еле добирался до кромки рифа, и силы покидали его; ему было не проплыть расстояние в четыре или в пять раз больше, вдобавок не привязываясь — не только из-за отсутствия каната подобной длины, но и из принципа, что на сей раз он отплывал окончательно и даже при недостигнутой цели в возвращении не видел смысла. Вторая причина — поток тянул обратно, на север, а Роберт знал по опыту, что энергии у него хватит только на несколько гребков, после чего непреклонное течение развернет его и унесет далеко за северную оконечность, навсегда удалив от вожделенного Острова.

Строго взвесив эти свои возможности (и подтвердив себе, что жизнь коротка, наука обширна, случай шаток, опыт обманчив и суждение затруднительно), Роберт сказал, что недостойно дворянина унижаться до мелочных расчетов, и только мещане мнутся, прежде чем поставить на кон скромные сбережения.

Или же, продолжал Роберт, да здравствует расчет, но пусть он будет величествен, как величественна ставка! На что ведется игра? На жизнь? Но пока что, пока он сидит на этом корабле, жизнь немногого стоит, особенно теперь, когда к одиночеству прибавляется сознание, что Она утрачена навеки. А что будет выиграно, если подвиг удастся? Все. Счастье увидеть Ее и спасти Ее или, по крайней мере, умереть на ее трупе, осыпая мертвое тело мириадами поцелуев.

Конечно, заклад был несправедлив. Имелось больше вероятности погибнуть, чем достигнуть. Но и при таких условиях пари казалось привлекательным. Как иметь одну вероятность против тысячи: проиграть жалкую сумму или обрести великое богатство. Кто бы на Робертовом месте не прельстился?

Наконец, пришла еще одна мысль, которая несказанно уменьшала риск проигрыша, и даже обещала победу при обоих вариантах. Даже если предположить, что течение повлечет его в обратную сторону... Что с того? Держа мористее от Острова, течение (как Роберт знал по опытам с досками) повторит линию по меридиану.

Значит, лежа на спине на волнах и созерцая небо, он не будет видеть хода Солнца. Дрейфуя посередине, где кончается вчера и начинается сегодня, он пребудет вне времени, в постоянном полудне. Время остановится для него, а значит, и для Острова, и до бесконечности отложится гибель Лилеи, так как все, что происходит с Лилеей, зависит только от его авторской воли. Приостановится его жизнь, замрет история Острова.

Надо признать, любопытный хиазм. Лилея оказывалась в положении, в котором просуществовал он сам неисчислимо протяжные времена, на расстоянии двух гребков от Острова; а Роберт затерывался в океане, передарив Лилее свою былую надежду, и удерживал ее в живых, в состоянии вечного стремленья. Оба живы, у обоих нет будущего и соответственно не будет смерти.

Потом Роберт принялся думать, какой путь выпадет ему самому; он постулировал взаимопроникновение миров, следовательно, его путь был также и путем Лилеи. Удивительные приключения Роберта вовлекали даже и Лилею в бессмертие, которое, учитывая ее положение относительно меридиана, в противном случае на нее бы не распространилось.

Итак, он плыл бы в северном направлении с умеренной, однородной скоростью. Справа и слева от него сменялись бы дни и ночи, времена года, происходили затмения, приливы и отливы, беззаконные звезды прорезали бы небосклон, неся природные бедствия и крушение царств, монархи и понтифики покрывались бы сединою, их останки смешивались с пылью, и все циклоны мироздания вершили свои революционные вихри, и новые планеты создавались бы после гибели прежних планет... Окрест Роберта море бесилось и утихомиривалось, ализеи выплясывали свои менуэты, а для него ничего не изменялось бы в благой притинной борозде.

Остановился ли бы он хоть когда-то? Насколько он помнил карты, ни одна другая суша, кроме Острова Соломона, не находилась на этой долготе, разве что на концесветном полюсе, где долгота сливается с прочими долготами. Однако при том что и кораблю, с попутным ветром на раздутых парусах, требовались месяцы, месяцы и месяцы на путь, как он замыслил, сколько же ему-то будет нужно? Наверное, годы, прежде чем он попадет в место, где неизвестно, сменяются ли дни и ночи и как протекают столетия.

Но он проведет эти сроки в объятиях любви настолько утонченной, что нет нужды, если утрачены губы, руки, ресницы. Его тело освободится от всевозможной лимфы, крови, желчи, слизи, вода войдет во все его поры, через ушные отверстия промоет соляным раствором мозг, заместит собой в глазах стекловидное тело, вольется через ноздри, выполаскивая малейшие следы земляного элемента. В то же время благодаря солнечным лучам он напитается элементом огня, и частицы огня переработают жидкости в росу, состоящую из воздуха и огня, и эта роса силой симпатии призовется в вышину. И Роберт, становящийся легким и летучим, взмоет ввысь и соединится сперва с духами огня, потом с духами солнца.

То же самое произойдет и с Лилеей под упорным солнцем на ее утесе. Она растянется, как золото под молотком, превратится в воздушную сусаль.

Так пройдет немного дней, и они благодаря этому плану объединятся. Постепенно они действительно окажутся друг другу как ноги циркуля; движение каждого связано с движением другого, один клонится тем сильнее, чем решительней удаляется другой, и выпрямляется, когда второй возвращается к нему близко.

И тогда оба они продолжат свое странствие в настоящем, стремясь к светилу, которое их притягивает, став атомной пылью среди многих частичек космоса, ставши вихрем среди вихрей, обретшие вечность, как мир, поскольку полные пустотой. Примирившись

со своим уделом, потому что сдвиги Земли влекут за собой бедствия и страхи, а трепетанье небесной сферы всегда невинно.

Поэтому, бросив вызов, он в любом случае одерживал победу. Не следовало колебаться. Но не следовало и идти на триумфальное жертвоприношение, не выполнив соответствующих ритуалов. Роберт доверил дневнику перечень последних дел, остальное додумываем сами — движения, темп, ритм.

Первоначальным ритуальным очищением для него был снос решеток верхней палубы (около часа работы). Затем он открыл все клетки. Выдергивая тростниковые засовы, он был оглушен клокотанием крыльев и вынужден обороняться, закрываясь и голося «кыш, кыш», и гнал в полет своих бывших пленников, подталкивая руками даже куриц, которые метались, не понимая, как им быть.

Потом он поднялся на мостик и видел, как стаи продирались сквозь стоячий такелаж, и на какую-то секунду, мнилось, сумели заслонить солнце радужные краски крыльев, смешиваясь с расцветкой морских птиц, которые в любопытстве спешили присоединиться к этому празднику.

Потом он выбросил в море все часы, не опасаясь, что утратит драгоценный счет. Он уничтожал время, собираясь в дорогу против времени.

Наконец, дабы застраховать себя от трусости, он сложил в кучу на мостике, у основания грот-мачты, куски рангоута, обломки реев, пустые бочонки, облил их маслом, опустошив все светильники, и подпустил огонь.

Первый же язык огня прихватился к парусам и канатам. Когда Роберт уверился, что пожар вполне способен поддержать себя, настал момент прощанья.

Он был наг с тех пор, как бросил одежду, собравшись умирать путем превращения в камень. Сбросил даже опояску из каната: больше не следовало ограничивать свой путь. Он спустился в море.

Оттолкнувшись ступнями от деревянного бока корабля и придав себе скорость, оторвался от борта «Дафны» и, проплыв всю ее длину вплоть до самой кормы, отдалился от нее навеки, навстречу одному из двух счастий, которые несомненно его ждали.

Прежде чем судьба и воды примут решение за него, я хотел бы, чтобы он, призамерев ненадолго, для захвата воздуха, оторвал свой взгляд от «Дафны», с которой расставался, и перевел глаза на Остров.

Там над верхом линии, прочерченной верхушками деревьев, своими обострившимися глазами он должен был бы разглядеть, как снимается в высокий воздух — подобно дротику, желающему вонзиться в середину солнца — Голубка Цвета Пламени и Апельсина.

40. Колофон

Вот. И что после этого случилось с Робертом, я не знаю и не думаю, чтоб возможно было узнать.

Как придать форму сюжету, пускай даже столь романическому, если неизвестен конец, или, вернее сказать, истинное начало? Разве что сосредоточившись не на истории Роберта, а на истории его документов... Хотя и в этом не обойдешься без конъектур.

Если бумаги (следует оговорить, отрывочные. Я с затруднением вылепил из них сюжет, брал отдельные эпизоды и переплетал их друг с другом или нанизывал один на другой) сохранились до нашего времени, значит, «Дафна» сгорела не целиком, такой я делаю вывод. Может, огонь только полизал мачты, но потом погас, потому что день был без ветра? Нельзя исключать и что случился ливень и пожар затух сам собой.

Сколько времени прождали останки «Дафны», пока их обнаружили и нашли записи Роберта? Предлагаю две версии, недостоверные в равной мере.

Как уже говорилось, за несколько месяцев до описанных событий, в феврале 1643 года, Абель Тасман, выйдя из порта Батавия в августе 1642-го, прошел мимо Земли Ван

Димена, которой потом присвоили имя Тасмании, окинул взором Новую Зеландию и взял курс на острова Тонга (открытые в 1615 году Ван Скутеном и Ле Мэром и изначально названные островами Кокосовым и Предателей), а затем проследовал на север и обнаружил по пути архипелаг, состоящий из островов с песчаными пляжами. Он зарегистрировал новооткрытую группу островов на координатах 17,19 южной широты и 201,35 долготы. Не будем сейчас разбираться с долготами. Острова получили имя Принца Виллельма, и если моя гипотеза верна, они примерно там же, где Остров нашей повести.

Тасман завершил плавание, как следует из его записей, в июне — то есть прежде, чем «Дафна» пристала в тамошние края. Но подлинность записей Тасмана не доказана, и вдобавок утрачен оригинал дневника[1]. Попробуем вообразить, что при одном из тех странных отклонений, которыми изобилует его плавание, он снова зашел в тот же район, ну, скажем, в сентябре 1643 года, и тут-то наткнулся на «Дафну». Корабль без рангоута и снастей реставрировать не было возможности, но Тасман обследовал его и нашел дневник Роберта.

Насколько он понимал по-итальянски, он догадался, что речь идет о поиске долгот, а значит, записи приобретали характер сверхсекретного материала, который он обязан был передать по начальству в Компанию Голландских Индий. Сверхсекретного: поэтому в журнале Тасмана факт замалчивается, и не исключено, что нарочно фальсифицируются даты, дабы замести все следы, а записи Роберта поступают в архив специального хранения. Тасман же отправляется в новое плавание на следующий год, и один Господь знает, действительно ли он плавал там, где принято считать[2].

Что же дали эти бумаги голландским географам? Мы-то знаем, что совершенно ничего интересного, за вычетом разве что собачьей системы доктора Берда, о каковой системе, не сомневаюсь, уже было известно от других шпионов. Любопытно могло быть описание Мальтийской Установки, но в любом случае она оставалась недостижима в течение ста тридцати лет, прежде чем Кук наново отыскал эти острова, поскольку по указаниям Тасмана найти их было невозможно.

Наконец, через сотню лет после нашей повести, после изобретения Харрисоном морского хронометра, кончились лихорадочные поиски Punto Fijo. Проблема долгот перестала быть проблемой, и кто-то из архивариусов Компании выкинул, подарил, а может, и продал дневник Роберта досужему коллекционеру манускриптов.

Вторая гипотеза выигрышнее в романном смысле. В мае 1789 года одна знаменательная персона проплывала в тех Робертовых краях. Я имею в виду капитана Блея, которого бунтующие матросы с «Баунти» спустили за борт в шлюпке с восемнадцатью верными из команды и предоставили милосердию волн.

Этот необыкновенный человек, каковы бы ни были там недостатки его характера, оказался в состоянии пройти более шести тысяч километров до первой гавани — Тимора. Проплыв архипелаг Фиджи, Блей почти коснулся Вануа Леву и пересек архипелаг Ясава. Значит, стоит ему совсем немного отклониться на восток, и он бросает якорь у Тавеуни, а именно там, я думаю, обретается наш Остров. Если кто-то потребует доказательств в этих вопросах, хотя они основаны прежде всего на вере или на желании верить, добавлю: согласно некоторым данным, Оранжевая Голубка, Orange Dove или Flame Dove, а по-научному Ptilinopus Victor, обитает только на этом острове. Беда, однако, что в ущерб красоте сюжета наука утверждает, будто оранжевое оперение — не у самки, а у самца.

Так вот, такой человек, как Блей, если бы «Дафна» была хоть минимально употребима, учитывая, что он дошел до нее на простой шлюпке, сделал бы все возможное, чтоб

---

[1] Все сказанное легко проверяется. См.: Leupe, P.A. «De Handschriften der ontdekkingreis van A.J.Tasman en Franchoys Jacobsen Vische 1642-3» in «Bijdragen voon vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde», N.R. 7, 1872, pp. 254-93. Неопровержимы, разумеется, и такие источники, как «Generale Missiven», где приводится в выдержках свидетельство из «Daghregister van het Casteel Batavia» от 10 июня 1643 года с указанием на возвращение Тасмана. Однако, если моя гипотеза справедлива, можно было бы предположить, что для сохранения в тайне сведений о принципе определения долгот журнал-регистр тоже мог бы быть фальсифицирован. При том, с какой скоростью известия из Батавии попадали в Голландию, сдвижка в два месяца не должна была привлечь внимание. Вдобавок я совершенно не убежден, что Роберт действительно оказался у Острова в августе, а не ранее. (*Прим. автора.*)

[2] Второе путешествие абсолютно не документировано, не существует судового журнала. Почему? (*Прим. автора.*)

вернуть ее в работу. Но она простояла там полтора века. Грозы разнесли в щепки корпус судна, выдрали с корнем якорь, корабль вывернуло на коралловый риф... Хотя нет, скорее всего, течение проволокло посудину на север и выбросило на другую мель или на скалы крохотного островка, где с течением времени судно разлагалось и разрушалось.

Блей ступает на развалины призрака-корабля, скулы которого состоят из одних ракушек и водорослей, а в трюме в стоялой воде живут ядовитые рыбы с моллюсками.

Однако еще держатся, хотя и шатко, полуют и капитанская каюта, и там, рассыпающиеся в пыль от малейшего касания... нет, склизкие и водопрелые, дожидаются Блея листы, исписанные Робертом.

В мире тогда уже вышло из моды искание долгот, но, может быть, Блея заинтриговало упоминание на неизвестном ему языке Соломоновых островов. Примерно за десять лет до того некий мсье Бюаш, Королевский и Флотский Географ Франции, представил в Академию Наук «Мемориал о Существовании и Местонахождении островов Соломона», в котором утверждалось, что Соломоновы острова являются в точности заливом Шуазель, где Бугенвиль побывал в 1768 году (и составленное им описание почти повторяло исходное описание Менданьи), купно с Арзасидскими Землями, пройденными в 1769 году Сюрвилем. Не случайно в те годы, когда Блей плавал, какой-то аноним (вероятно, господин де Флерио) возвещал о скором опубликовании труда «Территории, открытые французами в 1768—1769 годах к юго-востоку от Новой Гвинеи».

Мне не известно, читал ли Блей полемические писания господина Бюаша, но несомненно в среде английских моряков раздраженно комментировалось нахальство милых кузенов французов, похвалявшихся, будто они нашли ненаходимое. Французы на самом деле были правы, но Блей мог этого не знать или не хотеть знать. Поэтому, вполне вероятно, он подумал, что документ в его руках не только опровергнет утверждения французов, но и принесет ему самому славу открывателя Соломонова Острова.

Представляю себе, как он мысленно поблагодарил Флетчера Кристьяна и прочих бунтовщиков-матросов за то, что они бесцеремонно зашвырнули его на вершину славы. Потом он решил, из патриотических побуждений, никому не рассказывать о незначительном отклонении к востоку и о своем открытии и конфиденциально передать документы в британское Адмиралтейство.

Однако и в данном случае бумаги попали в безразличные руки, к кому-то не ведавшему изыскательского жара, и были опять же свалены в груды эрудитского сора для любителей словесности. Блей забыл мечту о Соломоновом Острове, удовлетворился титулом адмирала, который получил за неоспоримые заслуги в области навигации, и мирно почил, не подозревая, что по милости голливудских фильмов станет пугалом для потомков.

Если бы даже первая или вторая моя гипотеза и могла быть взята для объяснения рассказа, ее концовка не показалась бы достойным венцом для повести и оставила бы читателей в раздражении. В таком виде, вдобавок, история Роберта не содержит и моральной назидательности, и мы вечно будем гадать, почему с ним приключилось то, что приключилось, и придется сделать вывод, что в жизни события происходят по той причине, что они происходят, и что только в Романной Стране приключения имеют цель или объяснение.

Поэтому, если уж назидание действительно нам очень нужно, обратим внимание на одно место в записях Роберта, сделанных в период, когда он по ночам ломал голову о вторгнувшемся Постороннем. Был некий вечер, Роберт сидел и смотрел на небо. Он вспомнил, как в имении Грив, когда от ветхости рухнула фамильная капелла, его кармелит-гувернер, наездившийся по Востоку, посоветовал отстроить здание по византийскому плану, круглое, с куполом в центре, ну совершенно не такого стиля, который был принят в Монферрато. Старый Поццо не имел суждений по вопросам религии и искусства и прислушался к совету божьего человека.

Созерцая антиподное небо, Роберт размышлял, что в имении Грив, в пейзаже, окруженном со всех сторон мягкими холмами, небесный свод сам казался куполом оратории, а купол почти совпадал с горизонтом, и на небе среди прочих созвездий были два-три таких, которые Роберт умел находить, так что для него картина неба если и менялась,

то от недели к неделе, а ложась рано, он не знал, что на самом деле звезды сдвигаются даже в течение одной ночи. И купол неба в Гриве казался ему надежным и округлым и столь же округлым и крепким казался мировой универс.

Глядя на небо в Казале, а город стоял на равнине, Роберт понял, что небо обширнее, нежели он думал. Но отец Иммануил заставлял его воображать описание звезд концептами, а не рассматривать те, которые были у него над макушкой.

Теперь же, антиподный созерцатель неоглядного простора океана, он взирал на безграничный горизонт. И в высоте над головою он видел звезды, прежде не виданные. Созвездия родного полушария он воспринимал в тех обличиях, которые были определены другими: многоугольная симметрия Большого Воза, алфавитная вычерченность Кассиопеи. На «Дафне» же никто не поучал его разбирать звезды, и он мог соединять любую точку с другой точкой, выдумывать обличия змеи, гиганта, развевающихся волос или хвоста ядовитого насекомого, потом отметать эти образы и примеривать другие формы.

Во Франции и в Италии небо было как страна, размеченная монаршею рукою, где предуказаны дороги и почтовые станции на них, а в промежутках дозволено расти лесам и рощам. Здесь же он продвигался как пионер по неисхоженной местности и сам прокладывал тропы, соединяя вершину горы с озером, и не руководствовался никакими критериями, потому что города и селения еще не возникли ни на склонах горы, ни на берегу вод. Роберт не высматривал созвездия. Он был приговорен выдумывать их. Его страшило, что результатом являлись спирали, витки улитки, водовороты.

Тут он и вспомнил об одной новопостроенной церкви, виденной в Риме, — единственный случай упоминания этого города; Роберт побывал там, скорее всего, перед Провансом. Церковь в Риме показалась ему крайне непохожей и на гривскую ораторию и на геометрически выверенные, составленные из арок и крестовин нефы соборов Казале. Теперь он понимал свое ощущение: она была как южное небо, манила зренье к построению новых перспектив и не давала опоры в центральной точке. В этой церкви откуда бы ни глядеть на купол, человек чувствовал себя не в центре, а сбоку.

И ныне он осознавал, что пусть не с той определенностью, не с той театральностью, пусть за счет мелких неожиданностей, переживаемых ото дня ко дню, но ощущение ускользающей опоры нарастало в нем сперва в Провансе, потом в Париже, всякий раз, как разрушалось очередное его убеждение и появлялись новые возможности воспринимать мир, причем подсказки, которые получал он с различных сторон, не складывались в законченную картину.

Ему рассказывали о системах, способных изменять соотношение сил в природе так, чтобы вес тяготел к вышине, а легковесность жалась книзу, чтобы огонь орошал, а вода обжигала, как будто сам Творец Универсума собирался переиначить сотворенное и понуждал растения к несоблюдению сезонов, а сезоны — к бунту против времен.

Если Творец меняет точку зрения, можно ли говорить о порядке, который Он предписывает миру? Может, Он предписал не один порядок, а много? Может, Он желает перетасовывать их со дня на день? Может, и заложена где-то тайная система, руководящая танцем порядков и перспектив, однако нам не суждено обнаружить эту систему никогда, и мы будем всегда зависеть от прихотливой игры подобий порядка, перестраивающихся в зависимости от любых новоявленных факторов.

В этом случае история Роберта де ла Грива — только сюжет о безнадежно влюбленном, как он горюет под непомерными небесами и как не примиряется с тем фактом, что путь Земли являет собой эллипс, в котором Солнце — это только один из фокусов.

Подобный сюжет, согласимся, бедноват для приличного романа.

К тому же, соберись я выжать из этой истории роман, я докажу в очередной раз, что писать невозможно иначе, как наводя вытертые строки случайно найденной рукописи и испытывая anxiety of influence, по Харольду Блуму — подавляющее действие влияний. К тому же снова пристанут пытливые читатели, желающие знать, действительно ли подлинный Роберт де ла Грив писал все то, что я тут пересказываю со множеством подробностей. Мне придется отвечать: не исключено, что это писал другой человек и он только притворялся, будто рассказывает правду. Тут и рухнет весь романический эффект: ро-

ман по правилу притворяется настоящим рассказом, но никак не может признаваться, что он — притворство.

Кроме того, не имею понятия, как я буду объяснять, откуда попали бумаги к тому, кто передал мне их, вытащив из потрепанной и вылинявшей кипы.

«Автор неизвестен, — тем не менее должна была произнестись фраза. — Почерк хороший, но видите сами, выцвел и не читается, листы свалялись от грязи, их уже не разлепить. Что до содержания, я тут посмотрел. Маньеристские экзерсисы. Сами знаете, как писали в семнадцатом веке... Эти люди без души».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПЕРЕВОДЧИКАМ «ОСТРОВА НАКАНУНЕ»

Как видите сами, в этом романе проблем стиля больше, чем в предыдущих. Прежде всего, имеется язык героев в прямой передаче (включая письма Роберта). Кроме того — язык повествователя, который иногда иронически дистанцируется от языка героев, но часто им подыгрывает и изъясняется как они.

Многие страницы текста барочны. Я воспроизвел репертуар выражений европейского барокко, моими источниками явились Марино, итальянские прозаики семнадцатого века, а также поэты и писатели Франции, и Джон Донн, и Грифиус, и Гонгора. Каждый переводчик должен, так сказать, черпать вдохновение из барочных авторов своей литературы.

В то же время, куски, написанные в барочном стиле, представляют собой коллажи из многочисленных авторов, и идеально было бы достичь такого результата, при котором источник заимствования практически не узнается. Поэтому, когда вы обнаруживаете отрывок из Марино, вам не надо заботиться искать то же самое в своей литературе. Еще лучше, если в переводе и само ощущение цитаты станет менее прозрачно.

Важно одно — чтобы в собственной литературе вы нашли вдохновение для того, чтоб писать в стиле барокко.

При этом учитывайте, что в семнадцатом веке не все писали в барочном стиле. Проза ученых и философов — сухая, без метафор, и таким должен оставаться у вас стиль научных дискуссий.

В моей книге содержатся цитаты из Марино и из Галилея, из Сирано де Бержерака и из Гассенди, и все это разные стили.

Синонимы

Я тщательно старался не повторять редкие слова, много работал со словарем синонимов. Сюжет разворачивается на корабле, под небом, в море и напротив Острова. Риск — использование одних и тех же слов для того, чтобы дать понять, что небо голубое, а растительность зеленая. Я пытался разрешить эту проблему, хотя и не смог ничего поделать: много раз повторены такие слова, как «море», «остров», «волна», и прочие подобные. Это не так страшно, потому что к этим словам читатель привык и не замечает, как они повторяются на каждой странице. Совсем иначе дело обстоит с такими словами, как «пурпурный», «пламенный» или «сапфирный». Для подобных случаев мне оказал большую помощь словарь языка такого лексически богатого автора, как Даниелло Бартоли. Иногда, чтобы не повторять слово, обозначающее цвет, я передавал его через упоминание цветка. Я составил глоссарии цветов и птиц. Но здесь нужна осторожность. Я, например, упомянул цветок робинию, но через некоторое время осознал, что цветок получил это имя только через два столетия после событий романа, когда его открыл и назвал некий господин Робин.

Как бы то ни было, но когда в описании, скажем, коралла или же птицы вы замечаете, что в вашем языке не существует больше слов, пригодных к описанию оттенков алого цвета, лучше, чтоб не повторять слово «алый», меняйте расцветку птицы или цветка. Лучше пускай он станет синим, но нельзя повторять слово «пурпурный» два раза. Я описывал в точности виды кораллов, рыб, цветов и птиц, населяющих острова Фиджи, но, если вы припишете им чуть-чуть не тот оттенок, никто вас проверять не станет, а в случае чего ошибку можно свалить на Роберта, которому что-то не так померещилось. Разумеется, переделывать рыб — самая крайняя мера, и лучше обходиться без этого.

Хронология лексики

Я пытался употреблять те слова, которые существовали в 1643 году. Это правило соблюдено во всех случаях, когда говорят персонажи. Язык Рассказчика — более гибкий, хотя и находится под обаянием записок Роберта. Мне помогли этимологические словари и первый итальянский словарь академии Круска 1612 года.

Труднейшая работа! Например, я обнаруживал, что очень красивые слова попали в язык слишком поздно, и приходилось от них отказываться. Конечно, я старался подходить к вопросу разумно. Если слово присутствует в словарях конца семнадцатого века, не исключено, что его могли употреблять и за тридцать лет до того. Некоторые слова Роберт, живший в Париже, мог заимствовать из французского языка. В словаре Круска нет технической терминологии. Ее я проверял по Галилею. В общем, вам понадобится хороший этимологический словарь.

Фехтование

Терминология фехтования не совпадает с нашей сегодняшней и не совпадает с принятой в «Энциклопедии» Дидро. Я писал по учебнику начала семнадцатого века. Самые лучшие учебники, должен вас огорчить, итальянские. Но для французского перевода можно взять «Le maistre d'armes» Лианкура или «Académie de l'espée» Тибо.

В этом случае, как и в остальных, если в вашем языке есть красивое название выпада, пусть даже оно не совпадает с тем, что пишу я, это не имеет значения. Пусть герой дерется по-другому, лишь бы выпад был красивым и назывался соответственно эпохе. Однако технику Удара Баклана попросил бы не менять.

УМБЕРТО ЭКО

(Переведено по тексту, опубликованному в журнале «Эуропео» 12 октября 1994).

ЛИТературный ГИД ЖИЗНЬ КАК РОМАН

Древнейшее и опаснейшее искушение, подстерегающее всякого творческого человека, — спутать реальную жизнь с искусством, а себя — с героем своего произведения. Художнику не просто кажется, что весь мир театр, а люди в нем актеры, он нередко еще и принимает себя за постановщика этой пьесы, пытается изменить ее жанр, а то и по-своему разыграть финал. Посмертные слова Рабле («Закройте занавес, фарс окончен»), Бетховена («Друзья, аплодисменты! Комедия окончена») и прочие подобные — не столько самоирония, сколько прощальный поклон перед зрителями.

У всякого творца развито стремление продлить свое земное существование за пределы смерти. Казалось бы, тут вся надежда на созданные произведения. Но есть творцы с особым складом личности, которым этого мало. Они желают превратить в шедевр и собственную жизнь. Такие художники всю жизнь играют роль, чуть ли не каждый их поступок — хеппенинг.

Писателю легче, чем композитору, живописцу или режиссеру, попасть в персонажи собственного произведения. Хотя бы потому, что литература создает наиболее правдоподобные и всеобъемлющие — «совсем как настоящие» — квазимиры. В итоге в истории мировой литературы образовался целый пантеон писателей, чья слава основывается не только на творческом наследии, но и на романтизированной биографии. Почти для всякого пишущего человека пример этих счастливцев является вечным соблазном. (Напомним слова Х. Л. Борхеса: «В целом Байрон для меня поэт второго ряда. Но Байрон создал нечто весьма значительное: он оставил образ самого себя. Как и Уайльд, который, пожалуй, интереснее своих произведений...»)

В литературном гиде «Жизнь как роман» речь пойдет о трех писателях, принадлежащих разным эпохам, странам и традициям: ЭДГАРЕ АЛЛАНЕ ПО (1809—1849), Т. Э. ЛОУРЕНСЕ (или ЛОУРЕНСЕ АРАВИЙСКОМ; 1888—1935) и ЕЖИ КОСИНСКОМ (1934—1991). Каждому из них дарована была незаурядная судьба, и каждый на свой манер соединил собственную жизнь с литературой. Эдгар По стремился возвысить обыденность до романтических идеалов и творил себе биографию по эстетическим законам, так что она обретала смысл лишь в ореоле писательской славы. Лоуренс Аравийский стал знаменитым писателем благодаря своим героическим приключениям в годы первой мировой войны, а знаменитым героем — благодаря произведениям, в которых сам рассказал о своих подвигах. Ежи Косинский нарушил многие нормы, и не только художественные: сочинив себе прошлое, он придал вымыслу статус документального свидетельства и надстраивал новые и новые этажи мистификаций, пока шаткая конструкция не рухнула и не погребла его под обломками.

ХУЛИО КОРТАСАР

Жизнь Эдгара Аллана По

ДЕТСТВО

Эдгар По, а позднее — Эдгар Аллан По, родился 19 января 1809 года в Бостоне. Но мог появиться на свет и в любом другом месте, куда судьба заносила безвестную театральную труппу, в которой служили его родители, играя обыкновенный для той поры репертуар — «Гамлета» и «Макбета» вместе со слезливыми драмами и сказочными комедиями.

Подробности о родителях По ничего существенно важного для нашей темы не прибавят. Эдгар осиротел так рано, что театр не успел оказать на него ни малейшего влияния. Во взрослые годы в нем пробудилась тяга к лицедейству — что, впрочем, отличало и многих других гениев, хотя отцы их были вовсе не актерами, а врачами или, скажем, хозяевами ткацких фабрик. Но вот более глубокие корни поэта явно заслуживают внимания. Мать поэта, Элизабет Арнольд По, была англичанкой (ее родители тоже служили актерами — в лондонском «Ковент-Гардене»), отец Эдгара — американцем ирландского происхождения. В юности Эдгар станет придумывать себе разные мифические родословные. Самая замечательная из них (в которой уже проявилась некая тяга к чудовищным крайностям) делает его потомком величайшего из предателей — генерала Бенедикта Арнольда[1].

Смесь двух кровей — английской и американской (хотя, по сути, это была одна кровь, которую политики попытались разделить) — оказалась для Эдгара вдвойне нездоровой, ослабленной: оба родителя его страдали чахоткой. Дэвид По — весьма посредственный актер — скоро исчезает и с жизненной сцены: то ли умирает, то ли просто бросает жену с детьми, когда третьему из них еще только предстоит родиться. Миссис По вынуждена оставить старшего сына у родственников, а сама вместе с годовалым Эдгаром перебирается на Юг и продолжает играть, дабы заработать на пропитание. В Норфолке (Виргиния) появляется на свет Розали По — Элизабет почти до родов занята в спектаклях (напомним, что в Бостоне она вышла на подмостки всего через три недели после рождения Эдгара). Потом семья перебралась в Ричмонд, и тут нищета и недуг быстро скрутили миссис По. Правда, поклонники таланта Элизабет, вернее, поклонницы окружили ее заботой и как могли облегчали последние страдания несчастной. Эдгар остался круглым сиротой в неполные три года. Сразу после кончины Элизабет, той же ночью, две сердобольные дамы забрали детей из убогой каморки к себе.

Нельзя понять характер Эдгара По, если упустить из виду два обстоятельства, наложивших сильнейший отпечаток на его детские годы. Во-первых, психологическое и эмоциональное значение того, что ребенок всегда знал: у него нет родителей и чужие люди приютили его из милости (а милость эта, как мы увидим, оказалась особого свойства). Во-вторых, жил и рос Эдгар на Юге. В ту пору Виргиния в гораздо большей степени воплощала в себе дух Юга, чем можно было судить, бросив беглый взгляд на карту Соединенных Штатов. Так называемая «линия Мэйсона — Диксона», отделявшая южную часть Пенсильвании, служила также границей между Севером и Югом — между умонастроениями, из которых вскоре возникли, с одной стороны, аболиционизм, с другой — южный феодальный, рабовладельческий уклад. Эдгар родился в Бостоне, но рос южанином и в душе всегда им оставался. Многие его нападки на демократию и прогресс, на веру в способность народов к совершенствованию объясняются тем, что он был настоящим «джентльменом с Юга», что его духовные и нравственные принципы сформированы атмосферой Виргинии. Некоторые примечательные особенности южной жизни не могли не повлиять на его воображение: чернокожие кормилицы, рабы, прислуживающие в доме, фольклор с его привидениями, рассказами о кладбищах, о покойниках, которые бродят по лесам. Он

---

[1] Бенедикт Арнольд (1741—1801) — американский генерал, который во время Войны за независимость в 1780 г. перешел на сторону англичан. (*Здесь и далее, кроме особо отмеченных случаев, — прим. перев.*)

© Н. Богомолова. Перевод, 1999

жадно впитывал в себя все эти фантастические истории — и свидетельств тому сохранилось довольно много. Джон Аллан, волей случая сделавшийся воспитателем Эдгара, был шотландским коммерсантом, который перебрался в Ричмонд, где и стал совладельцем торговой табачной фирмы, а также занимался другими делами — поразительно разнообразными, но очень характерными для той эпохи, когда Соединенные Штаты представляли собой огромный испытательный полигон. Аллан, например, распространял британские журналы, и в конторах «Эллис & Аллан» маленький Эдгар рано приохотился к шотландским и английским иллюстрированным изданиям и окунулся в их особый мир. А в этом мире сосуществовали эрудиция и резонерство, «готика» и фантастика, критика и злословие. Там прах великих свершений XVIII века смешивался с набирающим силу романтизмом, там тени Джонсона, Эддисона и Попа медленно отступали перед ослепительным явлением Байрона, поэзией Вордсворта, романами ужаса. Так что многое в культурном развитии Эдгара По, вокруг которого в дальнейшем велись нескончаемые споры, вышло из тех самых прочитанных в раннем детстве журналов.

Элизабет По, мать писателя

Его покровители своих детей не имели. Фрэнсис Аллан стала первой из женщин, коим суждено было сыграть благую роль в жизни По. Она сразу полюбила Эдгара, и это неудивительно, ведь ребенок был на диво красив, он и прежде приводил в восторг подруг и почитательниц несчастной миссис По. Что касается Джона Аллана, то он прежде всего желал угодить супруге — только оттого и принял в дом мальчика, но усыновить его законным образом так никогда и не согласился. Первые биографы По объясняли это эгоизмом и черствостью Аллана; теперь мы знаем, что он имел внебрачных детей и тайно оплачивал их обучение. Кстати, сын его был однокашником Эдгара, так что мистер Аллан ежеквартально вносил в кассу учебного заведения двойную плату. Он принял Эдгара, потому что тот был «замечательным мальчуганом», и в конце концов даже привязался к нему. Аллан по натуре был сухим и жестким человеком, а годы, всякого рода испытания — да и богатство — мало-помалу сделали из него тирана. К обоюдному несчастью, характеры Джона Аллана и Эдгара оказались абсолютно несовместимыми. Через пятнадцать лет это обернется жестоким столкновением, и оба совершат не только непростительные, но и непоправимые ошибки.

Годам к четырем-пяти Эдгар превратился в очаровательное существо с темны-

ми кудрями и большими сияющими глазами. Очень рано он знал наизусть модные в ту пору поэмы (Вальтера Скотта, например), и дамы, собираясь на чай у миссис Аллан, таяли от умиления, когда он торжественно и пылко декламировал длиннющие сочинения. Супруги Аллан разумно руководили его образованием, но окружавший Эдгара в Ричмонде мир дал ему не меньше, чем книги. Его *mammy*, чернокожая нянька — непременная принадлежность всякого богатого дома на Юге, — конечно же, ввела его в мир негритянских ритмов. Наверно, отчасти и этим объясняются позднейший интерес По к декламации, почти одержимость ею, а также ритмическая магия «Ворона», «Улялюма», «Аннабель Ли». Но нельзя забывать и о море — посланниками его становились капитаны парусников; они наведывались в контору Эллиса и Аллана, чтобы обсудить дела фирмы. Они выпивали с ричмондскими компаньонами и подолгу рассказывали о своих приключениях. Маленькому Эдгару, ненасытному слушателю, должно быть, еще тогда явились образы, перекочевавшие потом в «Историю Артура Гордона Пима». Еще тогда он глотнул морского ветра, который много лет спустя станет гулять по его сочинениям и который По сумеет направить прямо в паруса, так что они до сих пор несут вперед придуманные им корабли-призраки.

Правда, вскорости вполне реальный корабль открыл Эдгару волшебство морского путешествия. В 1815 году Аллан, его жена и их воспитанник поплыли в Англию и Шотландию. Аллан хотел укрепить и расширить свои деловые связи, а также повидать многочисленных родственников. Эдгар какое-то время прожил в Эрвине (Шотландия), а потом перебрался в Лондон. Из школьных воспоминаний 1816—1820 годов суждено было родиться той странной и таинственной атмосфере, что царит в начале «Уильяма Уильсона». Повлиял на него и шотландский фольклор. Словно предугадывая жажду универсальности, которая однажды обрушится на По, судьба помогает ему впитать в себя самые разные пейзажи, жизненные ситуации и умонастроения. Он ничего не упускает, все принимает с благодарностью, хотя тень презрения уже ощущается в его взгляде на мир. Настанет день, когда он напишет: «Весь мир — сцена, необходимая лицедейке-литературе».

В 1820 году семья вернулась в Соединенные Штаты. С корабля на берег сошел окрепший, резвый мальчик, ведь в английском колледже гораздо большее значение, чем в Ричмонде, придавалось спортивным занятиям и физической закалке. Скоро Эдгар стал верховодить среди товарищей по играм. Он прыгал выше и дальше всех, умел бить или быть битым — как повезет. Пока еще нет особых знаков, по которым его можно было бы отличить от ровесников. Правда, ему нравится рисовать, нравится собирать цветы и изучать их. Но делает он это чаще украдкой, быстро возвращаясь к прерванным играм. Он покровительствует маленькому Бобу Салли, защищает его от старших ребят, помогает готовить уроки. Порой он куда-то исчезает и часами пропадает, поглощенный загадочным делом: в тайне от всех он сочиняет первые стихи, переписывает их красивым почерком набело и прячет в укромное место — поглощая при этом хлеб с мармеладом.

ЮНОСТЬ

Но года с 1923-го или 1924-го Эдгар начинает отдавать стихам весь пыл своей пятнадцатилетней души. Стихи посвящались девочкам, прежде всего ученицам известной элитарной школы. Сестра Эдгара Розали — она тоже воспитывалась в одной из ричмондских семей — служит посредницей, помогая посланиям попасть в руки красавиц. Но у юного сердцееда остается время и на другие подвиги. В те годы образцом для всех молодых поэтов был Байрон, и Эдгар желает подражать ему во всем. Так, он поразил товарищей и учителей, проплыв шесть миль против течения по реке Джеймс, и на один день сделался истинным героем. Теперь он мог похвалиться отменным здоровьем, хотя в детстве был довольно хилым. Отягощенная наследственность проявлялась пока лишь в некоторых признаках преждевременного взросления и исключительных способностях. При этом гордый нрав, повышенная возбудимость и вспыльчивость (порожденная на самом деле слабоволием) заставляли его во всем рваться к первенству и ненавидеть соперников.

Именно тогда он познакомился с «Еленой» — своей первой и недостижимой любовью. Но это был еще и первый урок покорности судьбе, а именно под такими

знаками будет протекать вся его дальнейшая жизнь. Мы назвали это покорностью судьбе, но лучше сразу объяснить, что имеется в виду. В длинной галерее женщин «Елена» стала первой, в кого Эдгар По влюбился, наверняка зная, что это идеал — только идеал, и влюбился он именно потому, что она была идеалом, а не просто женщиной, которую можно завоевать. Миссис Джейн Стэнард, молодая мать одного из школьных товарищей, явилась ему как олицетворение всех смутных детских мечтаний и жадных юношеских предчувствий. Она была красива, нежна, обладала самыми изысканными манерами. «Елена, красота твоя, / Как челн никейский легкокрыла...»[1] — напишет о ней Эдгар в одном из самых загадочных и восхитительных своих стихотворений. Встретиться с ней значило для него переступить порог взрослой жизни.

Подростка, спешившего к приятелю всего лишь ради игр, встретила Муза. И здесь нет ни капли преувеличения. Эдгар отступил, ослепленный, увидав женщину, которая протягивала ему руку для поцелуя и вовсе не догадывалась, что́ это означало для него. Сама того не зная, «Елена» заставила его вот так сразу войти в новый мир. Эдгар подчинился. Любовь его была тайной, идеальной и длилась всю жизнь — витая над прочими увлечениями и одновременно таясь под ними. Разница в возрасте и социальном положении определила внешний характер их отношений, придала им форму дружеских бесед, и они продолжались до того дня, когда Эдгару больше нельзя было посещать дом Стэнардов. «Елена» заболела, безумие — еще один роковой знак в мире поэта — отгородило ее от друзей. В 1824 году она умерла — в тридцать один год. Существует некая «бессмертная легенда», согласно которой Эдгар ночами приходил на могилу «Елены». Но сохранились и более достоверные свидетельства, столь же «бессмертные», хотя и менее романтичные, — они доносят до нас его растерянность, загнанные внутрь боль и тоску. В школе Эдгар по большей части молчал, бежал развлечений, охладел к шалостям, все его товарищи заметили это, не подозревая о причине, и лишь много лет спустя, когда узналось, кем он в действительности стал, былые друзья наперебой принялись вспоминать о том периоде в своих мемуарах и письмах.

В доме Алланов (который для Эдгара, уже трезво глядевшего на социальную реальность, не был родным домом) он редко находил утешение. Приемная мать всегда нежно его любила, но ее начал одолевать загадочный недуг. Джон Аллан становился с каждым днем все более суровым, а Эдгар — все более строптивым. Кажется, именно тогда мальчик узнал, что у его покровителя имеются внебрачные дети, и понял, что сам он никогда не будет усыновлен официально. Скорее всего, сперва Эдгар почувствовал жгучую обиду за Фрэнсис: Аллан нанес ей оскорбление своей изменой. Сама она тоже обо всем узнала и, вероятно, жаловалась Эдгару, который решительно взял ее сторону. Разлад усугубился и тем, что как раз в эти дни Джон Аллан сделался миллионером, унаследовав дядюшкино состояние. Как ни парадоксально это звучит, но именно теперь Эдгар потерял последнюю надежду на усыновление. К тому же весьма рано начала проявляться его редкостная неуживчивость. Он не умел сглаживать шероховатости в общении или подлаживаться, чтобы завоевать любовь покровителя, то есть вести себя так, как тому нравится. Нет, он выбрал путь анархический, на который его толкали природный темперамент и духовные склонности. Джон Аллан начал понимать, что значит иметь в доме поэта — или человека, желавшего стать поэтом. Он мечтал сделать из Эдгара адвоката или хорошего коммерсанта — как он сам. Думается, нам нет нужды добавлять что-то еще, суть их будущих ссор и столкновений и так ясна.

Кризис вызревал медленно. Эдгар еще был ребенком, баловнем «мамы» и добрейшей «тетушки», и слыл блестящим учеником — к удовольствию Джона Аллана. В те дни маркиз де Лафайет[2] по случаю пятидесятилетия Войны за независимость задумал объехать места своих боевых подвигов. Эдгар с товарищами организовали почетную гвардию — одетые в военную форму и вооруженные мальчишки сопровождали французского генерала.

Эти военные забавы не мешали Эдгару жадно читать все, что попадало под руку; но счастливым он в ту пору не выглядел, и даже переезд в новый великолепный дом — соответствующий огромному богатству покровителя, — где мальчик полу-

---

[1] Перевод Р. Дубровкина.

[2] Мари Жозеф Лафайет (1757—1834) — французский политический деятель, участвовал в Войне за независимость в Северной Америке в звании генерала американской армии.

чил прекрасную и удобную комнату, не доставил ему радости. Легко догадаться, что горделивые заявления Эдгара о намерении стать поэтом наталкивались на холодные иронические комментарии и презрительные гримасы Джона Аллана. Между тем Эдгар вырос, «военные» же увлечения сделали его еще более задиристым и своенравным. К тому же в доме Алланов теперь царила тревожная атмосфера, что только подстегнуло развитие событий. Покровитель видел в Эдгаре взрослого человека, то есть говорили они меж собой как мужчина с мужчиной. Однажды Эдгар упрекнул воспитателя в том, что он изменял «маме» Фрэнсис. Аллан, в свою очередь, видимо, бросил в ответ слова, которые глубочайшим образом ранили юношу. Теперь мы знаем, какие это были слова: порочащий миссис По прозрачный намек на то, кто был истинным отцом младшей сестры Эдгара — Розали. Можно вообразить себе реакцию Эдгара. Но привязанность к Аллану все еще оставалась слишком крепкой, и наступила новая мирная передышка. Передышка приятная, потому что Эдгар влюбился в молоденькую девушку с красивыми локонами — Сару Эльмиру Ройтер, которой было суждено сыграть в его жизни странную роль: она рано исчезла из нее, чтобы под конец, словно воскреснув, снова оказаться рядом. Пока же любовь их переживала рассветную пору, и Эльмира весьма пылко отвечала на чувства Эдгара, что вполне характерно для девушек из Виргинии. В планы Джона Аллана вовсе не входила женитьба Эдгара на Эльмире, кроме того, пора было думать о поступлении в университет. Несомненно, он имел беседу с мистером Ройтером, и результатом беседы стал гнусный и вероломный сговор: письма Эдгара к Эльмире перехватывались, а девушку со временем заставили поверить, будто возлюбленный забыл ее, и согласиться выйти замуж за некоего Шелтона — тот гораздо более соответствовал представлениям Аллана и родителей Эльмиры о том, каким должен быть настоящий супруг. Но это дело будущего, а пока, в феврале 1826 года, Эдгар прощается с Фрэнсис и Джоном Алланами и отправляется на учебу в университет. С дороги он написал письмо Эльмире и доверил для передачи извозчику, который вез его в Шарлотсвилл. Это письмо, скорее всего, и стало последней весточкой, полученной от него девушкой.

С. Ройстер

Существует много воспоминаний о студенческой жизни По, и они рисуют климат свободы нравов и анархии, царивший в новоиспеченном университете, на который такие надежды возлагал его основатель Томас Джефферсон, и то, какое влияние университет оказал на поэта, сыграв роль катализатора для подспудно уже наметившихся склонностей. Студенты, как правило дети из богатых семей, картежничали, бражничали, устраивали дуэли, бросали деньги на ветер, делали долги, ибо были уверены, что родители в конце учебного года их погасят. С Эдгаром случилось то, что легко было предвидеть: Джон Аллан посылал ему ничтожно мало денег, их едва хватало на самое необходимое. Эдгар упорно пытался жить так же, как и товарищи, чему нетрудно найти оправдание, учитывая время и место действия, — ведь и сам покровитель воспитывал его в обычаях социальной среды с определенными материальными потребностями. С одной стороны, он давал ему отличное образование, наилучшее из возможных в ту эпоху, а с другой — отказывал в средствах, нужных, чтобы не стыдиться перед товарищами-южанами. И в этом проявлялась не только скупость, но и недостаток здравого смысла — вообще ума — у Джона Аллана. Эдгар в письмах «домой» часто просил небольшие дополнительные суммы; он скрупулезно сообщал о всех своих тратах, стремясь показать Аллану, что получаемых денег не хватает на самое элементарное. Легко предположить, что в то время Аллан уже обдумывал, как бы окончательно отделаться от Эдгара, ведь Фрэнсис чувствовала себя все хуже, а мальчишка мог стать препятствием для осуществления его дальнейших планов. И надо сказать, поведение Эдгара в университете развязывало Аллану руки.

Во всем доходящий до крайности, неспособный хладнокровно взвешивать свои поступки, Эдгар сам невольно помогал ему. Добавим сюда и отчаяние: он не получал ответа от Эльмиры и боялся, что она забыла его или что какая-то интрига Ройтеров и Алланов разлучила его с невестой — а именно невестой считал он тогда Эльмиру. К той же поре относятся первые упоминания об алкоголе: По играл, неизменно проигрывал и пил — чему университетская атмосфера весьма способствовала. В этой связи вспоминают Пушкина — «русского По». Но Пушкину спиртное не шло во вред, а на По оно с самого начала действовало ужасным и странным образом, и есть тому лишь одно приемлемое объяснение: гиперчувствительность (он являл собой «клубок нервов») и дурная наследственность. Ему довольно было выпить стакан рома — а выпивал он его непременно залпом, — чтобы наступила сильнейшая реакция. Хорошо известно, что от одного стакана он впадал в состояние исключительного умственного просветления: превращался в блестящего собеседника, душу общества, «гения на миг». От второго стакана Эдгар совершенно пьянел, а пробуждение было медленным и мучительным. Он маялся многие дни, прежде чем возвращался к нормальному состоянию. Естественно, в семнадцать лет это переносилось гораздо легче, а вот после тридцати все осложнилось. Тогда-то, в Балтиморе и Нью-Йорке, подобные эпизоды и породили легенду о нем — самую, к сожалению, стойкую и известную.

Студентом Эдгар был блестящим. Судя по воспоминаниям соучеников, он быстро сделался интеллектуальным лидером в группе золотой молодежи Виргинии. Без видимого труда он говорил на классических языках и переводил с них, выучивал уроки, пока кто-нибудь из товарищей читал вслух, и завоевывал авторитет у преподавателей и студентов. Ненасытно глотал книги по естественной и древней истории, математике, астрономии и, разумеется, стихи и романы. Его письма к Аллану дают весьма живое представление об опасной атмосфере, царящей в университете, где студенты пускают в ход пистолеты, устраивают отнюдь не безобидные поединки, а в остальное время пируют на природе или в ближайших трактирах. Все идет колесом: учеба, карты, попойки, рискованные забавы. И вот наступил момент, когда картежные долги Эдгара достигли значительной суммы, а Аллан, придя в бешенство, наотрез отказался оплатить их. Эдгару пришлось покинуть университет. В те времена из-за неуплаченного долга можно было угодить в тюрьму или оказаться выдворенным из штата, где долг был сделан. Эдгар разломал всю мебель в своей комнате и возжег прощальный костер (шел декабрь 1826 года). Домой он ехал вместе с товарищами по университету — для них начинались каникулы.

Дальше события развивались очень быстро. Блудный сын был встречен Фрэнсис с всегдашней нежностью, а вот «дорогой папа» (так Эдгар называл его в письмах) задыхался от гнева, оценивая результаты учебного года. К тому же, едва вернувшись в Ричмонд, Эдгар обнаружил, что на самом деле произошло с Эльмирой, которую предусмотрительные родители теперь услали из города. Естественно, обстановка в доме Алланов воцарилась напряженная и шаткое примирение, достигнутое на рождественские и новогодние праздники, быстро рухнуло. Разлад между двумя мужчинами вспыхнул с новой силой. Аллан возражал против возвращения Эдгара в университет, не желал оказывать ему содействие в поиске работы, но в то же время упрекал в безделье. В ответ Эдгар тайком написал в Филадельфию, пытаясь договориться о месте. Узнав об этом, Аллан дал ему двенадцать часов на размышления: Эдгар должен подчиниться его воле (то есть начать изучать юриспруденцию или готовить себя к любой другой полезной деятельности). Эдгар размышлял всю ночь и наотрез отказался; последовала бурная сцена со взаимными оскорблениями, и непокорный воспитанник, хлопнув дверью, ушел из дома и тем самым еще больше разгневал Джона Аллана. Несколько часов Эдгар бродил по городу, потом написал из какого-то трактира письмо «домой» с просьбой передать ему баул с вещами, а также деньги на билет в Нью-Йорк и на прожитие до устройства на работу. Аллан не ответил. Эдгар написал снова — с тем же результатом. Наконец «мама» сумела отправить ему вещи и немного денег. К немалому своему удивлению, Аллан убедился, что голод и невзгоды не сломили Эдгара, как он рассчитывал. Эдгар сел на корабль и отправился в Бостон на поиски счастья, и между 1827 и 1829 годами в его жизни возникает пробел, который позднее неуемные биографы примутся заполнять, придумывая фантастические заокеанские путешествия и романтические приключения

— в России, Англии и Франции. Стоит ли говорить, что помогал им — даже после смерти — сам Эдгар, ведь он же в первую очередь и измышлял романтические подробности, призванные оживить и украсить его жизнеописание. Сегодня мы знаем, что он не покидал Соединенных Штатов. Зато вел себя так, как и должен вести себя человек, исполненный решимости следовать за своей звездой. Едва прибыв в Бостон, он, благодаря случайно завязавшейся дружбе с молодым владельцем типографии, опубликовал свою первую книгу — «Тамерлан и другие стихотворения» (май 1827 года). В предисловии он утверждал, будто все стихотворения были им написаны, когда ему еще не исполнилось четырнадцати лет. Что ж, выходит, и тогда он умел отыскивать какие-то особые слова, какие-то завораживающие интонации, открывал некие пограничные пространства между реальным и нереальным мирами — то есть уже был поэтом. Остальное — неопытность и искренность. Разумеется, книга совершенно не продавалась.

Эдгар хлебнул такой нищеты, что пошел на более чем сомнительный шаг — завербовался в армию рядовым солдатом. Он боролся за выживание, порой с грустью заглядывая в собственную душу. Правда, не упускал случая присмотреться и к тому, что происходило рядом. Так ему удалось собрать материалы для будущего «Золотого жука» — пригодились живописные декорации, окружавшие форт Моултри в Каролине, где прошла бóльшая часть этого времени и где он бесповоротно расстался с юностью.

МОЛОДОСТЬ

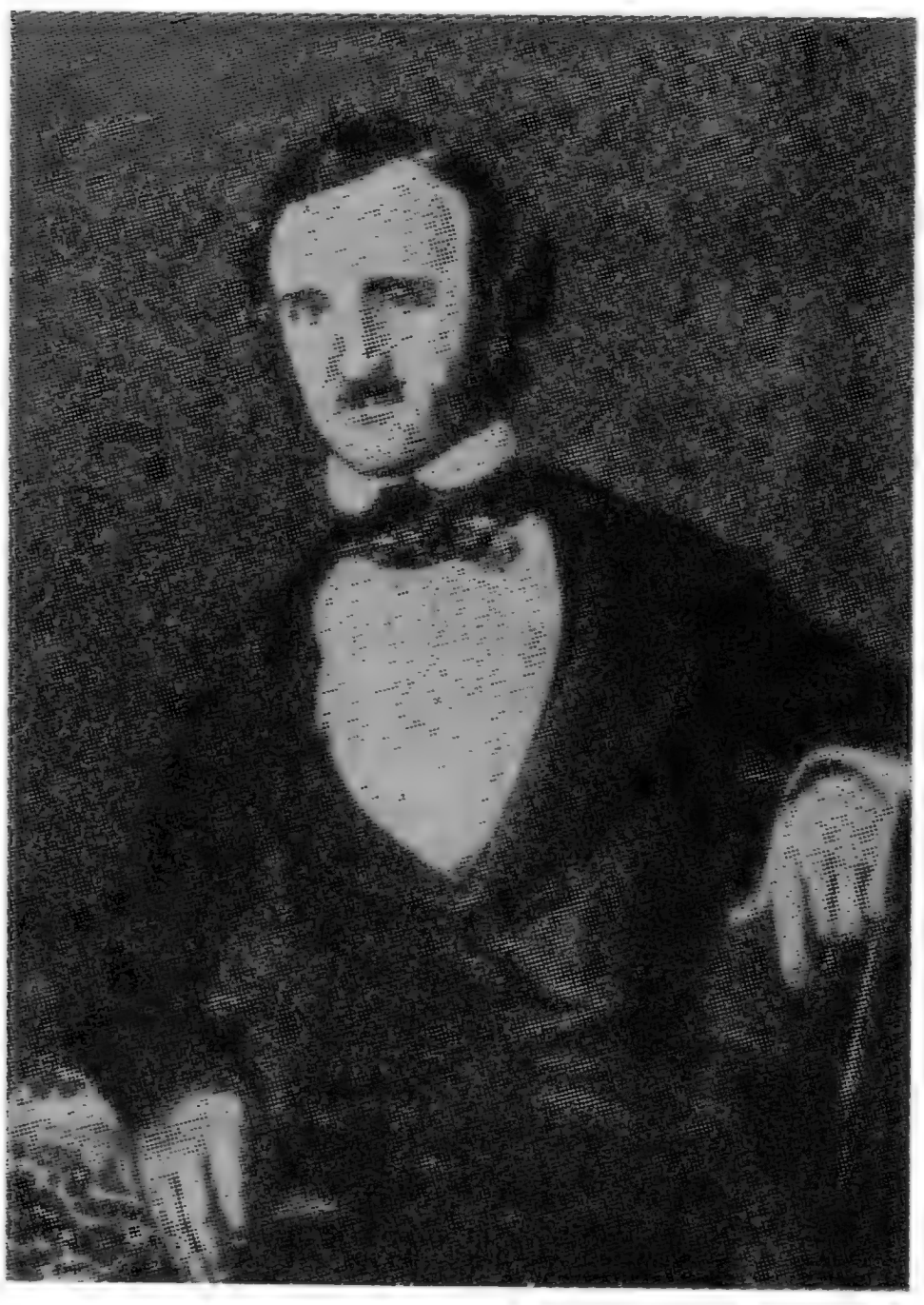
Солдат Эдгар А. Перри — под этим вымышленным именем он завербовался — службу нес безукоризненно и вскоре был повышен в звании до сержант-майора. Но он испытывал тоскливое отвращение к окружавшим его посредственностям, а ведь с ними ему приходилось иметь дело постоянно. Кроме того, он принял твердое решение посвятить себя литературе, для чего необходимы были свободное время, библиотеки, контакты с людьми иного круга. Все это заставило его искать примирения с Джоном Алланом. Эдгар По подписал контракт на пять лет, и оставалось еще три года службы. Так что Эдгар обратился к Аллану с просьбой известить военное начальство о своем согласии на увольнение воспитанника в запас. Аллан ему не ответил, а вскоре Эдгар получил перевод в Виргинию. Он оказался совсем рядом со своим домом, ему страстно хотелось увидеть «маму», состояние которой все ухудшалось. Эдгар уже понял: Аллан не согласится на его увольнение из армии, если он вновь заведет речь о литературной карьере, и решил пойти на временный компромисс, надеясь, что воспитатель поддержит его в случае поступления в военную академию в Уэст-Пойнте. Это была карьера, и великолепная карьера. Аллан согласился. Но именно тогда Эдгару во второй раз в жизни довелось испытать большое горе. «Мама» Фрэнсис Аллан умерла, пока он оставался в казарме. Письмо Аллана пришло слишком поздно, и воля умирающей не была исполнена, а она до самого конца молила привести к ней Эдгара. Эдгару не довелось попрощаться даже с покойной Фрэнсис. Он пришел лишь на ее могилу (которая оказалась совсем близко от могилы «Елены», да и в сердце его обе женщины жили рядом) и, не выдержав, потерял сознание. Чернокожим слугам пришлось на руках нести его до экипажа.

Поступлению в Уэст-Пойнт предшествовала поездка в Балтимор. Эдгар хотел восстановить отношения со своими настоящими родственниками, что ввиду дурного расположения к нему воспитателя обретало особое значение. К тому же он оставался верен тайно принятому решению и теперь стремился напечатать «Аль-Ааараф» — длинную поэму, на которую возлагал пока еще ничем не обоснованные надежды. Можно сказать, что это был переломный момент в жизни По, хотя его биографам он таковым не кажется — возможно, потому, что особой драматичностью или театральностью события окрашены не были, в отличие от многих других. Но именно в мае 1829 года Эдгар, располагая скудными средствами, которые выделил ему Аллан на жизнь и подготовку к отнюдь не легкому поступлению в Уэст-Пойнт, принимается устанавливать первые настоящие контакты с издателями и редакторами журналов. Как и следовало ожидать, он не сумел издать поэму — денег на это не нашлось. Нужда

давила его самым жестоким образом, и Эдгару в конце концов пришлось переехать к своей тетушке Марии Клемм, вместе с которой жили также его бабушка по отцу миссис Дэвид По, его старший брат (персонаж смутный: он умер двадцати пяти лет от роду, на нем семейная наследственность сказалась самым быстрым и роковым образом) и дети миссис Клемм, Генри и маленькая Вирджиния. Именно с последней связана будет сложная и так никогда и не разрешенная загадка в жизни поэта.

Забегая вперед, подчеркнем: миссис Клемм стала в полном смысле слова ангелом-хранителем Эдгара, его настоящей матерью (он так и называет ее в одном из сонетов), его «Мадди» — в самые черные часы и в самые мучительные годы. Эдгар поселился в ее убогом доме, который миссис Клемм содержала, зарабатывая кое-что шитьем и пользуясь милосердием родственников и соседей. Эдгар мог предложить ей лишь свою молодость и надежды на будущий успех. Мадди приняла его так, словно сразу поняла, что необходима Эдгару в самых разных смыслах. Она горячо полюбила его, чему наш рассказ даст еще не одно подтверждение. Теперь у Эдгара было прибежище — мансарда, которую он делил с умирающим от чахотки братом. Он мог спокойно писать и пытаться завязать связи с издателями и критиками. Благодаря рекомендациям Джона Нила, весьма известного в ту пору писателя, отыскался наконец издатель для «Аль-Аарафа». Поэма вышла вместе с «Тамерланом» и другими стихотворениями из уже забытого всеми первого сборника.

Эдгар мог быть доволен. Он вернулся в Ричмонд, чтобы дожидаться в доме Джона Аллана — который пока еще оставался «его» домом — начала занятий в Уэст-Пойнте. Эдгару трудно было угадать, как поведет себя воспитатель в подобных обстоятельствах, ведь он отказался финансировать издание стихов, но стихи — вопреки его воле — все же увидели свет. Эдгар, вне всякого сомнения, вел разговоры о своих литературных планах и раздаривал экземпляры новой книги друзьям (хотя они не поняли там ни слова, даже друзья по университету). В конце концов какое-то замечание Аллана по поводу «безделья» Эдгара вызвало очередную ссору. Но в марте 1830 года По был принят в военную академию; в последних числах июня он сдал экзамены и принял присягу. Стоит ли говорить, с какой грустью он переступал порог Уэст-Пойнта, где его ждали еще более тяжкие и неприятные ему обязанности, чем простые обязанности рядового солдата. Выбора, как и три года назад, у него не было: либо «карьера», либо смерть от голода. Ради призрачных достоинств и блеска военной формы он терял молодые годы. Эдгар отлично понимал, что не создан для армейской жизни даже с точки зрения физической: когда-то безупречное здоровье рано начало разрушаться, и суровая кадетская муштра вскоре сделалась для него слишком тяжелой, почти непосильной. Но гораздо острее организм его отзывался на апатию и тоску, которые овладели им в академии, где лишь считанные минуты в день могли быть посвящены размышлениям (о чем-то еще, кроме учебного материала, то есть о поэзии, о литературе) и творчеству. Джон Аллан, в свою очередь, занял ту же позицию, что и в пору учебы Эдгара в университете: сразу обнаружилось — присылаемых денег не хватает даже на самое необходимое. И бессмысленно было сочинять жалобные письма, доказывать, как смешно он выглядит в глазах более обеспеченных товарищей. Спасали его только авторитет «старика» да легкость, с какой он придумывал себе небывалые путешествия и романтические приключения. Многие им верили — не случайно полвека спустя истории эти перекочуют в биографии поэта.



Эдгар По в молодости

Гордый, язвительный нрав тоже немало помогал ему, хотя подобные свойства не всегда идут на пользу их обладателю, в чем он скоро сам убедился. Он задыхался в атмосфере академии — пошлой, до тошноты серой, враждебной всякому воображению и творческой энергии. Он спасался, ища уединения, обдумывая будущую поэтику (при весомой помощи Колриджа). Между тем из «дома» до него дошли известия о новом браке Джона Аллана, и он понял, уже не пытаясь обманываться дальше, что надо оставить всякую надежду на поддержку. И он не ошибся: Аллан мечтал о законных детях, а новая миссис Аллан с первого дня выказала враждебность по отношению к неведомому ей «актерскому сыну», который учился в Уэст-Пойнте.

Эдгар надеялся пройти курс за шесть месяцев — в расчете на былые университетские и военные знания. Но, оказавшись в академии, обнаружил, что это невозможно по административным причинам. Вероятно, он не стал долго размышлять. На Аллана он больше не надеялся, поэтому и не боялся рассердить его. Эдгар решил подстроить собственное исключение из академии: только так можно было покинуть Уэст-Пойнт, не нарушая принесенной присяги. Осуществить задуманное оказалось просто. Эдгар слыл блестящим учеником, а посему пришлось избрать путь дисциплинарных нарушений. Частые и злостные проступки — например, прогулы занятий или религиозных служб — не могли не повлечь за собой исключения. Но прежде Эдгар еще раз доказал, каким редким чувством юмора обладал: с помощью одного полковника он добился, чтобы кадеты по подписке собрали средства на издание его новой книги стихов, родившихся во время краткого пребывания в Уэст-Пойнте. Все полагали, что это будет книжица, полная сатирических забавных куплетов об академии, но нашли там «Израфила», «К Елене» и «Линор». Нетрудно представить, какую это вызвало реакцию.

Разрыв с Алланом казался окончательным, дело усугубила еще одна грубая ошибка Эдгара: в момент отчаяния он написал письмо заимодавцу, где в свое оправдание ссылался на скаредность воспитателя, который, по его словам, вдобавок редко бывал трезвым. Последнее замечание — чистейшая клевета! — дошло до Аллана. Его письмо к Эдгару не сохранилось, но наверняка было ужасным. Эдгар ответил, упрямо настаивая на своем утверждении и изливая потоки горечи и упреков. В итоге 19 февраля 1831 года он, завернувшись в кадетский плащ, с которым отныне не расстанется до конца дней своих, сел на корабль и отправился в Нью-Йорк. На поиски счастья и — себя самого.

В марте голодный и несчастный По чуть не завербовался солдатом в армию Польши, восставшей против России. Его ходатайство отклонили. Зато в это же время увидела свет первая действительно заметная книга его стихотворений, «почтительно посвященная военной академии». В новых стихах Эдгар По уже полностью показывает себя, в них (хотя они будут бесконечно переделываться) главные черты его поэтического гения засверкали поразительным светом — правда, увидели его лишь немногие из откликнувшихся на книгу критиков. Словесная магия — вот самое удивительное в его поэзии, именно она становится выразительницей смутного и сумрачного лирического настроения как в любовных стихах, где витают тени «Елены» или Эльмиры, так и в метафизических — почти космогонических. Когда измученный нуждой Эдгар По вернулся в Балтимор и снова нашел приют у миссис Клемм, он привез в кармане нешуточное доказательство того, что сделал правильный выбор и что — вопреки своим слабостям, порокам и метаниям — умел быть «верным самому себе».

Не успел По приехать в Балтимор, как скончался его старший брат. Теперь он остался один в мансарде, которую прежде делил с больным, и мог работать с относительными удобствами. Его внимание, до сих пор целиком сосредоточенное на поэзии, обращается к рассказу — жанру, более «продаваемому», что в тех обстоятельствах оказалось весомейшим аргументом. К тому же жанр этот весьма интересовал молодого автора. Эдгар быстро убедился: его поэтический талант, направленный в должное русло, поможет создать в прозе совершенно особую атмосферу, которая станет подчинять себе все прочее. И открытие это поразило в первую очередь его самого. Главным было не путать рассказ со стихотворением в прозе, но еще важнее — не превратить рассказ в подобие отрывка из романа. Но уж такие-то элементарные ошибки Эдгар совершить не мог. Первый из опубликованных им рассказов, «Метценгерштайн», родился, как Афина Паллада, в полном боевом вооружении —

ему были присущи все достоинства, которые в последующие годы По отшлифует до совершенства.

Нищета с давних пор была неразлучной подругой миссис Клемм. Мадди привыкла делать покупки в долг, привыкла, что приятельницы потихоньку клали в ее корзинку то немного овощей, то яйца, то фрукты. Эдгара почти не печатали, и те немногие доллары, которые он изредка зарабатывал, улетучивались в одно мгновение. Известно, что тогда он вел строгий образ жизни и старался чем мог помочь тетушке. Но тут всплыл какой-то старый долг (возможно, долг брата), а вместе с ним угроза ареста и тюрьмы. Эдгар написал Джону Аллану в самом жалобном и отчаянном тоне, какой только можно себе представить: «Ради Христа, не дай мне погибнуть из-за суммы, потери которой сам ты и не заметишь...» Аллан помог — в последний раз — через третье лицо. Тюрьма больше не грозила Эдгару. Те, кто обнаруживает разного рода недостатки в литературной и общекультурной эволюции По, не должны забывать: в 1831—1832 годы, когда был сделан окончательный выбор в пользу писательского ремесла, он работал, преследуемый голодом, нищетой и вечным страхом. Тот факт, что он смог идти вперед и день за днем одолевал все новые ступени, восходя к художественному мастерству, доказывает, какая сила таилась в этом величайшем из слабовольных людей. Но порой Эдгар все же срывался, хотя неизвестно, много ли он тогда пил (ведь для него и небольшая доза неизменно оказывалась фатальной). Он влюбился в Мэри Деверо — молодую и красивую соседку Клеммов. Для Мэри поэт воплощал в себе нечто таинственное, в какой-то степени даже запретное — уже гуляли слухи о его прошлом, правда по большей мере распространяемые им самим. Кроме того, Эдгар обладал внешностью, которая производила сильнейшее впечатление на всех женщин, с которыми сводила его судьба. Много лет спустя Мэри описывала его так: «Мистер По имел около пяти футов и восьми дюймов росту, темные, почти черные волосы носил длинными и зачесывал назад, как это принято у студентов. Волосы у него были тонкие, как шелк, глаза большие и сверкающие, серые, взгляд проницательный. Лицо было гладко выбрито. Нос — прямой и длинный, черты лица очень тонкие, рот выразительный, красивый. Он был бледен, мертвенно бледен, кожа имела замечательный оливковый оттенок. Взгляд у него был печальный и меланхолический. Он отличался крайней худобой... но фигура была изящной, держался он прямо, по-военному, ходил быстро. Самым очаровательным в нем были его манеры. Он был элегантен. Когда он смотрел на кого-то, казалось, что он умеет читать чужие мысли. Голос у него был приятный, музыкальный, но не глубокий. Он неизменно носил черный сюртук, застегнутый доверху... Он не следил за модой, у него был собственный стиль».

Вот такой портрет. Стоит ли удивляться, что молоденькая девушка подпала под чары приударившего за ней соседа. Но идиллия не продлилась и года. Царившая в ту эпоху ханжеская мораль сделала свое дело. «Мистер По не уважал законы — ни Божеские, ни человеческие»,— напишет в своих поздних воспоминаниях Мэри. Мистер По оказался ревнивцем и устраивал бурные сцены. Мистер По не соблюдал приличий. Мистер По посчитал себя оскорбленным, когда дядя Мэри вмешался в отношения влюбленных, мистер По купил хлыст, бросился к названному джентльмену и отхлестал его. Родичи джентльмена в ответ побили мистера По и разорвали ему сюртук сверху донизу. Финальная сцена оказалась достойной лучших романтических пьес: мистер По в таком виде, сопровождаемый толпой мальчишек, пересек весь город, учинил скандал у дверей Мэри, вломился в дом и наконец бросил хлыст к ногам девушки с криком: «На, получай, вот тебе подарок!». Но случай этот не только забавен, но и крайне важен: мы впервые видим Эдгара в разорванном платье, потерявшим над собой всякий контроль; здесь он встает перед нами таким, каким в будущем покажет себя не раз и не два — совершенно не способным и не желающим подчиняться законам, установленным среди людей. Семья Мэри довела дело до конца — мистер По потерял невесту. Утешительно думать, что сам он не слишком об этом сожалел.

В июле 1832 года Эдгар узнал, что Джон Аллан тяжело болен и составил завещание. Он немедленно отправился в Ричмонд. Зачем? Видимо, тут сыграли свою роль и материальные интересы, и воспоминания о прошлом. Его никто не звал, он приехал неожиданно, без предупреждения и тотчас столкнулся лицом к лицу с новой миссис Аллан, которая немедленно дала ему понять, что для нее он — назойливый

проходимец. Легко представить себе бурную реакцию Эдгара, ведь в этих стенах прошло его детство, здесь все хранило память о его «маме». К несчастью, ему снова недостало выдержки, и он устроил бурную сцену, не найдя в себе, правда, смелости предстать перед Алланом, и выбежал из дома именно в тот миг, когда воспитатель, спешно призванный, приближался к месту действия. Так что визит кончился полной неудачей, и Эдгар вернулся в Балтимор — к привычной нищете.

В апреле 1833 года он напишет «покровителю» последнее письмо. Там есть слова, которые не требуют комментариев: «Ради Господа Бога, сжалься надо мной и спаси от гибели». Аллан не ответил. Эдгар же в это самое время завоевал первую премию (50 долларов) за рассказ «Рукопись, найденная в бутылке», посланный на конкурс в журнал («Балтимор сатердей визитер»). Так что от рассказов его было больше проку, чем от писем.

1833 год и большая часть следующего стали временем изнурительного труда в ужасающей нищете. По уже обрел известность в просвещенных кругах Балтимора, а рассказ-победитель принес ему восторженные хвалы. В начале 1834 года до него дошли вести о том, что Аллан находится при смерти, и, недолго думая, Эдгар предпринял вторую, и столь же бессмысленную, попытку навестить «свой» дом. Оттолкнув мажордома, которому, видно, были даны указания не впускать его, Эдгар вбежал по лестнице и остановился у двери комнаты, где обезножевший от водянки Джон Аллан, сидя в кресле, читал газету. Увидев Эдгара, больной пришел в ярость: он попытался встать, размахивая палкой над головой и изрыгая чудовищные проклятия. Прибежали слуги и выкинули Эдгара вон. Вскоре в Балтиморе узнали о смерти Аллана. Тот не оставил воспитаннику ни гроша из своего огромного состояния. Но справедливости ради заметим, что, согласись Эдгар следовать по одной из тех надежных дорог, кои предлагал ему покровитель, Аллан, вне всякого сомнения, помогал бы ему до конца. Эдгар имел полное право идти своим путем, но и на Аллана не стоит возводить напраслину. Истинная вина его заключалась не в том, что он «не понимал» Эдгара, а в том, что он вел себя без нужды скупо и жестоко, вознамерившись во что бы то ни стало загнать в угол и укротить строптивого мальчишку. В итоге мистер Джон Аллан проиграл поэту во всех отношениях, но победа Эдгара слишком походила на Пиррову и приводила в отчаяние в первую очередь самого победителя.

Теперь мы подступаем к «загадочному эпизоду», к провокационной теме, которая заставила пролиться буквально реки чернил. Маленькая Вирджиния Клемм, кузина Эдгара, в скором времени сделалась его невестой, а потом и женой. Вирджинии едва исполнилось тринадцать лет, Эдгару было двадцать пять. Заметим, что в те времена считалось обычным делом, когда девушки выходили замуж в четырнадцать лет. Другое обстоятельство придает всей истории некий надрыв: умственно Вирджиния была недостаточно развита и до самой своей смерти сохраняла детские повадки. Мадди не противилась ни ухаживаниям Эдгара за Вирджинией, ни свадьбе (хотя бракосочетание прошло тайно, из боязни вызвать гнев остальных родственников, — гнев вполне вообразимый). Отсюда следует, что раз Мадди доверила дочь Эдгару, у нее не было в нем никаких сомнений. Вирджиния обожала своего «кузена Эдди» и, должно быть, согласилась на брак со свойственным ей детским легкомыслием: ее приводила в восторг мысль о том, чтобы сделаться женой такого известного молодого человека. Загадка кроется в нем самом. Да, он всегда и всей душой любил свою Сис и не раз докажет это на деле. Но любил ли он ее как женщину и почему сделал своей женой? Это было и остается предметом горячих споров. Одна из самых разумных, на наш взгляд, версий сводится к следующему: По женился на Вирджинии, чтобы иметь защиту в своих отношениях с другими женщинами и чтобы удерживать эти отношения в дружеских рамках. Не случайно только после смерти жены любовные увлечения Эдгара обрели былую необузданность, хотя в них всегда было что-то смутное и двусмысленное. Но от чего же защищал себя Эдгар? Вот здесь-то и открываются шлюзы, начинают литься чернила. Мы же не станем добавлять в словесную реку еще один ручеек. Единственно правдоподобным нам видится предположение, что у Эдгара По были какие-то сексуальные проблемы на психической почве, и это, с одной стороны, заставляло его сублимировать свои влечения в мечты, в сферу идеального, с другой же — настолько мучило, что ему требовалась по крайней мере видимость нормальности — а такую видимость и обеспечивал брак с Вирджинией. Много говорилось о садизме, о нездоровом влечении к незрелой — или едва всту-

пившей в пору зрелости — женщине... История эта рождает бесконечные версии[1].

В марте 1835 года Эдгар переживает невероятный творческий подъем, но в то же время у него нет приличного костюма, чтобы принять приглашение на обед. В чем он и вынужден был к стыду своему признаться в письме к некоему доброжелателю, решившему помочь ему осуществить литературные планы. Честное признание оказалось верным шагом. Джентльмен немедленно связал Эдгара с ричмондским журналом «Южный литературный вестник» («Саутерн литерари мессенджер»). Там напечатали «Беренику», а несколько месяцев спустя Эдгар в очередной раз вернулся в «свой» город — чтобы сделаться штатным сотрудником этого журнала, то есть впервые поступить на постоянную службу. Между тем у него стало явно ухудшаться здоровье. Есть свидетельства, что именно в балтиморский период Эдгар принимал опий (лауданиум — как Де Куинси и Колридж). Сердце давало сбои и нуждалось в стимуляторах — на помощь приходил опий. Опий же, видимо, надиктовал ему бóльшую часть «Береники» и надиктует еще много других рассказов. Возвращение в Ричмонд означало мгновенное воскрешение, возможность печатать написанное и, разумеется, возможность зарабатывать хоть какие-нибудь деньги и посылать их Мадди и Сис, которые ждали его в Балтиморе. Многие обитатели Ричмонда помнили Эдгара ребенком, потом юношей со скандальной славой. теперь они увидели мужчину, выглядевшего гораздо старше своих двадцати шести лет. Но физическое возмужание очень шло Эдгару. Неизменный черный костюм, опрятный, хотя и слегка поношенный, придавал его облику нечто роковое — в байроновском духе, а стиль этот уже укоренился и здесь, нашел себе фанатичных последователей. Эдгар По был красив, неотразим. говорил блестяще, завораживал взглядом и писал странные стихи и рассказы, от которых по спине пробегал изумительный холодок, — чего и жаждали подписчики литературных журналов. идущих в ногу со временем. Плохо было то, что Эдгар зарабатывал в «Вестнике» всего десять долларов в неделю, что друзья юности всегда оказывались рядом и что в Виргинии крепко пьют. При этом ни Мадди, ни Вирджинии рядом не было. Что тоже сыграло свою роль. Эдгар выпивал первую рюмку — и дальше все шло по заведомо известному сценарию. Такое вот чередование срывов и долгих периодов воздержания будет теперь с удручающей монотонностью повторяться до самого конца его жизни. Наверное, можно отдать что угодно, лишь бы прекратилось колебание этого маятника, лишь бы избежать инфернального раздвоения и хождения по кругу, подобного хождению узника по тюремному двору. После одного из срывов Эдгар в отчаянии пишет другу, хотя, как часто случается, старается не называть вещи своими именами: «Я чувствую себя несчастным, не знаю почему... Утешьте меня... ведь вы можете это сделать. Только поскорее... или будет слишком поздно. Убедите меня, что жить стоит и дальше, что это необходимо...» Здесь уже звучит завуалированный намек на самоубийство, а через несколько лет По предпримет попытку покончить с собой.

Вирджиния По

Естественно, место в журнале он вскоре потерял, но директор «Вестника» ценил По и какое-то время спустя снова взял на работу, правда посоветовал перевезти в Ричмонд семью, а также держаться подальше от любой компании, где на стол ставилось вино. Эдгар совета послушался. Миссис Клемм и Вирджиния приехали к нему. Публикации на страницах журнала упрочили славу молодого писателя. Его критичес-

[1] Известно, что, применяя к рассказам По методы психоанализа, исследователи добились удивительных результатов. См., например, книгу Мари Бонапарт или — в плане чисто дедуктивном — работу Джозефа Вуда Кратча. (*Прим. автора.*)

кие заметки — едкие, язвительные, подчас несправедливые и субъективные, но всегда сверкающие талантом — пользовались большой популярностью. Более года Эдгар вел абсолютно трезвую жизнь. В «Вестнике» начала выходить в виде книжки с продолжениями повесть «История Артура Гордона Пима». В мае 1836 года состоялось его второе — теперь уже открытое, в присутствии друзей — бракосочетание с Вирджинией, которая относилась к нему с прежним восторгом. Этот период — хотя уже случались срывы, к несчастью, все более частые — отмечен появлением невероятного количества его рецензий и эссе. Росла слава Эдгара По — критика, и в литературных кругах Севера, где с привычным пренебрежением относились к интеллектуальному уровню южан, многие были задеты и даже взбешены этим самым «мистером По», который брал на себя смелость обличать их cliques, их кумиров, а что касалось скверных писателей и поэтов, то он буквально в порошок их стирал, нимало не заботясь о разгоравшемся скандале. А как бы они разъярились, если бы узнали, что Эдгар вынашивает планы покинуть уже ставшую ему тесной Виргинию и попытать счастья в Филадельфии или Нью-Йорке — двух центрах американской литературы. Окончательного разрыва с «Вестником» долго ждать не пришлось: дело ускорилось из-за долгов Эдгара, к тому же иссякло терпение директора — сотрудник слишком часто не являлся на работу, подолгу приходя в себя после очередных возлияний. И все же журнал не мог не сожалеть о потере такого автора, как По, ведь с его помощью тираж «Вестника» всего за несколько месяцев подскочил в восемь раз.

В Нью-Йорке Эдгар с семьей устроился с трудом, момент был весьма неблагоприятным: в годы правления Джексона страна переживала экономическую депрессию и почти невозможно было отыскать работу. Но вынужденная праздность как всегда оказалась для Эдгара благотворной в творческом аспекте. Он больше не тратил времени на рецензии и заметки и мог целиком посвятить себя сочинительству. Так появился новый цикл рассказов. К тому же удалось добиться, чтобы «История Артура Гордона Пима» была напечатана отдельной книгой, хотя продавалась она из рук вон плохо. Вскоре Эдгар убедился, что от Нью-Йорка ничего хорошего ждать не приходится и что лучше было бы попробовать силы в Филадельфии — литературной и издательской столице США той поры. И вот в середине 1838 года Эдгар По с семейством поселяется в бедном пансионе в Филадельфии. Красноречивым свидетельством того, в каком положении они пребывали, служит следующий факт: Эдгар ставит свое имя под книгой по конхиологии[1], которая представляла собой выполненную американским специалистом при участии По переделку известного английского исследования. Позднее книга принесла Эдгару массу неприятностей: его обвинили в плагиате; он же гневно возражал, что всякий современный текст пишется на основе других книг. Замечание справедливое — и для тех времен, и для нынешних, — только вот в устах такого неистового обличителя плагиата, каким слыл сам Эдгар По, оно выглядело слабым аргументом защиты.

ЗРЕЛОСТЬ

В 1838 году По написал любимый свой рассказ — «Лигейя». На следующий год появилось еще более неожиданное повествование — «Падение дома Ашеров», пронизанное легко узнаваемыми автобиографическими деталями. Здесь уже в полную силу проявилось то, что было только обещано в «Беренике», а потом мощно громыхнуло в «Лигейе»: странная тяга писателя к болезненно садическим и некрофильским сюжетам.

В этот период судьба, казалось, стала наконец улыбаться ему. Он был принят литературным консультантом в «Бертонс мэгэзин» и страстно мечтал открыть собственный журнал, где мог бы воплотить свои идеи как критик и сочинитель. Денег на такое издание, разумеется, не было (хотя мечта эта преследовала По до конца жизни), так что пока приходилось сотрудничать с «Бертонс мэгэзин»: там ему платили нищенское жалованье, зато позволяли высказываться вполне свободно. Журнал был невысокого полета, с приходом же Эдгара По быстро преобразился в один из самых оригинальных и смелых для своего времени.

---

[1] Конхиология — раздел зоологии, изучающий раковины.

Получив постоянную работу, Эдгар смог немного улучшить жизнь Вирджинии и Мадди. Наконец-то их маленькая семья поселилась в более или менее приличном жилище — впервые после Ричмонда. Дом их стоял почти что в сельской местности, и Эдгар каждый день проходил пешком несколько миль, чтобы добраться до центра города. А Вирджиния вела себя с прежней детской непосредственностью и по вечерам встречала мужа, держа в руках букет цветов. Сохранилось много свидетельств о том, с какой нежностью всегда относился Эдгар к своей жене-девочке, как внимателен и ласков он был с ней и с Мадди.

В декабре 1839 года вышла в свет его новая книга, в которую были собраны рассказы, по большей части ранее напечатанные в журналах. Книга называлась «Гротески и арабески». Период был плодотворным, благополучным, и на той волне возникли многие замечательные рассказы и повести. Зато поэзия оказалась в небрежении. «Причины, не зависящие от моей воли, всегда мешали мне всерьез заниматься тем, что в более счастливых обстоятельствах сделалось бы для меня излюбленным полем деятельности»,— напишет он в эпоху «Ворона». Рассказ мог родиться, когда он пробуждался после частых теперь «дневных кошмаров». Стихотворение — в том смысле, в каком Эдгар По понимал и его природу, и сам процесс сочинения, — требовало внутреннего покоя, а его-то и не было. Исключительно в этом следует искать объяснение количественному перевесу в творчестве По прозы над поэзией.

В июне 1840 года Эдгар окончательно расстался с «Бартонс мэгэзин» — по причине весьма сложных разногласий. Приблизительно на это время приходится тяжелый и темный период его биографии (он серьезно болел, известно, что у него была нервная депрессия). Вскоре журнал слился с другим изданием и стал выходить под названием «Грэмс мэгэзин». По возобновил сотрудничество и сделался редактором нового издания. У владельца журнала Грэма не было причин для жалоб. По сделал для «Грэмс мэгэзин» невероятное: тираж поднялся с пяти тысяч до сорока... И это всего за несколько месяцев — с февраля 1841 года по апрель следующего. Жалованье же Эдгар получал скромное, хотя в других отношениях Грэм вел себя благородно и искренне восхищался талантом По, его журналистским пером. Но для Эдгара, одержимого мечтой открыть наконец свой журнал (а он заранее разослал извещения об этом и приглашения к сотрудничеству), работа у Грэма превратилась в тяжкую повинность. Своему другу, который подыскивал ему в Вашингтоне место, позволившее бы свободно заниматься творчеством, он пишет: «Чеканить монеты собственным мозгом по велению хозяина — на свете для меня не может быть ничего постылее».

Но приходилось заставлять себя трудиться даже ради сущих грошей. Между тем Эдгар переживал блистательную пору. Он начал работу над серией детективных (или «аналитических») рассказов — словно отвечая критикам, которые обвиняли писателя в пристрастии исключительно к «ужасному». Наверняка можно сказать одно: то была перемена не столько темы, сколько техники письма, что служит доказательством широты его возможностей, богатства таланта и остроты ума. Прекрасный пример тому — «Эврика». А в «Убийстве на улице Морг» на сцену выходит chevalier Ш. О. Дюпен — alter ego автора, воплощение его с каждым днем растущего эгоцентризма, жажды непогрешимости и превосходства, которые принесли ему столько недругов среди людей, обделенных талантами. Следом появился рассказ «Тайна Мари Роже» — о хитроумном расследовании некоего убийства. Рассказ этот буквально пленил любителей детективного жанра, который стараниями Де Куинси всего за несколько лет до того был поднят до разряда художественных. Но у По детективные сюжеты всегда окрашивались в особо зловещие, болезненно мрачные тона. Он так никогда и не отказался от душераздирающих деталей, от той зловещей атмосферы, что властвовала в первых его рассказах.

Этот замечательный творческий период был трагически прерван. В конце января 1842 года семейство По вместе с друзьями сидело на террасе за чаем. Вирджиния, научившаяся играть на арфе, с детской прелестью пела песни, которые больше всего нравились «ее Эдди». Внезапно, на высокой ноте, голос ее сорвался, губы окрасились кровью. Горловое кровотечение считалось верным признаком чахотки. Для Эдгара болезнь жены явилась величайшей трагедией. Он чувствовал, что она умирает, что она обречена, но и себя тоже чувствовал обреченным. С какими чудовищными демонами сражался он, оставаясь рядом с Вирджинией? Теперь отклоне-

ния от нормы в поведении По стали проявляться откровенно. Он пил — что влекло за собой уже известные нам последствия. Сердце его не выдерживало, алкоголь нужен был для поддержания сил. Потом начинались адские муки — на многие дни. Грэму пришлось подыскать еще одного сотрудника, чтобы тот занимался журналом в отсутствие По. Им стал некий Грисуолд, оставивший по себе двусмысленный след в биографии По.

Есть одно знаменитое письмо, в котором Эдгар утверждает, что с узды он сорвался из-за болезни Вирджинии. Он признает, что «сделался безумным» и пил в бессознательном состоянии. «Мои недруги объясняли безумие пьянством, вместо того чтобы объяснять пьянство безумием...» Для него начинается эпоха, когда он стремится убежать из дома, скрыться, довести себя до полного изнеможения. А Мадди тем временем делает отчаянные попытки скрыть от него очевидное, стирает запачканное кровью белье и готовит отвары из трав для несчастной больной, которая лежит в бреду и страдает жестокими галлюцинациями. Именно в те дни Эдгара стали преследовать строки из «Ворона». Слово за словом рождалось стихотворение — еще смутное, бесформенное, ожидающее тысячи переделок.

Когда Эдгар чувствовал себя хорошо, он шел работать в «Грэмс мэгэзин» или нес туда свои заметки. Однажды, войдя в редакцию, он увидал, что в его кабинете расположился Грисуолд. Как известно, он в тот же миг развернулся и больше в журнале никогда не появлялся. Где-то в июле 1842 года, впав в полубезумное состояние, он совершил путешествие из Филадельфии в Нью-Йорк, куда его вдруг повлекли воспоминания о Мэри Деверо, о той самой девушке, дядю которой Эдгар когда-то отстегал хлыстом. Мэри была замужем, и Эдгаром овладело абсурдное желание дознаться, любит ли она своего мужа. Ему пришлось несколько раз туда-сюда переправиться через реку на пароме, спрашивая у всех встречных адрес Мэри. Но он все же добрался до ее дома и устроил там безобразную сцену. Потом остался пить чай (легко вообразить себе лица Мэри и ее сестры, которым против воли пришлось терпеть его, так как он проник в дом в их отсутствие). Наконец гость удалился, но прежде искрошил ножом несколько редисок и потребовал, чтобы Мэри спела его любимую песню. Только несколько дней спустя сбившейся с ног миссис Клемм удалось с помощью отзывчивых соседей отыскать Эдгара, который в полном помрачении рассудка бродил по окрестным лесам.

В одном из писем Эдгар заметил по поводу потока обвинений в свой адрес, что всеобщее внимание обращается на него только в периоды безумия, а в пору здоровой и напряженной работы он для мира словно не существует. И По не лукавил, так оно и было. Мало кто из критиков сумел оценить, какую гору всего он успевал прочесть, какую огромную переписку вел и, прежде всего, сколько рассказов, эссе, рецензий написал. Но, как сам он отлично понимал, два дня прилюдного пьянства приносят ему больше известности, нежели месяц непрерывного труда. И удивляться тут нечему, как не должно удивлять нас и другое: По, когда только мог, обращался к опию, потому что переносил его лучше, чем алкоголь, чтобы забыть о нужде, чтобы хоть на несколько часов — и не теряя достоинства — исчезнуть из этого мира.

Между тем нашелся господин, готовый дать денег на издание журнала. В это же время друзья из Вашингтона пригласили его в столицу — прочитать лекцию, провести подписку на журнал, а также нанести визит в Белый дом, где его обещали представить президенту. Разумеется, он вышел бы оттуда, имея в кармане назначение на приличную должность — спасение от нужды. Горько думать, что именно так все могло и произойти, но только по вине самого Эдгара не произошло. Приехав в Вашингтон, он не удержался и выпил с кем-то несколько рюмок, а дальше все закружилось как обычно. Что могли сделать друзья для человека, который желал во что бы то ни стало предстать перед президентом Соединеных Штатов в черном плаще, надетом наизнанку, и который бегал по улицам, задирая каждого встречного. Пришлось силой затолкать его в поезд и отправить обратно. Но хуже было другое: господин, согласившийся финансировать журнал, испугался — что вполне можно понять — и больше слышать не хотел об этом деле. На Эдгара же в очередной раз навалился двойной груз: угрызения совести (припадки покаянного отчаяния длились неделями) и нищета, с которой, выбиваясь из сил, сражалась миссис Клемм. Но вопреки всему и в тот зловещий год он сумел подняться еще на одну ступеньку к славе. В июне Эдгар получил премию, учрежденную журналом «Доллар ньюспейпер» за лучший рассказ. И

рассказ этот вскоре стал самым знаменитым из написанного Эдгаром По, от него и до сей поры перехватывает дыхание у наделенных воображением молодых людей. Речь идет о «Золотом жуке», где счастливейшим образом сошлись По-психолог и По — любитель приключений и тайн.

В конце года По читает лекцию о поэзии и поэтах. Мало слушателей — мало денег. Филадельфийский период завершается прискорбно, хотя именно здесь Эдгар, казалось, подступил к самому порогу вожделенной и окончательной победы. В Филадельфии у него появилось много верных друзей, но гораздо больше врагов: то были писатели, которых он обругал в своих рецензиях, завистливые коллеги, вроде Грисуолда. Как это ни прискорбно, у многих находились веские причины для обиды на него... Начало 1844 года вырисовывается смутно, самое примечательное здесь — публикация «Повести Скалистых гор», одного из лучших его творений. Но оставаться в Филадельфии смысла не было, а вот в Нью-Йорке еще можно было попытаться что-то предпринять. Из-за полного безденежья Эдгар тронулся в путь с одной только Вирджинией, а Мадди пришлось жить все в том же пансионе и ждать, пока он соберет необходимую сумму ей на дорогу. В Нью-Йорке супружеская чета оказалась в апреле 1844 года, и начиналось все в который раз благополучно — неслыханным успехом пользовался рассказ «Розыгрыш с воздушным шаром». Название рассказа ясно говорит, о чем он. Эдгар продал его в «Нью-Йорк сан», и газета посвятила специальный выпуск сообщению о том, что воздушный шар, управляемый англичанами, только что пересек Атлантику. Новость вызвала взрыв эмоций, и у здания газеты собралась огромная толпа. Неподалеку стоял на балконе некий господин с мрачным лицом, с ног до головы одетый в черное, и наблюдал за происходящим с легкой иронической улыбкой. Зато теперь Мадди могла приехать к ним.

Нью-йоркский период — это возрождение Эдгара-поэта. Тема «Ворона» неотвязно преследует его. Поэма должна была вот-вот обрести окончательную свою форму, и обстоятельства тому благоприятствовали. Заработав в газетах и журналах кое-какие деньги, Эдгар снял в окрестностях Нью-Йорка домик, чтобы провести там жаркие летние месяцы, особенно тягостные для ослабевшей Вирджинии. Коттедж в Блумингдейле превратится для семьи По в маленький рай, к сожалению, призрачный. Там они нашли чистый воздух, луга, обильную пищу и даже — радость. А Эдгар, вдали от чуждого ему Нью-Йорка, обрел немного покоя. Знаменитый бюст Паллады, который поэт обессмертил в «Вороне», стоял над внутренней дверью дома. Эдгар начал методично работать. Рассказы и статьи писались быстро и тотчас публиковались, потому что уже само имя автора обеспечивало читательский интерес к ним по всей стране. «Преждевременные похороны» — необычная смесь хроники и рассказа — были написаны на «благословенных небесах» Блумингдейла. Это один из самых зловещих и мрачных рассказов По, отмеченный странной тягой к замогильным ужасам. И дело здесь совсем не в теме повествования, а в вечной раздвоенности авторского умонастроения.

В то лето «Ворон» был почти что завершен, хотя Эдгар имел обыкновение бесконечно переделывать свои стихи, так что каждая новая публикация обнаруживала и новые варианты. Автор читал «Ворона» многим друзьям и по сохранившимся воспоминаниям горячо интересовался мнением присутствующих — чтобы внести еще какие-нибудь исправления... Правда, в его «Философии творчества» изложена совсем иная версия, хотя именно она, наверное, ближе, чем это принято считать, к истине. Действительно, поэма прошла через несколько «стадий»; но основная композиция, о которой идет речь в эссе, вполне могла явиться результатом логических расчетов (логических — в поэтическом, разумеется, смысле, и всякий поэт знает, что противоречия в сочетании этих слов нет).

Близилась зима, и пришлось возвращаться в Нью-Йорк, где Эдгар незадолго до того получил скромную должность в газете «Ивнинг миррор». 1845 год — Эдгару исполнилось тридцать шесть лет — начался мирным расставанием с этой газетой. По становится сотрудником «Бродвей джорнэл». К этому времени слава Эдгара По перешагнула границы страны, что почти для всех оказалось неожиданностью, но, пожалуй, не для него самого. Он превратился в модную персону. Умело подготовленная Эдгаром и его друзьями публикация «Ворона» произвела потрясающий эффект и на литераторов, и на читателей, к какой бы части общества они ни принадлежали. Сегодня нам даже трудно такое вообразить. Завораживающая загадочность стихотво-

рения, его необъяснимая притягательность, имя автора, окутанное сатанинским ореолом «черной легенды», — все сошлось воедино, превратив «Ворона» в символ американского романтизма и одновременно в один из самых замечательных образцов поэзии всех времен. Двери литературных салонов тотчас растворились перед По. Публика спешила на его выступления, желая непременно услыхать, как сам автор читает «Ворона». А чтение его оставляло неизгладимое впечатление, о чем свидетельствуют многие воспоминания.

Правда, дамам особенно нравилось слушать его за разговором. Эдгар говорил изумительно, с апломбом, словно наконец-то ступил на путь, к которому в течение стольких лет примеривался. «В своих беседах, — будет позднее вспоминать Грисуолд в свойственной ему витиеватой манере, — он порой достигал почти сверхъестественных вершин красноречия. Он с удивительным мастерством модулировал голос, а его большие глаза, такие выразительные и живые, то смотрели спокойно, то заражали своим огнем взгляды слушателей, в то время как лицо его либо пылало, либо хранило привычную бледность, в зависимости от того, убыстряло его воображение бег крови или замораживало ее вокруг сердца. Образы, которыми он пользовался, черпались из миров, кои мог узреть лишь озаренный гениальностью взгляд. Резко оттолкнувшись от точно и остро поставленной проблемы, дальше он избегал обычной логики и начинал нанизывать одно на другое веские доказательства, демонстрируя сам процесс, аргументам же придавал мрачную и фантастическую форму. И все это — так подробно и ясно и с такой быстротой, что внимание оказывалось плененным его удивительными построениями; и это продолжалось до тех пор, пока он сам не разрушал чары и снова не возвращал слушателей к самой низкой и обыденной реальности — с помощью пошлых выдумок или показа самых бесславных страстей...»

Даже притаившийся в самом конце цитаты укол важен в этом свидетельстве, если учитывать, кому оно принадлежит. Эдгар оказывал магнетическое воздействие на почитателей, и теперь мог откровенно демонстрировать свою надменную самоуверенность, не боясь показаться смешным. Но и поводов для обид он теперь, разумеется, давал больше — и более серьезных. Могло возникнуть впечатление, что он намеренно старался вызвать ненависть к себе, спровоцировать злословие. В марте 1845 года, когда слава его достигла пика, он снова не удержался и начал пить. Вирджинии меж тем становилось все хуже, и об этих колебаниях от надежды к отчаянию поэт однажды упомянул как о чем-то худшем, чем сама смерть жены. Это оказалось превыше его сил. По вступает в период глубокого душевного разлада. Он завязывает пылкие дружеские отношения с несколькими известными нью-йоркскими писательницами, хотя подобные истории никак не мешали его нежной и горькой привязанности к Вирджинии. Мы вовсе не стремимся приукрасить факты: Эдгару нужно было одурманивать себя не только алкоголем, но и чем-нибудь еще. Ему нужны были слова — нужно было произносить их и слышать. Вирджиния одаривала его лишь своим простодушием и слепой любовью маленького зверька. Зато некая Фрэнсис Осгуд — поэтесса и великая любительница книг — сочетала изящный облик с образованностью, благодаря которой была способна оценить истинное значение По. Кроме того, Эдгар бежал от нищеты, от непрерывных и все более мучительных переездов с места на место, от неурядиц в «Бродвей джорнэл», где его высокомерие и надменность — но не в меньшей степени и его интеллектуальное превосходство — создавали почву для постоянных стычек с коллегами. С одной стороны, готовилось к печати расширенное собрание его рассказов, с другой — дружба его с миссис Осгуд вызывала грязные сплетни. Из-за них его приятельница (тоже больная чахоткой) вынуждена была уйти в тень, так что он вновь остался наедине с собой. Конец 1845 года стал и концом самого плодотворного периода в жизни По. Только «Эврика» ожидает своего часа, но до нее еще далеко. Уже написаны лучшие рассказы и почти все великие стихи. Эдгар По начинает во многом переживать себя самого. Вот один пример: бостонцы пригласили его выступить, но он — видимо, после ночных возлияний — в нужный час не сумел предложить публике ничего нового. Вместо обещанных «свежих» стихов был прочитан «Аль-Ааараф» — юношеское сочинение, не только не достойное его нынешнего таланта, но еще и малоподходящее для декламации. Слушатели негодовали. Эдгар в ответ заявил, что вел себя так ex professo (специально), чтобы отомстить бостонцам, а также отвратительному «болоту с литературными ля-

гушками». В конце года «Бродвей джорнэл» прекратил выходить, и Эдгар опять оказался в тупике. Если 1845 год — вершина его славы, то тогда же началось и падение — угрожающе быстрое. Правда, какое-то время он еще будет сиять — но светом звезды, на самом деле уже давно погасшей. В течение всего 1846 года он активно вращается в литературных кругах, в обществе самых известных писателей Нью-Йорка. Но мир этот был слишком пошлым и серым, а достойных исключений встречалось мало. Дамы собирались, читали стихи — собственные и чужие — и плели интриги, сдабривая их улыбками и комплиментами, в погоне за благоприятными отзывами в литературных журналах. Эдгар отлично знал всех представителей этого мира и в один прекрасный день решил посчитаться с ними. Он напечатал в «Годис ледис бук» цикл из тридцати с лишним критических статей, в большинстве своем очень резких, и они вызвали ужасный скандал, яростные протесты, ненависть, но и аплодисменты. Что можно сказать об учиненной им массовой экзекуции? Время доказало правоту экзекутора. Literati пребывают в благостном забвении; но тогда-то они не могли этого предвидеть и на обиду реагировали бурно.

В мае 1846 года По подыскал коттедж в Фордэме близ Нью-Йорка — умирающую Вирджинию необходимо было вывезти на свежий воздух. Эдгар спрятался там, как затравленный зверь. Он только что пережил ужасные недели. Ссоры (одна из которых закончилась дракой), поток обвинений, неотложные долги и — алкоголь, а также лауданиум, дающие иллюзию успокоения. Миссис Осгуд рядом уже не было. Вирджиния умирала, на уход за ней требовались деньги. Единственное из сохранившихся писем По к жене производит душераздирающее впечатление: «Сердце мое, дорогая моя Вирджиния, наша матушка объяснит тебе, почему я не вернусь нынче вечером. Надеюсь, что встреча, на которую я должен явиться, будет нам во благо... Я бы уже давно потерял всякую надежду, если бы не думал о тебе, милая моя жена... Ты сейчас осталась моим главным и единственным стимулом в борьбе против этой невыносимой, напрасной и жестокой жизни... Засни спокойно, и пусть Господь наградит тебя добрым утром рядом с обожающим тебя Эдгаром».

Вирджиния умирала. Эдгар знал, что она обречена, и так появилась «Аннабель Ли» — поэтическое осмысление его жизни рядом с ней. «Я был дитя и она дитя / В королевстве у края земли...»[1]

Прошли лето и осень, не принеся душевного покоя. Его слава привлекала в их коттедж многочисленных посетителей, и они оставили воспоминания о нежности и заботливости, с какими Эдгар относился к Вирджинии, и о стараниях Мадди прокормить семью. Наступила зима, трагическая развязка приближалась. В литературных кругах Нью-Йорка стало известно о болезни Вирджинии, о том, что она обречена, и это смягчило многие сердца — если бы речь шла только о самом Эдгаре, люди не проявили бы такой отзывчивости. Лучшим его другом в печальных обстоятельствах оказалась Мария Луиза Шью, женщина одновременно и сострадательная и здравомыслящая. Глубоко оскорбленный. По, видимо, сперва хотел гордо отвергнуть всякую помощь, но потом был вынужден смириться, и Вирджиния получила самое необходимое и не страдала ни от холода, ни от голода. Она умерла в конце января 1847 года. Друзья вспоминали, как По следовал за похоронными дрогами, завернувшись в свой старый кадетский плащ, который долгие месяцы служил единственным одеялом для Вирджинии. После нескольких недель полубреда он вновь пробудился к жизни — в мире, где уже не было Вирджинии. Но с тех пор он стал вести себя как человек, который потерял свой щит и очертя голову нападает, чтобы хоть так восполнить свою незащищенность, свою загадочную уязвимость.

ФИНАЛ

Сначала был страх. Известно, что Эдгар боялся темноты, что он не мог спать, что Мадди приходилось часами сидеть рядом, держа его за руку. И стоило ей встать, как он открывал глаза: «Еще немного, Мадди, еще немного...» Днем помогал свет, он давал возможность думать, а Эдгар еще был способен на удивительную напряженность и сосредоточенность мысли. В такие моменты и родилась «Эврика». Поразите-

[1] Перевод В. Рогова.

тельный «Улялюм» появился совсем иначе — он пробился из бездны ночи, из бормотанья страха.

1847 год. По сражается с призраками, прибегая к вину и опию, цепляясь за духовный союз с Марией Луизой Шью, с которой он сблизился в дни, когда умирала Вирджиния, и которая преклоняется перед ним. Позднее она вспоминала, что «Колокола» были написаны после одного их разговора и что По часто грезил наяву: придумывал и рассказывал, как путешествовал по Испании и Франции, как сражался на дуэлях, какие приключения выпали на его долю. Миссис Шью восхищалась талантом По и глубоко уважала его. Когда выяснилось, что их постоянное общение могло скомпрометировать ее, она, как прежде Фрэнсис Огуд, вынуждена была отдалиться от него. И тут на сцену выходит некое небесное создание — Сара Елена Уитмен, посредственная поэтесса, но полная очарования женщина. Она подобна героиням прекраснейших из сновидений Эдгара По, пережитых или придуманных. К тому же ее зовут Елена — а ведь так он назвал свою первую юношескую любовь. Миссис Уитмен рано осталась вдовой, принадлежала к литературным кругам и увлекалась спиритизмом, как и было в этой среде принято. По сразу обнаружил сходство между ней и «той» Еленой. Но его одолевают душевные метания: в 1848 году он ведет любовную переписку с миссис Уитмен, и письма эти до сих пор восторгают поклонников эпистолярного жанра, и в то же время он знакомится с миссис Энни Ричмонд, чьи глаза пленяют его (тотчас вспоминаешь о зубках Береники), он наносит ей визит, завоевывает симпатию ее мужа и других родственников. Ее он называет «сестрой Энни» и наслаждается этой дружбой, находя в ней ту духовную опору, которую всегда искал в женщинах, но которую теперь одна-единственная женщина уже не может ему дать[1].

Поступки По в этот последний период рисуются нам замысловатыми, противоречивыми, а порой и совсем непонятными. Он где-то выступал. Снова посетил «свой» Ричмонд и там беспробудно пьянствовал, декламируя отрывки из «Эврики» в барах — к изумлению почтенных обывателей. Но в том же Ричмонде, придя в себя, он пережил последние счастливые дни. Там у него были старые верные друзья, были дома, где его принимали — со смесью любви и грусти. Сохранились сведения о прогулках, шутках и играх, когда «Эдди» веселился как ребенок. Тут вновь возникает Эльмира (кажется, встреча произошла на одной из его лекций), его юношеская любовь. Эльмира уже успела овдоветь, но не забыла жениха, с которым ее разлучили родители. Эдгар после встречи, судя по всему, неотвязно думал о ней. Но была еще и Елена, которая магнетически влекла его к себе. И он вернулся в Нью-Йорк с твердым намерением просить ее руки. Елена не смогла устоять перед чарами Эдгара, хотя в новый брак вступать не очень-то хотела. Она обещала подумать и вскоре принять решение. Эдгар отправился к Энни в Ричмонд, чтобы там дожидаться ответа, — поступок совершенно в его духе.

Дальнейшие события восстанавливаются все с большим и большим трудом. Эдгар наконец получает письмо от Елены — она продолжает сомневаться. Меж тем привязанность его к Энни, видимо, перерастает в более сильное чувство, во всяком случае, при окончательном расставании он вырывает у нее обещание непременно явиться к его смертному ложу. Ему никак не удается примирить реальное с воображаемым. Он отправляется к Елене, но до места не доходит. «Я совершенно не помню, что произошло», — напишет он позднее в письме. И сам же рассказывает, как пытался покончить с собой. В Бостоне он купил лауданиум и выпил половину флакона. Но выпить вторую половину (которая убила бы его) не успел: среагировал уже привыкший к опиуму организм — у Эдгара начался приступ рвоты. Когда позднее он все-таки является к Елене, происходит душераздирающая сцена. Эдгар добивается ее согласия на брак с ним — при условии, что впредь он откажется от употребления наркотиков и любых стимулирующих средств. По дает обещание, потом возвращается в свой коттедж в Фордэм, где его ждет миссис Клемм, опечаленная долгим отсутствием «Эдди» и доходящими до нее слухами о его безумствах.

---

[1] Любовным связям По посвящено огромное количество книг и отдельных работ, сюда же относятся и мемуары — правдивые или целиком выдуманные — самих участниц событий. Хотя из-за этих воспоминаний добраться до истины стало еще сложнее. Эдмунд Госс с большим юмором сказал в этой связи: «По был вечным влюбленным — это неопровержимый факт. Он ухаживал за многими женщинами, но ни одну не сделал несчастной. И всем им он очень нравился. Таких возлюбленных можно насчитать не меньше дюжины, и каждая в воспоминаниях с великой гордостью описала любовь к ней По. И гордость эта по накалу сравнима лишь с ненавистью к одиннадцати соперницам». (*Прим. автора.*)

Тот, кто желает вообразить себе, каким был Эдгар По в те дни, должен прочесть его тогдашние письма, адресованные Елене, Энни или друзьям. Нищета, тревоги, тоска, которую вырванное у Елены согласие не только не рассеяло, а скорее даже усилило, — все это создает ощущение невыразимого и вязкого кошмара. Эдгар знал, что знакомые изо всех сил пытаются отговорить Елену от союза с ним и мать ее с ужасом думает о последствиях такого брака. Эдгара больно задело, что заранее составленный брачный контракт оберегал от него скромное состояние миссис Уитмен, словно его считали авантюристом. Накануне бракосочетания он прочитал лекцию, которая имела шумный успех, но тем же вечером Елена узнала о визитах Эдгара в дом к Энни и о том, какие слухи — в них не было ни доли правды — на сей счет ходят. Вдобавок Эдгар выпил с друзьями, пусть и немного. Так что в самый последний момент свадьба расстроилась — Елена взяла свое слово назад. Все мольбы были напрасны. Она твердила, что любит его, но решения своего не переменит. Эдгар вернулся в Фордэм в полном отчаянии.

Возможно, это самое отчаяние и помогло ему снова — и уже в последний раз — подняться. Бежав от сплетен, злословия, общества литераторов с его мелкими дрязгами, он заперся дома с миссис Клемм, собрал остатки энергии и попытался сделать рывок вперед — издать наконец журнал, о котором никогда не переставал думать, вернуться к сочинительству. С января по июнь 1849 года он словно затаился, выжидая. Но существует стихотворение «К Энни», в котором По описывает себя самого мертвым, наконец-то мертвым, мертвым и счастливым. Он был слишком умен, чтобы обманываться, и, наезжая в Нью-Йорк, с отчаянной жадностью тянулся к лауданиуму. Некий поклонник прислал ему письмо с предложением финансировать долгожданный журнал. Это был последний шанс в его жизни — и последняя карта. Но Эдгар, как и Пушкин, в карты неизменно проигрывал, проиграл он и на сей раз. Финал растянулся на два чудовищных этапа — с любовной интерлюдией между ними.

В июле 1849 года По покинул Нью-Йорк и вновь направился в свой родной Ричмонд. Неизвестно, зачем он это сделал. Может, его толкал тайный инстинкт, потребность найти убежище, поддержку. Эдгара одолевали дурные предчувствия, он простился с бедной Мадди, с которой ему не суждено было больше встретиться. Одной из приятельниц на прощание он со слезами сказал, что никогда не вернется. Он был уверен в этом. Он превратился в клубок нервов, ни слова не мог произнести спокойно. Никто не знает, как он очутился в Филадельфии, почему прервал путь на Юг. Но где-то в середине июля, возможно после многодневного наркотического дурмана, Эдгар вбежал в редакцию журнала, где у него были друзья, и в отчаянии стал молить о защите. Это был острый приступ мании преследования. Он твердил, что Мадди умерла, кажется, хотел убить себя, но «призрак» Вирджинии удержал его... Галлюцинации и навязчивые идеи мучили По несколько недель, потом он начал приходить в себя, даже смог написать письмо миссис Клемм, правда, суть послания сводилась к следующему: «Как только получишь письмо, немедленно приезжай... Мы должны умереть вместе. Не пытайся отговаривать меня: я должен умереть...» Друзья собрали деньги и посадили его на корабль, отплывающий в Ричмонд. Во время плавания ему вроде бы стало лучше, и он написал новое письмо Мадди, призывая ее к себе. Без нее некому было утешить его, позаботиться о нем, и Эдгар чувствовал себя беспомощным. Самый одинокий из людей не выносил одиночества. Едва добравшись до Ричмонда, он написал очередное письмо, ужасное письмо: «Я приехал сюда с двумя долларами в кармане, один из них посылаю тебе. О господи, матушка! Увидимся ли мы снова? О, ПРИЕЗЖАЙ, если можешь! Мое платье в самом плачевном состоянии, и чувствую я себя так мерзко!..»

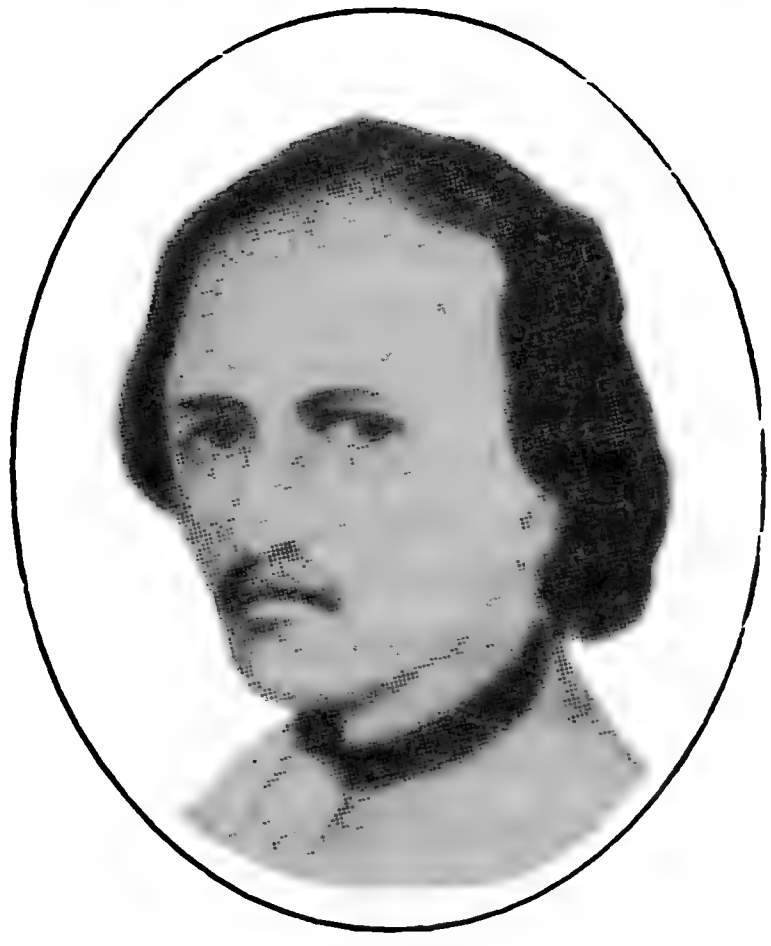
Но ричмондские друзья все же сумели сделать его последние дни относительно спокойными. Окруженный вниманием, дыша воздухом Виргинии, которая в конечном счете была единственным по-настоящему родным для него местом, Эдгар даже проплыл еще раз против течения по черным водам реки, как плавал когда-то в детстве, изумляя товарищей. Он снова спокойно прогуливался по улицам Ричмонда, ходил в гости, присутствовал на вечерах, где, разумеется, его умоляли прочесть «Ворона», который в авторском исполнении превращался в «незабвенную поэму». Была еще Эльмира, его давнишняя возлюбленная, ставшая почтенного вида вдовой. Эдгар отыскал ее тотчас по приезде — он вел себя как человек, желающий замкнуть некий круг, дать завершенность некоей форме. Потом станут говорить, что Эдгар знал

о богатстве Эльмиры. Разумеется, знал, но видеть в его возвращении к прошлому лишь хитрый прием охотника за приданым гнусно. Эльмира не раздумывая приняла его дружбу, его возобновившиеся ухаживания. В юности она пообещала стать его женой. Прошли годы, и Эдгар снова оказался рядом — неотразимо красивый и загадочный, в ореоле славы, когда любой скандал становится лишним доказательством гениальности его виновника. Эльмира согласилась выйти за него замуж, и хотя имел место недолгий период недоразумений, вызванных срывами Эдгара, все же в сентябре 1849 года была назначена дата бракосочетания — через месяц. Было решено, что Эдгар отправится на Север за Мадди, а заодно встретится с Грисуолдом, который согласился взять на себя заботы об издании произведений По. Эдгар в последний раз выступил в Ричмонде, повторив свое знаменитое эссе «Поэтическое начало», и друзья нашли способ деликатно снабдить его деньгами на поездку. В четыре часа утра 27 сентября 1849 года он сел на корабль, отплывавший в Балтимор. Как всегда с ним случалось в подобных обстоятельствах, он был полон дурных и гнетущих предчувствий. Отплытие в столь ранний час (или в столь поздний? ведь ночь он провел с приятелями в ресторане), вероятно, было вызвано каким-то внезапным капризом. С этого мгновения все дальнейшее покрыто пеленой, и она лишь изредка рассеивается, позволяя нам увидеть финал.

Уже говорилось, что По в периоды депрессии, связанной отчасти и с болезнью сердца, прибегал к алкоголю как к спасительному стимулятору. Но даже малое количество спиртного пагубно действовало на его мозг. По этому порочному кругу события, скорее всего, и пошли на борту корабля во время плавания в Балтимор. В Ричмонде врачи предупредили Эдгара: еще один срыв будет гибельным для него. И они не ошиблись. 29 сентября корабль стал на причал в Балтиморе. По собирался на поезде доехать до Филадельфии, но поезда нужно было ждать несколько часов. Эти часы и решили его судьбу. Известно, что, когда он явился к своему другу, он был уже пьян. Дальнейшее — из области догадок. Перед нами пятидневный пробел: пять дней спустя некий врач, знакомый с По, получил спешно написанную карандашом записку, где сообщалось, что какой-то джентльмен, «весьма скверно одетый», срочно нуждается в его помощи. Записку написал типографский служащий, который признал По в почти невменяемом пьяном человеке, сидевшем в трактире в окружении балтиморской публики самого низкого пошиба. В городе проходили выборы, и соперничающие партии поили допьяна всякий сброд и водили по разным избирательным участкам. Нет точных доказательств, но, возможно, и По был использован в качестве наемного выборщика, а потом брошен в трактире, где типограф его и увидал. Позднее врач опишет свои впечатления, из них станет ясно, что Эдгар уже не принадлежал этому миру, он при жизни очутился в аду — один, безвозвратно погрузившийся в видения. Остаток сил (он прожил еще пять дней в балтиморской больнице) сгорел в чудовищных галлюцинациях, в борьбе с сиделками, которые пытались его удержать, он отчаянно звал Рейнолдса, исследователя Северного полюса, чья история повлияла на По, когда он писал «Гордона Пима», и который неизвестно почему превратился в последний земной символ — последнее, что видел Эдгар. Напомним, что его герой Пим в финале повести видел гигантский кусок льда. Рядом с Эдгаром не было ни Мадди, ни Энни, ни Эльмиры. Они ничего не знали. В какой-то миг просветления он вроде бы спросил, есть ли надежда. Ему ответили, что дела его плохи. Он возразил: «Я не о том, я имею в виду другое. Есть ли надежда у такого ничтожества, как я?» Он умер в три часа ночи 7 октября 1849 года. «Да поможет Господь моей несчастной душе» — вот его последние слова. Позднее неутомимые биографы вложат в его уста и заставят произнести и кое-что другое. Легенда стала возникать почти тотчас же, и Эдгар от души позабавился бы, помогая ее творить, придумывая что-нибудь новое, путая людей, отдавая свое бесценное воображение на службу мифическому жизнеописанию.

Перевод с испанского Н. БОГОМОЛОВОЙ

ЭДГАР АЛЛАН ПО



Из «МАРГИНАЛИЙ»
(ноябрь 1844 — июнь 1849)

Я видел немало выкладок, касающихся наибольшего объема познаний, доступных человеку в продолжение его жизни; однако выкладки эти основаны на ложных посылках и бесконечно далеки от истины. Верно, что *обыкновенно* мы удерживаем, мы запоминаем с какой-либо пользой для себя от силы сотую часть прочитанного; и тем не менее *существуют* умы, которые не только удерживают *все* поступления, но и вечно их приумножают, начисляя на них сложные проценты. И кроме того: — если бы всякий человек должен был читать *вслух*, он даже за полвека смог бы прочесть, конечно, очень мало; ибо в таком случае ему пришлось бы хоть немного помедлить на каждом отдельном слове. Но, читая про себя в обычном темпе так называемого «легкого чтения», мы в лучшем случае *касаемся* одного слова из десяти. И, даже с физической точки зрения, знание рождает знание, как золото — золото; ибо тот, кто читает воистину много, убеждается, что его читательская способность возрастает в геометрической прогрессии. Helluo librorum[1] только бросит взгляд на страницу, над которой обыкновенный читатель задержится на несколько минут; и разница в абсолютном *чтении* (имея в виду его результат) будет в пользу helluo, который провеет пшеницу, тогда как tyro[2] сжует и зерно, и мякину. Глубоко укорененная и непрерывающаяся привычка к чтению приводит, при определенном уровне интеллекта, к инстинктивному и, на посторонний взгляд, мистическому восприятию написанного; любитель научных занятий читает страницами, как другие люди — словами. По прошествии долгих лет, сопровождаемых тщательным анализом умственных процессов, этот тип восприятия может даже стать обычным. Наши потомки в десятом или двадцатом поколении, возможно, будут обучаться ему в школах. Тогда в одиннадцатом или двадцать первом этот метод распространится на все общество. И если так будет — а так будет, — это породит не больше законных поводов для удивления, чем ныне то чудесное обстоятельство, что люди способны слог за слогом воспринимать выводимое мною — буква за буквой — на этой странице.

Вот ошибка, имеющая важные последствия: — допущение о том, что мы, какие мы есть, в целом *сознательно* правдивы. Огромнейшей частью своей правда сообщается

---

[1] Правильно: heluo librorum *(лат.)* — ненасытный читатель. *(Здесь и далее — прим. перев.)*
[2] Правильно: tiro *(лат.)* — новичок.

© Л. Мотылев. Перевод, 1999

В публикации использован автопортрет Эдгара По 1845 г.

непреднамеренно; следовательно, огромнейшей частью своей она говорится, а не пишется. Однако, изучая исторический материал, мы оставляем эти соображения без внимания. Мы носимся с архивными источниками, которые, в массе своей, лгут; и сбрасываем со счета *Каббалу*, которая, если ее верно интерпретировать, *правдива.*

«От света, падающего под прямым углом на одну из египетских пирамид, рождается звук». Это утверждение, и в такой именно словесной форме, я где-то прочитал — вероятно, в одном из примечаний к Аполлонию[1]. Это, я полагаю, вздор — однако никогда не следует судить второпях.

Оранжевый луч спектра и жужжание комара (которое никогда не поднимается выше ля второй октавы) вызывают у меня почти одинаковые ощущения. Я слышу комара — и вижу цвет. Я вижу цвет — и почти что слышу комара.

Колебания барабанной перепонки, обусловленные взмахами крылышек насекомого, могут, передаваясь внутри тела, вызвать ненормальные колебания сетчатки, сходные с теми, какие оранжевый луч вызывает извне, нормальным путем. Под словом «сходные» я не разумею равенство частот — это было бы глупостью; но, к примеру, каждое миллионное колебание сетчатой оболочки может совпасть с одним колебанием барабанной перепонки; вполне вероятно, это может оказаться достаточным для эффекта, о котором идет речь.

Сколь многие хорошие книги не пользуются должным вниманием из-за неудачного начала! Гораздо лучше начинать не по правилам — пренебрегая методичностью, — нежели упускать случай раздразнить читательский аппетит; впрочем, эти два принципа, методичность и остроту, всегда можно соединить. Есть смысл рискнуть и поставить imprimis[2] несколько ярких фраз, подобных электрическому звонку телеграфа.

Мы можем дать два правдоподобных объяснения эпитету «плакучая», употребляемому по отношению к иве. Либо мы говорим, что слово возникло из-за ее длинных свисающих ветвей, которые ассоциируются со стекающими водяными каплями; либо мы утверждаем, что определение связано с неким обстоятельством естественной истории этого дерева. Оно испускает обильные неощутимые испарения, которые при внезапном похолодании конденсируются и порой проливаются настоящим дождем. По тому, какое из двух объяснений предпочтет тот или иной человек, можно очень ясно определить силу его способности к выведению следствий и степень его пристрастности в этом. Верным, конечно же, является первое объяснение, и вот по какой причине: обычные или вульгарные эпитеты неизменно подсказываются обычными, лежащими на поверхности обстоятельствами, и о какой-либо точности в применении этих эпитетов говорить не приходится; — однако второе объяснение наверняка жадно подхватят девять филологов из десяти, и только лишь по причине его *эпиграмматизма*, то есть заостренности, с какой единичный факт кажется относящимся к делу.

Здесь, таким образом, кроется трудноразличимый источник ошибок, который упустил из виду лорд Фрэнсис Бэкон. Поклонение идолу Остроумия.

«То, что зло господствует над добром, становится очевидным, если принять во внимание невозможность найти старца, который хотел бы прожить свою жизнь заново» (Вольней[3]).

Мысль здесь не выражена с достаточной четкостью; ибо, не прибегая к контексту, мы не можем с уверенностью сказать, что именно имеет в виду автор: — что, по мнению всякого старца, он, сложись его жизнь иначе, прожил бы ее счастливее, чем ту, реальную, и по этой причине хотел бы прожить еще раз не *свою* жизнь, а *какую-то другую*; —

---

[1] Аполлоний Пергский (ок. 262 — ок. 190 до н. э.) — древнегреческий математик и астроном.
[2] Вначале (*лат.*).
[3] Константен Франсуа де Шасбёф Вольней (1757—1820) — французский философ и писатель.

или же здесь подразумевается иное: — что, если бы на краю могилы старец получил выбор между ожидаемой им смертью и повторением прожитой жизни, он предпочел бы умереть.

Первое утверждение, по-видимому, верно; второе же (его-то и имел в виду автор) не только сомнительно в простом фактическом смысле, но и не подкрепляет, даже если считать его истинным, начального тезиса — что зло господствует над добром.

Принимается как само собой разумеющееся, что причиной отказа старца прожить свою жизнь заново является его *знание* о том, что в ней зло господствовало над добром. Источник ошибки находится в слове «знание», в предположении, что мы когда-либо можем реально и полностью владеть тем знанием, на которое делается туманный намек. Но можно говорить лишь о *кажущемся*, фиктивном знании; и это-то кажущееся знание о прошедшей жизни и делает старца неспособным верно решить вопрос о ее достоинствах. Он слепо выносит суждение о том, насколько счастливой была его подлинная, реальная жизнь, — суждение о преобладании в ней зла или добра, — рассматривая жизнь вторичную, отраженную. В своей оценке он всего лишь подводит баланс *событий*, совершенно исключая из него гибкую *Надежду*, которая есть Предвестник и Эос всего сущего. В реальной жизни человек бывает счастлив главным образом оттого, что он ожидает счастья в скором будущем. Однако мы, подставляя на ее место отраженную жизнь, рисуем себе холодные факты вместо теплых ожиданий и горести, учетверенные тем, что мы знаем о них заранее. Но из того, что мы не можем не поступать так, — сколь бы ни напрягали мы силы нашего воображения — из того, что так трудно — что почти невозможно представить себе известное неизвестным — бывшее небывшим — и из того, что (вследствие нашей неспособности представить себе это) мы предпочитаем смерть подставной, отраженной жизни, — следует ли каким-либо образом из всего этого, что в реальном существовании, рассмотренном как должно, зло *действительно* господствует над добром?

Для того чтобы «старец» месье Вольнея дал верную оценку и на основе этой оценки сделал разумный выбор, — для того опять-таки, чтобы из этой оценки и этого выбора мы вывели сколько-нибудь ясное соотношение между добром и злом в человеческом существовании, — необходимо, чтобы мы получили суждение, или «выбор», на этот счет от старца, способного точно взвесить надежды, оставить которые без внимания побуждают его естественные причины, но которые, как говорит нам разум, он испытал бы с прежней силой, проживая жизнь заново в абсолютном смысле. С другой стороны, он также должен быть способен изъять из своей оценки страхи, которые он реально ощущает и которые наглядно рисуют ему будущие беды, но которых, как опять же утверждает наш разум, он *не должен* ощущать в абсолютно проживаемой вновь жизни. Какой смертный был способен принять все это в расчет — совершить невозможное, придав этим соображениям должный вес? Какой смертный, таким образом, был способен сделать обоснованный выбор? И как тогда, располагая лишь необоснованным выбором, можем мы делать верные заключения? Как добыть истину из ошибки?

Двадцать лет назад легковерие было характеристическим свойством толпы, недоверчивость — отличительным качеством философа; *ныне* всё наоборот. Мудрецы мудро отвергают безверие. Скептицизм больше не свидетельствует ни о познаниях, ни об уме.

Рост журнальной литературы в последние несколько лет никоим образом не следует считать, как склонны думать некоторые критики, признаком упадка американского вкуса или американской словесности. Это всего лишь примета времени, знак наступления эпохи, когда краткое, сгущенное, легко усваиваемое предлагается людям взамен пространного и многословного — короче, когда им предлагается журнал взамен трактата. Нам нужна теперь скорее легкая артиллерия ума, нежели его мощные военные суда. Не возьмусь утверждать, что нынешние люди мыслят более глубоко, чем полстолетия назад,

но, несомненно, в их мышлении теперь больше быстроты, больше сноровки, больше здравого смысла, больше метода и меньше уродливого разрастания. Кроме того, налицо громадное увеличение мыслительного материала; у людей теперь больше фактов, больше того, о чем нужно думать. По этой причине они склонны помещать возможно большее количество мысли в возможно меньшие пределы и распространять ее с наибольшей доступной им скоростью. Отсюда расцвет журналистики в наше время; отсюда, в особенности, расцвет журналов. Чем их больше, тем, вообще говоря, для нас лучше; однако мы требуем от них достоинств, способных сделать их заметными с самого начала, и достаточной длительности существования, чтобы мы могли дать им справедливую оценку.

Вообще говоря, первые наши впечатления истинны; главная трудность состоит в том, чтобы понять, какие из них *действительно* первые. Например, в ранней юности мы читаем стихотворение, и оно восхищает нас. Потом мы взрослеем, и разум убеждает нас, что восхищаться было нечем. Но проходят еще годы, и к нам возвращается первоначальный восторг, ибо зрелость воображения позволяет нам увидеть в точности, чем и почему мы восторгались. Такова цикличность нашего индивидуального мышления, и по частоте или медлительности нашего вращения вокруг различных мыслительных центров мы можем точно судить о движении нашей мысли к зрелости. Удивительно, насколько тесно во всех существенных аспектах истины мнение ребенка смыкается с мнением человека в полном смысле слова — человека в пору высшего расцвета.

С человечеством в целом дело обстоит, возможно, так же, как с отдельными личностями. Когда мир начнет все чаще возвращаться к своим первым впечатлениям, мы с полным правом сможем ожидать прихода тысячелетнего царства — или назовите эту пору как хотите, — не рискуя ошибиться, мы сможем предположить, что приближаемся к вершине нашего ума и, следовательно, счастья. В настоящее время признаки такого возвращения подобны явлениям ангелов, но мы ощущаем их время от времени — взять, например, вопрос о *способности верить*. Философские умы наших дней отличаются именно этим качеством, полстолетия назад характерным как раз для необразованных слоев. Скептицизм по отношению к тому, что представляется чудесным, не является, как раньше, свидетельством высшей мудрости или глубоких познаний. Одним словом, мудрые теперь верят — а вчера не верили — а позавчера (например, в эпоху Страбона[1]), напротив, верили во все подряд: — здесь, таким образом, мы наблюдаем знаменательное завершение одного из циклов — и знаменует оно приближение мира к возрасту зрелости. Я упомянул о Страбоне только потому, что он — исключение для своей эпохи (как, торопясь дать пример, можно охарактеризовать какого-нибудь мистера X, сказав, что он настолько умен и дружелюбен, насколько мистер Y таковым не является), — ибо во времена Страбона люди так редко что-либо отвергали, а отвергая, так редко при этом ошибались, что скептицизм этого философа следует причислить к самым замечательным из известных нам аномалий.

Я только что прочел «Парижские тайны» — вещь неоспоримой силы — настоящий музей необычных и искусно построенных эпизодов — парадоксальное сочетание детского каприза и виртуозного мастерства. Сходство этой книги со всеми прочими «романами судорог» состоит в том, что эпизоды *логически вытекают* из завязки, тогда как сама завязка до смешного неправдоподобна. Допустив, к примеру, возможность существования такого человека, как Родольф, и такого состояния общества, что оно терпело бы его постоянное вмешательство, мы без труда согласимся допустить возможность всего, что он совершил. Другая отличительная черта школы Эжена Сю — полное отсутствие ars celare artem[2]. Фактически писатель все время говорит читателю: «Вот — еще секунда —

---

[1] Страбон (64/63 до н. э. — 23/24 н. э.) — древнегреческий географ и историк.
[2] Искусства скрывать искусство (*лат.*).

и вы увидите то, что увидите. Я произведу на вас незабываемое впечатление. Готовьтесь испытать сильнейшее волнение — или сильнейшую жалость». Про́волочки не только не скрыты — они выставлены напоказ как нечто достойное восхищения, наряду с марионетками, которых они приводят в движение. В результате мы, читая, к примеру, самую патетическую главу «Парижских тайн», говорим себе, не проливая ни единой слезинки: «Это место, несомненно, любого читателя растрогает до слез». Приписывать, как делают некоторые, романам Сю философские мотивы — глупо до чрезвычайности. Его главная и фактически единственная цель — сочинить увлекательную и, следовательно, хорошо раскупаемую книгу. Резонерство (прямое или косвенное) об усовершенствовании общества и т. д. — вполне обычный трюк автора, рассчитывающего позолотить пилюлю изображаемой им распущенности добропорядочно-утилитаристскими рассуждениями. Ради этой *уловки* писатели обычно стараются вживить смысл в то, что иначе оставалось бы темным. В данном случае, однако, эта *уловка* принимает вид добавления, облеченного в форму морали и либо приложенного в конце (как у Эзопа), либо по кусочкам внедренного в толщу книги, с великой аккуратностью, но всегда без полного сокрытия позднейшей привнесенности.

Нам, простым мирянам, лишенным такой старомодной и обременительной принадлежности, как идея, следует бояться оскорбить или подвергнуть дурному обращению какого-нибудь бедолагу-гения, который с виду при последнем издыхании, а на деле вот-вот поставит ногу на верхнюю ступень лестницы своего триумфа. У них это обычный трюк: приближаясь к достижению какой-либо издавна желанной цели, погрузиться до наибольшей возможной глубины в пучину кажущегося отчаяния, для того единственно, чтобы увеличить высоту успеха, на которую они вознамерились стремительно воспарить.

Для того чтобы испытать вдохновение, гению нужно только одно — движение духовной материи. Для него нет разницы, *куда* направлено это движение — к его выгоде или невыгоде, — и ему совершенно безразлично, «*что* это за материя такая».

Чтобы хорошо поддерживать светскую беседу, нам нужно прохладное самообладание таланта; чтобы хорошо говорить — пылающая *безоглядность* гения. Однако человек *высочайшей* гениальности может сегодня говорить *очень* хорошо, а завтра *очень* плохо: — хорошо, когда у него есть время, простор и благожелательный слушатель: — плохо, когда он боится, что его перебьют, и раздосадован невозможностью исчерпать тему в продолжение данного разговора. Неполный гений клочковат — горит вспышками. Подлинному же гению претит всякая неполнота — всякое несовершенство, — и он обычно предпочитает молчание высказыванию, не охватывающему всего, что должно быть сказано. Он так переполнен темой, что становится нем — сперва оттого, что не знает, где начать, ибо позади всякого начала видит другое, более раннее начало; затем оттого, что завершение представляется ему бесконечно отдаленным. Порой, бросившись в тему очертя голову, он грубо ошибается, колеблется, запинается, путается и, не в силах совладать с потоком многообразных мыслей, подвергается насмешкам слушателей, считающих его неспособным к мышлению. Такой человек оказывается в своей стихии во времена «великих событий», которые приводят обычный ум в смущение и оцепенение.

Если какой-либо честолюбец вознамерится одним махом революционизировать всю Вселенную человеческой мысли, человеческого суждения и человеческого чувства, такая возможность у него есть — путь к вечной славе расстилается перед ним, прямой и открытый. Все, что ему надлежит сделать, — это написать и опубликовать маленькую книжицу. Называться она должна просто — всего пять простых слов — «Мое сердце как оно есть». Но — книжица должна *соответствовать своему названию.*

Не странно ли, что при той бешеной жажде прославиться, которая мучит столь многих, — и при том, что столь многие нимало не обеспокоены своей посмертной репутацией, — не находится ни одного человека, у которого достало бы дерзости написать такую книжицу? Я подчеркиваю: *написать.* Найдется десять тысяч человек, которые, если книга будет уже написана, со смехом отвергнут всякую мысль о неудобствах прижизненной публикации и которым будет совершенно невдомек, *с какой стати* им воспрещать печатание книги после их смерти. Написать книгу — вот в чем загвоздка. Ни один человек не смеет ее написать. Ни один человек никогда этого не посмеет. Ни один человек этого *не сможет*, даже если посмеет. Сама бумага будет сворачиваться и вспыхивать при каждом прикосновении огненного пера.

Перечитав все, что было написано, передумав все, что может быть подумано о Боге и о душе, человек, если он вообще имеет право называться человеком думающим, лицом к лицу столкнется с выводом о том, что глубочайшая мысль обо всем этом есть та, которую труднее всего отграничить от самого что ни на есть поверхностного суждения.

Когда гениальный человек говорит о «трудном», он имеет в виду просто-напросто «невозможное».

Нам, людям XIX века, нужен для нашего возрождения некий чудотворец; но мы деградировали настолько, что единственный пророк или проповедник, который мог бы сослужить нам службу, — это святой Франциск, обращавший в христианство зверей.

Воображение — это нос черни. За этот-то нос ее и можно спокойно водить когда угодно и куда угодно.

Желая провести различие между народом и чернью, мы обнаруживаем, что народ, поднявшийся к действию, есть чернь; и что чернь, пытающаяся мыслить, оседает и становится народом.

Начните по три-четыре раза в день говорить негодяю, что он верх совершенства, — и вы на деле превратите его по меньшей мере в воплощение «респектабельности». С другой стороны, примитесь с излишней настойчивостью клеймить достойного человека как мерзавца — и вы наполните его извращенным стремлением доказать вам, что вы не вполне ошибаетесь.

С каким же необъяснимым упрямством даже лучшие из наших авторов рассуждают о «духовной отваге» — словно может быть отвага *не* духовная! Прилагательное неправомерно применяется к подлежащему вместо дополнения. Энергия, превозмогающая страх перед неким злом, — не важно, грозит ли оно самому человеку или безличному окружению, в котором он существует, — есть, конечно, чисто психическая энергия — и в силу этого, конечно, чисто «духовна». Однако, говоря о «*духовной* отваге», мы *подразумеваем* существование отваги физической. Это не более разумно, чем говорить о «телесной мысли» или о «мускульном воображении».

«Недоучение» в том смысле, в каком о нем говорил поэт, вне всякого сомнения, «всего опасней»[1], — но, если речь идет о *таком* учении, которое мы называем «позна-

[1] Цитата из «Опыта о критике» английского поэта А. Попа (1688—1744).

нием мира», здесь только *недо*учение и безопасно. Быть *до конца* знакомым с сердцем Человека — значит взять последний урок из окованного железом фолианта Отчаяния.

Забавно видеть, с какой легкостью всякая философская система может быть опровергнута: — но не печально ли сознавать невозможность даже вообразить то, что какая-либо отдельная система оказалась бы верной?

Бывают моменты, когда даже трезвому взгляду Разума наш печальный человеческий мир представляется неким Адом; но Воображение Человека — не Каратис[1], чтобы безнаказанно исследовать любую пещеру. Увы! Мрачный легион могильных ужасов *невозможно* считать только лишь плодом воображения; но, подобно Демонам, в обществе которых Афрасиаб[2] совершил свое путешествие вниз по Оксу[3], они должны спать, иначе они сожрут нас, — их не следует будить, иначе мы погибнем.

Огромная масса ошибок проникает в нашу Философию вследствие привычки Человека считать себя всего лишь гражданином мира — обособленной планеты — вместо того, чтобы хоть изредка видеть свое положение космополита в подлинном смысле — жителя космоса, Вселенной.

Перевод с английского Л. МОТЫЛЕВА

■

[1] Каратис — колдунья из сказочной повести «Ватек» английского писателя Уильяма Бекфорда (1760—1844).
[2] Афрасиаб — персонаж иранской мифологии, предводитель туранцев.
[3] Окс — древнее название Амударьи.

А. НЕСТЕРОВ

Князь мятежа

История Лоуренса Аравийского

«Молю Бога, чтобы людям, читающим эту историю, не выпало, прельстившись очарованием неведомого, подобно шлюхам, отдавать себя и свои таланты чужой расе...

...Я был послан к арабам в качестве «человека со стороны», я не мог думать их мыслями, не мог разделять их веру, но при этом мой долг заключался в том, чтобы вести их, направлять и поддерживать любое арабское движение, выгодное Англии в этой войне. И если я не мог принять их душевный склад, я, по крайней мере, мог утаить свой, двигаясь в их среде без явных трений, являясь не источником разногласий, не критиком, но — невидимым агентом влияния. Да, я был одним из них, но я не буду ни их апологетом, ни их адвокатом. Сегодня, в своем прежнем европейском одеянии, я мог бы играть роль стороннего наблюдателя, идущего на поводу у запросов нашей чувствительной публики, не чуждой театральности... но честнее фиксировать тогдашние мысли и действия так, как все было на самом деле. То, что выглядит на этих страницах бессмысленной жаждой разрушения или садистской жестокостью, в полевых условиях представлялось неизбежным, по сути, это было не стоящей внимания обыденностью»*.

Эти слова взяты из начала одной из самых жестких, натуралистичных, но вместе с тем глубоких и блестящих книг нашего столетия — книги, которая сделала своего автора знаменитым. Бернард Шоу назвал ее «одной из лучших описательных книг в истории английской литературы», а Уинстон Черчилль (получивший в 1953 году Нобелевскую премию за вклад в литературу, а не в политику) — «вещью, стоящей в одном ряду с величайшими произведениями, когда-либо написанными на английском языке». Речь идет о «Семи столпах мудрости» Томаса Эдварда Лоуренса, известного больше как Лоуренс Аравийский.

Человек-легенда, ученый-медиевист и переводчик «Одиссеи», во время первой мировой войны он возглавил арабское восстание против турок, став проводником политики Великобритании, стремившейся расколоть Оттоманскую империю, воевавшую на стороне Германии, и позже, *наравне* с королями и премьер-министрами, принял участие в дележе мира на Версальской конференции. Одиночка, отчасти изменивший мир, он был обречен стать для своих соотечественников живым воплощением «белого человека», воспетого Киплингом. Именно таким он и предстает в исполнении О'Тула в известном голливудском фильме «Лоуренс Аравийский». (Заметим, что это не единственная экранизация его биографии. О нем снято десятка два фильмов и передач в жанре кино- и телерасследований и пр.)

Еще при жизни он превратился в символ, в заложника собственного мифа, в конце концов сломавшего ему жизнь. Его называли «новым Наполеоном» и «Байроном XX века». Дважды он вынужденно менял имя, не желая иметь ничего общего с растиражированным газетами и обсуждаемым в великосветских салонах образом «благородного мудрого англичанина, несущего свободу и просвещение диким кочевникам». Он попытался рассказать правду об арабском восстании, написав безжалостные, колючие, полные горечи воспоминания. Сразу же после выхода их по праву признали литературным шедевром. Но и друзья, и враги, выведенные им на страницах книги, никогда не простили ему предельной, почти бесстыдной откровенности этого текста, обнажающего подоплеку событий, внешне подернутых флером «восточной романтики». И Восток и Запад ждали от него рассказа о благородных бедуинах, превыше всего ценящих свободу, ради которой они, в союзе с самой благородной и свободолюбивой державой Европы, вытеснили из Азии косных жестоких турок. Лоуренс же обнажил политические пружины событий, игру интересов, вспомнил множество эпизодов, участники которых больше всего хотели бы их забыть. При этом его политический анализ и сегодня сохраняет свою актуальность. Что касается стиля, достаточно сказать, что он приводил в восхищение столь рафинированного

---

* *Здесь и далее все цитаты даны в переводе А. Нестерова*

© А. Нестеров, 1999

интеллектуала, как Хорхе Луис Борхес, не раз упоминавшего «Семь столпов мудрости» и в рассказах и в эссе.

Как литератором им восхищались Бернард Шоу и Эзра Паунд, как политиком — Клемансо и Черчилль. Среди его первых биографов были Ричард Олдингтон и Роберт Грейвз, а Уистен Хью Оден, обычно весьма сдержанный, одну из самых восторженных своих рецензий написал на сухую и обстоятельную книгу военного историка Лиддела Харта «Лоуренс Аравийский. Человек и легенда». Редьярд Киплинг, когда друзья пригласили его на обед, где должен был присутствовать Аравиец, как называли Лоуренса в Европе, отменил визит в другой дом, назначенный на тот же вечер, — подобное воспитанный англичанин позволяет себе лишь в экстраординарных ситуациях.

Вслед за Вергилиевым Энеем Лоуренс мог бы повторить: «Учись у меня трудам и доблести. Быть счастливым учись у других». Человек, совершивший поистине невозможное — с горсткой арабских бедуинов отрезавший от Турции, в ту пору великой державы, арабский Восток, — он, едва успев вкусить плоды победы, познал, что всякая победа тут же оборачивается крахом надежд, которые одни и заставляли к ней стремиться. Он мечтал о едином арабском государстве на Востоке. Ему удалось разбить хорошо обученную и вооруженную армию противника, но не удалось убедить союзников выполнить обещания, которые те столь щедро раздавали в разгар войны, когда малейшая случайность могла поколебать шаткое равновесие на фронтах.

Черчилль писал: «Продлись мировая война на год дольше... Лоуренс мог бы вступить в Константинополь во главе объединенных племен Малой Азии и Аравии. Вел же он переговоры с Мустафой Кемалем. Так могла бы осуществиться мечта молодого Наполеона о завоевании Востока: вряд ли Лоуренсу недоставало какого-либо из качеств, необходимых для покорения мира... Но враг капитулировал — и тот остался не у дел, нелепый, как доисторический монстр, что выброшен из океанских глубин на берег отступившей волной».

«Князь мятежа», как называли арабы Лоуренса, оказался не нужен. Подобно актеру, который блистательно отыграл свою роль на подмостках и должен уйти, вернуться к серой обыденности, где спешащая из театра публика толкает локтями того, кем только что восхищалась до замирания сердца, он безропотно покинул политическую сцену — но оставил по себе память, пережившую политическую злобу дня, пережившую самую эпоху: оставил одну из самых честных книг о войне, которую читали и будут читать.

* * *

Он родился в 1888 году в семье довольно странной: отец, сэр Роберт Чэпмен, ушел от своей жены к гувернантке старшего сына; пара покинула город, ставший свидетелем семейного скандала, и под фамилией Лоуренс переезжала с одного места на другое, покуда не осела в Оксфорде. Сара Лоуренс, мать Томаса Эдварда, весьма болезненно переживала свое положение женщины, живущей во грехе с чужим мужем, что не помешало ей родить ему пятерых детей. Непрестанно ощущая вину перед Богом, она тем ревностней искала утешения в вере и сделала все, чтобы воспитать детей добрыми христианами. Однако в силу мягкого и впечатлительного характера пламенная мистика романов о святом Граале была ей куда ближе, нежели абстрактная теология. И именно матери Томас Эдвард обязан своим интересом к Средневековью, рыцарям «Круглого стола» и крестовым походам. Рыцарский кодекс чести стал для него истинной верой, превыше христианства, — сама Церковь, видимо, ассоциировалась у юноши с двусмысленностью его положения внебрачного ребенка, почти по доктору Фрейду. (Может быть, поэтому он потом так легко ладил с людьми, принадлежащими к исламской культуре, и тянулся к ним.) Как бы там ни было, некоторые эпизоды из его юности — в частности, история, когда он бросил школу, завербовался волонтером в артиллерийские части и даже несколько месяцев тянул солдатскую лямку, покуда отец не нашел его и не «выкупил» за 30 фунтов, такова была неустойка за расторжение контракта, — позволяют говорить о перенесенной Лоуренсом психической травме.

В 1907 году Лоуренс поступает в Колледж Иисуса в Оксфорде. Специализацией он избрал классическую филологию и медиевистику. Студентом Лоуренс был необычным: днем спал, занимаясь по ночам; однокашники рассказывали, что он установил себе норму чтения — пять-шесть книг за ночь, — которую неукоснитель-

Т. Э. Лоуренс в белом арабском одеянии

но соблюдал. При этом руководствовался он скорее собственными интересами, чем стремлением получить глубокое и систематическое образование, в результате чего в некоторых областях эрудиция его не знала себе равных, об иных же предметах он имел самое смутное представление. Тем не менее о глубине его знаний свидетельствует тот факт, что выполненный им в конце 20-х годов, когда араб-ская эпопея осталась позади и отставному полковнику Лоуренсу нужны были деньги, прозаический перевод «Одиссеи» долгое время — вплоть до середины 60-х — считался образцовым. Интересен, кстати, сам выбор текста: возможно, предводитель повстанческой армии, вынужденный смириться с тем, что по возвращении на родину он оказался нужен своим соплеменникам не больше, чем Одиссей женихам, видел параллель между своей судьбой и судьбой греческого скитальца... Собственно, всю свою жизнь он — сознательно или нет — следовал примеру древних. Два года арабской кампании он провозил с собой в седельной сумке «Смерть Артура» Томаса Мэлори — явно подражая Александру Македонскому, который не расставался в походах с «Илиадой» и даже клал свиток с поэмой себе в изголовье... «Семь столпов мудрости» писались с оглядкой на Цезаря. Лоуренс сознавал, что он создает современный вариант «Записок о галльской войне»: воспоминания полководца о военной кампании...

Темой диссертации Лоуренс избрал архитектурные особенности замков и крепостей, воздвигнутых крестоносцами на территории Сирии, и твердо решил ознакомиться с предметом своих научных штудий на месте.

Сирия — как почти весь Арабский Восток в ту пору — находилась под властью турок, отнюдь не поощрявших интереса европейцев к чему бы то ни было на территории Оттоманской империи, в том числе и к древним развалинам. И, готовясь к своему первому путешествию, Лоуренс резонно позаботился не только о том, чтобы перерыть горы литературы, но и о том, чтобы научиться без промаха стрелять из револьвера с обеих рук. Трудно сказать, насколько в Сирии юноше пригодилось знание истории крестовых походов, но владение оружием спасло ему жизнь. Странствуя в горах, он столкнулся с турецким солдатом, не без основания рассудившим, что белый человек в этих местах может быть только шпионом и никем больше, а потому лучше его убить, от греха подальше. Бравый вояка снял с плеча винтовку, прицелился, выстрелил... и промахнулся. Лоуренс выхватил револьвер, однако, движимый состраданием, решил не убивать противника, а лишь слегка ранить — и метким выстрелом снес турку фалангу пальца. От боли тот выронил ружье, после чего Лоуренс, как истинный рыцарь, подошел к нему и предложил свою помощь. Перевязав платком кровоточащую руку турка, он снискал его глубочайшее уважение — тот даже отдал ему своего ослика, состоявшего, как и его владелец, на пищевом довольствии в оттоманской армии, дабы благородный юноша легко мог спуститься с гор в долину, где его ждали друзья-сирийцы...

Зимой 1911 года Д. Дж. Хогарт, куратор музея Ашмола, предложил Лоуренсу место ассистента в экспедиции, которая направлялась на раскопки хеттского города Каркемыша, стоявшего на реке Евфрат, на границе Турции и Сирии.

Археология в ту эпоху была отнюдь не кабинетной наукой. Руководитель раскопок должен был совмещать в себе качества ученого, организатора и авантюриста. Так, Уоллес Бадж, один из известнейших египтологов — едва ли не половина египетских экспонатов Британского музея добыта именно его стараниями, а на издания египетских текстов под редакцией Баджа ссылаются и по сей день, — по праву мог бы носить титул гениального контрабандиста, ибо способы, которыми он вывозил из Египта древности, вопреки всем запретам и противодействию местных властей, достойны восхищения.

Хогарт особо настоял, чтобы юноша занялся арабским языком: каких-то разговорных выражений Лоуренс нахватался еще во время своего первого путешествия по Сирии, однако этого было недостаточно, чтобы руководить рабочими, нанятыми из числа окрестных жителей. Прежде чем выехать непосредственно к месту раскопок, несколько месяцев Лоуренс провел в школе Американской миссии в Джебали, около Бейрута, где изучал арабский. Позже, после выхода «Семи столпов мудрости», недоброжелатели обвиняли его в том, что за десять лет, проведенных среди арабов — сперва на раскопках, а потом в лагере повстанцев, — он «привык думать по-арабски», и его английский язык оказался непоправимо испорчен, превратившись в арабский, задрапированный английскими словами. Сам Лоуренс в разговоре с Робертом Грейвзом обмолвился, что знание им арабского сильно преувеличено: за время работы в археологических экспедициях он «на слух» выучил около четырех тысяч слов — для арабского, богатого лексикой, весьма немного, — да и те по большей части были связаны со специфическими нуждами раскопок, так что, оказавшись среди мятежников, он поначалу с трудом мог поддерживать беседу. К концу восстания он знал примерно двенадцать тысяч слов, при этом практически не умея читать на языке. Характерно, что, когда после войны издатель Джонатан Кейп предложил Лоуренсу сделать перевод «Тысячи и одной ночи», речь шла о переводе не с арабского, а с французского.

Говоря с капитаном Лидделом Хартом, одним из самых обстоятельных его биографов, Лоуренс заметил, что не знал ни одного англичанина, который бы владел арабским настолько хорошо, чтобы, оказавшись на Востоке, хотя бы первые пять минут беседы мог сойти за уроженца арабского мира, — и сам он отнюдь не был исключением.

Но при этом Лоуренс обладал неким врожденным обаянием и умением ладить с людьми, которое для местных жителей значило гораздо больше совершенного владения языком. Как-то Лоуренс приехал в Джебали в сопровождении одного из арабов, нанятых на время раскопок. На вопрос, как Лоуренсу так хорошо удается ладить с местными, араб ответил: «Он просто один из нас: все, что умеем и знаем мы, умеет и знает и он, причем порой гораздо лучше нас». Иные поступки Лоуренса вызывали непонимание у его европейских коллег. Он мог прервать размеренную рутину работ и полдня обсуждать со своими рабочими какие-то тонкости их родовых взаимоотношений, старые легенды или просто местные сплетни. На замечания руководителя раскопок Д. Дж. Хогарта он лишь отшучивался и пожимал плечами, а через неделю тот обнаруживал, что за это время рабочие у Лоуренса «необъяснимым образом» сделали то, на что надо как минимум дней двадцать. Он разрешил арабам стрелять в воздух из ружей, если в раскопе обнаруживалось нечто действительно ценное или интересное. «Арабы — как дети, им нравится стрелять», — объяснял Лоуренс. После этого количество находок и темп работ на его участке резко возросли.

Порой утверждается, что еще во времена Кархемыша Лоуренс начал работать на военную разведку Великобритании. Рядом с раскопками пролегала железнодорожная ветка, и якобы археологические исследования велись лишь для «прикрытия», а истинной целью пребывания англичан в Сирии было наблюдение за передвижениями турецкой армии и составление карт местности. Отчасти эта версия исходит от турок. Некоторые из немецких инженеров, работавших по контракту на железной дороге, всерьез верили, что Лоуренс — английский шпион. Как бы то ни было, по возвращении в Англию Лоуренс сдал Британскому музею, курировавшему работы, научный отчет об экспедиции. В 1915 году тот был опубликован под названием «Синайская пустыня» и снискал Лоуренсу репутацию серьезного археолога.

Интересно, что Лоуренс, еще в школе увлекшийся фотографией, решил не тратить, как было принято до него, массу бумаги и времени на фиксацию обстоятельств

находки того или иного предмета и его описание, а начал применять фотосъемку, что казалось нарушением всех канонов археологии; лишь со временем ученые убедились, насколько это облегчает работу. Однако в той ситуации Лоуренсом скорее руководила страсть к фотографии как таковой, а не стремление внести новое в методику полевой археологии.

По возвращении Лоуренса в Англию молодым археологом, знавшим арабский язык и не один год проведшим в Сирии и Палестине, заинтересовалась военная разведка. Шла война, правительству и армии Его Величества требовались специалисты по Арабскому Востоку: Турция, под чьей властью находились эти территории, воевала на стороне Германии. Так волею судьбы (и благодаря рекомендации Д. Дж. Хогарта, сменившего роль ученого на роль военнно-политического консультанта) Лоуренс стал сотрудником MI-I, откомандированным в Каир.

К тому времени арабские офицеры, служившие в турецкой армии, уже образовали тайное общество, целью которого было отделение арабов от империи. После начала войны они обратились к шерифу Мекки Хусейну с призывом возглавить их движение и, воспользовавшись благоприятным моментом, поднять восстание. Основной силой восстания должна была стать арабская дивизия, которую турки готовили к отправке на фронт. Предполагалось, что командовать ею будет сын Хусейна, Фейсал. Он и должен был поднять знамя мятежа — багровое знамя шерифа. Все было готово, однако турки заподозрили неладное: был раскрыт заговор среди сирийских офицеров, и высокая комиссия — сам Энвер-паша и Джемаль — решила ознакомиться с обстановкой на месте, для чего они приехали в Медину, где была расквартирована арабская дивизия. Дальнейшее развитие событий предопределялось восточными представлениями о чести. Фейсал, лидер готовящегося восстания, и два верховных правителя империи, из-под власти которой повстанцы хотят освободиться, устраивают смотр армии, что должна выступить против турок. Смотр происходит за городскими воротами. Диктаторы сумрачно наблюдают, как маршируют полки, взбивая пыль, и как гарцует арабская конница, а к Фейсалу подходит один из офицеров и спрашивает: «Господин, мы убьем их сейчас?» На что Фейсал отвечает... запретом. Убийство турок было бы нарушением законов гостеприимства. Офицеры настаивают. Фейсалу приходится в буквальном смысле слова умолять их ради его чести сохранить жизнь врагам, лишь совсем недавно заставившим его присутствовать на казни сирийских заговорщиков, многие из которых были его личными друзьями. Извинившись, Фейсал резко обрывает смотр и увозит высокопоставленных гостей в Медину. Прекрасно все понявшие, Энвер и Джемаль вводят в Медину турецкие части. Тогда Хусейн и Фейсал, опираясь на бедуинов, поднимают восстание.

Лоуренс убедился, что арабам не хватает лидера, способного стать военным вождем объединенных племен. Шериф Хусейн был политиком, но не военачальником. Его сын Абдулла, в котором многие хотели бы видеть реального вождя восставших, производил впечатление человека необычайно талантливого, дальновидного — но слишком хитрого, чтобы ему можно было доверять всерьез. Не оправдали надежд англичан и два других возможных претендента на роль лидера: сводный брат Абдуллы — Зейд или еще один сын шерифа — Али.

Действуя на свой страх и риск, Лоуренс преступает рамки данных ему полномочий и решает встретиться с Фейсалом. Если верить «Семи столпам мудрости», именно эта встреча и предопределила весь дальнейший ход арабского восстания. В Фейсале Лоуренс увидел того, кого искал, а юный арабский принц проникся уважением и доверием к человеку, который на заданный при знакомстве вежливый вопрос, понравился ли ему лагерь восставших, резко ответил: «Да, но он слишком далеко от Дамаска». Обретение контроля над Дамаском означало победу восстания.

По возвращении Лоуренс представил начальству рапорт о положении дел в Хиджазе, указав, что, если обеспечить восставших боеприпасами, вооружением и откомандировать к ним компетентных советников, повстанцы могут стать серьезной силой. Однако, как выяснилось, поиск и подготовка офицеров, способных сыграть роль военных консультантов при Фейсале, займет не один месяц, и до той поры полковник Клейтон решил направить в лагерь повстанцев Лоуренса — всего лишь в качестве координатора, который помог бы арабам поддерживать контакт с англичанами. Так оксфордский археолог оказался одним из тех, от кого зависела судьба мятежа.

«Мы были армией, предоставленной самой себе, без парадов и показухи, мы служили свободе, свободе, которая для каждого живущего на земле не менее дорога, чем «Символ веры»; цель эта была для нас столь желанна, что поглотила нас без остатка, а надежда — столь запредельна, что наши первоначальные амбиции померкли в ее славе. С течением времени потребность сражаться за идеал переросла в одержимость, не ведающую вопросов: она гнала нас железной шпорой, заставляя отбросить сомнения прочь. Волей-неволей это стало верой. Мы продали себя ей в рабство — скованные цепью, подобно каторжникам, со всем, что было в нас хорошего и плохого, мы превратились в служителей святого идеала. Оказавшийся в положении раба мыслит иначе, ведь он лишен чего бы то ни было в этом мире. Происходящее в его душе способно внушить ужас и отвращение. Мы же отдали не только тело, но и душу всеподчиняющей жажде победы. Воздаянием за этот выбор была опустошенность: отринув мораль, волю, ответственность, мы стали подобны сухой листве на ветру».

Не будучи кадровым военным, он, вырабатывая план восстания, следовал не навыкам, прививаемым в военном училище, а собственной интуиции и воспоминанию о прочитанных когда-то двух десятках книг, не столько по военному делу, сколько по философии войны: Клаузевиц и тому подобное. В «Семи столпах мудрости» он вспоминает, как, свалившись с приступом дизентерии, лежал в палатке, бредил, а приходя в сознание, пытался сформулировать стратегию предстоящей кампании, размышляя о ней в терминах... Платона и Аристотеля на хорошем греческом. В самой абсурдности этого есть что-то на редкость убедительное.

В течение года Лоуренсу практически удалось отсечь и изолировать друг от друга турецкие гарнизоны, размещенные в арабских городах. Дальнейший успех зависел от того, смогут ли повстанцы накануне наступления союзников в Азии отрезать Дамаск — основную базу турок — от путей снабжения. Генерал Бартоломью, разрабатывавший Дамасскую операцию, определил положение одной фразой: «Если Лоуренс сможет сделать это за день до наступления, мы победили». Арабы вышли к Деръе — станции, которая контролировала последнюю железнодорожную ветку, связывающую Дамаск с внутренней территорией страны, — за сорок восемь часов до наступления союзников. Теперь необходимо было взорвать железнодорожное полотно на глазах у хорошо вооруженного и многочисленного гарнизона, расквартированного в городе. И вот когда повстанцы подошли к станции почти вплотную, с ее аэродрома поднялось в воздух восемь немецких бомбардировщиков. Армия Фейсала представляла собой на равнине почти идеальную мишень. Подрывники еще только закладывали заряды, когда стали падать первые бомбы. И тут в небе появился одинокий английский самолет.

Англичане предоставили в помощь восставшим несколько самолетов для разведки и поддержки с воздуха. Услышав далекие разрывы бомб, один из английских пилотов — лейтенант Джунор, не ожидая приказа, поднял легкий истребитель и полетел к Деръе. Оценив ситуацию, он направил самолет прямо наперерез немецкой эскадрилье. У летчиков времен первой мировой войны были свои представления о чести. Увидев авиатора, бросающего им вызов, немецкие пилоты утратили всякий интерес к наземным целям и бросились преследовать самолетик Джунора. Им казалось, что сбить его — ведь их машины были намного современней — не составит особого труда. Повстанцы получили шанс: подрывники успели закончить свою работу, а сконцентрированная в одном месте армия (собственно говоря — несколько тысяч человек) рассеялась на мелкие группы, двинувшиеся в различных направлениях. Английский же летчик, сделав «круг почета» с восемью немецкими самолетами на хвосте, ухитрился спастись, приземлив свою изрешеченную пулями машину поблизости от отряда подрывников Лоуренса, в распоряжении которых был автомобиль, и на автомобиле вся группа вырвалась из зоны огня...

Кто-то из военных историков назвал арабскую кампанию «последней романтической войной» в истории человечества. Благородные кочевники на верблюдах, верные идеалам свободы, являли собой разительный контраст с армиями в хаки, засевшими в окопах и поливающими друг друга артиллерийским огнем. Но определение «романтическая» в приложении к той войне в пустыне имеет еще один, более глубокий смысл: это была война одиночек против государственной машины. На одной чаше весов лежали регулярность поставок продовольствия и амуниции, со-

гласованность железнодорожного расписания и бюрократическое оформление грузов, на другой — своеволие небольших групп кочевников, вдруг появляющихся из пустыни и разрушающих мосты и железнодорожное полотно, телефонные коммуникации и телеграфные линии, или своеволие молодого лейтенанта, который поднимает самолет в воздух, не дожидаясь приказа. Кто знает, не он ли на самом деле нанес сокрушительное поражение Оттоманской империи в первой мировой войне?

Однако у «романтики» той войны была и оборотная сторона: «Пути бедуинов достаточно тяжки даже для тех, кто знаком с ними сызмальства, но для чужаков они ужасны; это смерть при жизни, — писал Лоуренс. — Вечная битва нашего существования вырвала из душ всякое беспокойство о жизни — собственной ли, окружающих ли... Каждый день смерть уносила еще одного; оставшиеся знали, что они — лишь наделенные способностью чувствовать марионетки на сцене Божьей; кукловод же наш был поистине безжалостен, безжалостен до самого последнего момента, покуда мы еще могли переставлять истертые в кровь ноги, двигаясь все дальше и дальше. Выбившиеся из сил завидовали тем, кто устал настолько, чтобы умереть; успех казался столь далеким, а провал — столь близким и неизбежным, что смерть сулила мгновенное освобождение от всех трудов. Полнейшая апатия сменялась крайним напряжением нервов: мы жили или на спаде, или на пике всех чувств. Измотанность, выжатость была для нас подобна яду; она заставляла нас думать лишь о насущном, отбросив саму мысль о зле, которое мы несем тем, кто столкнется с нами, или зле, которое мы претерпеваем: физические чувства на поверку оказались ничего не стоящей мгновенной пеной. Порывы жестокости, извращения, похоти проносились по поверхности, не затрагивая сущности; моральные законы, которые раз за разом попирались в силу нелепого стечения обстоятельств, казались лишь пустым звуком... Наши руки постоянно были в крови: мы получили своего рода индульгенцию. Ранить, убивать казалось лишь преходящей, мгновенной болью, ибо сама наша жизнь была мгновением и не ведала к нам жалости... Мы жили одним днем, ради этого дня мы умирали...»

Все кончилось 1 октября 1918 года: повстанцы заняли Дамаск. Турция утратила контроль над Арабским Востоком.

Лоуренс был отозван в Англию, однако вскоре его включают в состав британской делегации на Версальской конференции. Перед ним открывается блестящая политическая карьера. Но дипломатом Лоуренс никогда не был. Трагедия его в том, что он пытался быть рыцарем в эпоху динамита. Он весьма своеобразно (с точки зрения английского правительства) понял свою роль на конференции. Сражаясь бок о бок с арабами, он сражался во имя создания единого арабского государства. Однако появление такового на Востоке вовсе не входило в планы великих держав. Англичане давали арабам весьма расплывчатые обещания, однако еще в 1915 году заключили с Францией ряд соглашений, касающихся раздела мира после войны. И арабскому государству места там вовсе не было. Лоуренс случайно узнал об этих планах союзников еще в середине арабской кампании и не без труда справился с обрушившимся на него потрясением: ведь представители английского правительства, посылая его к восставшим, заявляли ему совсем иное. Фактически его и арабов предали и цинично использовали в чужой игре. Правда, к концу войны Англия стала побаиваться чрезмерного усиления Франции и готова была предпринять некоторые шаги, чтобы этого не допустить. В частности, поднять вопрос о том, чтобы некоторые арабские территории получили независимость. Вернее — номинально независимое правительство, на самом деле являющееся марионеткой в руках европейских держав. Желательно — Великобритании. Поэтому Ллойд Джордж даже прислал Фейсалу приглашение на конференцию. Однако в официальный список участников Фейсал включен не был. Об этом он узнал только в Париже, когда его проинформировали от имени оргкомитета, что «правительство Франции сожалеет, однако арабская делегация не получила представительства на конференции, ибо великие державы покуда не заявили об официальном признании правительства повстанцев». К вечеру того же дня «недоразумение», правда, разрешилось. Посредником между арабами и союзниками вновь выступил Лоуренс. Через свои связи — генерала Алленби и друзей в министерстве иностранных дел — он добился, что вечером Фейсал получил официальное подтверждение от Ллойд Джорджа: арабы могут иметь на конференции двух представителей.

С этого момента Лоуренс фактически присутствовал на конференции не как член английской делегации, но как личный представитель и переводчик Фейсала. На официальные мероприятия он являлся не в мундире полковника британской армии, как того требовал протокол, а в арабском одеянии, жил в том крыле гостиницы, что было отведено Фейсалу, и помогал ему составлять речи. Даже на прием в Букингемском дворце, устроенный Георгом V в честь Фейсала во время перерыва в работе конференции, Лоуренс, демонстративно нарушая этикет, пришел в арабском платье. На вопрос короля, что послужило тому причиной, он ответил: «Ваше Величество, волею обстоятельств я оказался вассалом двух господ: Вас и короля Фейсала. И честь велит мне вызывать недовольство того из них, кто сильнее, а не кто слабее. Поэтому я предпочел задеть Ваши чувства, а не чувства короля Фейсала, который привык видеть меня именно в этих одеждах».

Все эти поступки Лоуренса принесли ему скандальную известность — но не принесли арабам желаемого решения. Все, что они получили, — это королевство Сирия под протекторатом Франции. На трон королевства был возведен Фейсал.

Лоуренс воспринял такое решение едва ли не как личное оскорбление. Он испросил у короля Георга аудиенции, на которой вернул награды, врученные ему английским правительством, заявив при этом, что «стыдится той роли, за которую получил свои ордена: от имени Англии он давал арабам известные обещания, и эти обещания выполнены не были, так что теперь ему, возможно, придется сражаться против своих соотечественников — при таких условиях он не считает возможным носить британские ордена».

Любопытно, что даже после подобного жеста Лоуренсу не был закрыт путь к официальным должностям. После провала его усилий на Версальской конференции он около года провел в Оксфорде, преподавая в колледже, но в 1921-м Уинстон Черчилль приглашает его работать под своим началом на Ближнем Востоке. Перед Лоуренсом открывались блестящие карьерные перспективы. Однако, сделав все необходимое, чтобы на Востоке установился мир, он подает в отставку.

Бернард Шоу со свойственным ему сарказмом заметил по этому поводу, что английское правительство вовсе не проявило себя неблагодарным по отношению к Лоуренсу. Оно предложило ему на выбор несколько назначений, ни одно из которых того не устраивало: после Версальской конференции он не хотел иметь никаких дел с родным государством. Тогда правительство предоставило ему возможность «самому обеспечить себя средствами к существованию, написав книгу обо всем, свидетелем чему он был, и безбедно жить на доходы с ее продажи. Ныне так делаются все состояния отставных министров...».

Лоуренс действительно сел писать книгу. Но он отказывался «делать деньги на крови арабов и турок», так же как и на памяти друзей, с которыми бок о бок воевал в пустыне.

Выйдя в отставку, Лоуренс скоро обнаружил, что ему практически не на что жить. Никаких сбережений у него не было. (Это тем более показательно, что за время арабской кампании через его руки прошло около полумиллиона фунтов стерлингов: он имел право по своему усмотрению распоряжаться специальным фондом, выделенным английским правительством для поддержки восставших. Кстати, издержки англичан на ближневосточную кампанию весьма ярко говорят о том, что́ именно Лоуренс сделал для Англии: все операции на ближневосточном театре во время первой мировой войны обошлись английским налогоплательщикам в 11 миллионов фунтов, а введение английских войск в Ирак во время восстания 1921 года — вывода которых из страны и добилась комиссия Черчилля — в 60 миллионов фунтов.) Арабы вовсе не спешили выразить Лоуренсу свою признательность и обеспечить какой-нибудь почетной пенсией. Они ограничилась тем, что поднесли ему золотой кинжал — знак власти шерифа. Некоторое время герой арабской войны вел в прямом смысле полуголодное существование. Безденежье и растущее отвращение к собственной славе заставили его под именем Джеймса Хьюма Росса завербоваться в Королевские воздушные силы. ВВС казались Лоуренсу неким мужским братством избранных. Реальность расставила все по местам.

Начались дни обычной армейской муштры, к которой, в силу своего взрывного характера, Лоуренс менее всего был приспособлен. Поэтому вскоре он близко познакомился с полным набором дисциплинарных мер, предусматриваемых в британ-

ской армии для нерадивых военнослужащих. В частности, с тем, что́ значит провести неделю на уборке отхожих мест. Дополнительное напряжение — и внешнее и внутреннее — в казарменную жизнь Лоуренса привносили любого рода напоминания о прежнем его положении. Так, вернувшись вечером после грязной работы, он мог извлечь из кармана кителя пропахшее экскрементами письмо, полученное с утренней почтой, но еще не прочитанное, и обнаружить, что его приглашают на должность главного редактора в один из самых высоколобых английских литературных журналов — «Бель-леттр». Или из блокнота нерадивого курсанта, стоящего навытяжку перед орущим на него лейтенантом, мог выпасть лист бумаги: верительная грамота, наделяющая предъявителя, полковника Лоуренса, правами полномочного представителя Великобритании на арабских территориях.

Лоуренсу не удалось долго скрывать свое подлинное имя. Вскоре журналисты каким-то образом докопались, что герой войны служит простым курсантом Королевских воздушных сил, а начальство Лоуренса узнало, что тот сочиняет книгу про армию, где военные предстают отнюдь не в лучшем свете, — и разгорелся скандал. Вызванный для объяснений, Лоуренс теряет над собой контроль. Армейский психиатр признает его ограниченно вменяемым, и Лоуренса с позором изгоняют из ВВС. Когда вся эта история докатилась до Бернарда Шоу, Лоуренсу симпатизировавшего и даже взявшегося редактировать оконченные к этому времени «Семь столпов мудрости», тот отправил «Россу» весьма резкое письмо: «Подобно всем героям — и, должен прибавить, всем идиотам, — Вы чересчур самоуверенны... Вы должны были вести себя иначе, а теперь — теперь бесполезно отрицать, что Лоуренс — это Ваше подлинное имя. Это Вас не спасет... Вы — Лоуренс и будете им до конца Ваших дней и даже после смерти — вплоть до конца того периода, который мы называем «новейшей историей».

Лоуренс крайне болезненно воспринял все происшедшее. В армии он искал забвения своего «я», некоего освобождения от груза ответственности и памяти. Жестокость и лишения, через которые он прошел во время войны в пустыне, подорвали его психику: фактически он находился на грани сумасшествия. В нем видели героя, гениального полководца, а он ненавидел свою роль в истории, считая себя предателем, ибо то единое арабское государство, ради которого сражались его друзья-повстанцы, так и не было создано: восстание стало разменной монетой в политике великих держав. Образ полководца, который ему усиленно навязывала пресса, претил Лоуренсу еще больше; его опыт резко отличался от опыта военных гениев вроде генерала Людендорфа. Те лишь отдавали приказы и редко видели истинные последствия их выполнения: цифры военных потерь, ложащиеся на штабные столы, не дают представления о перекошенных болью лицах убитых, окопных вшах и тому подобном. Лоуренс же даже самые жестокие вещи вынужден был совершать своими руками. Он лично пускал под откос поезда, и на него падали окровавленные куски тел, поднятые в воздух взрывом, — и он сам приводил в исполнение смертные приговоры в повстанческой армии, ибо никто из арабов не решался этого сделать, опасаясь кровной мести родственников, хотя порой то был единственный способ предотвратить предательство, измену или малодушие. И вот теперь он хотел спастись от воспоминаний, прикрывшись личиной чужого имени, затерявшись в безликости армейских рядов: сгинуть, раствориться.

Вскоре после увольнения из авиации он — под фамилией Шоу — вступает добровольцем в танковый корпус. Позже он признается, что это было одной из величайших ошибок в его жизни. Сослуживцы по корпусу оказались людьми на редкость ограниченными. Да, Лоуренс хотел причаститься простоты, прозы жизни — но не до такой же степени! А тут, когда, мучимый ночными кошмарами, навеянными воспоминаниями о войне, он стал кричать и перебудил всю казарму, ему просто-напросто устроили «темную». «Лицо разбито, сломана нога, когда-то поврежденная на войне... Кажется, меня били четверо... Унизительно — и очень больно», — пишет он старым друзьям. Единственной отдушиной для него стала безумная езда на мотоцикле: ощущение риска напоминало ему, что он еще жив. «Все это — сумасшествие; порой я задумываюсь, до какой степени я безумен и не станет ли психушка моим следующим пристанищем...» — проговаривается он в одном из писем.

Друзья — Бернард Шоу, Тренчард и другие — пытаются помочь Лоуренсу. Так, Шоу пишет резкое письмо премьер-министру, указывая, что ситуация, когда Лоуренс

вынужден служить в качестве наемного солдата, позор для страны. Прежде чем отправить письмо, он показывает его Д. Дж. Хогарту, знавшему Лоуренса еще во времена Кархемиша. Хогарт с грустью констатирует, что, по его мнению, обращение Шоу останется без результата: «В случае Лоуренса проблема не в том, чтобы обеспечить его достойным жалованьем. Проблема в его образе жизни. Я не могу представить правительственный пост, который премьер-министр мог бы предложить Лоуренсу, а тот — согласился бы принять... Он тут же начнет говорить о моральной проституции и — отставке... Лоуренс — человек не совсем нормальный, и поэтому что-нибудь для него сделать чрезвычайно сложно...»

В редкие моменты, когда депрессия отступала, Лоуренс мог иронизировать по поводу своего положения: «Всем я не ко двору. Лейбористы величают меня не иначе как «шпион империализма» и прилюдно сжигают мое чучело на костре, консерваторы видят во мне большевика, а лорд Т. утверждает, что я — фигляр, озабоченный саморекламой...»

В конце концов усилия друзей дали свои плоды, и Лоуренсу разрешают вернуться в авиацию — в качестве техника, ответственного за предполетную подготовку машин. Это положение его вполне устраивает.

Т. Э. Лоуренс и эмир Фейсал. Париж, 1919 год

К тому времени книга воспоминаний «Семь столпов мудрости» закончена. Блестяще написанная, она была необычайно далека от жанра военных мемуаров, всегда пользовавшегося в Англии популярностью. Несмотря на обилие стратегических выкладок, точных данных о передвижениях войск и тому подобных материалов, представленных на страницах этого сочинения, «Семь столпов мудрости» читались как исповедь интеллектуала-одиночки, не желающего принимать на веру и разделять установки общества: «Мои попытки жить все эти годы «в арабском платье», имитируя мышление араба, оторвали меня от моего английского «я» и позволили увидеть Запад, его условности иным взглядом: тот мир рассыпался для меня прахом. Но вместе с тем искренне переродиться в араба я не мог, это было притворством, и только. Лег-

ко лишить человека веры, обратить его в веру иную — тяжело. Я сбросил старую кожу — но не оделся новой, я сделался подобен гробу Магомета из нашей легенды; отсюда — чувство всепоглощающего одиночества и презрения, нет, не к людям, но ко всем их деяниям... Иногда «новое» и «старое» «я» затевают в пустоте диалог; полагаю, в такие моменты безумие подступает совсем близко, оно все время маячит рядом с тем, кто видит мир сквозь покровы двух обычаев, двух образований, двух обществ». Несмотря на горечь, которой исполнены многие строки лоуренсовских воспоминаний, для поколения «Смерти героя»[1] его книга была подобна глотку надежды. Она оказалась способной «реабилитировать» сознание целой нации, надломленное пониманием абсолютной бессмысленности мировой войны: Лоуренс невольно доказывал, что пусть на самой периферии, но это была война за свободу — хотя бы одного народа. Больше того, судьба Лоуренса служила примером того, что воля одиночки способна изменить действительность вплоть до перекройки политических границ на карте мира. А проблема соотношения индивида и общества в «век толп» мучительно занимала в ту пору европейских интеллектуалов. Неудивительно, что горячими почитателями Аравийца оказались столь разные люди, как Уистен Хью Оден и Роберт Грейвз, Киплинг и Эзра Паунд, — именно те, кто предлагал свои решения этой дилеммы.

Лоуренс издал «Семь столпов мудрости» исключительно для друзей, в количестве 500 экземпляров, и разорился на этом издании, хотя воспоминания об арабской кампании могли бы принести ему состояние. Достаточно сказать, что через неделю после выхода книги в «Таймс» стали печататься объявления, авторы которых готовы были платить 5 фунтов в неделю (для сравнения: за перевод «Одиссеи» Лоуренс получил 800 фунтов) за возможность ознакомиться с таинственной публикацией. Книга распространялась по подписке, по 30 фунтов за экземпляр, притом что стоил тот намного дороже: Лоуренс заказал художникам портреты участников событий, и, естественно, они были воспроизведены в цвете, книга печаталась вручную, на специальной бумаге, а каждый экземпляр одевался в свой, неповторимый переплет. Как заметил Бернард Шоу, Лоуренс сделал все, чтобы потратить на это издание последние оставшиеся у него средства, проявив себя человеком, абсолютно неприспособленным к коммерческой цивилизации. С другой стороны, возможно, что таким образом он пытался разрешить свои психологические проблемы, связанные с «чувством вины перед арабами».

Параллельно с «Семью столпами» выходят воспоминания Лоуэлла Томаса «С Лоуренсом в Аравии» и «сокращенная», суходокументальная версия воспоминаний самого Лоуренса, на которой все же настоял издатель, — «Мятеж в пустыне». Аравиец вновь оказывается в центре внимания публики. Друзья — особенно те, кто, как Черчилль, стоял близ вершин власти, — понимая, что эта ситуация может привести Лоуренса к очередному психологическому срыву и скандалу, поспешили «убрать» его из Англии, отправив служить авиационным техником в далекий индийский гарнизон близ Карачи.

Публикация «Семи столпов» не избавила Лоуренса от того, что сам он называл «чернильной лихорадкой в крови»; в Индии он принимается за новую книгу — на этот раз за роман из жизни ВВС. Книга, получившая название «Орлянка», увидела свет лишь в 1955 году: прежде чем передать роман издателю, Лоуренс послал его для «ознакомления» Тренчарду, столь много сделавшему для того, чтобы жизнь Аравийца наладилась; Тренчард счел, что «роман слишком неприглядно рисует быт военных летчиков и его публикация могла бы нанести ущерб престижу британских воздушных сил».

В мае 1928 года Лоуренса переводят из Карачи в Мираншу — маленький гарнизон почти у самой границы с Афганистаном. Нет ничего удивительного в том, что, когда зимой в Афганистане вспыхивает восстание, газетчики, раскопавшие информацию о пребывании Аравийца в Индии, на границе с охваченной мятежом страной, спешат приписать восстание делу его рук. Лоуренса тут же отзывают в Англию, однако проделано это было столь неуклюже, что лишь подогрело подозрения. Пребывание Лоуренса в Лондоне превратилось в настоящий ад — за ним постоянно следили репортеры, он чувствовал себя дичью, со всех сторон обложенной охотниками. Он

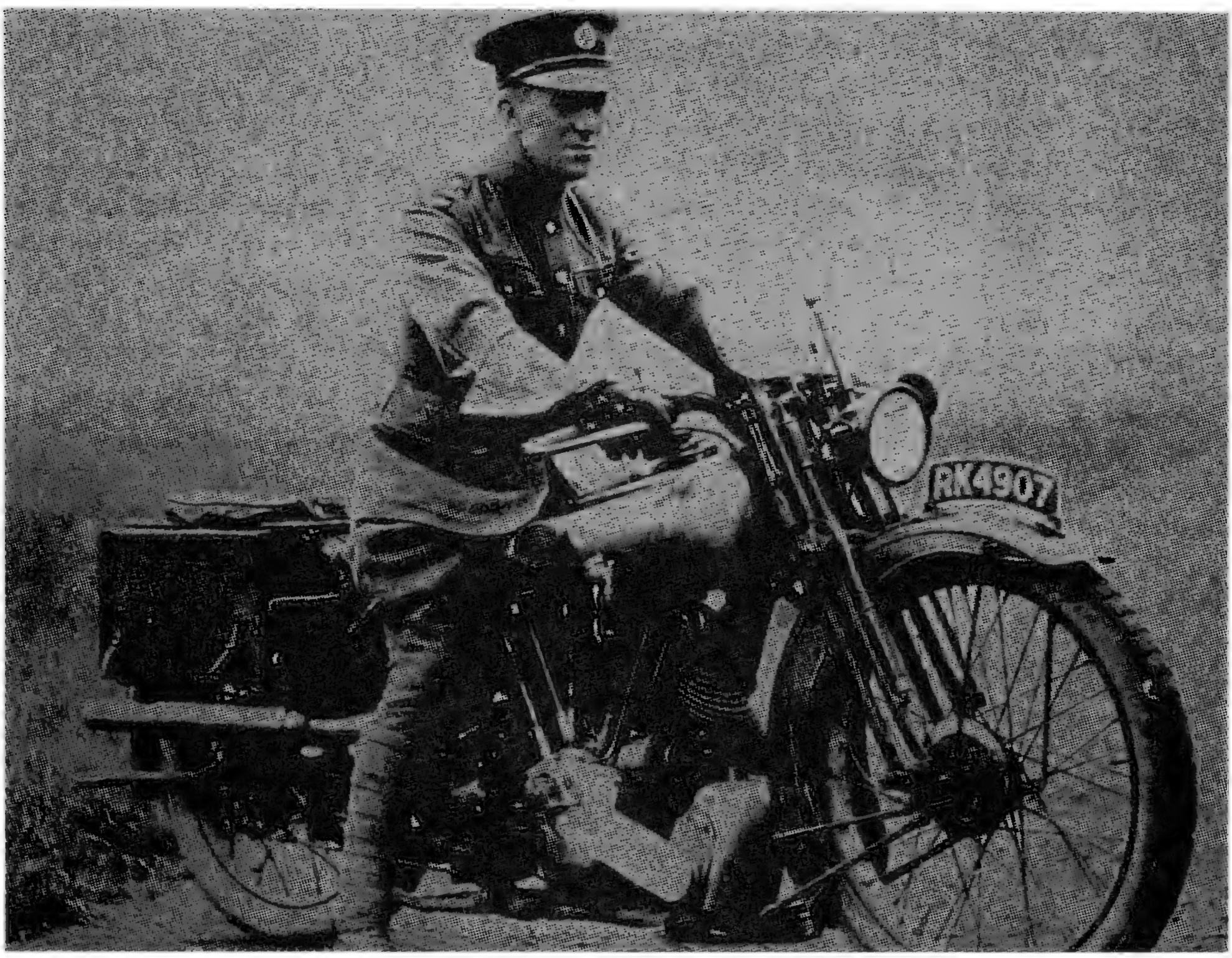
[1] Имеется в виду знаменитый роман Р. Олдингтона.

лично обзванивает редакторов крупных газет, требуя снять унизительную осаду. Наконец, опять же стараниями Тренчарда, его переводят в Дорсет, на побережье, где расквартирована эскадрилья гидросамолетов.

Новое назначение открывает Лоуренсу некоторый простор для деятельности. Он предлагает ряд технических усовершенствований для торпедных катеров, участвует в организации воздушных парадов, «с его подачи» вносятся немаловажные изменения в инструкции, касающиеся управления «летающими лодками», чей экипаж состоял наполовину из моряков, наполовину из летчиков: по представлении специального рапорта, подготовленного Лоуренсом, было принято решение о том, что командование в воздухе передается пилоту, независимо от его служебного ранга.

С головой уйдя в работу, Лоуренс перестает болезненно реагировать на всякое упоминание своего имени. Так, известие о том, что социалисты устроили публичное сожжение чучела Аравийца — «архишпиона империализма», — вызывает у него лишь приступ веселья. Он занят новой книгой — историей своего поколения, собираясь назвать ее либо «Листва на ветру», либо «Исповедание веры». Он даже вполне счастлив. Во всяком случае, он обрел что-то вроде покоя. Лишь порой он выводит из гаража мощный мотоцикл — подарок Бернарда Шоу — и на бешеной скорости устремляется навстречу ветру. Друзья твердят, что когда-нибудь он разобьется, но он только отмахивается...

13 мая 1935 года он отправляется с утра на одну из таких безумных прогулок и на повороте рядом со своим домом, пытаясь разъехаться с грузовиком, врезается в дерево. Официальная версия гласит, что то была лишь обычная автокатастрофа, однако она странным образом совпадает по времени с внезапной смертью короля Фейсала во время пребывания того на отдыхе в Швейцарии. Расследование так ничего и не дало, но подозрения о преднамеренном характере инцидента остались. Лоуренс умер через несколько дней в больнице. А любители загадок до сих пор строят версии, не «позаботились» ли о его уходе из жизни некие спецслужбы: Аравиец раздражал слишком многих, и его смерть могла быть выгодна множеству сторон, начиная от арабов, борющихся за власть после смерти Фейсала, или немецких спецслужб, обеспокоенных работой Лоуренса над торпедными катерами, — и до палестинцев, недовольных своим положением после первой мировой войны, или английского



Авиатор Росс (Лоуренс Аравийский)

правительства, изрядно уставшего от компрометирующего его одним фактом своего существования «руководителя арабского восстания».

На похоронах Лоуренса Черчилль назвал его «одним из величайших людей, живших в наше время». И с горечью признал, что, сколь бы Англия ни нуждалась в подобных ему, второго такого человека ей никогда не суждено увидеть. «Он будет жить в английской литературе, в истории войны... и в арабских легендах».

Странный человек, оказавшийся заложником своей эпохи, принесший жизнь в жертву чужому народу и личной идее долга, он оставил после себя книгу, которая, может быть, стала одним из лучших документов, свидетельствующих, чем же именно был XX век — столетие крови и жестокости, наивности и отчаянья...

Т. Э. ЛОУРЕНС

Перемены на Востоке

«Неизменный Восток» — чеканная подпись под карикатурой, однако время изменилось и отмстило автору этой фразы. Сегодня Восток — арена перемен, перемен столь стремительных, столь грандиозных, что на их фоне наша Европа кажется косной. Долгое время мы были слишком поглощены проблемами войны и мира, зализывали наши раны, пытались восстановить равновесие на континенте: нам было не до Азии, не до того, чтобы разбираться, чего она хочет и что там происходит. Пытаясь выстроить наши отношения на старой доброй основе, мы, к своему ужасу и удивлению, обнаруживали, что Азия реагирует совсем не так, как мы ожидали. Ее сотрясают беспорядки, волнения, мятежи, а мы, не ведая о стоящих за ними движениях, упустили сам ход развития событий, — и вот оказалось, что на это у нас есть только один ответ — применение силы.

Однако существует безотлагательная необходимость понимания, мы должны разобраться, оценить наши позиции в Азии, только тогда мы сможем постичь азиатов. Мы все как один согласны с тем, что пришло время произвести переучет ценностей, но мало кто готов извлечь из этого соответствующие уроки. И вот: мы направили в Индию комиссию, и комиссия предложила провести в Индии реформы; мы послали комиссию в Египет, чтобы она определила, какие реформы нужны в Египте. Мы знаем: в палате лордов обсуждается вопрос, не послать ли комиссию в Месопотамию. Даже Мальтой занимается особая комиссия. И все это несогласованные, раздробленные меры, что проводятся государственными мужами с шорами на глазах — они изначально не способны увидеть что-либо помимо политической обстановки в отдельных провинциях, которыми им выпало заниматься. Никто из них не способен предложить нам целостную картину происходящего, целостную картину новой Азии; ни один не может поставить диагноз болезни или предложить лекарство. Что до болезни, называйте ее как вам будет угодно: физическим, моральным или умственным расстройством или порождением материальных условий. Но это — болезнь азиатской цивилизации, неминуемый результат ее слишком тесного контакта с Западом. Той же болезнью заразились после встречи с нами аборигены Австралии — и эта болезнь свела их в могилу. Причины тогда были почти биологические: общество австралийцев было слишком слаборазвито, чтобы выдержать контакт с социумом, столь от него отличающимся. Азия выносливей, старше, население ее многочисленней — ей не грозит смерть. Но именно мы причина ее болезни. Европу переварить нелегко.

© А. Нестеров. Перевод. 1999

Мы легче поймем напряжение, привнесенное нами в жизнь Азии, если обратимся к сфере материальной. Развитие техники потребовало от нас столетий тяжких усилий и изобретательства. Лик Европы менялся постепенно, год за годом, а потому не возникало нужды в излишнем насилии, призванном приучить людей к новым идеям: от вьючных лошадей мы перешли к телеге, потом появились безрессорный экипаж, за ним — карета, железная дорога, автомобиль, самолет; и даже нам прогресс порой казался слишком стремительным — тогда мы высылали вперед машин людей с красными флагами, так было всегда. Что до Азии — она за тридцать лет, на глазах одного поколения, пересела с вьючных осликов на «роллс-ройсы», с племенных скакунов — на самолеты. Пятьсот лет ушло у нас на то, чтобы от боевого лука — долго-долго провозившись с мушкетами — перейти к автоматическому оружию. Мародер пустыни лишь накануне мировой войны выпустил из рук копье и сейчас отправляется в набег, перекинув через седло пулемет «Максим». Четыреста лет назад мы изобрели печатный пресс и прошли долгий путь ученичества: от деревянных печатных досок к набору, скрепляемому винтами, а там — к рычажному прессу, паровому прессу, электрическому прессу, покуда не достигли дешевизны и скорости современной газетной печати. На Востоке бок о бок существуют старомодные писцы-каллиграфы, год от года живущие все беднее, — и линотип. Массовая печать пришла в Азию уже в готовом виде. Такова материальная сторона дела. Азия за тридцать лет прошла путь, на который мы затратили столетия. Не все ей удалось, как не удалось это в полной мере некоторым территориям России, части Балканских стран, некоторым районам Северной Америки. Однако важно, что она это сделала, и Азия поэтов Озерной школы и Ламартина навсегда ушла в прошлое. Этого нельзя не увидеть. Некоторые из нас — те, кому мило средневековье, — оплакивают сие как утрату. Однако плач их не более чем поза. Кто станет переводить часы обратно? Но нет уловки проще, чем перевести стрелки немного вперед и заставить часы спешить. Сегодня такое множество народа пытается перевести вперед часы Азии, что почти невозможно понять, какова же естественная скорость их хода. Возможно, мы поймем это, лишь когда часы остановятся; но, как бы то ни было, нам важно понять, что наша земля — беговая дорожка, по которой несутся, обгоняя друг друга, страны и континенты — и Азия в этой гонке использует всю полноту накопленных нами знаний.

Изменилось мышление, изменилась мораль азиатских народов, однако кто возьмется это оценить? Изменения в материальном укладе Азии подготовили нас к тому, чтобы обратить внимание на глубочайшие перемены в других областях — готовы ли мы принимать их всерьез? В Азии произошла смена идей: народы заговорили о политическом представительстве и парламенте. А ведь во времена наших отцов ими правили духовные и светские владыки. Стоит лишь задуматься о том, сколько веков понадобилось Англии, чтобы учредить палату общин, — и нас поразит прыть Азии: в Каире и Бомбее — рабочие волнения, в Мекке — всеобщая забастовка, в Константинополе — профсоюзный конгресс. Она быстро — слишком быстро — переняла наши недуги. Самоопределение? Конечно же да! Лига Наций? Они куда больше, чем мы, озабочены ее политикой. Что ж, ничто не стоит на месте. Еще перед войной мы заметили: политика азиатских стран начинает меняться. Казалось, у некой пружины, приводившей в движение весь механизм, иссяк завод — и вот в игру вступили новые мотивы. Во времена наших отцов Восток, особенно Ближний Восток, все, что лежит по эту сторону Афганской границы, был постижим логически, более или менее однороден — и весьма прост. Персия, Турция, Египет и иже с ними были странами с давней традицией государственности, управляемыми султанами или князьями: права владык никто не подвергал сомнению, власть почиталась священной от Бога, законодательство же опиралось на диктат государственной религии. Подданные этих государств в первую очередь делились на мусульман, христиан и язычников. И только потом, коли была особая необходимость, они осознавали себя турками или арабами, однако в этом вопросе у них самих не было окончательной уверенности: главную роль играла вера. Разве это дает повод относиться к ним свысока? Еще совсем недавно, в эпоху рукописных книг и боевых луков, мы мало чем от них отличались. Лишь около

1870 года мы начали постигать всю притягательность новой идеи, имя которой «национализм». Будучи изобретением западноевропейским, эта идея мало-помалу проникла в южные и восточные страны, и всюду, куда она проникала, она порождала беспорядки и войны. Национализм — беспокойная и жестокая стихия; возможно, он унес не меньше жизней, чем религиозные войны, а ведь под его власть мы подпали сравнительно недавно. Чем эта зараза старее, тем она опасней: Балканы и Ирландия, до которых эта болезнь докатилась позже, переносят ее особенно тяжело. Мы, переболевшие несколько раньше, похоже, приблизились к тому, чтобы выработать к болезни иммунитет: видимо, мы вошли в ту стадию экономического развития, когда войны и правительства есть лишь производные от деловой активности. Национальный вопрос перестал быть поводом для споров. Однако при всем том экономические мотивы могут играть роль не менее разрушительную, чем национальные или религиозные идеи.

Как бы там ни было, Ближний Восток уже перешел определенный предел. Первые симптомы национализма появились в Турции: Мидхат-паша[1] перестал оглядываться на ислам, и язык турецкой правительственной канцелярии запестрел французскими словами; в Египте Араби-Паша[2] встал во главе армии и предпринял попытку оттеснить от власти хедива и его турецкое окружение. И в том и в другом случае результат оказался обескураживающим: в Египте англичане возвели на трон иностранную династию, в Турции султан Абдул-Хамид[3] стал править, руководствуясь идеями панисламизма — иерархической концепцией ислама, которая призвана была нейтрализовать идеи Мидхата. О панисламизме султан узнал из одной немецкой книги — будь та издана во времена средневековья, ей бы не избежать осуждения и со стороны халифата, и со стороны папского престола. Однако эта идея имела временный успех — она до сих пор пользуется поддержкой кое-где в Индии и Африке. На несколько лет в Азии воцарился мир. Европа вновь просто приняла это к сведению, не делая никаких попыток изменить свое мышление. Это было к лучшему и для нас и для Азии: как заметил один немец, если уж мы вынуждены менять наше мнение, пусть тот, кто заставил нас это сделать, сполна заплатит за причиненные нам неудобства. Новые идеи не умерли, они никак не могли умереть, ведь у самых врат Азии лежали Балканы — идеальная питательная среда для выращивания микроба национализма; и вот двадцать-тридцать лет спустя болезнь вернулась, только теперь ее носителями были не агитаторы, а заговорщики. Персия ими просто кишела. В конце концов все завершилось сползанием к мятежу, волнениями и провозглашением конституции, исполнение которой было невозможно — слишком та была противоречива. Но конституция была модной вещью, подобающей всякому уважающему себя государству, и Персия ею обзавелась — что с того, что она «не работала», что ни один перс ее не усвоил. Как бы то ни было, теперь — вот уже десять лет — Персия живет при конституции.

Затем наступил черед Турции. Незадолго до того англичане произвели некоторые — весьма незначительные — изменения в политике Египта, призванные сыграть роль клапанов, спускающих политический пар. Абдул-Хамид предпочитал, в отличие от лорда Кромера или сэра Элдона Горста, решения более жесткие, благодаря чему сдерживал давление национализма до последнего, покуда то не привело к взрыву, сбросившему самого султана с трона. Таков оказался внезапный конец панисламизма: духовный и светский владыка исламского мира был заточен в тюрьму, а затем отрекся от престола в пользу дегенерата. Старые заклинания утратили силу. Что ж, понадобилась неделя, чтобы заменить их новыми. Турция провозгласила, что отныне все народы — братья. Выступив с этим заявлением, младотурки забыли о данных статистики, и ход событий вскоре обнажил их ошибку. Среди подданных Османской империи турки составляли меньшинство: тридцать — тридцать пять процентов. Народы, находившиеся под их властью: греки, ар-

---

[1] Ахмет Мидхат-паша (1822—1883) — один из авторов турецкой конституции 1876 г., в 1872 и 1876—1877 гг. занимал пост великого везиря. Был умервщлен по приказу султана. *(Здесь и далее — прим. перев.)*.

[2] Араби-паша (1839—1911) — один из руководителей египетского национального движения 1879—1882 гг., направленного против протурецкой политики хедива.

[3] Абдул-Хамид II (1842—1918) — турецкий султан в 1876—1909 гг.

мяне, албанцы, курды, арабы, весь этот пестрый остаток, — были вполне способны воспринять идею братства; они прочли Герберта Спенсера и ему подобных много лет назад, и тут на них снизошло прозрение: конечно же, они равны с турками, и их священный долг — приложить соответствующие усилия и помочь тем вступить в новую эру. Миллионы людей стали объединяться и размышлять, как же наилучшим образом вести дела общего управления.

Энвер-паша и его коллеги, движимые чувством самосохранения, решили дать бой. Они выдвинули доктрину пантюркизма. Сие смешанное учение, почерпнутое частью из французских, а частью из немецких книг, утверждало, что Османская империя непременно должна стать истинно Османской, для чего к ее границам 1910 года следует присоединить все тюркоговорящие страны. Это принесло младотуркам, с одной стороны, недовольство весьма широких кругов внутри страны, но с другой — в зону турецких интересов оказались втянуты Хива и русский Туркестан. «Неприсоединившиеся» страны покуда было решено оставить в покое. Для начала следовало разобраться с «чужими» народами на территории империи, выпестовав из них единую нацию. Медлить было нельзя: Европа относилась к происходящему более чем недоброжелательно. Соответственно, были предприняты шаги, чтобы до минимума сократить число армян и греков, а параллельно началась «обработка» арабов. Последних следовало, во-первых, переучить с арабского языка на турецкий, а во-вторых — превратить в настоящих османов. Именно младотурки пустили в обиход поговорку: «Турецкий осел лучше чужеземного пророка», призванную продемонстрировать ту истину, что национальность следует почитать превыше ислама. Покоренные народы сочли «мягкое» правление Энвера слишком суровым, и по всей империи стали шептаться (соблюдая при этом строжайшую секретность), что происходящее противоречит самому принципу национализма, во имя которого якобы творится этот произвол. Число ропщущих увеличивалось, недовольные объединялись, и к 1914 году сложилась целая сеть тайных обществ. Заговорщики поставили своей целью силой вырвать у Константинополя право на местную автономию. Заговорщики действовали в Армении, Курдистане, Сирии и Месопотамии. И тут разразилась война.

Еще до войны было очевидно, что Турция стремительно движется к катастрофе, и виной тому косность самих турок. У турок две отличительные черты: фатальная привычка к беспрекословному повиновению и самоотверженная готовность приносить себя в жертву государству. Первая проявляется в том, что стоит кому-нибудь в вокзальной сутолоке властно скомандовать «Сесть!», как все мгновенно садятся. Со второй чертой турецкого характера европейцы неоднократно сталкивались во время этой войны: окопавшись на какой-либо позиции, турки будут удерживать ее до последней капли крови. Эти два качества подразумевают наличие у турок некой прирожденной косности, которой и впрямь отличаются уроженцы этой страны. Турки превосходно вели дела управления — до тех пор, покуда для этого были необходимы лишь твердость характера да могучий кулак. Однако в наши дни, дни телеграфа и высшей налоговой математики, эти качества выглядят довольно неубедительно. И дело не в том, что турки деградировали, это мы ушли вперед, и поэтому они кажутся столь жалкими. Однако даже на своем уровне турки вынуждены были уступить господство представителям иных рас: ими стали править албанцы, болгары, черкесы, евреи, армяне — кто угодно, только не чистокровные турки.

Не только власть, но и торговля выпала из рук турок. Ныне торговать — это целая наука, и турки уступили ведение торговых дел более сообразительным народам: евреям, армянам, арабам — тем, кто разбирается в бухгалтерии и экономике. Так богатство страны, ее производство и техническая база перешли к не-туркам. У турок осталась лишь одна область, где они сохранили превосходство — во владении мечом им не было равных во всей Европе, однако на смену мечу пришли винтовки, пушки и самолеты, а со всеми этими нововведениями фактор эффективности турецкой армии свелся к нулю. Так турки обнаружили, что в нынешнюю эпоху ценятся мозги, и «низшие» расы, привыкшие сперва думать и лишь потом — делать, постоянно на них, турках, наживаются. В прежние

времена достаточно было горстки суровых всадников, чтобы держать в повиновении Триполи и Албанию, Аравию и Сирию, Месопотамию и Армению. Теперь необходимо было иметь мощный гарнизон в каждой провинции. Гарнизоны формировались исключительно из турок — лишь уроженцы Анатолии были воистину верны империи. И с каждым годом армия забирала все большую долю молодых людей. Из них выходили превосходнейшие рядовые и сержанты, но представители патриархальных классов не годились на роль офицеров. Сегодня офицер должен читать и писать, знать кое-что из математики и постигнуть фон дер Гольца: офицеров приходилось искать среди городских клерков. Их набирали из сыновей купцов и чиновников, из молодых людей, усвоивших западный образ жизни, — из тех, кто впитал в себя все византийские пороки, кто с крайним презрением относился к деревенщине, подчиненным им солдатам. Этих офицеров интересовали лишь собственные услады, всем прочим они пренебрегали. Солдаты под их началом гибли сотнями из-за разнообразных эпидемий, антисанитарии, плохой кормежки, несчастных случаев. Так армия начала пожирать молодость Турции. Рождаемость в Анатолии резко упала: было ясно, что Турция «усыхает» и умирает от перенапряжения. Итальянская война, Балканские войны привели лишь к ухудшению и без того безнадежного состояния.

Все шло к катастрофе, и тут разразилась война. Азия, уже лет двадцать развивавшаяся весьма быстро, сделала головокружительный скачок, который превзошел все наши мыслимые ожидания. Во время войны Европа явилась в Переднюю Азию во плоти. По одну сторону невидимого водораздела стояли германские войска, по другую — войска союзников. И те и другие позаботились о том, чтобы привести в действие целые министерства, имевшие в своем распоряжении все необходимое, работавшие исключительно на пропаганду, и адресатом ее были народы Востока. Мы рассуждали о правомочности и неправомочности джихада с утонченностью, которая сделала бы честь любому мусульманскому диалектику. Мы клялись правом цивилизации, законами человечности, международным правом, Женевскими конвенциями, Гаагской конференцией. Мы наводнили Азию листовками, карикатурами, газетами, фильмами, призванными помочь Востоку разобраться в наших спорах, осознанно встать на ту или иную сторону. Как это бывает со всеми художниками, эти поделки в первую очередь выражали нас самих. Изумленным азиатам не оставалось ничего иного, как прислушаться. Вольно или невольно, но они начали нас понимать и постигать наши потаенные намерения. Далеко не всегда те им нравились, однако они многому научились. Особенно в их души запали идеи, за которые все мы воевали (и от нас, и от наших противников они слышали почти одно и то же). В их понимании то, что клятвенно подтверждено таким множеством свидетелей, не могло быть ложью. А значит, все эти идеалы — свобода, человечность, культура, самоопределение наций — и впрямь неимоверно ценны.

На Западе считается, что, сколь бы грубой и привязанной к злобе дня ни была военная пропаганда, за ней должен стоять некий набор идей или принципов. Но при этом мы, англичане, редко формулируем абстрактные идеи напрямую: разумнее предложить некую иллюстрацию, а мыслящий человек сам сделает необходимые выводы, только глупец будет поклоняться материальному образу. Люди Востока более философичны от природы, их волнует чаще идея, чем практическое ее приложение. Как бы то ни было, они жаждали абстракций, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся в их сознании. В прошлом веке у них была религия, кредо для тела и духа. Она указывала им путь днем и ночью. По свету этого маяка сверялась вся жизнь: обычаи, трапезы, торговля, семейный уклад, политика. Попытки Абдул-Хамида сделать религию рациональной, насытить логикой в той же мере, в какой она была насыщена теологией, ее разрушили. С падением султана пали и устои веры. Восток не перестал быть мусульманским, но восточное общество стало национальным обществом. Люди теперь называли себя египтянами, арабами или турками; газеты, чьи редакторы под влиянием западных идей давно отошли от формальных догм ислама, тиражировали этот новый, национальный взгляд на мир, освещали его в мельчайших подробностях. Идея нации стала тем абстрактным стандартом, по которому отныне полагалось судить о жизни и политике. Эта идея заменила заповеди

религии и символ веры — и вот, по ходу войны, мусульмане научились воевать с мусульманами же и во имя нового идеала радостно принимать смерть в битве. В момент, когда Англия, защищая свои владения, разбросанные по всему Востоку, оказалась на грани поражения, национальные чувства в Азии достигли своего апогея. Лучше всего накал этого национализма помогает понять не тот факт, что мусульмане Индии сражались против мусульман Турции — они отстаивали право Индии быть партнером нашей империи, — а то, что жители Мекки, духовного центра ислама, под предводительством эмира, шерифа Мекки, чей род восходит к самому Пророку, подняли восстание против халифа, султана Константинополя, и все жители Азии, говорящие по-арабски, встали на сторону мятежников. То был окончательный триумф, апофеоз принципа нации как основы политического действия, противостоящего принципу мировой религии, которая превыше национальных различий. Не Галилеянину, а политикам суждено было покорить Азию.

Пришел мир, но не пришел конец национальному брожению. Единственное, что изменилось, — исповедовать принципы национализма стало теперь безопасно, более того — разумно. Первые сторонники национальной идеи, те, кто прошел с Фейсалом весь путь с юга на север, бок о бок с войсками генерала Алленби, рисковали своими головами, движимые исключительно пылкой верой в Арабское Движение. Победа принесла им популярность и сняла вопрос о недопустимости вооруженной борьбы во имя реализации национальной программы. Через два месяца после заключения мира вся Сирия, от южных до северных границ, была охвачена национальными выступлениями, Египет под знаменем национализма поднял восстание против англичан, а молодые турецкие офицеры, полагая, что время султана прошло, политика его бездарна, а ориентация на Европу бесперспективна, выступили против него, ратуя за создание новой Турции на руинах старой. Турция потеряла свои европейские провинции — и пусть; потеряны провинции арабские — что ж с того. Вот-вот будет потеряна Армянская провинция на северо-востоке — и ладно. Грозит потеря Смирны — туда же и Смирну. С точки зрения новой концепции национального будущего, Турции были важны земли Анатолии, от Мраморного моря с Сицилией до Диярбакыра, Эрзурума, Вана, Азербайджана и дальше — до Каспийского моря. Когда-нибудь, в будущем, турки пересекут Каспий и присоединят к своему альянсу туркмен Туркестана, и постепенно все тюркоговорящие народы, вплоть до границ Китая, окажутся втянутыми в орбиту Турции. То было логичное развитие доктрины пантюркизма, во всем ее истинном великолепии, запятнанном политикой подавления покоренных народов, проводившейся Энвером. Лидером новой партии сделался Мустафа Кемаль — молодой, тщеславный, умный и жадный служака. Он поспешил объявить себя вождем всех тюркских народов, населяющих Азию. Турция могла самостоятельно обеспечить себя всем необходимым, ей не страшны были ни атаки греческой армии, ни блокада союзников — нужно лишь договориться с Россией на восточном фланге. До этого он пытался договориться с Италией, затем — с Францией и Англией, однако обнаружил, что в первом случае договоренности мало что дают, во втором — за них придется заплатить слишком высокую цену, в третьем — партнеры настаивали на абсолютной легитимности всех действий. Сейчас он блокирован греками со стороны Эгейского моря и поставлен перед выбором: либо сдаться на милость греческой армии, либо заключить договор о дружбе с Россией. Последнее может обернуться для него крахом, причиной тому — внутренняя борьба в Турции: во имя интересов страны сторонники Мустафы Кемаля без колебаний принесут его в жертву. Союз с Россией заставит Турцию лет на тридцать забыть мечту об автономии Туркестана и ограничит ее территорию пределами Анатолии. Лишенная внешних колоний, избавленная от необходимости вести внешние войны и содержать гарнизоны на зависимых территориях, она, очевидно, вступит в период, отмеченный значительным приростом населения.

Судьбу арабов предсказать труднее, чем судьбу турок. Мышление этого народа куда более развито. Интеллект их отличается тонкостью — так что они способны к глубоким размышлениям, практичностью — в силу чего они способны к созиданию, но также это интеллект легко возбудимый, склонный и к разрушению. Им не хватает систематичнос-

ти, упорства, организованности. Они обречены быть рабами собственных порывов, изменчивы, как вода, однако при этом обладают и положительными ее качествами: способностью проницать все и, подобно потоку, огибать любое препятствие. Раз двадцать с начала истории они создавали собственную государственность — и, утомленные своими достижениями, давали этому государству пасть; однако вы не найдете никаких свидетельств, что их смогла сломить какая-либо внешняя сила: только успех раз за разом был причиною их падения. Их история, история приливов и отливов, весьма важна для понимания того, что же происходило в этом плавильном котле всех идей, в этих местах, где рождаются все пророчества, — в пустынях. Голые пространства непреодолимо побуждают их обитателей уверовать в единого и всемогущего бога, столь противоположного скудной природе и столь же скудной жизни, из которой изгнаны все излишества, все, что способно отвлечь от созерцания. Все арабские движения берут свое начало в пустыне, а выплеснувшись оттуда, направляются обычно в Сирию. Обращает на себя внимание тот факт, что, хотя все пророки начинают с ухода в пустыню, ни один из них уроженцем пустыни не является. Все они происходят из городов и деревень — именно там их настигает первоначальное откровение. В силу этого можно усмотреть указующий перст Провидения в том, что и нынешнее арабское восстание, с его требованием независимости и самоуправления, началось в пустыне. Оно избрало традиционный путь — на Дамаск, который искони был первым центром всех новых движений. Следующий его этап закончился с захватом Дамаска Фейсалом. Однако это вовсе не конец арабского движения: центром тяжести и средоточием жизни семитских государств всегда был Багдад, в силу понятных экономических и демографических причин. Сирия — бедная страна, маленькая, гористая, с засушливым климатом, бедная минералами и пахотными землями. Ей никогда не стать густонаселенным краем. Что до Месопотамии — через нее протекает несколько крупных рек, по берегам их протянулись обширные районы орошаемых земель. Богатство Месопотамии — зерно и хлопок, к тому же природа наградила ее запасами дешевого топлива. При таком положении дел она, вне всякого сомнения, должна в будущем встать во главе арабского мира — в прошлом это уже случалось не раз. Дамаск сейчас обладает временным преимуществом перед Багдадом, однако именно последнему суждено задавать тон в арабском мире: население Месопотамии[1] в пять раз превышает население Сирии, а богатства этих двух стран просто-напросто несоизмеримы. Месопотамия станет истинной владычицей Востока, и сила, способная направлять и контролировать ход событий в этой стране, будет держать в подчинении и ее соседей. <...>

Будущее Персии покуда неясно. Накануне войны страна была обречена на раздел между Великобританией и Россией. Во время войны она несколько пострадала от турецкого нашествия и стала ареной ожесточенной пропагандистской борьбы между Германией и Англией. Революция в России сняла, в том или ином виде, проблему раздела страны между великими державами. Англия оказалась единственной державой, способной помочь Персии преодолеть политическое банкротство, анархию и встать на путь ограниченного самоуправления. К сожалению, государственные деятели наших стран далеко не в полной мере оценили ситуацию, результатом чего стало заключение соглашения, дающего простор для произвольных и пристрастных толкований: не только со стороны «мировой общественности» (всегда готовой поймать нас на допущенных промахах), но и со стороны самих персов. Как следствие этого, от нас отшатнулись прогрессивные элементы внутри страны — они обратили свой взгляд на север, к России, в надежде на ее помощь. Помощь эта и впрямь поступала, но в гомеопатических дозах, и «непримиримые» решились на активные меры, направленные против английского присутствия. Наш уход из страны позволил им почувствовать себя победителями: ныне кажется вполне вероятным, что Персия либо объединится под властью национальной — и враждебной нам — администрации, либо распадется, как то уже было накануне войны, на части, номинально признающие себя субъектами Персии, при этом контролируемые борющимися между собой прорусскими и пробританскими партизанскими отрядами.

[1] Лоуренс имеет в виду территории, ныне вошедшие в состав Ирака.

Египет — еще одна независимая страна среди Ближневосточных государств, чьи границы прочертила на карте война. Военные действия и мятежи привели к тому, что египтяне — пусть пока еще достаточно смутно — стали осознавать себя единым народом. Националисты, а по сути таковыми являются все жители страны, отказались от прежнего деления на мусульман и христиан, объединившись на основе общности географического положения и языка. Они освободились из-под религиозного влияния мусульманского университета — аль Азхара в Каире, игравшего роль главного оплота протурецких и антибританских настроений. Новые националисты собираются даже предпринять атаку на этот освященный древностью институт, ибо намерены привести его характер и быт в соответствие с нуждами современного Египта. В том, что касается положения женщин в обществе и светского образования, они придерживаются столь же передовых взглядов, как и турецкие националисты. Политический кругозор египтян пока весьма узок, фактически он ограничен берегами Нила; однако, без сомнения, рост населения и богатства страны вскоре заставит их взглянуть гораздо дальше, а тогда проблемы Северной Африки, которую сегодня легко держать под контролем, играя на противоречиях множества раздробленных территорий, приобретут весьма болезненный характер. Египет — настолько сильный компонент новой Северной Африки, что его правительство сможет играть ключевую роль в регионе, сравнимую с ролью Месопотамии внутри арабской конфедерации.

Еще два народа, представляющие для нас некоторый интерес, появились в Малой Азии совсем недавно, прибыв сюда морем. Речь идет о греках, закрепившихся в Смирне, и еврейских переселенцах в Палестине. Что касается греков, то они пришли на эти земли как оккупанты, движимые желанием удержать лакомый кусок азиатских территорий, прежде принадлежавших Турции. Смирна — важный торговый центр, населенный отчасти греками, а тот, кто владеет Смирной, будет влиять на положение в регионе в целом. Таковы были предпосылки, подвигшие греков на эту авантюру. Однако вряд ли их действия способны хоть сколь-либо благотворно сказаться на будущем Азии.

Еврейский эксперимент носит совершенно иной характер. Это осознанная попытка со стороны наименее европейского народа Европы стать хозяином собственной судьбы и после столетий скитаний вернуться на Восток, туда, где его корни. С колонистами, заселяющими земли, которые принадлежали им за несколько веков до прихода христианства, в регион приходят знания и технологии европейцев. Переселенцы предполагают жить в окружении арабоговорящего местного населения: бок о бок с народом, имеющим сходное этническое происхождение, но существующего в совершенно иных социальных условиях. Вновь прибывшие надеются приспособиться к жизни в жестком климате Палестины и со временем — используя свои навыки и капиталы — превратить ее в высокоразвитую страну, подобную европейским государствам. Успех проекта неизбежно поведет за собой подъем уровня жизни арабов до уровня пришельцев, причем произойдет это весьма скоро, а последствия будут иметь величайшее значение для всего арабского мира. Палестина может оказаться основным поставщиком техники в регионе, что даст тому возможность не зависеть от промышленных стран Европы, и тогда арабская конфедерация способна стать немаловажным элементом мирового порядка. И пусть все это ожидает арабов лишь в будущем, через одно-два поколения, однако именно эта картина должна присутствовать в сознании тех, кто кладет начало империи в Западной Азии. В значительной степени будущая азиатская империя зависит от попыток сионистов и развития событий в России.

Интересно наблюдать, как по мере изменений, происходящих в России, растет ее потенциальное влияние в Юго-Восточной Азии. Северную Азию Россия подчинила себе еще во времена царизма, ей принадлежат здесь огромные территории, от Черного до Китайского моря; азиатская часть страны столь значительна, что есть все основания в самой русской революции видеть азиатский феномен. Во всяком случае, для Азии эта революция имеет величайшее значение: она может сыграть здесь ту же роль, что сыграла в Европе революция французская, когда поднятые ею волны насилия раз за разом

прокатывались по континенту с интервалом в шестьдесят лет. Сказанное вовсе не означает, будто учение Ленина найдет отклик в сознании азиатских крестьян — оно не пользуется сочувствием даже у крестьян русских, однако успех большевиков — для Востока наглядный пример того, что можно свергнуть старое правительство, власть которого основывалась на божественном праве, правительство, гнет которого Азия ощущала весьма болезненно. Падение царизма не повлияло на раздел Азии, север отошел России, юг — Англии. Изменения коснулись самой русской зоны: если до революции та была всего лишь областью, находившейся в абсолютной зависимости от метрополии, то теперь превратилась в «плацдарм влияния», откуда ведется агитация вовне, где берет начало множество акций, совершаемых в интересах «прогрессивной общественности» других стран. Можно предположить, что этой границе дальше суждено быть постояннно «открытой» и через нее станут вестись полулегальные поставки оружия. Царское правительство заботилось о надежной охране тянущейся по азиатским сопкам южной границы Российской империи, и миграции в пограничных районах почти не наблюдалось. Теперь положение изменилось, прогрессивная часть Азии тяготеет к северу, а не к югу. И от действий не столько российского правительства, сколько частных лиц, разделяющих антиимпериалистическую политику Российского государства и готовых на свой страх и риск всячески популяризировать эти взгляды в Южной Азии, во многом зависит будущее Персии, Анатолии и, в меньшей степени, Сирии и Месопотамии. Что касается республики Грузия и республики Армения, то независимость их вряд ли долговечна, и они явно будут проводить прорусскую политику.

Такова современная ситуация: осознанный, логически обоснованный национализм в политике стал доминирующим фактором любого движения, возникающего в Западной Азии. Фактор этот носит слишком глобальный характер, чтобы надеяться, будто его удастся нейтрализовать, и он определяет жизнь слишком обширных пространств, чтобы говорить о временном его характере. Мы должны быть готовы к тому, что это надолго, что национальные выступления вновь и вновь будут возникать в каждом спорном районе, покуда не пройдет время, необходимое, чтобы процесс достиг иной, более высокой стадии. Мы стали свидетелями столь радикального изменения привычного нам облика Западной Азии, что сейчас требуется пересмотр всей нашей ближневосточной политики. И мы должны попытаться скорректировать ее таким образом, чтобы все конструктивные силы, которые вовлечены в эти перемены, увидели в нас союзников.

Новый империализм — это не уход из колоний, не малодушный отказ от нашей миссии. Новый империализм требует от нас активного действия: мы должны подготовить местное население к принятию ответственности за свое будущее. Однако ответственность принадлежит к тому роду вещей, которых все домогаются, но никто не рад их обретению. Осознание народом того факта, что он может постоять за себя, — первая ступень к его самоуважению. И мы должны требовать от жителей Азии, чтобы они сами позаботились о своей обороне. На место выводимых нами оккупационных войск должны прийти части национальной армии. А значит, население должно получить оружие и постичь науку обращения с ним. Наша задача — научить местных жителей множеству вещей, порой едва ли не насильно побуждая их делать некоторые шаги; однако при этом мы должны стоять в стороне и лишь давать советы. Подобная роль не менее почетна, чем роль правителя или руководителя, которую мы играли прежде. Мало того, эта роль предъявляет к нам гораздо большие требования: человеку легко приказать, но сколь же трудно убедить его внять совету! И тем труднее, чем в более вежливой форме дается совет. Мы должны быть готовы к тому, что многое будет делаться методами, в корне отличными от наших и при этом весьма часто не очень эффективными; однако для самих местных жителей лучше, если они сделают что-либо пусть не очень удачно, но — сами, чем когда это сделаем мы совершеннейшим образом. Поступая так, мы обнаружим, что наши истинные помощники — не те, кто всецело нам покорен, а те, кто наиболее активно агитирует против нас. Ибо они-то и являются интеллектуальными вождями народа, и они — не философы и богачи, а демагоги и политики — будут вести народ, при этом цели наши

совпадают. И пусть кажется, что как раз этим-то людям не следовало бы доверять продолжение строительства с таким трудом начатой системы колониального управления, но разве они чем-то сильно отличаются от членов нашей родной палаты общин? А ведь последним вверены наши свободы. Они не желают брать на себя ответственность? Мы подтолкнем их к этому, начав приготовления к выводу наших войск. Не надо бояться, что они выскользнут из-под нашего влияния, «переметнутся» под протекторат другой великой державы: англичане всегда вызывают симпатию у тех, кто избавлен от слишком тесного с ними общения, и ни одна страна мира не может сравниться размерами с Британской империей — нам есть что посулить малым народам, желающим к ней присоединиться. Египет, Персия, Месопотамия — если гарантировать им статус доминиона при условии сохранения нынешней автономии — будут рады присоединиться к нам, и цена этого присоединения, деньгами ли, жизнями ли солдат, будет не выше цены, выплачиваемой нами за то, что в состав империи входят Австралия или Канада. Альтернатива заключается в том, чтобы удерживать страны Азии, постепенно ослабляя свое силовое присутствие, покуда они не поймут, что анархия обходится слишком дорого, и вот тогда мы сможем уйти.

Перевод с английского А. НЕСТЕРОВА

ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ

Сказка о Мальчике, которому до поры до времени везло

Судьба ЕЖИ НИКОДЕМА КОСИНСКОГО

1. МИФ О КОСИНСКОМ

В одном старомодном и провинциальном городе Восточной Европы в интеллигентной еврейской семье на свет появляется Мальчик. С самого начала он окружен заботой и лаской: Мамочка — пианистка-виртуоз, карьера которой не сложилась исключительно из-за того, что природа оделила ее непомерно большим бюстом, отвлекавшим внимание провинциальной публики от ноктюрнов Шопена и рапсодий Листа, и Папочка — шахматный гроссмейстер и профессор лингвистики, души не чают в своем отпрыске. Но не за горами война. Предчувствуя наступление страшных времен, Папочка и Мамочка отправляют Мальчика в далекую, дикую деревню на краю света. Там Мальчику и суждено провести всю оккупацию.

Он оказывается среди невежественных и жестоких крестьян, ведущих почти животное, первобытное существование, верящих с одинаковой истовостью и ксендзу и деревенской колдунье. Крестьяне издеваются над Мальчиком, подвергают разнообразным унижениям и не выдают его, так подозрительно смахивающего на цыгана или еврея, немцам, возможно, только потому, что хотят всегда иметь под рукой своего собственного козла отпущения. Мальчик становится свидетелем сцен жестокости, насилия, сексуальных извращений, знакомится со всей темной изнанкой человеческой души. От этих ужасов он ищет спасения в вере, но напрасно: вот он стал уже почти своим, ему доверили прислуживать в костеле, и тут, оступившись, он роняет тяжелый требник. Бог не протягивает руку помощи — толпа разгневанных прихожан избивает его и швыряет в выгребную яму.

Чудом спасшись из зловонной бездны, Мальчик обнаруживает, что лишился дара речи. Отныне он немой, но немота оборачивается для него спасением, ибо дураков и убогих дикари не трогают. Тем временем Мальчик замечает, что кроме его темных суеверных мучителей в мире есть и другие люди, которые живут настоящей, увлекательной жизнью. Сперва его герои — блистательные эсэсовцы в великолепных черных мундирах, но затем их побеждают и прогоняют прочь еще более яркие и сильные люди, знающие, зачем и ради чего они живут и воюют, — красноармейцы. Он становится сыном полка.

Война кончается, красноармейцы возвращаются на родину, приходит пора и Мальчику вернуться в свой Город. Некоторое время он живет жизнью беспризорника и воришки, общается с отбросами общества. Затем Папочка и Мамочка находят свое потерянное дитя. Но блудный сын оказывается чужим в отчем доме: он не может простить родителям своей оставленности, пережитых мук и страданий, через которые ему пришлось в одиночку пройти.

Он уезжает в горы, увлекается лыжным спортом и зарабатывает на жизнь тем, что становится лыжным инструктором. В один прекрасный зимний день случается чудо: Мальчик падает с высокой скалы, и к нему возвращается голос. Перед ним отворяются закрытые прежде двери — он может учиться, общаться с людьми, делать карьеру.

И вот Мальчик уже Студент, блестящий студент-социолог. Но он по-прежнему не в ладах с окружающим его обществом, только дело теперь не в цвете волос или форме носа, а в убеждениях. Студент-социолог видит, что окружающее его общество больно, что идеи социализма внутренне лживы. Ему не всегда удается скрыть свои взгляды, на него косо смотрят, пытаются даже преследовать, но обожающие Студента профессора покрывают его и отводят от него беду. Благодаря своим академическим успехам Студент получает направление на стажировку в Советский Союз, где еще более убеждается в том, что с коммунизмом ему не по пути.

© И. Кормильцев, 1999

Отныне он — юный Диссидент, неустанно мечтающий вырваться из советского лагеря в свободный мир, где он сможет беспрепятственно работать и творить. Однако сбежать не так-то просто: чтобы получить доступное обычно только детям партийных боссов направление на учебу в США, необходимо согласие органов, рекомендации академиков... И вот Диссидент решается на отчаянный шаг. Зная, что его благонадежность под сомнением и нужные бумаги вряд ли могут быть получены официальным путем, он фабрикует характеристики от несуществующих академиков и профессоров и от их же имени вступает в оживленную переписку с госбезопасностью. Каждую секунду возможны разоблачение и арест. В воротнике пальто у Диссидента зашита ампула с цианистым калием. Но фортуна снова улыбается ему: бюрократическая машина равнодушно проглатывает подсунутую ей липу. Вскоре он держит в руках паспорт с визой и билет на ту сторону океана.

Ежи в 6 и в 12 лет. Косинский часто показывал эти фотографии своим американским друзьям, чтобы продемонстрировать, как изменила его война

Диссидент ступает на американскую землю, как ступали многие до него: с 2.80 $ в кармане и облаченный в не менее дикую для Нью-Йорка, чем боевое одеяние самурая, ондатровую шубу. Впрочем, он уже не Диссидент, он — молодой Иммигрант. Ибо возвращаться на родину не намерен.

Сперва Иммигрант делает то, ради чего он, собственно, в Америку приехал: посещает лекции в одном американском университете и готовится писать диссертацию. Правда, на деньги, которые выдают ему разные фонды, концы с концами вряд ли сведешь. Приходится пройти всю положенную молодому Иммигранту житейскую школу: он работает сторожем в паркинге, моет машины, разносит пакеты и даже служит личным шофером у чернокожего криминального босса из Гарлема. Попутно он мечтает о богатстве, о славе, о всем том, о чем положено мечтать молодому Иммигранту в Америке.

И тут приходит Любовь. Любовь старше Иммигранта — это уверенная в себе Американская Женщина. Она долго скрывает, кто она такая и чем занимается, но, убедившись в искренности чувств юноши и в серьезности завязавшихся отношений, признается: она — вдова Американского Миллионера и, следовательно, сама — Американская Миллионерша!

Отныне у Иммигранта есть все, ему больше не приходится заботиться не только

о хлебе насущном, но даже о насущной черной икре. Он летает на личном самолете, плавает на личной яхте, демонстративно паркует свой личный лимузин там, где сторожил чужие. У него есть Любовь и деньги, он вращается в блестящем международном обществе среди тех, у кого нет Великой Американской Мечты, потому что они сами — Великая Американская Мечта.

У бывшего Иммигранта есть все, но ему хочется не только иметь все, но и стать Кем-то. К диссертации возвращаться он уже, правда, не торопится — не те амбиции. Но и быть просто молодым мужем Американской Миллионерши — тоже не вполне прилично. И вот однажды Любовь говорит ему: «Ты столько испытал, столько пережил, твоя жизнь полна чудес и невероятных приключений. Опиши ее, и ты станешь великим Американским Писателем». Он пишет свою первую книгу, книгу публикуют, писатели и критики в восторге. Он стал Американским Писателем, возможно и не великим, но очень известным.

Он пишет еще книги — все они встречают восторженный отклик. Правда, Любовь его тем временем тяжело заболевает: у нее опухоль мозга. Из-за болезни она не всегда контролирует свое поведение и ей приходится проводить все больше и больше времени в закрытых клиниках. Врачи не обещают улучшения, в конце концов она сама уговаривает Писателя развестись с ней, чтобы не связывать судьбу с инвалидом.

Но нет худа без добра: теперь он свободен и богат (естественно, Любовь завещала ему все свое состояние), вращается в высшем свете, знаменит — он становится еще и Американским Плейбоем.

Влиятельные друзья хлопают его по плечу, дают советы и рекомендации к Кому Следует: Американского Писателя избирают главой престижной Организации американских писателей. На этом посту он борется за свободу слова, за права творческой личности, вытаскивает других писателей из тюрем в странах, таких же несвободных, как его родина, первым пожимает им руку на американской земле, гуляет по Нью-Йорку с другим бывшим мальчиком и церковным служкой Каролеком Войтылой и спрашивает, не случалось ли тому хоть однажды уронить требник.

Тем временем готовится внезапная перемена декораций: Враги не дремлют, они выводят из тени Свидетелей, которые были прежде немы. (О, эта немота, она играет роковую роль в его жизни!) Свидетели начинают говорить и обвинять. Они утверждают: «Он никогда не был тем Мальчиком, о котором написано в его книге. Он никогда не был немым лыжным инструктором. Он никогда не был юным Диссидентом».

В мифе все звенья взаимосвязаны, отрицание одного звена ставит под сомнение весь миф. Если Христос не был Сыном Божиим, то Евангелия лишены всякого смысла. Если Геракл не совершал первого подвига, мы не обязаны верить и в остальные одиннадцать.

Когда опровергнуто то, во что люди успели поверить, они начинают сомневаться и в очевидном: если он не тот, за кого себя выдавал, может, он и не Американский Писатель? А может, его не было вовсе? Сомнения же в очевидном, в свою очередь, способны сокрушить это очевидное. И вот одним нью-йоркским вечером его не стало. Он сыграл свою последнюю роль — роль Самоубийцы. Впрочем, у этой роли было одно преимущество: тело, лежащее в ванне с пластиковым мешком на голове и с барбитуратом в желудке, — это такой факт, который не взялись оспорить даже самые закоренелые скептики.

2. ФАКТЫ О КОСИНСКОМ

Ежи Никодем Левинкопф родился в Лодзи 14 июня 1933 года в семье торговца текстилем и домохозяйки. Перед самым началом войны предусмотрительный глава семейства перевез своих домочадцев в тихий провинциальный Сандомир. Там, благодаря связям и изворотливости, он выправил обеспечивающие относительную безопасность документы на польскую фамилию Косинский. Затем, заметая следы, отправился еще дальше — в маленькую деревушку Дамброва-Жечицки. В ней семья Левинкопфов и провела военные годы.

Благодаря своим талантам и относительной образованности отец легко вписался в местное общество. Немцев в Дамброве не было, и жизни членов семьи реаль-

но ни разу ничто не угрожало, хотя скользкие ситуации, когда конспирация трещала по швам, возникали неоднократно. Маленький Ежи дружил со своими деревенскими сверстниками и не испытал ничего и отдаленно похожего на те круги ада, которые он описал позднее в своей книге «Раскрашенная птица». Но это, конечно, только поверхность событий. Трудно предположить, что́ думал и ощущал мальчик, если ему приходилось постоянно помнить: он должен скрывать свою настоящую фамилию, прошлое своей семьи, называть братом чужого ребенка, которого семья Левинкопф прихватила с собой. А такие вроде бы мелочи, как необходимость таить от других мальчишек явный физический признак своего еврейства... Игры в шпионов нравятся детям, но шесть лет, прожитые в режиме нелегала, не могли не наложить некоторый отпечаток на психику ребенка. Может быть, именно здесь корень потребности взрослого Косинского в постоянном мифологизировании своей биографии, в безудержном фантазировании...

Война заканчивается, и семья возвращается в разоренную Лодзь, где в живых не осталось практически никого из друзей и родственников. Ежи заканчивает школу, поступает в университет на отделение социологии, увлекается фотографией. Он на хорошем счету у преподавателей, пользуется успехом у женщин, действительно занимается лыжным спортом, хотя и не в такой степени, чтобы работать инструктором. И конечно же, как вы уже догадались, о немоте нет и речи. Напротив, слава увлекательного рассказчика и неутомимого шутника (правда, подчас патологически жестокого) бежит за ним по пятам.

Да, у него бывают конфликты с политическими организациями, но вызваны они скорее его чрезмерно острым языком и обычной юношеской фрондой, чем принципиальными расхождениями с существующим режимом. Не раз он оказывается на грани конфликта с университетским истеблишментом, но на шалунишку смотрят сквозь пальцы и не задумываясь посылают на стажировку в Москву — поучиться марксистской науке у Большого Брата.

Однако амбиции юноши не удовлетворяются научной карьерой: он признается ближайшему другу в мечте жизни — уехать в Америку и стать там страшно богатым. Например, женившись на вдове миллионера. Но наиболее легкий путь за океан лежит все-таки через университет. Получить направление оказывается делом относительно несложным — никаких подложных характеристик или игр с госбезопасностью, не говоря уж об ампуле с ядом в воротнике пальто. Значительно более трудным делом оказывается убедить американских социологов в том, что он — именно тот студент, который им нужен. Вот тут приходится идти на некоторый подлог и передергивание карт. Но в конце концов задуманная комбинация удается — 20 декабря 1957 года Косинский высаживается в аэропорту Айдлуайд.

Не с 2.80 $ в кармане, а с пятьюстами — полученными в помощь от дяди, бывшего моряка американского торгового флота. Впрочем, с началом учебы в Колумбийском университете денег действительно начинает постоянно не хватать. Приходится подрабатывать. Что из «университетов» Косинского было правдой, а что вымыслом, разобраться до сих пор не удалось. Как всякий настоящий Мюнхгаузен, Косинский обладал удивительным свойством — он умел доказывать правдивость своих рассказов, когда до этого доходило дело. Очевидно, стигматы способен обрести не только истинно верующий, но и талантливый враль. Так, Ежи рассказывал, что, скрываясь от врагов в детстве, он научился идеально прятаться в любом незнакомом помещении — и действительно, в искусстве этом он достигал практически высот Гудини. Он рассказывал затаившим дыхание слушателям, как крестьянин-садист день изо дня подвешивал его за руки к потолку на кожаных ремнях — и даже врачи подтверждали в один голос, что плечевые суставы его неестественно вывернуты и носят явные следы хронической травмы. Он утверждал, что, работая шофером у черного гангстера в Гарлеме, стал виртуозом в управлении автомобилем и не раз на глазах у восхищенных друзей на полной скорости сдирал бортом машины тонкие книжки, прикрепленные скотчем к борту другой машины, не поцарапав обшивки.

В новом кругу новых людей, которые имели самое приблизительное представление о Европе времен гитлеровской оккупации, да и о Польше вообще, потрясающие воображение почти нереальные рассказы Косинского о событиях его детства и юности моментально стали пользоваться успехом. Можно сказать, что миф о Косинском утвердился и стал его официальной биографией в первые три года жизни в

Америке. Проверить рассказчика было трудно: обмен информацией с оставшимися за железным занавесом был скудным, а среди польской эмиграции Косинский тщательно обеспечивал себя соответствующей легендой и старательно уклонялся от контактов с людьми, которые потенциально могли опровергнуть его рассказы.

А друзей он завоевывал себе все больше и больше (и женщин, в обольщении которых и в Америке не знал себе равных), быстро став таким же центром внимания в американской застольной беседе, каким был в беседе польской. С разговорным английским все было в полном порядке, хуже дела обстояли с английским письменным: Косинский не смог повторить подвига своего соотечественника Джозефа Конрада. Слог его навсегда остался слогом иностранца.

Поэтому, когда в 1958 году он начал писать свою первую (пока еще эссеистическую) книгу «Будущее за нами, товарищ!», он вынужден был нанять литобработчика. Значительное участие обработчиков и консультантов, которые придавали окончательную форму произведениям Косинского на протяжении всей его писательской карьеры, сыграло впоследствии (когда разразился скандал) роковую роль. Впрочем, роль не менее роковую сыграла и предыстория первых двух книг писателя — уже упомянутой «Будущее за нами, товарищ!» и ее продолжения «Третьего пути нет» (1962). Эти произведения, изданные под псевдонимом Джозеф Новак, представляют собой воспоминания о поездках Косинского в СССР — в меру забавные, в меру едкие, с недвусмысленным идеологическим подтекстом. Книги создавались по косвенному заказу ЮСИА, под вывеской которого, как выяснилось позднее, скрывалось ЦРУ, спонсировавшее серию «страноведческих» воспоминаний выходцев из стран коммунистического блока. Интеллектуальная Америка, та значительная ее часть, которая грешила левыми симпатиями, и это припомнила Косинскому в должный момент.

Книги Джозефа Новака принесли Косинскому умеренный успех в интересующихся Восточной Европой кругах, но не принесли больших денег. К тому же не складывалась академическая карьера — вовлеченный во все более и более разрастающийся круг светского общения, Косинский быстро терял интерес к социологическим штудиям, пока полностью не забросил их. Деньги от фондов и гранты он, впрочем, не забывал систематически получать. И тем не менее положение его оставалось достаточно шатким.

И тут внезапно осуществилась давняя юношеская мечта. В 1961-м Косинский знакомится с Мэри Уэйр, вдовой сталелитейного магната из Питсбурга. Вспыхивает бурный роман (на фоне, правда, пары других, не менее бурных), быстро завершающийся браком. С этого момента миф и факт в судьбе Косинского еще плотнее сплетаются друг с другом, хотя он остается верным себе: фантазия его продолжает приукрашивать не только прошлое, но и настоящее. И Мэри оказалась не так богата, как хотелось бы (о личных самолетах уж точно речи не шло), и любовь не столь большой, как она предстала позднее в романах «Смотровой фонарь» и «Свидание вслепую». И знаменитая «опухоль мозга» была заурядным алкоголизмом, который и вынудил Косинских развестись через пять лет. Впрочем, Косинский умел пускать пыль в глаза до такой степени, что даже этот период его биографии, протекавший, в отличие от детских странствий по припятским болотам, у всех на глазах, утвердился в сознании даже ближайших друзей именно в той форме, которую Косинский пожелал придать ему! Впрочем, главное было достигнуто: Косинский получил американское гражданство, познакомился с кругом сильных мира сего, достиг относительной финансовой независимости. И что важнее всего, за время жизни с Мэри Уэйр он создает (и в 1964 году публикует) свой первый роман, «Раскрашенная птица».

Идея придать художественную форму устным рассказам Косинского о пережитом в детстве действительно исходила от женщины, но это была не Уэйр, а приятельница Ежи — польская эмигрантка Мира Михайловская, и случилось это за шесть лет до написания «Раскрашенной птицы», хотя верный своим принципам Косинский позднее рассказал историю зарождения замысла в том виде, в каком она более соответствовала творимому мифу. Нельзя сказать, чтобы Косинский пошел на этот шаг без колебаний (шесть лет выжидания говорят сами за себя). Соблазн был очень велик, но и риск — тоже. Одно дело байки, рассказанные за коктейлем на вечеринке, другое — письменный текст, по которому будут судить об авторе, в том числе у него на родине. До самого момента публикации Косинский предпринимал осторожные попытки настроить мнение — хотя бы критиков — таким образом, чтобы роман

не был воспринят в чисто автобиографическом ключе. Но делал он это так уклончиво и двусмысленно, что становится очевидным: Косинский прекрасно понимал — именно автобиографическая подоплека романа сделает его сенсационным.

Одним из свидетельств подобных, не до конца искренних, усилий служит текст своеобразной саморецензии, озаглавленной «По поводу «Раскрашенной птицы»: заметки автора» (ее сокращенный вариант мы предлагаем читателям ниже). Этот текст Косинский напечатал за свой счет в виде брошюры, которую рассылал литературной публике. Все оказалось напрасным. Америка хотела мученика, пострадавшего от обоих великих тоталитарных режимов XX века, — и она его нашла. «Раскрашенная птица» становится бестселлером, ее сравнивают с «Дневником Анны Франк», автора ставят рядом с Камю и Сартром. Мнение о книге единодушно, ее документальная основа не вызывает ни у кого ни малейших сомнений. Да и какие могут быть сомнения, если даже мать автора пишет восторженное письмо, из которого следует, что судьба маленького Ежи была именно такой, как судьба героя «Раскрашенной птицы»! (Был тут сговор или снова сработала магическая способность Косинского делать небывшее бывшим, так и осталось неизвестным...)

С первого же романа Косинский оказывается в рядах литературной элиты США. Второй его роман, «Ступени» (1968), получает награду как лучшая книга года, и каждое последующее сочинение — повесть «Садовник»[1] (1971), романы «Чертово дерево» (1973), «Кокпит» (1975), «Свидание вслепую» (1977), «Страсти господни» (1979) — пользуется восторженным приемом критики и (что еще важнее) любовью читателей.

После развода с Мэри Уэйр в 1966 году Косинский женится на Кики фон Фраунхофер (которая, естественно, в дальнейших текстах Косинского оказывается не меньше чем «баварской баронессой») и продолжает вести вполне благополучную жизнь известного писателя, не переставая, впрочем, ни на миг развивать и обогащать свою мифологию.

Приведем в качестве наглядного примера один нашумевший случай: Косинский возвращается из путешествия по Европе вместе со своим приятелем еще с лодзинских времен — знаменитым кинорежиссером Романом Поланским и группой его друзей. Из Нью-Йорка Поланский отправляется в Лондон, а остальные должны пересесть на рейс до Лос-Анджелеса, чтобы провести уик-энд на вилле Поланского. Авиакомпания теряет багаж Косинского, и он вынужден заночевать у себя дома, чтобы присоединиться к своим спутникам на следующий день. Те улетают в Лос-Анджелес, где их уже поджидает Чарли Мэнсон со своей бандой. Итог: знаменитая кровавая резня. Рука судьбы в очередной раз спасает вечного мученика. Но — как это характерно для нашего мифа! — до сих пор нет убедительных доказательств, *действительно* ли Косинский собирался в Лос-Анджелес... И к кому...

В 1973 году Косинский становится президентом американского ПЕН-клуба и остается на этом посту два полных срока. Впрочем, здесь его деятельность свободна от всякой мифологии: он действительно добивается больших успехов в поддержке писателей, страдающих от авторитарных режимов, в повышении значимости и престижа ПЕНа.

Карьера Косинского идет по нарастающей: в 1979 году он совершает удачный прорыв на территорию кинематографа. Хол Эшби экранизирует «Садовника», Косинский сам пишет сценарий. Блестящий фильм с Питером Селлерсом в главной роли восторженно принимается всеми, и Ежи становится окончательно своим не только в нью-йоркской богеме, но и в Голливуде. Вскоре самого Косинского приглашают играть роль Григория Зиновьева в историческом полотне Уоррена Битти «Красные», и Косинский неплохо играет — так, что роль его чуть ли не спасает этот тяжеловесный и чересчур идеологически ангажированный опус. Косинского выдвигают на «Оскара» за лучшую роль второго плана; он уступает награду не кому-нибудь, а самому Джеку Николсону... Тем временем выходит его предпоследний роман «Китайский бильярд» (1982). Критика впервые встречает написанное Косинским в штыки: роман многим кажется слишком, выражаясь отечественным сленгом, «попсовым», но он открывает перед Косинским перспективы еще в одной области: ряд известных бродвейских продюсеров усматривают в романе материал для сногсшибательного мю-

[1] См. «ИЛ», 1997, № 10.

Ежи Косинский с женой Никки и Уорреном Битти. Нью-Йорк, 1982 год

зикла и начинают готовиться к постановке, которой, однако, не суждено было осуществиться...

Колокол пробил именно тогда, когда вроде бы ничто уже не могло угрожать столь прочной карьере: в конце концов, так ли уж важно, что на самом деле было двадцать и тем более сорок лет назад. (Не о преступлениях же против человечества идет речь.) 22 июня 1982 года журнал «Виллидж войс» напечатал пространную статью, озаглавленную вполне в духе правдинского фельетона: «Ежи Косинский: слова с гнильцой». Косинский знал о готовящейся публикации, он встречался с авторами, которые пытались добиться от него истины (или того, что они считали истиной), — Косинский остался верен своей политике двусмысленностей и недомолвок. Непосредственным поводом к написанию статьи было сиюминутное политиканство: Косинский занял в тот момент откровенно прорейгановскую, неоконсервативную позицию (в отличие от большинства пишущей братии) и участвовал в работе нескольких ассоциаций и комитетов подобного толка, но настоящие причины, как обычно, лежали глубже. В течение многих лет армия филологов зарабатывала ученые степени на прозе Косинского, вгрызаясь в факты времен оккупации Польши, и в ходе исследований задавалась все более и более обоснованным вопросом: аутентично ли описанное в «Раскрашенной птице»? (Впрочем, в Польше в подлинность рассказа не верили с самого начала, только кто будет прислушиваться к красной пропаганде, которая травит талантливого инакомыслящего?) Работы, выдержанные в этом духе, еще за несколько лет до скандала появлялись в университетских изданиях, но читала их явно не та публика, которая посещала приемы ПЕН-клуба и церемонии вручения «Оскара». Другое дело — «Виллидж войс»...

Авторы статьи Стоунз и Фермонт-Смит помянули Косинскому все: и военное детство (как же, пил молочко и ел яички, пока другие в Освенциме мерли), и деньги из кассы заведения в Лангли, и роман малоизвестного прозаика Тадеуша Доленги-Мостовича «Карьера Никодема Дызмы», сюжет которого оказался подозрительно близок к сюжету «Садовника», ну и, конечно же, армию «литературных негров», поработавших над рукописями Косинского. Скандал всегда скандал, особенно если речь идет о знаменитости. Разоблачения посыпались лавиной, и под сомнение было поставлено все — каждая строчка, каждая деталь биографии.

Возможно, Косинскому и удалось бы выплыть из поднявшейся бури, если бы ему хватило сил сохранять невозмутимость и отмахиваться от нападок с чувством ос-

корбленного достоинства, — Америка знавала и не такие скандалы. Сил ему не хватило. Скорее всего, потому, что он всегда интуитивно боялся чего-то в этом роде: намеки на этот граничивший с паранойей страх щедро рассыпаны по страницам его романов. Может быть, маленький мальчик из Лодзи так и не отучился пугаться пристальных взглядов и каверзных вопросов незнакомых людей, честный ответ на которые иногда означает разоблачение и смерть...

Последовала затянувшаяся агония, в ходе ее Косинский все больше и больше погрязал в разного рода сомнительных предприятиях и — как это бывает почти всегда — в дрязгах личной жизни. 2 мая 1991 года он окончательно разрешил для себя противоречие между правдой и вымыслом.

Повторим слова самого Косинского: «Совершая самоубийство, человек становится частью истории (в том смысле, что люди могут, и даже обязаны, говорить о нем «*он был*»). Он перекладывает ношу своего прошлого на плечи мира, на плечи истории. Но даже в случае саморазрушения тень переживает тело. Актом самоубийства человек обязывает других вспоминать его и судить о нем, обсуждать, каким он был. Это способ жить после смерти» («A propos романа «Ступени»).

3. МИФ — ФАКТЫ — МИФ

Познакомившись с двойной историей жизни Ежи Косинского, нельзя не заметить, что миф и реальность находятся в ней в хорошо знакомых каждому со школьной скамьи отношениях: лирического героя и автора. Вся особенность состоит в том, что общество (не без откровенного подыгрывания со стороны автора) однозначно отождествило автора с его героем, придав тем самым вымыслу статус документа. В этом смысле, в отличие от многочисленных литературных мифов нового времени, протагонисты которых принимали немалые и вполне сознательные усилия, чтобы натянуть на себя придуманные ими за рабочим столом или рюмкой абсента личины, миф Косинского родился по взаимному согласию. Общество хотело этого мифа даже едва ли не больше, чем сам мифотворец. Впрочем, подобные случаи — не редкость в истории литературы: достаточно вспомнить хрестоматийные свидетельства образованных (по стандартам своего времени) современников Алигьери, которые вполне серьезно утверждали, что от того постоянно пахло адской серой.

Поневоле напрашивается параллель с известным происшествием в уездном городе N, хотя есть одно немаловажное отличие — своего «Юрия Милославского» Косинский все-таки написал. С помощью или без помощи «литературных негров» (а таковая помощь в иную историческую эпоху не бросила особой тени на талант Бальзака или Дюма-отца) он создал около десятка романов, многие из которых стали бестселлерами. Романов, в которых отразились его буйная, порою несколько извращенная фантазия и талант прирожденного рассказчика. Романов, которыми зачитывался в свое время американский миддл-класс. Романов, литературные достоинства которых и сейчас трудно полностью отрицать.

И (в отличие опять-таки от легкомысленного гоголевского персонажа) Косинский прекрасно понимал, чем чревата его игра, тяготился ситуацией, но не мог отказать себе в удовольствии быть захваченным потоком событий. Свидетельства этого столь щедро рассыпаны на страницах его прозы, что теперь, задним числом, просто трудно понять, как никто не смог (не захотел?) вычитать между строк правду об авторе.

Самое показательное произведение в этом смысле — «Садовник»: умственно неполноценный Шанс является в вашингтонский высший свет из абсолютного небытия — всю свою бессознательную жизнь он провел в заточении в особняке деда, скрывшего таким образом плод незаконной связи дочери. Он не умеет почти ничего, не знает о жизни почти ничего, он как попугай повторяет банальные фразы повседневного этикета, выученные с экрана телевизора. И этого достаточно: люди не ждут от ближнего откровений, они хотят всего лишь, чтобы тот соответствовал модели, которая сделает его понятным. В глазах бизнесменов Шанс оказывается бизнесменом, благородной жертвой финансовой депрессии, в глазах политиков — подающим надежды политиком, в глазах шпионов — шпионом, а в женских глазах — неотразимым любовником.

В некоторых сценах «Садовника» Косинский совмещает себя со своим героем до такой степени, что это граничит с саморазоблачением или эксгибиционизмом:

Низкий лысый человечек припер его к какому-то шкафу, очень колючему и неуютному.

— Я — Рональд Стиглер, издательство «Эйдолон букс». Рад познакомиться с вами, сэр.

[.....]

— Мне пришла в голову мысль, — сказал Стиглер, прислонившись к стене, — которой я поделился с моими издателями: а неплохо было бы вам написать книгу! Что-нибудь по вашему профилю. Ведь из Белого дома взгляд на вещи совсем другой. И читать вас будут с большим интересом, чем рассуждения какого-нибудь яйцеголового или твердолобого субъекта. Что вы на это скажете?

Ожидая ответа, Стиглер в несколько приемов осушил свой бокал мартини и схватил с подноса у пробегавшего официанта еще один.

— Выпьете со мной? — предложил он Шансу и подмигнул.

— Нет, спасибо. Я не пью.

— Скажу вам честно, я полагаю, что ваша философия может принести стране большую пользу. «Эйдолон букс» со своей стороны готовы взяться за ее пропаганду. Я могу немедленно предложить вам шестизначную сумму авансом в счет авторских, а после его погашения — высокий процент от продаж и отличные условия в случае повторных изданий. Мы можем подписать контракт в течение двух дней и готовы ждать от вас рукописи целый год или даже два.

— Я не умею писать, — сказал Шанс.

Стиглер понимающе улыбнулся:

— Естественно! Кто в наши дни умеет писать?! Никаких проблем! Мы дадим вам в помощь лучших редакторов и литературных секретарей. Я собственноручно не смог бы написать даже открытки моим детям. Ну и что?

— Я и читать не умею, — прибавил Шанс.

— Конечно не умеете! — воскликнул Стиглер. — У кого есть время на книги? Никто не читает — все говорят, слушают, смотрят, глазеют.

Словно ходячее зеркало, Шанс движется по светским салонам, телевизионным студиям и дипломатическим приемам, и каждый находит в нем то, что хотел найти. Косинский, бесспорно, чувствовал и понимал, в чем состоит один из секретов его успеха и что отличает его миф от творений предшественников, в том числе романа Доленги-Мостовича, плагиатом с которого пытались объявить «Садовника».

Будучи писателем, Косинский отражал созданную о себе легенду в своих же произведениях под видом повествования о третьих лицах, которые более (как в «Садовнике») или менее (как в «Раскрашенной птице» или «Ступенях») дистанцированы от автора. Если вспомнить, что при этом многие ситуации, осуществленные (или придуманные) Косинским в жизни, изначально были почерпнуты из литературы (тот же роман о Никодеме Дызме Косинский прочитал в юности, и очевидцы вспоминают, что Ежи был заворожен совпадением имени главного героя и своего второго имени Никодем, редкого в Польше, и часто говорил об истории Дызмы, как об идеальной модели карьеры, которую он хотел бы осуществить), то круг замыкается. Литературный вымысел, разыгранный на подмостках жизни, возвращается на бумагу, становясь вымыслом о вымысле. Игра зеркальных отражений и двойников доводится до абсурда и превращается в дурную бесконечность, как на знаменитом рисунке Эшера, где рука рисовальщика рисует руку, которая, в свою очередь, рисует руку рисующего...

Отправляясь от факта, Косинский приукрашивает его, делая происшедшим то, что *могло бы* произойти. Фантазии и страхи мальчика, вынужденного скрывать, кто он такой, в окружении потенциальных врагов, становятся реальными пытками и страданиями героя «Раскрашенной птицы»; надежды и мечты безденежного молодого человека — похождениями богатого бездельника Уэйлена из «Чертова дерева». Впрочем, ничего особенно необычного в этом нет — ясно до банальности, что на подобной эмоциональной эмпатии держится все здание литературы. И все же никто не предал остракизму Гёте за то, что он не пустил себе пулю в лоб. Правда, никто и не считал его Вертером.

Миф художественной литературы, укорененный в неполном отождествлении ав-

тора и его многочисленных alter ego (если отождествление полное, то литература — уже не художественная), является общим местом языка культуры. Риск конфликта возникает только при столкновении литературного мифа с мифом иной (социальной, религиозной или исторической) природы. Именно такая коллизия оказалась роковой для Ежи Косинского, но она же и доказала значимость созданной им Истории Себя («Искусство Себя» — так был озаглавлен в рукописи роман «Ступени»).

Обвинения в адрес писателя в момент скандала 1982 года были разнообразны и разнородны, но только одно из них могло рассчитывать на то, чтобы вызвать подлинное праведное негодование. Косинский не был Мальчиком из «Раскрашенной птицы», а следовательно — не был жертвой холокоста и не имел права говорить от лица настоящих жертв, претендовать в какой-то степени на роль их символа. Миф литературный столкнулся с великими мифами иного рода и дал трещину. Айсберг в который раз оказался прочнее «Титаника».

Надо отметить, что взгляды самого Косинского на этот вопрос никогда не отличались ортодоксальностью: вспоминают, как однажды еще в начале 60-х кто-то в присутствии Косинского взялся попрекать членством в гитлерюгенд корреспондента «Тайм» Фриделя Унгехейера. «Заткнитесь все! — неожиданно взорвался Косинский. — Что вы об этом знаете? Мы *оба* жертвы».

Образы эсэсовцев и красноармейцев в «Раскрашенной птице» сливаются в глазах Мальчика в почти неразделимое целое, в героическую, квазиэротическую модель для подражания, стоящие же за ними фигуры диктаторов — в тот столь излюбленный Косинским образ «человека без свойств», в которого люди сами вкладывают свои ожидания, в то, что заменяет Бога в мире умершего Бога. И действительно, если присмотреться (сколь кощунственным на первый взгляд ни покажется подобное утверждение), между Гитлером или Сталиным и Шанси Гардинером нет непреодолимой пропасти. Личности весьма средних интеллектуальных способностей, не высказавшие никаких особенно оригинальных идей, они вместили в себя чаяния «взбунтовавшихся масс», повторили слова, которые массы страстно желали услышать. В понимании этой диалектики (так же, как и сексуальной подоплеки фашизма) Косинский явился одним из пионеров, предвосхитив и фроммовскую концепцию «бегства от свободы», и его же знаменитую сентенцию о том, что фашизм явился самой яркой и своевременной демонстрацией верности теории психоанализа. Эти (и многие другие) отклонения от ортодоксии расхожего мнения можно было, однако, простить чудом уцелевшей жертве фашизма или попросту постараться не обращать на них внимания. Их нельзя было простить (и очень не хотелось прощать) закоренелому сочинителю. Особенно в Америке.

Особенно — потому что только там, в отличие от Старого Света, человеку толпы волею исторических обстоятельств оказалось легко занять позицию постороннего по отношению к бурям, терзавшим Евразию. (Впрочем, как показывает наш недавний опыт, абстрагироваться от своей вины можно легко и быстро, не отделяя себя океаном от театра действий.)

Уходящий XX век создал еще одну возможность во взаимоотношениях между зеркалом и Калибаном, не предусмотренную автором метафоры. Довольный Калибан смотрится в электронное зеркало, сжимая в лапе пульт дистанционного управления, и гыкает на свое отражение: «Экий урод! Как хорошо, что это не я!» Это уже не реализм и не романтизм, это — массовая культура. Косинский одним из первых в литературе уловил эти свойства телевидения, «самого опасного и распространенного наркотика современности», по словам Теренса Маккены. В телевидении он увидел новое воплощение волновавшей его с детства темы масок и зеркал.

Подражая людям, которых он видел в телевизоре, Шанс пододвинул к столику свободное кресло и сел. Операторы с камерами неслышно кружили вокруг. Ведущий наклонился к Шансу.

Завороженный пристальным вниманием камер и зрителей, Шанс решил отдаться на волю судьбы. В голове его было пусто, он был напряжен и в то же время чувствовал безразличие к происходящему. Камеры втягивали в себя изображение его тела, фиксировали каждое движение и бесшумно рассылали сигнал по миллионам телеприемников, рассеянных по всему миру — по комнатам, салонам автомобилей и самолетов, каютам кораблей и номерам отелей. На Шанса смотрело сейчас больше людей, чем сам он видел за

всю свою жизнь, — людей, которые не были с ним даже знакомы. Люди, которые видели изображение Шанса на экране, не знали о нем ничего; да и откуда, если они никогда прежде с ним не встречались? В телевизоре отражалась только поверхность, камеры снимали изображение с человека, как кожуру, а затем изображение падало в бездну глаз телезрителя и безвозвратно исчезало. Объективы камер уставились на Шанса, как свиные рыла, равнодушно превращая его в картинку, доступную миллионам. Эти миллионы никогда не узнают, что Шанс живой и настоящий, потому что телевизор не передает его мыслей. А он сам никогда не увидит своих зрителей и не узнает, о чем они думают, — они навсегда останутся для него только бесплотной идеей.

Наблюдательность и проницательность вообще присущи Косинскому, как и умение видеть дальше сегодняшнего дня. Он оказался внимательным и безжалостным аналитиком современного человеческого существования.

От многих страниц Косинского становится неуютно, словно кто-то говорит тебе: «И ты сам такой же, и твоя жизнь и дела наполовину выдуманы, ты видишь отражение собственного отвратительного лица в том, кого тебе удобно называть Другим». Впрочем, вряд ли именно это выделило Косинского на фоне современного ему литературного пейзажа — он, очевидно, не самый жестокий да и не самый одаренный из числа подобных аналитиков. Особого положения Косинский достиг способом, выходящим за рамки текста: превратив свою биографию в определенного рода вымысел, он обеспечил себе удобную платформу для бичевания социума (человек, столько выстрадавший, имеет право бичевать), но одновременно подставил себя самого под удар, оказал неоценимую услугу своим будущим ниспровергателям (ибо выстрадал не настолько уж больше многих и многих современников). Как только вымысел был разоблачен, перестали прощать и то, что прощали раньше.

С позиции повседневного опыта взлет Косинского и последовавшее за ним трагическое падение понять нетрудно, но это не закрывает главного вопроса: является ли способ, который использовал Косинский, чтобы придать своим текстам особый смысл и звучание, допустимым литературным приемом, или судить его надо не по художественным, а по этическим или даже юридическим законам? Является ли мистификация подобного размаха если не оправданной, то хотя бы приемлемой?

Ответить на этот вопрос не так-то легко хотя бы потому, что слово «вымысел» может резко менять свои коннотации, переходя из области литературоведения в область социального поведения. И не случайно: можно сказать, что литература (и художественное творчество вообще) — это последнее прибежище, законное «игровое поле» вымысла, признаного социально неприемлемым конвенциональной этикой. Но ограды этой резервации постоянно трещат по швам.

Особенно это заметно в области массовой культуры: родители подростков, регулярно подающие в суд на авторов определенных кинокартин или музыкальных произведений, как на соблазнителей, сподвигнувших их чад на суицид или криминальное поведение (и суды, принимающие решения в пользу истцов), вряд ли знакомы с теорией того же Уайльда, согласно которой литературный герой, подобно Платоновой идее, предшествует своему воплощению в конкретные человеческие типажи. Однако ведут они себя в полном соответствии с этой теорией.

В случае Косинского прототип, персонаж и тот, кто этому персонажу подражает, объединились в одном лице — коллизия, которая не показалась бы нетипичной в романтическую эпоху. Но в современном обществе подобное тождество нарушает негласное табу. Хотя мифология — политическая ли, телевизионная ли — является основным способом бытования общественного сознания, индивиду (даже писателю) вменяется в обязанность относиться к фактам своей жизни так, будто он дает показания под присягой. Конечно же, за тем исключением, когда вымысел надежно обернут в переплет книжного издания.

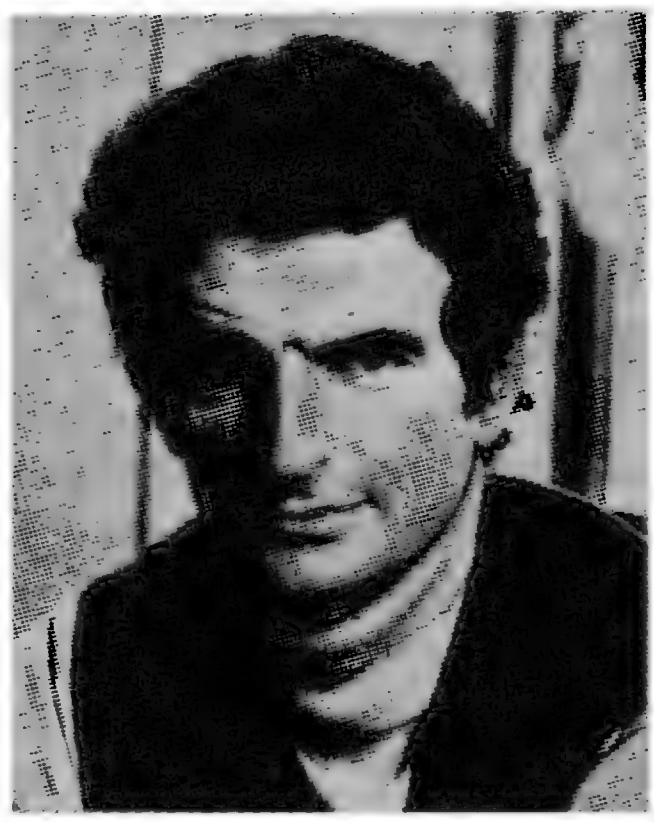
Пример Косинского убедительно показывает, что за иной вымысел, излишне правдоподобный и пропущенный через собственную жизнь, можно дорого заплатить — достаточно, чтобы миф был похож на действительность больше, чем сама действительность.

В компании тех, кто примеривал на себя свое собственное слово, в нашу эпоху Косинский не одинок: здесь можно помянуть хотя бы Мисиму или Лимонова (тоже, впрочем, не пользующихся нежной любовью институциональной литературы). Осо-

бенность Косинского в том, что, уйдя в игру между текстом и жизнью, вымыслом и фактом, он не объявил публично правила игры и не принял подобающей позы. Это неизбежно бросило тень и на саму игру — ведь известно, как мала дистанция между *вымыслом* и *обманом*. Но не стоит забывать: всю жизнь Косинский чувствовал себя именно жертвой, а не героем.

Любимым латинским изречением Косинского было «Prodeo larvatus» («Иду вперед, прикрывшись маской»). Его он вынес на свой экслибрис. В принципе, это мог бы сказать о себе любой настоящий художник. Но часто надетую маску не так-то просто носить: она отнимает лицо у надевшего ее, соблазняет общество сорвать ее и наказать самозванца. Вознаграждением оказывается сотворенный миф, который мстит реальности тем, что надолго переживает ее.

ЕЖИ КОСИНСКИЙ



По поводу «Раскрашенной птицы»: заметки автора

Les images choisies par le souvenir sont aussi arbitraires, aussi étroites, aussi insaisissable, que celles que l'imagination avait formées et la réalité détruites. Il n'y a pas de raison pour qu'en dehors de nous un lieu réel possède plutôt les tableaux de la mémoire que ceux de rêve.

Marcel Proust[1]

По мнению многих, наиважнейшим этапом создания художественного произведения является вынесение автором самого себя за рамки того жизненного опыта, который он намеревается отразить в своем творении. Главное в этом процессе «отчуждения» —

[1] Образы, избираемые воспоминанием, столь же случайны, столь же скупы, столь же смутны, как и те, что сотворены воображением и разрушены действительностью. Да и почему что-то случившееся вне нас должно больше владеть нашей памятью, чем измысленное нами? — *Марсель Пруст (франц.)*.

© И. Кормильцев. Перевод. 1999

сознательное желание посмотреть на себя и свой опыт как бы «со стороны», под таким углом зрения, при котором и сам автор, и описываемое им окружение теряют конкретные черты, отрываются от повседневной действительности и начинают существовать в новом измерении, приобретая текучесть и неограниченную свободу. Процессу этому соответствует длительный период внутренней борьбы и неуверенности. Новое измерение, о котором я говорю, существует исключительно в сознании автора: элементы действительности в нем более не подчиняются законам земного тяготения, а такие мелочи, как точное указание места и времени действия, теряют всякое значение.

Автор словно отгораживает свое воображение от объективной действительности одной завесой за другой. Число этих завес и та интенсивность, с которой они фильтруют мысли автора, зависят от его темперамента и творческого метода. Завесы не в силах полностью заслонить собой действительность; они только маскируют ее отдельные составляющие, увеличивают или преуменьшают их значение, ускоряют или замедляют неудержимый поток событий.

Так же как актер, играющий роль Гамлета, не является в этот миг ни самим собой, ни Гамлетом, но собой в роли Гамлета, так и художественный вымысел не сводится ни к факту, ни к чистому вымыслу: *это факт в роли вымысла.* Символ одновременно конкретен и абстрактен. Он — не буквальность и не мнимость, в нем нераздельно слито мнимое и буквальное. По этой самой причине стимул, вызывающий к жизни символ, нельзя до конца *постичь*: если бы такое было возможно, символ стал бы излишним. Символ ускользает от дефиниции, он поддается в лучшем случае только интерпретации. Марсель Пруст сказал об этом со всей ясностью: «Величие настоящего искусства состоит в том, чтобы... вновь открыть , вновь ухватить и явить нам ту реальность, от которой мы живем столь удаленными и от которой становимся все более и более отделенными, имея о ней только формальное знание, ибо она обретает все большую непроницаемость; и существует серьезная опасность, что мы до самой нашей смерти так ее и не узнаем, хотя она, по сути, является нашей жизнью».

Перенос фрагментов объективной действительности в то новое измерение, где рождается литературное произведение, подчиняется определенной логике, которая вынуждает отбирать и выделять из большого числа феноменов те, которые, по мнению автора, более соответствуют его творческому методу. При этом объективность играет второстепенную роль: автор использует ее в той степени, в которой она совпадает со вселенной, созданной его воображением.

Можно сказать, что автор берет извне только то, что он способен создать в своем воображении. «Воображение, — пишет Сусанна К. Лангер, — вероятно, представляет собой древнейшую чисто человеческую способность. Оно старше дискурсивного мышления; оно, возможно, является общим источником таких различных явлений, как сон, интеллект, религия и способность к обобщениям. Это весьма первобытная человеческая способность, оплодотворяющая собой искусство, которое, в свою очередь, воздействует на воображение».

Отчуждение художником своего личного опыта представляется необходимой предпосылкой всяческого творческого процесса. Неизбежным образом книга, будучи опубликована, подобно бумерангу, возвращается в ту самую конкретную действительность, от которой автор отделил себя для того, чтобы эту книгу создать.

После публикации книги автор становится всего лишь одним из многих ее читателей, и его суждение о ней — лишь одно из многих суждений: не глубже и не поверхностней, чем суждение любого другого читателя. «По поводу *литературной* интерпретации, — писал Поль Валери, — я уже неоднократно высказывался, но не лишним будет еще раз подчеркнуть: *тексту не присуща такая вещь, как истинное значение.* Автор в этом вопросе не может считаться авторитетом. Не важно, что он *хотел сказать*, значение имеет только то, что он написал. Опубликованный текст становится механизмом, который каждый волен использовать как ему заблагорассудится: нет никаких гарантий, что его создатель найдет ему лучшее применение, нежели кто-нибудь другой. Более того,

если автору были ясны его собственные намерения, знание их будет только искажать его восприятие собственного творения». (Курсив — П. Валери.)

Определить «Раскрашенную птицу» как автобиографию было бы удобно в целях классификации, но вряд ли оправданно. Нашему сознанию свойственно воспринимать ситуации и проявлять к ним свое отношение вполне определенным образом: некоторые часто повторяющиеся в неизменных формах фикции (все, что идет из глубин нашей памяти, или извлекается из подсознания, или является плодом творческого воображения) лишены суровой очевидности факта. В каждой культуре существует свой набор очевидных классических ситуаций, представленных в изобразительном искусстве, литературе или коллективном сознании (например, обретение ребенком потерянных родителей, воссоединение влюбленных, сцены смерти), но все они уступают в изобретательности тем схемам, которые мы повседневно создаем в помощь своему мышлению и самопознанию. Схемы эти — наши собственные маленькие вымыслы, помогающие нам упростить наш опыт, оформить его и придать ему необходимую эмоциональную однозначность. *В нашей памяти события становятся художественным вымыслом, способным вызвать к себе определенное отношение.* Без этого искусство стало бы настолько личным, что даже художник оказался бы неспособным творить его, а публика вообще утратила бы к нему ключ. *Ни одно произведение искусства не является действительностью: оно, скорее, способ использования символов с целью выразить ту часть субъективной действительности, которая не может быть выражена никак иначе.* Даже кино, которое из всех видов искусства наиболее способно к буквальному изображению действительности, пользуется приемом монтажа; без этого оно стало бы полностью непонятным зрителю или крайне трудным для восприятия. Тот же самый прием монтажа применяется и в других видах искусства: воспоминание само по себе уже есть монтаж. «Самовыражение начинается там, где кончается мышление», — сказал Камю; именно таково творчество, в частности — творчество писателя. Не важно, идет ли речь о художественном тексте или нет: активно творящее сознание отрезает монтажными ножницами все несущественное или невыразимое и создает серию вымышленных ситуаций. О памяти нельзя сказать, что она буквальна или точна — правда памяти в чувстве, а не в истине. Память организует наши впечатления в нечто вроде короткометражных фильмов. Хорошим примером такого преобразования опыта во вместилище для эмоционального переживания может служить эссе Альбера Камю «Возвращение в Типаса». Эта работа заявлена как автобиографическая, но она не вполне является таковой. Когда Камю пишет о своем возвращении в североафриканское местечко Типаса, он, разумеется, использует реальный населенный пункт в качестве символа. Несомненно, Камю бывал в Типаса, жил там какое-то время, а потом вернулся. Но его поездка, хотя и имеет значение как повод для выбора конкретной ситуации, по отношению к которой выражаются определенные чувства, вторична по отношению к этим самым чувствам, которые Камю *мог испытать* во время ее и которыми он хотел поделиться с читателем. Выбор особого ряда символов также дает читателю возможность отождествить свои переживания с переживаниями автора. Выбором же ряда конкретных деталей, связанных с конкретным местом действия, автор, если не вполне бессознательно, то в достаточной степени спонтанно, поднимает переживания до уровня, при котором читатель начинает с особенной силой ощущать те эмоциональные откровения, которые содержатся в произведении. На первый взгляд кажется, что речь идет об эссе автобиографического характера: Камю, будучи в тяжелом настроении, возвращается в то место, которое для него всегда ассоциировалось с покоем, светом и безмятежностью природы. Он бродит по пляжам и обнаруживает в разгар зимы непобедимое лето внутри себя. Но даже это открытие должно быть выражено через символы, должна быть создана ситуация, при которой буквальное и символическое сближаются настолько, что из их сопоставления возникает особый смысл.

Для того чтобы изобразить процесс вспоминания, автор написал «Раскрашенную птицу» в виде ряда небольших драматических сценок, связующие звенья между которыми по большей части опущены, как это и бывает с реальной памятью. Экстремальность

ситуаций, благодаря напряженности действия и яркости образов, воспроизводит ряд особенностей, присущих нашему мышлению и нашим снам. Символическая природа персонажей и деталей также имеет значение, поскольку в воспоминаниях, снах или художественных произведениях любой элемент служит для сохранения или подчеркивания какого-нибудь другого элемента, для концентрирования переживания. Тут кто-нибудь может задаться вопросом: «А почему эта книга написана про детство? Почему автор избрал именно эту тему?» К. Г. Юнг в своей работе «Психология архетипа ребенка» высказывает точку зрения, которая многое объясняет. Юнг рассматривает образ ребенка как символ досознательного состояния человеческой души, символ своего рода детства мыслительных процессов, следы которого можно обнаружить в каждом из нас. Это состояние он определяет термином «коллективное бессознательное». Юнг пишет: «Аналогия с определенными психологическими состояниями... [доказывает]... что определенные фазы жизни личности могут обосабливаться и персонифицироваться до такой степени, что приводят к непосредственному ви́дению себя в образе, например, ребенка. Такое видение, переживаемое во сне или наяву, обусловливается, как нам известно, диссоциативными процессами между переживанием в сознании прошлого и настоящего. Такая диссоциация может быть обусловлена разнообразными нарушениями: например, человек в состоянии взрослости может оказаться в конфликте со своим детским состоянием, или же он может насильственно отклонить свою психику от ее врожденного характера, исходя из интересов вымышленной persona, которая в большей степени соответствует его амбициям... в результате такой траснформации он может чувствовать себя подобно ребенку лишенным корней и естественного основания. В таком состоянии ожесточенный конфликт с первоначальной правдой о себе становится более чем вероятным...»

В таком случае «Раскрашенную птицу» можно считать представлением автора о самом себе как о ребенке — *представлением*, а не исследованием детства или возвращением в него. Это представление, этот поиск может быть осуществлен только через метафору, в которой бессознательное с наибольшей легкостью проявляет себя и к которой оно по природе своей тяготеет. Место действия и окружение также метафоричны, поскольку все путешествие в детство совершается исключительно в сознании. В метафорическом окружении персонажи превращаются в архетипы, становятся символами вещей, в равной степени ощутимых и бесплотных, — символами, которые тем не менее вдвойне реальны, будучи выражением того, что стоит за ними.

Вполне возможно, что книга эта не поддается быстрой и упрощенной классификации. Имена, использованные в ней, вымышлены и не могут быть с достаточным основанием отнесены к представителям какой-нибудь определенной этнической группы. Место действия обозначено в самых общих чертах, поскольку приграничье обычно является спорной территорией и лишено национального или религиозного единства. Следовательно, ни одна этническая или религиозная группа не имеет основания считать себя изображенной и искать в «Раскрашенной птице» повода для шовинистических страстей. Как кладбища сообщают анонимность жизням тех, кто на них похоронен, так время и политические пертурбации делают неопознаваемой страну, в которой разворачивается повествование.

Содержание книги ставит перед нами ряд вопросов: приукрашенный факт не есть вымысел, смесь измышлений и воспоминаний не является на все сто процентов придуманной. Издатели традиционно считают подобные пограничные жанры ничейной землей. В своей книге «Эстетическое отношение искусства и действительности» Н. Г. Чернышевский написал в 1855 году: «Как бы сильна ни была память, она не в состоянии удержать всех тех подробностей, которые неважны для существа дела... но многие из них нужны для художественной полноты рассказа, и должны быть заимствованы из других сцен, оставшихся в памяти поэта... правда, что дополнение события этими подробностями еще не изменяет его, и различие художественного рассказа от передаваемого в нем события ограничивается пока одной формою. Но этим не исчерпывается вмешательство фантазии. Событие в действительности перепутано с другими событиями, находившимися с

ним только во внешнем сцеплении, без существенной связи; когда мы будем отделять избранное нами событие от других происшествий и от ненужных эпизодов, мы увидим, что это отделение оставит новые пробелы в жизненной полноте рассказа...»

Факт и воспоминание — можно ли свести «Раскрашенную птицу» к этим двум источникам? Скорее стоит представить книгу как результат медленного пробуждения сознания, замороженного в свое время воздействием страха, сложным переплетением отдельных фактов, озаренных светом памяти, который уже не так ярок, как прежде, но еще способен осветить обширные пространства, оставаясь при этом мягким и не раздражающим зрение. Передний план расплывается, а задний выдвигается вперед из области тени. Тех, кого автор раньше вспоминал в связи с их поступками, он вспоминает в связи с их характерами. Для ребенка все события внезапны, детским открытиям не хватает глубины. Кто-то убивает, кто-то калечит, кто-то пытает, кто-то ласкает. Но в представлении взрослого все эти воспоминания теряют одномерность. Голод — более не неотвязное чувство, которым он был когда-то, страх — уже не бешено стучащее сердце. Они теперь не воспринимаются телом как удары переменчивой судьбы; они скорее представляются основой, на которой держится жизнь как таковая.

Суеверие и страх, угроза чумы и ожидание смерти, темный лес и стылые болота, железные клещи голода, которые приковывают крестьянина к своему бесплодному наделу, подозрительность в отношении ближайшего соседа, страх перед чужаком, безрадостная мудрость и постоянное ожидание беды. Мрачная вера в немилосердого Бога, неизбывный ужас перед знамением, которое видится в каждой птице и звере, ощущение того, что злые духи и всякая нечисть идут по твоему следу, что все кругом усеяно силками и капканами для беспечных. Все эти представления трудно выразить через рациональные и однозначные понятия. Марта, Дурочка Людмила, Лаба и Макар живут жизнью своих деревень и вне этой жизни не существуют. Антропологу найти для них место на страницах своей книги будет не легче, чем для ведьм из «Макбета».

События перестали быть отдельными друг от друга, они смешались и слились, прокатились через сознание автора приливами и отливами. Автор предоставляет в наше распоряжение ткань, сотканную из его опыта, в которой отдельные нити еще просматриваются в силу различного цвета и фактуры, но получившееся переплетение уже нельзя свести к отдельным нитям. Перед нами не каталог разложенных по полочкам фактов, характерный для сознания взрослого, но пережитые автором, искаженные болью и обостренные страхом воспоминания, впечатления и чувства ребенка. Их нельзя измерить строгой мерой — это не отчет уцелевшего, но прожитая жизнь: жизнь изгоя, который встречает каждый день со смятенными чувствами, которого яркий солнечный свет наводит на мысли о грядущей буре.

«Самым удивительным парадоксом всех мифов детства, — пишет Юнг, — является то, что ребенок, с одной стороны, представляется беспомощной жертвой в руках ужасных врагов и находится постоянно перед лицом гибели, но, с другой стороны, он обладает почти сверхчеловеческими силами». В книге ребенок (Мальчик) выживает лишь потому, что он обречен на выживание. Он как бы воплощает в себе потребность в самовоплощении и самосохранении. У него нет возможности ограничить свой рост или остановить свое развитие. Ему предоставлены в распоряжение лишь те силы природы и животного инстинкта, которые способствуют его выживанию. Рассудочное сознание его сковано и ограничено невозможностью *поступать иначе*; ребенок благодаря этому противостоит малейшей угрозе его безопасности. Чтобы доказать это, его подвергают испытанию за испытанием. Легко заметить, что каждое такое испытание, описанное в книге, включает в себя материальные элементы природы — огонь, воду, грязь и экскременты. Его то хоронят заживо, то бросают одного в глуши. Но он должен выжить: само повествование от первого лица говорит о том, что ему это удалось. Выбор именно ребенка в качестве проводника в этом странствии может оказаться особенно поучительным, поскольку в развитии ребенка отражается эволюция человеческого сознания. Ребенок воспринимает те же символы и учится таким же образом, что и доисторические племена, — через

наблюдение животных и инстинктивную ассоциацию с силами природы. Так же типична озабоченность Юнга проблемой речи и возможности утраты речи. Мальчик не умеет говорить на местном диалекте, но в тот момент, когда он им наконец овладевает, он лишается дара речи полностью. Это вынужденное молчание играет во многих отношениях важную роль.

Когда Мальчик онемел, в его распоряжении осталось исключительно действие. В то время как речь может прямо или косвенно подменить собой действие, последнее говорит само за себя.

В современной литературе речь используется для того, чтобы показать, какая пропасть лежит между словом и делом, подчеркнуть обширный разрыв между ними. Можно сказать, что этот разрыв является ключевой темой современного искусства. Но в «Раскрашенной птице» конфликт еще более обострен: в попытке воссоздать первобытное мышление прямое обращение к символам нагляднее и непосредственнее, чем поверхностное содержание речи или диалога. Кроме того, чувство отчуждения усиливается невозможностью для персонажей свободно общаться между собой. Наблюдение молчаливо: молчащий не может участвовать, он может только наблюдать. Вероятно и то, что немота — это метафора отлучения от общества и даже от чего-то большего, чем общество. Чувство отчуждения лежит на поверхности произведения и выражает понимание автором, пусть даже бессознательное, трещин в целостности его личности.

В «Раскрашенной птице» часто используется такой прием повествования, при котором сюжет повторяется на уровне мира природы. Действиям людей или предшествуют соответствующие сцены в животном мире или подобная параллель проводится позже. В качестве убедительного примера можно привести сцену обеда у мельника, когда происходящее между кошками служит для того, чтобы подчеркнуть атмосферу сексуального напряжения, которую внешнее содержание событий скрывает, словно водная гладь — глубинное течение. На самом деле этот прием используется сразу в двух плоскостях, поскольку он применяется не только автором, чтобы произвести впечатление на читателя, но и самим мельником, чтобы произвести такое же впечатление на присутствующих. Такое двойное использование образа и подтекста обогащает повествование и делает его более содержательным. Автор пользуется подобным приемом неоднократно, в особенно развернутом виде там, где история с совокупляющимися собаками служит параллелью к истории с Радугой и еврейской девушкой. Еще одним следствием этого приема при частом к нему обращении является превращение образа в символ. Речь идет, в первую очередь, о самом образе «раскрашенной птицы». И наконец, в тексте присутствуют выраженные неявно поведенческие и психологические аналогии между персонажами и животными: евреи в поезде смерти, девушка, которую насилует Радуга, мальчик, погибший под колесами, младенцы, которых выкидывают из вагонов, — все они представляют собой очевидную параллель к образу освежеванного кролика, мечущегося по двору. Нападение крыс на плотника в подвале образует параллель с налетом калмыцкой конницы на деревню. Практически каждый персонаж соотносится с каким-нибудь животным: Гарбуз — с овчаркой, Лех — с раскрашенными птицами. Животные постоянно ассоциируются с изгоями общества — таковы голубь в избушке Марты, раскрашенные птицы в хижине Леха. Все эти образы привязаны, в свою очередь, к доминирующему образу Мальчика. Другой пример использования аналогий с природой — противопоставление жизни и смерти: поезда, следующие в лагерь смерти, проходят мимо деревни чаще всего во время сезона сбора грибов; наибольшая жестокость, совершенная общиной в отношении Мальчика, приходится на праздник Тела Христова и (что особенно знаменательно) случается на церковном дворе; убийство совершается во время свадебного пира, который превращается в похороны. Крестьяне, подобно злым духам, мародерствуют и глумятся над телами погибших евреев; они с триумфом приносят домой различные сувениры: фотография убитого вешается рядом с образком. Подобные повествовательные структуры повторяются в различных модификациях: странствия Молчуна и Мальчика символизируют идиллию детства, полностью омраченную трагичностью положения ге-

роев. Сцена примирения с родителями тоже имеет свою изнанку — вместо радости возникает безразличие. Лех и Людмила, один — сумасшедший, другая — умственно отсталая, становятся innamorati[1] в истории, где главной эмоцией является ненависть.

Таким образом, «Раскрашенная птица» сводит действительность к натуральным законам, давая тем самым ключ к ее метафизической подоплеке и позволяя вывести мораль. Книга представляет собой попытку сорвать с мира его позолоту, посмотреть на жизнь, не прибегая к удобным представлениям, позволяющим нам приукрасить воспринимаемую действительность. Анализ текста приводит нас обратно к метафоре детства со свойственным ей преобладанием натуралистических образов и мотивов — снов, фаллических символов, всего того, что мы привыкли относить к области волшебных сказок. Когда багрянец и золото осыпаются с фасада, обнажаются темные корни сказки. К «Раскрашенной птице» можно отнестись как к волшебной сказке, *пережитой* ребенком, а не *рассказанной* ему: тогда эсэсовцы предстают как те почти сверхчеловеческие герои, которые совершают невероятные подвиги с невиданной легкостью, Людмила — как девушка-лесовичка; комета, винтовка и «мыло» выполняют роль волшебного оружия. Можно отыскать в книге и своих ведьм, троллей, непроходимые чащобы и великие походы. При помощи всех этих приемов мы продвигаемся по пути к первобытному, прикасаемся к корням подсознания. Во всех нас протекают сходные психологические процессы, и они не могут не привести к сходным результатам. Они воздействуют на нас с непреодолимой силой, и шок, испытываемый нами при встрече с событиями, описанными в «Раскрашенной птице», есть шок узнавания собственного «я», того «я», о существовании которого мы прежде или вообще не подозревали или только смутно догадывались, встречаясь с ним в снах или фантазиях. «Символические представления о себе, — утверждает Юнг, — зарождаются в глубине тела и проявляют свою материальность в не меньшей степени, чем структура воспринимающего сознания. В каком-то смысле символ и есть само живущее тело, *Corpus et Anima*, «дитя» же — первое приходящее в голову обозначение для него».

Мир, изображенный в «Раскрашенной птице», можно рассматривать как мир отчетливых элементарных символов, как набор немудреных ключей к европейской культуре. И сегодня, через двадцать лет, многие из этих символов все еще не до конца поняты. Подобно крестьянам, собирающим фотографии, выброшенные из «поездов смерти», мы ежедневно находим в свежих газетах бесконечные описания и фотографии злодейств, совершенных незнакомыми людьми в далеких от нас местах. И, словно крестьяне в «Раскрашенной птице», мы, пассивные зрители гигантского спектакля насилия и разрушения, прячемся за стенами наших уютных домов и смотрим на телеэкран. День за днем, каждый вечер, изображения человеческих трагедий, происходящих *не здесь*, мелькают на этих экранах: падают бомбы, рушатся дома, людей убивают и пытают за их национальность, за их веру, убеждения, цвет кожи. Ни одно бедствие не проходит незамеченным. На наших глазах гибнут невинные жертвы, точно так же как на глазах у птицелова Леха гибли раскрашенные птицы, которых сородичи убивали исключительно за иную окраску оперения. И мы смотрим на это со спокойным убеждением, что все эти ужасы, все эти преступления совершаются *не здесь*, где-то далеко от нас, и совершают их *другие*, у которых на то есть какие-то свои причины, а мы, хоть нам это и неприятно, ничего не можем поделать, поскольку не имеем с этими вещами ничего общего. Мы не лжем, мы действительно не хотели бы иметь с ними ничего общего...

Перевод с английского ИЛЬИ КОРМИЛЬЦЕВА

■

[1] Влюбленные (*итал.*).

ИЛЛЮЗИЯ ПОДЛИННОСТИ

Кардинал де Рец. Мемуары. Издание подготовили Ю.Б. Виппер, А.Ф. Строев, Ю.Я. Яхнина. Перевод с французского Ю.Я. Яхниной. М., Ладомир, Наука, 1997

Начну с комической истории, за подлинность которой ручаюсь. Не так давно в одно крупное московское издательство обратилась молодая, но осененная высокой протекцией переводчица со сногсшибательным предложением: она готова в течение полугода представить рукопись перевода мемуаров маркизы де Помпадур, найденных ею... в отделе редкой книги Библиотеки иностранной литературы. Мне как редактору было предложено поработать с молодым автором. Работа оказалась нелегкой. Ни ссылки на словари и энциклопедии, ни консультации библиографов и историков не могли убедить юное создание в одной простой вещи: подлинных мемуаров маркизы в природе не существует, а несколько книг, вышедших вскоре после ее смерти в Голландии, являются обычными для той авантюрной эпохи апокрифами. Доводы увядали у меня на губах под презрительным взором представительницы нового поколения не менее авантюрного века, я чувствовала себя сушеной канцелярской крысой, не понимающей дерзновенных порывов юности. Мнения почтенных ученых, робкие предложения проверить, уточнить, проконсультироваться разбивались о непоколебимую уверенность невежды. Убедить невежду — вообще вещь невозможная. Захлебываясь от бессилия и отчаянно пытаясь удержаться в рамках приличия, делаю последнюю, примиряющую попытку: «Ну хорошо, если вы непременно хотите это переводить, если это замечательная книга, то и напишите, что это псевдомемуары, мистификация, такой жанр тоже имеет право на существование». — «Нет, я *чувствую*, что это писала *она*, маркиза!» Прекрасные глаза экстатически расширяются. «А как же вы это... чувствуете?» Меня опять обливают презрением: «Этого не объяснишь... Кроме того, там описаны такие вещи, которых никто, кроме нее, не мог знать. Такие подробности...» Я сдаюсь. Пытаюсь атаковать с другой стороны: «Но как же вы собираетесь перевести оба тома за полгода? Ведь это текст XVIII века, он требует работы со словарями, с источниками, нужно же найти стиль, выработать лексику...» И снова я засыхаю. «Главное — чутье, — поучает меня специалист по экстрасенсорному переводу. — И потом, я работала в архивах, знаю эпоху, владею стилем». Вот и весь разговор. Впрочем, не весь. Лихая амазонка желает получить за перевод две тысячи долларов. Немедленно. Потрепанная, как чеховский чиновник после разговора с Мерчуткиной, я кое-как закруглила разговор. Спустя полгода она нашла меня по домашнему телефону и сообщила, что работа окончена, а заодно спросила, не видела ли я «Мемуаров» кардинала де Реца — говорят, они вышли. Я набрала воздуха в легкие... и выпустила. Раскрытые «Мемуары» лежали передо мной на столе. А накануне я напросилась в гости к переводчице, Юлиане Яковлевне Яхниной, и увидела накопившийся за двадцать лет работы над Рецем материал: папки, тетради, картотеки, выписки, цитаты, ссылки, размышления... Гонорар переводчицы вряд ли покрыл расходы по перепечатке рукописи.

Так я еще раз убедилась в том, что давно подозревала: в небесном цехе, где пишутся сценарии многотысячесерийного сериала повседневности, иной раз не чуждаются пародии. Возможно, я не стала бы делиться с читателями этой карнавально-водевильной сценкой, если бы она не имела своеобразного продолжения.

Прошло еще какое-то время, и работа Яхниной была удостоена премии имени М.Н. Ваксмахера, присуждаемой посольством Франции в Москве и редакцией журнала «Иностранная литература», за лучший перевод 1997 года (в силу многих форс-мажорных обстоятельств подведение итогов произошло в самом конце следующего года).По поводу этого события появилось немало устных и печатных высказываний, некоторые из них как раз и заставили меня вспомнить прелестную дикарку. Оказалось, что кое-кто из образованной публики недоволен тем, что вот уже который раз премию дают за «нехудожественное произведение». Предыдущих премий было всего две, из них одну получила Юлия Гинзбург за новый перевод «Мыслей» Паскаля, другую — Александр Ревич за перевод «Трагических поэм» Агриппы д'Обинье. Мы, конечно, народ избалованный, у нас и «История» Карамзина вроде бы не литература, но французы-то и Паска-

ля, и Реца в школе проходят. Высказывалось и такое недовольство: за рамками премии остаются отлично выполненные переводы современных романов, и так будет всегда, потому что у кого-нибудь да подоспеет «дело жизни», очередной фолиант, которому обеспечено лауреатство. Что ж, если бы каждый год выходили переводы масштаба и уровня работ Ревича и Яхниной, можно было бы только порадоваться. Однако, насколько мне известно, уже в 98 году никто подобных подвигов не совершал. Конечно, лучше бы иметь не одну, а две премии... почему не три, не четыре? Но конь-то все-таки дареный... Да и не для премий, в конце-то концов, делаются переводы. Ни о каких обидах среди коллег за все три года мне не приходилось слышать ни разу. Более того, думаю, что не ошибусь, если скажу: любой из прочих претендентов чувствовал бы себя неловко, если бы получил награду в тот год, когда шедевр французской словесности XVII века появился в свет в столь мастерском переводе.

Не стану рассказывать о личности Жана Франсуа Поля де Гонди, кардинала де Реца (кто не помнит господина коадъютора из «Двадцати лет спустя» Дюма — это он и есть, а его «Мемуары» послужили для романиста главным источником сведений по истории Фронды), и о его знаменитой книге, благо теперь можно ее открыть и прочесть. Но мне хотелось бы, чтобы каждый берущий ее в руки хоть немного представил себе, какой труд проделан русским толмачом Реца. Результатом этого труда стал не только корпус «Мемуаров», но и «Послесловие переводчика», где говорится: «Мне хотелось, чтобы русский читатель воспринял сегодня язык Реца так, как воспринимает его современный француз». Не правда ли, скромная задача и скромное название. На самом деле это послесловие не что иное, как изложение теории и практики перевода литературного памятника, подробный рассказ о поисках «образа стиля», ритма, отборе синтаксических и лексических средств. Я убеждена, что этой статье суждено стать классической и что без знакомства с ней приниматься за исторический перевод отныне будет неприлично, а главное — нерационально.

А как воспринимают Реца современные французы? То есть какой длины дистанция отделяет его от нынешних французских читателей? Он для них — как для нас Пушкин? Или Карамзин? Или протопоп Аввакум? По абсолютному времени — он еще раньше. Не полагаясь на интуицию, переводчик изучает помимо текста «лингво-стилистические комментарии двух последних изданий Реца во Франции» и «примечания к двум удачным современным беллетристическим стилизациям под XVII век». И вот решено: «камертоном русского перевода должен был стать язык пушкинского времени с некоторыми хронологическими от него отклонениями в ту и в другую сторону». Мы все примерно знаем, что такое язык пушкинского времени, но только примерно... Мы его, что называется, чуем, отличаем от языка до и после, но попробуйте поговорить этим языком, и только им, да так, чтобы не сбиваться на современный строй речи и оставаться естественным. Острить на нем, ругаться, веселиться и гневаться. И при этом быть французом. Какая невероятно трудная задача! Какая интересная игра!

Страсть к игре, азарт — вот черта, роднящая парижского коадъютора и его русского переводчика. По собственному признанию Ю.Я. Яхниной, она больше всего любит тексты из литературы нашего века, где присутствует стилизация, — «очень современные по характеру романы, замкнутые в выверенную традиционную форму». Достаточно вспомнить переведенные ею произведения Маргерит Юрсенар, Эйвинда Юнсона. Эта струнка есть даже у Франсуазы Саган и Мишеля Рио. «Во всякой стилизации есть элемент игры, и важно найти меру, чтобы эту игру передать». Собственно говоря, любой перевод — всегда игра. В двойном смысле слова: игра по определенным (в каждом конкретном случае — своим) правилам и игра на инструменте языка, исполнение на нем некой партитуры, которую сначала надо транспонировать. И при стилизации как таковой, и при переводе старинного текста прежде всего тщательно отбирается языковой материал, или, если угодно, составляется колода. Причем если в первом случае ощущение условности, сделанности, сказа надо подчеркнуть, то во втором, наоборот, все швы требуется запрятать и создать иллюзию первичности, подлинности. Я не оговорилась: именно иллюзию. Потому что того языка, на котором мы читаем Реца по-русски, в реальности не существовало, пока его не сотворил переводчик. Другое дело, что все элементы этого языка — самые подлинные.

«...Сочинения и переписка Пушкина и его современников, их исторические труды, очерки и проза Державина, Фонвизина, Карамзина, Загоскина, Вяземского, Грибоедова, мемуары участников войны 1812 года, следственные дела декабристов, материалы русских журналов первой половины XIX в. и позднейшие публикации «Русской старины» дали мне богатейший материал для лексических, грамматических и синтаксических решений в работе над переводом Реца», — пишет Яхнина. Читая это и вспоминая картотеку с выписками, которую она мне

показывала, я так и слышала обычный вопрос издателей: «Сколько времени вам понадобится на этот перевод?» Можно ли заложить в график время на вживание в образ языка? В голове переводчика складываются как бы два файла (компьютерная лексика в данном случае очень заманчива): особенности текста и связанные с ними задачи, с одной стороны, и особенности языка-ориентира. Прицельный поиск решения каждой отдельной задачи, как легко догадаться, невозможен. Ни один словарь синонимов не даст необходимой лексической гаммы. Поэтому упомянутое вживание сводится к чтению до насыщения. И тогда переводчику представляется, что:

«Передать «старинность» текста несложно. Тут на помощь переводчику приходят и устаревшие слова и обороты: «общежительность нрава», «мягкосердие», «ласкать себя надеждой», «безопасен от неприятеля», «несомнительная истина»... утраченные грамматические формы («вошед», «подошед») или формы глагольного управления («злословить тебя», «покорствуя ему», «бунтовать чернь»)... синтаксические приемы — в частности, инверсия («слабодушие непростительное», «игра, которой вся тонкость в том и состояла»)».

Переводчик уже не думает, откуда именно «приходят» ему на помощь эти самые слова, обороты, формы и приемы. Их источает начитанный-напитанный, как губка, мозг.

Более сложной задачей Яхнина считает необходимость «передать и ту свободу, разговорность, которую ощущали в тексте Реца его современники, воссоздать живую речь, опрокинутую в прошлое».

Это уже второй уровень игры: сначала найти язык эпохи, затем — индивидуальный язык автора. К восприятию наших современников прибавить восприятие современников Реца. Переводчик находит возможность сохранить свежесть неологизмов XVII века, неприкосновенность стилистики автора («пристрастие к игре словами», обилие «живых разговорных оборотов, фразеологических речений, снижающих высокопарность архаизированных пассажей, смешивающих «высокий» и «низкий» стили»).

Особая, так сказать техническая, проблема — точность исторической терминологии, от должностей и званий до кулинарных тонкостей. Пользуясь формулой Яхниной, можно сказать, что тут ей «на помощь пришли» многочисленные словари, публикации исторических документов и прочее. Читатель не задержится глазом на таких естественных обозначениях, как «именной указ», «магистраты от короны», «апелляционная палата», не подозревая, ценой каких изысканий и колебаний они произведены. «Я старалась придерживаться единой системы решений в пределах одного текста, опираясь на собственную картотеку, где были зафиксированы не только... названия парламентских, придворных и военных чинов и проч., но и клишированные выражения, связанные с парламентской процедурой, придворным этикетом. Такая картотека была необходима при долголетней работе над столь объемистым трудом».

Итак, все задачи сформулированы, решения отрефлексированы, каждый шаг, каждое слово продуманы. Перевод представляется делом колоссальной трудности, требующим сверхъестественного прилежания и интеллектуального усилия. Учености, наконец. Все это так и не так. Ибо, когда приведен в состояние пропитанной губки мозг, собраны картотеки, проделан анализ текста на всех уровнях и найден адекватный лингвистический материал в русском языке... тут-то и начинается работа. Как говорится, это только присказка, сказка впереди. Составлена палитра, а теперь надо писать картину.

О соотношении рационального и интуитивного в творчестве вообще и в переводе в частности говорено и писано так много, что я не стану долго на этот счет распространяться. Как в любом искусстве, можно научиться приемам, но они прикладываются к дару — слуху, чутью... Тому самому, на которое справедливо указывала мне посетительница издательства. Яхнина определяет главную задачу своего перевода как поиск ритма (я бы сказала — дыхания). По ее признанию, ей помогали высказывания о ритме Михаила Чехова как актера, Свиридова как композитора. И это понятно, потому что переводчик — и актер, и музыкант, и инструментальный мастер. Ритм мало найти, его надо выдержать во всем. Здесь же, мне кажется, главное — чувство меры, которое вообще составляет основополагающее качество переводчика. Мера свободы и точности, современности и архаики, продуманности и спонтанности.

Сколько бы мы ни хвалили достоинства перевода, ни восхищались его мастерством, однако участь переводчика — раствориться в тексте. Работа его тем совершеннее, чем меньше читатель будет вспоминать о том, что читает перевод. Теперь, когда «Мемуары» Реца можно купить в магазине и не торопясь, растягивая удовольствие на много дней, прочитать, трудно представить себе, что они не всегда существовали на русском языке. Кажется, были всегда — по меньшей мере, с XVII века! — просто у нас не доходили руки. Это и есть иллюзия подлинности. Лучшая награда переводчику. Лучшая премия...

Н. МАВЛЕВИЧ

НОВЫЙ И СТАРЫЙ СИРАНО

Эдмон Ростан. Сирано де Бержерак. Санкт-Петербург, Наука, 1997 («Литературные памятники»).

Эта книга поспела сразу к двум столетним юбилеям. Во-первых, к столетию самого ростановского шедевра, впервые сыгранного на сцене в самом конце 1897 года, а во-вторых, что не менее важно, к столетию его русской истории, которая началась уже весной 1898 года с премьеры «Сирано де Бержерака» в ставшем классическим переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник. За сто лет пьеса Ростана множество раз ставилась на русской сцене, неоднократно переводилась вновь; нынешний перевод, выполненный Е. В. Баевской, подытоживает эту в буквальном смысле *вековую* традицию и вносит в нее свой оригинальный вклад.

«...Книга... дает первый эквиритмичный и эквилинеарный перевод пьесы» — эту специально-филологическую формулировку из предисловия составителей книги Е. В. Баевской и М. Д. Яснова легко растолковать обыденным языком: стихи Ростана воспроизводятся размером подлинника и «строка в строку». Но сказать-то легко... Ростан писал александрийским стихом, а этот размер очень тяжело передается по-русски, особенно если речь идет о драматическом тексте, где нужно соблюдать живые устные интонации. Французский сценический диалог вообще лаконичнее русского, в классической французской трагедии на каждую реплику часто приходится одна строка, полстроки (кстати, еще и цезура должна стоять точно на середине стиха), а Ростан сплошь и рядом умещает в одну строку и по четыре, по шесть коротких стремительных фраз. Переводчики, пытающиеся точно сохранять число строк подлинника, вынуждены слишком дорого за это платить — реплики, урезанные до предельной эллиптичности, становятся невразумительными даже при чтении, а тем более при сценическом произнесении, когда вдумываться в каждое слово некогда. Другие переводчики, обходя эту трудность, отказываются буквально соблюдать метрику оригинала. Именно такую стратегию избрала Щепкина-Куперник, передавая шестистопник Ростана разностопным ямбом, а реплики значительно расширяя за счет всевозможных пояснений и поэтических украшений. Здесь, разумеется, таится своя опасность: мало того что переводческая «отсебятина» делает текст не совсем аутентичным, обычно она еще и разжижает его более или менее банальными общими местами. Оценить масштабы этой беды может теперь каждый, сравнив перевод Т. Щепкиной-Куперник, с театральной бесшабашностью уснащенный мишурой романтической риторики, и филологически точный перевод Е. Баевской, из которого отжато все лишнее, так что в результате он намного «похудел» по сравнению с привычной всем старой версией. Зато в нем ощущается важнейшее качество французской литературной традиции — четкая и экономная логика, ясность ума, доходящая до особого блеска в остротах и каламбурах. Метрическая дисциплина, соблюдение техники драматического александрийского стиха (парной рифмовки, цезур) не помешали Е. Баевской создать совершенно внятный текст; более того, усилий переводчицы хватило еще и на эффектные аллитерации (одна из вариаций на тему знаменитого носа Сирано: «*Восторженно*: “Тритон! Труби в трубу! Труби же!..”»), на виртуозные составные рифмы: «обратно» — «рад, но...», «впрок им» — «высоким», «смею» — «во тьме я», «щеголять им» — «платим», «объятья» — «сумел сказать я»... Боюсь, столь сложные созвучия будут не очень отчетливо звучать со сцены, но в книге их читать одно удовольствие.

С культурой стиха косвенно связана и одна далеко не техническая проблема, особенно важная при работе именно с этой пьесой Ростана.

В конце академического издания «Сирано де Бержерака» помещены две историко-театральные статьи, авторы которых, П. Р. Заборов и Л. И. Гительман, подробно рассказывают, как пьеса Ростана интерпретировалась русским театром соответственно до и после 1917 года. Это весьма содержательная сводка разнообразных творческих решений, мнений и суждений — в большинстве своем произвольно-«вкусовых» и именно потому интересных как проявления общего художественного климата. Особенно симптоматична одна их общая закономерность, по-видимому не имеющая исключений, — если бы таковые встречались, то вряд ли прошли бы мимо внимания исследователей. Дело в том, что из множества театральных людей — переводчиков, режиссеров, актеров, критиков, — имевших касательство к истории «русского Ростана», решительно никого не интересовал *исторический* Сирано де Бержерак. Никому не приходило в голову почитать его сочинения, поискать биографические сведения о нем; героя пьесы явно воспринимали как сугубо условный персонаж вроде д’Артаньяна (мелькающего в одной из сцен) — у того ведь тоже существовал исторический прототип, только кто же о нем помнит?

Между тем реальный Сирано в отличие от д’Артаньяна был не просто задирой-дуэлистом, но еще и талантливым поэтом, оставившим после себя вполне весомое творческое наследие.

Некоторые его небольшие произведения теперь опубликованы в переводе М. Яснова как приложение к переводу ростановской пьесы, и выглядят они очень впечатляюще — именно потому, что помещены рядом с текстом Ростана. За фигурой «нового», романтического Сирано проступает силуэт «старого», современника Корнеля и Мольера. Читая сатирические послания поэта XVII века, явственно видишь, как драматург XIX века перелагал эти язвительные эпистолы в свои блестящие тирады. В «героической комедии» о Сирано начинает звучать диалог двух реальных творческих людей — Сирано де Бержерака и Эдмона Ростана, диалог двух культур, двух исторических эпох французской словесности. И такой в полном смысле слова филологический, историко-литературный взгляд, заданный академическим типом издания, где положено показывать предысторию «памятника», его источники и т. д., ставит в новые рамки и русский перевод пьесы, диктует переводчице такие задачи, о которых мало задумывались ее предшественники, начиная со Щепкиной-Куперник.

Судя по результату работы Е. Баевской, она сознательно отнеслась к этим задачам, постаравшись воссоздать в переводе — как это делал и сам Ростан в оригинале — не только абстрактно-романтическую атмосферу приключений и подвигов, но и историческую атмосферу «великого столетия», в котором жил реальный Сирано. Начать с того, что она аккуратно сохраняет те не очень-то ясные для нынешнего читателя старинные реалии — имена, названия и т. д., — которые Щепкина-Куперник нередко опускала или же заменяла чем-то условно понятным; переводчица не смущается необходимостью часто комментировать текст (комментарии к книге составлены ею совместно с М. Ясновым), не боится «утяжелять» его темными и громоздкими чужими именами; скажем, в знаменитых стихах Сирано о «гвардейцах-гасконцах» она, согласно оригиналу и вместо ницшеанско-бальмонтовских клише старого перевода («Мы все под полуденным солнцем / И с солнцем в крови рождены...»), твердит, словно заклятие, длинную — на целый стих — и ничего не значащую фамилию гвардейского полковника: «Это славные дети Гаскони / И Карбона Кастель-Жалу!»).

А кроме того, Е. Баевская вводит в текст «Сирано» опознавательные знаки литературы XVII века. Часто это делается вполне обдуманно — скажем, в отношении того же александрийского стиха, нацеленного, как сказано в составительском предисловии, на воссоздание «поэтической традиции эпохи Сирано». Иногда же это происходит как будто инстинктивно, например при переводе афористических формул, столь важных для классического театра: «Все споры разрешать клинком — или стихом!» — краткое резюме всей судьбы Сирано, в переводе Щепкиной-Куперник совсем утраченное, «Кто знает сам, что глуп, тот мыслит очень здраво», «И верит женщина всему, что ей приятно». Последняя формула в оригинале звучит не столь обобщенно и даже ведет речь чуть о другом, но для художественной системы пьесы ее афористическая окраска важнее, чем конкретное содержание. Или еще одна «вольность», работающая на стилистический образ эпохи: слова одного из персонажей пьесы, поэта-кондитера Рагно, которые Щепкина-Куперник передавала близко к оригиналу: «Вернется лиры час; теперь же — час плиты!» — в новом переводе согласованы с нормами классической поэтики, любившей общие, абстрактные термины: «Час творчества истек — пришла пора стряпни». Ненавязчивые «знаки классицизма» служат действенными «знаками XVII века»; и не важно, что в реальности поэзия Сирано де Бержерака относится не к классицизму, а скорее к барокко, с точки зрения переводческой тактики решение выбрано верно, ибо классицизм — единственный театральный стиль того времени, который хоть как-то знаком нашей публике и может быть опознан ею в качестве исторического колорита.

Как известно, трагедии классицизма — жанр чисто словесный, в них на сцене не происходит никаких действий и слабо выражены даже жесты. В «героической комедии» романтика Ростана все иначе; взять хотя бы обширные авторские ремарки, которыми задаются внесловесные (визуальные, слуховые, моторные) аспекты спектакля. И вот именно в характеристике *жестов* новый перевод пьесы иногда бывает неверен оригиналу, причем тут уж не найти никакого намеренного художественного задания. Назову два таких случая, где Е. Баевская, впрочем, лишь повторяет ошибки Т. Щепкиной-Куперник.

Первая ошибка скорее курьезная; речь тут идет о воображаемом жесте, и говорится о нем не в авторской ремарке, а в словах героя пьесы. Прогоняя со сцены скверного актера, Сирано призывает себе на помощь театральную музу: «Я, сударь мой, и впрямь боюсь, как бы она / Не появилась тут, пылая гневом бурным, / И не пустила бы вам в голову котурном!». Муза ведет себя наподобие капризной дамочки, швыряющей туфелькой в физиономию негодного слуги. Но в оригинале сказано иначе: своим котурном муза не «пустила бы в голову» незадачливому комедианту, а «влепила бы ему кое-куда»: и этот эвфемизм «кое-куда» явно

обозначает совсем другую часть тела и другой, более энергичный жест, для которого не нужно разуваться...

Вторая погрешность — тонкая и даже, быть может, спорная; она содержится в знаменитой «балладе о дуэли», которую Сирано импровизирует по ходу своего поединка с виконтом де Вальвером. Вся сцена, вообще говоря, рискованная — ведь, по сути, она представляет собой не что иное, как эстетизацию убийства. Ее не решились, например, буквально воссоздать авторы недавней французской экранизации «Сирано де Бержерака» и поэтому пошли на рассогласование «слова» и «дела», тогда как весь эффект сцены заключается в их совпадении: герой Жерара Депардье на последнем стихе баллады всего лишь обезоруживает и унижает своего противника, а убивает его потом, уже без всяких стихов, в молчаливой дополнительной схватке, затеянной рассвирепевшим виконтом. Та же проблема стояла, конечно, и перед Ростаном, и он постарался смягчить моральную неприемлемость сцены рядом приемов — в частности, финальным *жестом* героя. И Т. Щепкина-Куперник, и Е. Баевская переводят здесь одинаково: «Сирано *раскланивается*». Раскланивается актер, отвечая на аплодисменты публики; и по пьесе зрители в самом деле хлопают, но в оригинале — *позже*. А главное, «раскланиваться» на все стороны, стоя над телом поверженного врага и держа в руке обнаженную и окровавленную шпагу, не очень-то удобно: жест получится неуклюжим и скорее угрожающим, чем благодарным, — «вот я вас всех сейчас!..» Между тем глагол saluer, которым кратко обозначен по-французски этот жест, может быть понят иначе: Сирано *салютует шпагой* — и не всем окружающим, а *своему противнику,* который, если переводить точно, не «падает», а «шатается», то есть мужественно держится на ногах, несмотря на смертельную рану. Вообще-то виконт де Вальвер — дрянной человек, но раз он принял вызов Сирано, тот обращается с ним согласно рыцарской морали: признает его храбрость (в переводе Е. Баевской он говорит об этом прямо в тексте своей баллады, непосредственно во время дуэли) и, даже одержав над ним победу, готов воздать ему честь. Та же этика уважения к смелому будет действовать в пьесе и дальше, когда Сирано станет самоотверженно покровительствовать (разумеется, не только поэтому, но и поэтому тоже) храброму, хоть и недалекому Кристиану, а испанский офицер в бою отдаст честь своим врагам — бесстрашным гасконским гвардейцам. Вот как многое может скрываться в одном жесте — так же как и в одном слове; и филологическая «любовь к слову» должна иметь своим продолжением «любовь к жесту».

Я сознательно хвалю перевод Е. Баевской за «филологичность» (и кое за что критикую его во имя того же критерия): дело в том, что это качество заложено в самой пьесе Ростана, и не только в *авторской* стратегии исторического колорита, но и в поведении *героя* — профессионального литератора, умеющего при случае даже постоять за себя с помощью «ссылки на источник». Сцена, где граф де Гиш презрительно сравнивает его с Дон Кихотом, нападающим на ветряные мельницы, у Т. Щепкиной-Куперник выглядела так: граф намекает «насчет тринадцатой главы» романа, а Сирано, словно экзаменуемый школьник, спешит с ответом: «Глава о мельницах!..» Е. Баевская восстанавливает правильный, авторский порядок референций: граф сам упоминает «главу, где с мельницей сражается бедняга», а уж Сирано, насмешливо кланяясь, уточняет: «Тринадцатая». Именно он здесь — настоящий знаток, именно он помнит точнее всех, в какой главе о чем сказано у Сервантеса, и именно в образованности не в последнюю очередь заключено его превосходство над надменными дилетантами, которым недостает «познаний и ума». Пьесе, где действуют такие культурные люди, как он, и перевод подобает лишь абсолютно культурный.

С. ЗЕНКИН

РОМАН ВОСПИТАНИЯ — 90-е

Frank McCourt. Angela's Ashes. A Memoir of a Childhood. N.Y., HarperCollins Publishers, 1996

Charles Frazier. Cold Mountain. N.Y., Atlantic Monthly Press, 1997

Публикация первой книги — не важно, за тридцать автору или за шестьдесят — событие частной жизни и факт литературной истории. Будучи отмечен Национальной книжной премией (США), дебют обретает дополнительное качество культурного симптома. Вышесказанное объединяет романы Чарльза Фрэзиера «Холодная гора» (1997) и Фрэнка Маккорта «Прах Анжелы. Воспоминания о детстве» (1996). Отметим сразу общность жанровой модели: прозаики, принадлежащие к разным поколениям, с существенно разным социальным опытом (Фрэзиер — коренной южанин, выросший в глубинке штата Северная Каролина, где живет и сейчас с женой и дочерью, занимаясь, помимо литературного труда, разведением лошадей; Маккорт — из семьи иммигрантов-ирландцев, много лет, до выхода на пенсию, преподавал в

общественных школах Нью-Йорка), предлагают каждый свою версию романа воспитания. Обе версии, как уже сказано, замечены и критикой и публикой, что свидетельствует о литературной одаренности авторов и о счастливом совпадении с текущим социально-эстетическим спросом. Относительно последнего мы и попробуем сформулировать свои догадки.

«...Оглядываясь на свое детство, я удивляюсь тому, как вообще выжил. Само собой, это было несчастливое детство, о счастливом не стоило бы рассказывать. Однако с обыкновенными детскими несчастьями ни в какое сравнение не идут несчастья ирландского детства, а несчастное детство ирландца-католика и подавно вне всяких сравнений». Фрэнк Маккорт написал четырехсотстраничную «песню о себе», дань воображения памяти. Зовут повествователя в точности как автора, и свой рассказ он ведет от первой до последней фразы в настоящем времени, хотя в промежутке проходит восемнадцать лет жизни (от двух до двадцати), мальчик превращается в юношу и мужчину. «Воспоминания» как будто и не стремятся стать романом, даже отрекаются демонстративно от этой претензии, погружая читателя в атмосферу неформальной, разговорной, спонтанной речи. Непосредственность детских впечатлений пробивается сквозь толщу позднейшей, подразумеваемой опытности; взгляд ребенка остраняет узнаваемые (на взрослый взгляд) бытовые и психологические ситуации: он простодушно приемлет вопиющее как законную норму и бесконечно удивляется заурядному — например, вкусу супа, налитого из жалости соседкой. Стилизованная наивность текста взаимодействует с грустной (а то и жестокой) ироничностью подтекста, что дает в итоге сложный и оригинальный эффект.

Роман охватывает почти два десятилетия жизни, миграцию из Нового Света в Старый, потом обратно, но при этом ни на миг не утрачивает камерности. Отец и мать — старшие, главные в мире люди, они видимы снизу вверх, малопонятны, но с годами все более предсказуемы. С первой зарплатой отец придет добрый, расскажет героическую сказку о Кухулине. Без второй придет пьяный, среди ночи будет строить малолетних сыновей в шеренгу, учить их достоинству и тому, как славно умереть за свободу Ирландии. Потом работа кончится и начнется кочевье по дешевым барам. Мать (Анжела) — вариант ирландской Катерины Ивановны — будет кашлять, курить, плакать, терпеть, у кого-то что-то выпрашивать, кипятить пустой чай, опять рожать и опять хоронить то дочь, то сына. Спасаясь от «великой депрессии» и безжалостного к слабакам Нью-Йорка (только куда бежать от собственной слабости?), семейство устремится назад, в Лимерик и Дублин, но и там окажется не дома, а в гостях. Всегдашние скудость, теснота, полуголод, авторитаризм веры и неколебимый традиционализм быта, опасливая подозрительность к чужакам — такой предстает Ирландия в глазах «маленького янки», слишком остро ощущающего себя чужим, непохожим. Впрочем, человеческая сердечность, спасительная рука помощи, когда ты уже почти за гранью отчаяния, первая любовь — тоже Ирландия. «Старая родина» отторгает приемыша, но и жалостливо голубит: из спора с самим собой, в подтверждение слов У. Б. Йейтса, рождается поэзия, которой проза Фрэнка Маккорта совсем не чужда.

Семья, остающаяся от начала до конца в фокусе повествования, — это прежде всего узы зависимости, почти невыносимо тесные: отца — от виски, матери — от отца, детей — от них обоих. Это также узы любви. Любовь дает силы сносить и прощать почти бесконечно, но, увы, не облегчает бремени, не отменяет униженности зависимого. Жизнь семейства Маккортов сильно напоминает ад. Жалкие, стыдные, «подостоевски» скандалезные сцены беспросветной нужды множатся от главы к главе. Использование единственной струны на протяжении сотен страниц рискованно, но в итоге все же эстетически успешно: читатель ощутит почти физически горько-сладкий вкус любви к тому, чего нельзя терпеть. Монотонное однообразие ситуаций компенсируется энергией смешливой, бесцеремонной, музыкальной, словно играющей авторской речи.

Перед нами развертываются постепенно две внутренне соотнесенные истории: бессрочного, пожизненного мученичества Анжелы — мир ее праху! — и взросления-преображения Фрэнка. Он обретает с годами то, в чем судьба отказала матери: волю для расставания, решающего шага, возвращения на родину, уже не просто «суженую», но избираемую добровольно. Издалека, в отроческих грезах, Америка-Итака кажется до нелепости идиллической. «О Билли, Билли! — тоскует душа Фрэнка, поймавшего по военной радиосети джаз Билли Холидея. — Я хочу быть в Америке, где ты и эта музыка, где у всех здоровые зубы и на тарелках оставляют еду, где у каждой семьи своя уборная и все живут счастливо и никогда не умирают». Греза тинейджера — предмет иронии, но мягкой, сочувственной: десятилетиям бессмысленных страданий должно же быть противопоставлено нечто пафосное! Такова последняя глава романа, которая вся целиком состоит из трех слов (ответная реплика Фрэнка на восклицание моряка-ирландца — их разговор про-

исходит на палубе, в виду американского берега — в конце главы предыдущей, то есть предпоследней: «Вот это ночь, Фрэнк, Бог мой! Разве это не великая страна?»): «Так и есть!» Финал получается едва ли не бравурный: американо-ирландский Одиссей возвращается в дом свободы и открытых жизненных возможностей.

Роман «Холодная гора» вызвал у американского интеллигентного читателя дружный прилив нежности. На протяжении ряда месяцев он не только фигурировал в национальном списке бестселлеров, но и возглавлял его. Роман и правда очарователен: сюжет прозрачен, но полон интригующих неожиданностей и цепко держит внимание от первой до последней страницы. Фрэзиер — прирожденный рассказчик (в Америке считается, впрочем, что таковы все южане); он мастерски вплетает в нить повествования и поэтическую индейскую легенду, и гротескный анекдот, и медитацию по поводу смысла жизни, и пристальную мелочность натуралистического письма.

И эта книга — о прошлом, живущем, правда, не в индивидуальной памяти, как в «воспоминаниях» Фрэнка Маккорта, а в исторической хронике, семейном и местном предании. Им роман и обязан своим рождением. Кончается Гражданская война между Севером и Югом, но и заканчиваясь, продолжает по инерции требовать жертв. У. П. Инмен (историческое лицо или, во всяком случае, носитель реального исторического имени), доброволец в армии Конфедератов, чудом выжил после смертельного ранения и таким образом временно спасся от войны, по крайней мере физически. Сюрреалистические картины то одного, то другого боя преследуют его в воспоминаниях, их неизменной кульминацией оказывается ночной кошмар: «Потом в его сне проблескивал рассвет, и кровавые куски человеческой плоти — руки, ноги, головы, туловища — неспешно соединялись, образуя несуразные, чудовищные тела. Нетвердо держась на ногах, они хромали, ковыляли, кружили вслепую в темноте по полю боя. Сталкивались и падали, нелепо тычась друг в друга окровавленными головами. Махали в воздухе руками, из которых ни одна не подходила другой под пару. Иные выговаривали имена своих женщин. Иные напевали куплет, все один и тот же. Прочие стояли в сторонке, пялились в ночь и отчаянно выкликали каждый свою собаку». Инмен, подобно хемингуэевскому лейтенанту Генри, решает заключить сепаратный мир и бежит из госпиталя домой — в глухую горную местность на западе штата Северная Каролина. Это долгий и мучительно непрямой, поскольку опасный для дезертира, путь, на котором Инмену встречаются разные люди, по большей части такие же одинокие и растерянные, как он сам. Его то спасают, то предают, дважды расстреливают, однажды хоронят заживо. Жить или умереть, дойти или сгинуть безвестно — решает случай. С этим приходится мириться, хотя обитать в скорлупе безнадежности скучно и тошно. «Он так привык видеть смерть, бродить среди мертвых, спать среди них и хладнокровно числить самого себя полумертвым, что это состояние уже не представлялось ему ни мрачным, ни таинственным».

В ранце Инмена болтается единственная книжка, случайно где-то подобранная, давно лишившаяся обложки и читаемая выборочно, наугад с любого места, «где откроется». Это «Путешествия» натуралиста Уильяма Бартрама, который изучал Каролину сотней лет раньше и заслужил у индейцев чероки имя Собиратель Цветов. Описания местной природы, составленные Бартрамом, герой читает понемногу и медленно, «чтобы каждое слово оседало в голове своей особой весомостью». Для Инмена это, по сути, процедура самовоспитательная. Именно так, по складам, он учится читать текст собственной жизни. Бережное вглядывание, запечатление подробностей ландшафта и причудливой взаимосвязанности природных явлений, называние по имени всякого дерева, куста, цветка или птицы — это, возможно, и есть должное отношение к окружающему миру, обещание, если не гарантия, возрождения. Еще один Одиссей возвращается с войны домой.

Дома, у подножия Холодной горы, Инмена ждет Пенелопа-Ада. В довоенной, прошлой жизни — неуместно образованная горожанка, дочка приезжего проповедника-вольнодумца, поклонника философии Эмерсона, она к концу войны остается сиротой, одна в пустом доме, без защиты, слуг и денег, без спасительных навыков выживания. Их, впрочем, она успешно осваивает. В несколько месяцев (август — ноябрь 1864 года) для обоих героев романа вмещается целая жизнь. Для Инмена это время блужданий между госпиталем и домом, усилий освоить заново или впервые искусство жизни; для Ады — время стремительного взросления, становления в качестве подлинной хозяйки дома (вместе с подругой Руби, такой же неприкаянной, но отнюдь не беспомощной молодой женщиной, они восстанавливают пришедшее в упадок хозяйство, проникаясь новым для себя сознанием независимости и силы). Динамика «love story», влекущая влюбленных друг к другу и к точке возможного нового начала, — бесхитростное, но и безотказное средство создания сюжетного напряжения. Встреча все ближе, почти возможна, уже произошла... и — нелепой случайностью обращена в разлуку навек.

У Хемингуэя последними жертвами войны оказываются Кэтрин и ребенок, у Фрэзиера все происходит (явно не случайным образом) точно наоборот. Эпилог (десять лет спустя) рисует идиллическую картинку: две сильные женщины, Ада и Руби, согласно и споро заправляют домом, где счастливо живут девятилетняя дочь Ады, нашедшийся отец, муж и сыновья Руби. В заключающей роман сцене Ада читает детям на сон грядущий историю Бавкиды и Филемона (в такой, опять-таки не случайной, последовательности). Мы — в царстве Пенелопы, научившейся, между прочим, пахать, сеять и охотиться, освободившейся от робкой зависимости и иных комплексов женской неполноценности.

Мудрость Пенелопы предполагает отказ от восприятия жизни сквозь призму умозрения и авторитетных абстракций вроде тех, которые отец Ады преподавал ей по непонятной книге («Роза, ее шипы и цветы — эмблема трудного и опасного пути духовного возрождения... Ворона, ее чернота, разбойная натура, склонность питаться падалью — эмблема темных сил, которые подстерегают человеческую душу»). Стремлению к идеально-недосягаемому Пенелопа склонна сочувствовать, но не склонна доверять, предпочитая движение, направленное, наоборот, «от общего к частностям»: «Любую из них называть по имени. Чтобы прожить жизнь сполна — приглядываться к мелочам, все ближе и ближе». Холодная гора — место встречи природы и мифа, любви и смерти (но притом и вполне конкретное *место*, с дотошно выписанной, подлинной топографией) — символ трансценденции, единственно доступной человеку. Другое ее проявление — музыка, не важно, рождается ли она под пальцами пианиста-виртуоза или в импровизациях малограмотного скрипача (отца Руби): «Музыка говорила, что в мире возможен порядок, что жизнь необязательно запутана и бесцельна, что она имеет форму и смысл. Она являла мощный аргумент против расхожего мнения, что все происходит просто так — поскольку происходит».

Как не вспомнить в связи с этим еще раз финал хемингуэевского романа, где лейтенант Генри сравнивает людей с муравьями, теснящимися на коряге посреди полыхающего костра, — «в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют». Моменты сходной отчаянной потерянности переживают и герои Фрэзиера, а бодрость черпают в другой аналогии: то одному (одной), то другому приходит на первый взгляд странная мысль о том, что жизненный «метод» и манера поведения вороны заслуживают со стороны «царя природы» по меньшей мере внимания, а возможно и подражания. Почему? Потому хотя бы, что ворона всегда вольна улететь от гнетуще-страшного или посмеяться над ним; она неприхотлива и небрезглива, с удовольствием ест что попадется, сообразительна и не прочь пошутить, торжествуя тем самым над меланхолией и желчностью, которых видимый знак — черное оперенье. Да здравствует «гений вороны»! — восклицает Руби: мудрость выживания, чуждая гордыни, исполненная скромности, бодрости и любопытства.

Подытоживая наблюдения над двумя новейшими версиями романа воспитания, можно, пожалуй, констатировать вот что. Существо изображаемого автором (тем и другим) воспитательного процесса точно схватывается модным в американском культурном обиходе словечком «self-empowerment»: буквально, «наделение себя силой», освоение навыка властвовать собой. Им предполагаются самодостаточность и «жизнецепкость», нежелание у чего-либо сверхличного пребывать в залоге; всегдашняя готовность дистанцироваться от социальной истории посредством иронии (или иной формы вороньего «улета»); заведомое недоверие к героическим вымыслам à la Кухулин (или как у славного генерала Ли с его напыщенным аристократизмом); ставка на конкретные, наипростейшие практики выживания, усвоенные по наследству или интуитивно. Много это или мало? Во всяком случае, актуально, чему свидетельством — успех рецензируемых книг у американского читателя.

На основании двух удачных дебютов можно попробовать — опять же чисто гипотетически — вывести и действующую (сегодня в Америке) «формулу» литературного успеха. Во-первых, и разумеется, индивидуальный голос, полнота владения им, готовность читателя принять (с наслаждением!) предложенный ритм повествования: «по-детски» неровный, как бы танцующий (у Маккорта) или церемонно, дразняще замедленный (у Фрэзиера). Во-вторых, желательны чувства добрые, приправленные самоиронией, чтобы отбить, но не убить вкус сентимента. В-третьих, точная доза политической корректности и социального оптимизма. Этакий порыв на родину духа, где история заканчивается, а воцаряются женское равноправие, здоровый прагматизм и доверие к себе. Ни в коем случае не «мыло» — только легкий, приятный аромат.

Т. ВЕНЕДИКТОВА

■

У книжной витрины

ФИЛИП РОТ

Я вышла замуж за коммуниста

Philip Roth. I Married a Communist

Houghton Mifflin Company, 1998

В новой, 23-й по счету, книге известного американского писателя Филипа Рота читатели вновь встретятся с его постоянным героем — Натаном Цукерманом. Два умудренных опытом человека — сам Цукерман и его престарелый учитель Мюррей — рассказывают печальную историю «сердитого еврея» Айры, неистового младшего брата Мюррея, и его жены Евы. Их жизненная драма разыгралась в США в начале 50-х. Это время называли «годами, когда американский народ впервые научился отступать перед жестокостью и обманом». Рот показывает, как личная жизнь Айры, «маленького американского Сталина», превращается в пародийную иллюстрацию к марксистской теории. Критики оценили книгу как мастерски написанный, волнующий, порой «дискомфортный» роман, где соседствуют нежность и жестокость, проницательность и насмешка.

ДЖОН ФАУЛЗ

Червоточины: эссе и случайные записи

John Fowles. Wormholes: Essays and Occasional Writings

Henry Holt & Co., 1998

Этот сборник знаменитого английского писателя охватывает 30 лет его жизни, с 1967 по 1997 год. На страницах книги представлено творчество Фаулза во многих литературных жанрах: автобиографические заметки, интервью, юношеские дневники, впечатления об экранизации «Женщины французского лейтенанта», размышления о Кафке, Конан Дойле, Харди, Голдинге. «В этой книге мы находим все те же разнообразие, изощренную эрудицию, определенность суждений и колдовскую прелесть, что и в художественных произведениях Фаулза. Местами она столь же виртуозно написана» — так отзываются о ней рецензенты, отмечая также, что главным лейтмотивом сборника стали свобода и индивидуальность. Оценки Фаулза часто парадоксальны, и как объясняет сам писатель, называя книгу «Червоточины», он имел в виду воображаемые «ходы», позволяющие мгновенно перемещаться из одной отдаленной точки пространства-времени в другую.

ДУГЛАС КОУПЛЕНД

Подруга в коме

Douglas Coupland. Girlfriend in a Coma

Regan Books/HarperCollins Publishers, 1998

Новый роман канадского писателя Дугласа Коупленда, автора знаменитого «Поколения Икс»[1], критика приняла довольно сдержанно, сравнив манеру его письма с усилиями человека, который пользуется вместо отвертки ножом для масла — «впечатление удручающей неуклюжести». И все же небезынтересно заметить, что Коупленд вновь пишет о возрастной группе, к которой принадлежали персонажи «Поколения Икс». Автор прослеживает судьбу шестерых друзей из Ванкувера с 1979 по 1997 год. Финалом повествования становится таинственная эпидемия, уничтожающая все население Земли. Единственные уцелевшие — все та же шестерка главных героев — воспринимают катастрофу примерно так же, как и все остальные события своей жизни, то есть с полным равнодушием.

ДЖОН УАЙС ДЖЕКСОН, ПИТЕР КОСТЕЛЛО

Джон Станислаус Джойс: Грандиозная жизнь и таланты отца Джеймса Джойса

John Wyse Jackson, Peter Costello. John Stanislaus Joyce: The Voluminous Life and Genius of James Joyce's Father

St.Martin's Press, 1998

В рецензии на эту книгу обозреватель «Нью-Йорк таймс бук ревью» особо отметил, что проблема отношений между отцами и сыновь-

[1] См. «ИЛ», 1998, №3.

ями является ключевым мотивом для культуры ирландского литературного Возрождения. Широко известно, что Джойс писал Леопольда Блума — героя «Улисса» — со своего отца, известного на весь Дублин «артиста от бухгалтерии», спортсмена, политика, певца, пьяницы и острослова. Тем не менее материалов, по которым можно было бы восстановить подлинный облик и биографию Джона Станислауса Джойса, до нас дошло крайне мало. И все же авторы книги — крупные специалисты по творчеству Джойса — осмелились взяться за эту трудную задачу и, по мнению прессы, сделали все, что могли. Их труд стал настоящим кладезем информации, фактов и легенд о Дублине времен молодости Джойса. Но прежде всего это беспристрастное повествование об ужасной жизни семьи будущего писателя, где царил отец, «на улице — ангел, дома — чудовище», о печальной деградации безусловно яркого и талантливого человека.

ЧЕСЛАВ МИЛОШ
Песик у дороги
Czesław Miłosz. Piesek przydrożny
Wydawnictwo Znak, 1998

«Песик у дороги» (книга, получившая престижную литературную премию «Нике» за 1998 г.) — своего рода интеллектуальный дневник (жанр весьма популярный в польской литературе XX века). Новые стихи и подобные развернутым афоризмам короткие рефлексии (теологические мини-трактаты, размышления о жизни и творчестве, о парадоксах польской ментальности, о превратностях XX века и сознании живущего в нем человека, о языке и литературе и пр.) объединены интонацией, пристальным вниманием к детали, аллюзиями, неожиданно расширяющими горизонт повествования до глобальных масштабов.

ЧЕСЛАВ МИЛОШ
Азбука Милоша
Czesław Miłosz. Abecadło Miłosza
Wydawnictwo Literackie, 1997

ЧЕСЛАВ МИЛОШ.
Другая азбука
Czesław Miłosz. Inne abecadło
Wydawnictwo Literackie, 1998

Заглавия двух новых книг Милоша, сразу привлекших к себе внимание критики, заставляют вспомнить «Алфавит воспоминаний» А. Слонимского и «Азбуку Киселя» С. Киселевского. Сам же нобелевский лауреат назвал свои «Азбуки» книгами «вместо...» — «вместо романа, вместо эссе о XX веке, вместо дневника». Это складывающиеся в единую «азбуку мудрости» отрывочные (какими они обычно и являются нам) воспоминания и размышления. Здесь знаменитые писатели — и фигуры совсем неизвестные, но значимые для самого Милоша. Американская поэзия — и американская виза. Русский язык — и автомобиль. Шопенгауэр — и алкоголь. Общежитие в Вильно — и Америка. Ненависть — и барокко...

МАЙКЛ КАННИНГЕМ
Часы
Michael Cunningham. The Hours
Farrar, Straus & Giroux, 1998

Книга американского писателя Майкла Каннингема, по сути, представляет собой цикл из трех новелл, в той или иной степени связанных с Вирджинией Вулф и ее романом «Миссис Дэллоуэй» (кстати, первоначально писательница предполагала назвать его именно «Часы»). По словам критиков, книга держит читателя в напряжении с первых же страниц пролога, где автор описывает самоубийство писательницы. Героиня первой новеллы — сама Вулф, долго и трудно работающая над началом «Миссис Дэллоуэй». Вторая героиня — американка, читающая этот роман в 1949 году, — пытается вырваться из удушливой атмосферы семейной жизни. И наконец в третьей новелле мы знакомимся с нашей современницей по прозвищу «Миссис Дэллоуэй», которая устраивает вечеринку для своего умирающего друга-гомосексуалиста. Обозреватели особо отмечают, что в финале Каннингем виртуозно сплетает сюжеты всех трех новелл, соединяя своих героинь в самых невероятных ситуациях.

ФИНТАН О'ТУЛ
Поцелуй предателя: жизнь Ричарда Бринсли Шеридана, 1751—1816
Fintan O'Toole. A Traitor's Kiss: The Life of Richard Brinsley Sheridan, 1751—1816
Farrar, Strauss & Giroux, 1998

В новой биографии Шеридана, написанной театральным обозревателем газеты «Нью-Йорк дейли ньюс», речь идет не только о творчестве, но и о политических взглядах драматурга. По мнению автора, Шеридану в большей степени, чем кому-либо ранее, удалось «сгладить грани между сценой и жизнью, между театром и по-

литикой». О'Тул утверждает, что основной целью Шеридана была парламентская карьера и он рассматривал свою литературную славу лишь как средство для завоевания политической популярности. Особое внимание автор книги уделяет ирландским корням драматурга: несмотря на то что Шеридан рано покинул родину и до конца жизни вращался в самых высоких кругах английского общества, его культурные взгляды сформировались именно в Ирландии, и в его творчестве чувствуется влияние Свифта, бывшего близким другом отца Шеридана.

УИЛЬЯМ Х. ПРИЧАРД

Разговор с Эмили Дикинсон и другие

эссе

William H. Pritchard. Talking Back to Emily Dickinson and Other Essays

University of Massachusetts, 1998

Сборник из 27 эссе, посвященных проблемам английской и американской литературы от Шекспира до наших дней. Работу Причарда, профессора литературы в университете Амхерст и специалиста по творчеству Роберта Фроста, отличает особое внимание к личности автора литературных произведений. В своих эссе, большая часть из которых ранее была опубликована в журнале «Гудзон ревью», Причард выступает не столько как критик, претендующий на неоспоримую правоту своих суждений, сколько как заинтересованный и эрудированный читатель. Среди героев его очерков — Шекспир, Блейк, сестры Бронте, Генри Джеймс, Кингсли Эмис, Норман Мейлер и другие.

АНРИ ТРУАЙЯ

Грозные царицы

Henri Troyat. Terribles tsarines

Editions Bernard Grasset, 1998

Очередное историческое исследование известного романиста и биографа русского происхождения Анри Труайя посвящено эпохе «женской» власти в России. Героинями книги стали три императрицы и одна регентша: Екатерина I, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна и Елизавета. При всей несхожести судеб и характеров этих дам объединяло одно — всеми ими управляли не разумные идеи, а чувства и капризы. Труайя подробно исследует влияние сложных характеров коронованных сумасбродок на судьбу страны. Не превратилась ли Россия в Империю женщин? В 1761 году Елизавета Петровна назвала своим преемником на российском престоле мужчину, Петра III. Однако продолжение истории общеизвестно: сместив супруга, на трон взошла Екатерина II...

■

■ ГЕРМАНИЯ

МУЗЕЙ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА

В берлинском доме-музее Бертольта Брехта отметили 100-летие писателя и 50-летие его возвращения в родную страну после пятнадцати лет изгнания. По приезде в Берлин Брехт переменил несколько квартир и в 1953 году окончательно обосновался в трехэтажном доме прошлого века на Шоссештрассе. В этом доме и прошли последние годы его жизни. Высокие окна кабинета выходили на французское кладбище, и писатель, сидя за письменным столом, часто любовался красивыми памятниками и старыми деревьями. В доме на Шоссештрассе часто собирались друзья, там проходили оживленные вечера и дискуссии по литературе и искусству. На первом этаже расположены общие комнаты и кухня с прекрасной коллекцией майсенского фарфора, собранной женой Брехта Еленой Вайгель. Кабинет, библиотека и комната писателя на втором этаже сохранены в том же виде, какими они были при его жизни. Эти комнаты поражают своей спартанской простотой. Все кресла и диваны стоят довольно далеко друг от друга: писатель говорил, что людям, собравшимся вместе, легче думается, если они не сидят слишком тесно. На книгах можно увидеть пометки, сделанные его рукой, со стен на посетителей смотрят маски, единственное, что Брехт возил за собой из страны в страну во время своих скитаний. В доме, принадлежащем сегодня Берлину, хранится архив Бертольта Брехта, собранный Еленой Вайгель, там же располагаются культурный центр, кафе и ресторан.

В библиотеке Брехта

■ МЕКСИКА

СМЕРТЬ ПАТРИАРХА

В возрасте 100 лет умер поэт Херман Лист Арсубиде, один из самых колоритных общественных и культурных деятелей Латинской Америки. С юных лет он включился в политическую борьбу и активно поддерживал первого послереволюционного президента Мексики Венустиано Каррансу. Арсубиде стал основателем поэтической школы *эстридентизмо*, стремившейся передать в стихах всю энергию, надежду и хаос революции. В чем-то это течение было сродни европейскому сюрреализму того же периода.

Когда революционные бури стали стихать, Лист Арсубиде переключился на профсоюзную деятельность. Он прославился своими страстными, патетическими речами в защиту рабочего класса. В 1929 году лидер никарагуанского партизанского движения Аугусто Сандино обратился к поэту с просьбой отвезти американский флаг, захваченный им в ходе сражений, на Международный антиимпериалистический конгресс во Франкфурт. Арсубиде не только выполнил эту просьбу, но на пути в Европу провел несколько демонстраций в США. Во Франкфурте он выступал на конгрессе вместе с Анри Барбюсом, вдовой Сунь Ятсена и будущим премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру.

Лист Арсубиде оставил после себя более 30 сборников стихов, пьес, рассказов и эссе. Он основал несколько серьезных литературных журналов и сотрудничал практически со всеми основными газетами Мексики. В конце жизни он сокрушался, наблюдая, как под грузом коррупции, оппортунизма и консерватизма рушатся все идеалы его революционной молодости.

■ США

КТО ЧИТАЛ «УЛИССА»?

В 1998 году совет директоров издательской серии «Модерн лайбрери» признал роман Джеймса Джойса «Улисс» лучшим романом XX века, написанным на английском языке. Недавно в Нью-Йорке состоялся оригинальный аукцион именных экземпляров первого издания «Улисса». Выставка, предшествовавшая аукциону, дала основание обозревателям назвать это произведение лучшим *непрочитанным* романом XX века. Некоторые из представленных 24 экземпляров книги вообще никогда не раскрывали. Экспонат №1 — книга, подарен-

ная автором Элеаноре Бич, матери владельца парижского книжного магазина «Шекспир и компания» и первого издателя романа. Как гласит аннотация в каталоге выставки, «книгу не открывали далее 117-й страницы». Больше терпения проявила Эдит Рокфеллер — ее хватило на то, чтобы дочитать роман до 386-й страницы. Зато Маргарет Андерсон, редактор журнала «Литл ревью», где впервые были напечатаны отрывки из «Улисса», свой экземпляр так и не раскрыла. Выставленные книги стоили в свое время от 14 до 30 долларов, сейчас их цена колеблется от 200 до 50 000 долларов. Главную ценность представляют автографы Джойса, который дарил роман друзьям и знакомым, оказавшим ему поддержку. Эти автографы крайне лаконичны — имя счастливца, дата и место вручения книги. Самые многословные посвящения адресованы коллегам-писателям, и с ними часто связаны забавные истории. В 1928 году на званом обеде в Нью-Йорке Дж. Джойс встретил Ф. Скотта Фицджеральда, который заявил, что готов выпрыгнуть из окна четвертого этажа в знак восхищения перед талантом Джойса. «Примите эту книгу и портрет автора в юности в знак признательности от благодарного, но самого малодушного гостя на этом вечере», — гласит дарственная надпись. На книге, подаренной ирландскому поэту Джеймсу Стивенсу, Джойс написал «От коллеги-близнеца и почитателя». Из пояснений в каталоге явствует, что Джойс на самом деле невысоко ценил творчество Стивенса, но случайно услышал от кого-то, что оба они родились в один и тот же день — 2 февраля 1882 года. Это сразу изменило его отношение, он стал считать Стивенса своим литературным двойником и даже потенциальным продолжателем «Поминок по Финнегану». Самое интересное, что Стивенс вовсе не был абсолютным ровесником Джойса. Незаконнорожденный, выросший в приютах, он сам точно не знал даты своего появления на свет. Тем не менее он не пытался разубедить Джойса и принял его подарок как должное. Извинить поэта может лишь одно — его книга оказалась единственной прочитанной до конца.

■ ФРАНЦИЯ

САМЫЙ МОЛОДОЙ АКАДЕМИК

Французская академия поставила своеобразный рекорд. В число «бессмертных» вошел 55-летний Жан-Мари Руар, писатель, правнук Поля Валери. Он стал самым молодым среди своих собратьев — средний возраст французских академиков составляет примерно 80 лет. Жан-Мари Руар известен во Франции не только своими литературными трудами, он активно участвует в общественной и политической жизни страны. В 1994 году он возглавил движение в защиту марокканца Омара Раддада, ставшего жертвой ложного обвинения в убийстве. Недавно суд вынес оправдательный приговор Раддаду. Руар многие годы сотрудничал с газетой «Котидьен де Пари», затем был главным редактором литературного приложения к «Фигаро». В связи с избранием Руара французская пресса высказывает надежду, что его молодость и полемический задор несколько освежат застоявшуюся атмосферу Академии.

Жан-Мари Руар на 10 лет моложе самого младшего из «бессмертных»

ФРАНСУАЗА САГАН ВСПОМИНАЕТ...

В издательстве «Плон» вышла книга Франсуазы Саган «Оглядываясь назад». На сей раз знаменитая писательница представила на суд читателей не новый роман или пьесу, а своеобразные мемуары. Книгу Саган трудно назвать автобиографией в полном смысле этого слова — скорее это обрывочные воспоминания о детстве и юности, о родственниках и друзьях, о творчестве и связанных с ним проблемах. Писательница заново перечитывает свои книги и рассказывает, какой она была в пору их создания. Она смеется над своими причудами и выходками, умиляется своей юношеской наивности, хвалит и ругает себя одновременно. Саган пишет обо всем подряд: о дедушке, выбравшем себе стул в гостиной и опутавшем его сложной системой цепочек и засовов, чтобы никто другой не посмел садиться, о резком падении тиражей своих книг с двух миллионов до ста пятидесяти тысяч экземпляров, о встречах с Миттераном (основной чертой его характера Саган считает «непостоянство, доходящее до верности»), Сартром, Джо Дассеном, о книгах Джейн Остин, о своих проблемах с пунктуацией, о своих ошибках и победах. Можно сказать, что в этой книге писательница выступает одновременно в роли собственного обвинителя и адвоката и позволяет увидеть себя такой, какая она есть на самом деле. Конечно, пишет она и о своем творчестве. «Я проснусь однажды утром, в ссоре с теми, кого люблю, и не в ладах сама с собой, но с чувством облегчения и освобождения, как будто из моей крови ушло нечто, засорявшее ее. Никакие прелести безделья не могут сравниться с этим бесценным подарком, с этим неизменным призванием, с этим постоянно зовущим желанием и с вытекающей из него свободой — с наслаждением, которое я испытываю, когда пишу».

ПИСАТЕЛЬ И МАТЬ

Французский журнал «Лир» опубликовал интересную подборку материалов о роли матерей в творчестве сыновей-писателей. По мнению психоаналитика Ж. Б. Понталиса, все писатели так или иначе стремятся вести в своих книгах диалог с собственной матерью, спорить с ней, доказывать ей свою любовь или мстить за детские обиды. Тень матери — доброй феи или домашнего тирана, полуграмотной крестьянки или суетной мещанки — всегда витает над творчеством сына. В любом случае не подлежит сомнению заслуга матерей в том, что их сыновья стали писателями: одни, чтобы не обмануть их ожидания, другие — действуя наперекор их воле. Многие писатели до конца дней своих так и остались в душе маленькими мальчиками, стремившимися найти защиту и опору в женщине, подарившей им жизнь. Последним словом умиравшего 88-летнего Анатоля Франса было «Мама!». Исследователи отмечают, что в детстве многие писатели чувствовали себя обделенными материнской любовью и заброшенными. Жюль Валлес и Бальзак писали, что не помнят ласки и заботы — в их памяти сохранилась только порка. Жюль Ренар страдал от язвительных замечаний и насмешек матери. Маленькие Сартр и Арагон считали матерей старшими сестрами — таким образом в семьях скрывали позор незаконного рождения будущих гениев. Открытие истины спустя много лет нанесло незаживающие раны детским душам. Для многих писателей стала трагедией ранняя потеря матери, по-разному повлиявшая на их жизнь и творчество. Маленький Стендаль настолько обожал и идеализировал мать, умершую, когда ему было всего семь лет, что на долю отца достались лишь ревность и ненависть. Неудивительно, что писатель сделал своих любимых героев — Жюльена Сореля и Фабрицио дель Донго — сыновьями несчастных в замужестве женщин, рожденными от достойных любовников. Сесиль, мать Жоржа Перека, бесследно пропала в 1943 году во время массовой облавы в оккупированном Париже. Будущему писателю было тогда шесть лет, и ему не рассказывали деталей этой трагедии. Но не случайно один из романов Перека носит название «Исчезновение», а одним из самых трогательных образов в его творчестве стала Селия, мать мальчика, родившегося в 1936 году. Впрочем, нельзя утверждать, что несчастное детство — обязательное условие развития таланта. Камю, по мнению Понталиса, начал писать, чтобы выразить в своих книгах мысли и чувства своей полунищей, неграмотной и глухой матери. Великий Флобер обожал мать и посвятил ей возвышенные строки. Тысячи страниц были написаны об удивительных отношениях Марселя Пруста и его матери. Кроме того, французская литература знает и один пример прямо противоположной зависимости: мадам де Севинье стала писательницей потому, что обожала свою дочь...

По материалам еженедельника «Гардиан уикли» (Великобритания), журналов «Нью-Йоркер» (США), «Алло!», «Кензен литтерер», «Лир», «Магазин литтерер» (Франция)

КНИГИ, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк таймс» (США). Февраль 1999 г.

1. **Patricia Cornwell.** SOUTHERN CROSS.
2. **Dean Koontz.** SEIZE THE NIGHT.
3. **W.E.B.Griffin.** IN DANGER'S PATH.
4. **Tom Wolfe.** A MAN IN FULL.
5. **Jonathan Kellerman**. BILLY STRAIGHT.
6. **Lilian Jackson Braun.** A CAT WHO SAW STARS.
7. **Barbara Kingsolver.** THE POISONWOOD BIBLE.
8. **J.K.Rowling.** HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE.
9. **Michael Connelly.** ANGELS FLIGHT.
10. **James Patterson.** WHEN THE WIND BLOWS.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ИВАН КЛИМА (IVAN KLIMA; род. в 1931 г.) — чешский прозаик, драматург, эссеист, публицист. Автор романов «Любовники на одну ночь» («Milenci na jeden noc», Praha, 1964), «Любовное лето» («Milostné leto», Toronto, 1979), «Любовники на один день» («Milenci na jeden den», London, 1985), «Судья из милости» («Soudce z milosti», London, 1986), «Любовь и мусор» («Láska asmeti, London, 1988), пьес «Кондитерская Мириам» («Cukrárna Miriam»), «Министр и ангел» («Ministr i anděl»), «Номер на двоих» («Pokoj pro dva»), «Жених для Марцеллы» («Zenich pro Marcelu»). Рассказы И. Климы печатались в «ИЛ» (1993, № 4).

Публикуемые рассказы взяты из сборников «Мои первые влюбленности» («Moje první lásky», Praha, Mlada fronta, 1990) и «Остров мертвых королей» («Ostrov mrtvých králů», Praha, Rozmluvy, 1992).

ДЕСМОНД ИГАН (DESMOND EGAN; род. в 1936 г.) — ирландский поэт, эссеист, переводчик. Лауреат премии Американской поэтической ассоциации, автор тринадцати книг стихов, в том числе «Вдали от моря» («Midland», 1972), «Листва» («Leaves», 1974), «Атлон?» («Athlone?», 1980), «Песнь для моего отца» («A Song For My Father», 1989), книги эссе «Смерть метафоры» («The Death of Metaphor», 1990). Печатался в «ИЛ» (1995, № 2).

Публикуемые стихи взяты из книг «Холокост осени» («In the Holocaust of Autumn». Newbridge, The Goldsmith Press, 1994). «Собрание стихотворений» («Collected Poems». University of Maine Press, 1983), «Элегии» («Elegies». Newbridge, The Goldsmith Press, 1996).

РЕНЕ КЛЕР (RENÉ CLAIR; 1898—1981) — режиссер, классик французского кино. Первая работа Р. Клера — фильм «Париж уснул» (1923), где он был автором сценария. Наиболее известная картина немого периода — «Соломенная шляпка» (1927), звукового — «Под крышами Парижа» (1930), «Последний миллиардер» (1934; премия Московского кинофестиваля, 1935); им сняты также комедия «Я женился на ведьме» (1942, в Голливуде), «Красота дьявола» (1949), «Большие маневры» (1955), «Все золото мира» (1961), «Галантные празднества» (1965; в русском прокате «Праздники любви») и другие.

Повесть Рене Клера «Китайская принцесса» была издана во Франции в 1951 году («La princesse de Chine». Paris, Éditions Bernard Grasset).

ХУЛИО КОРТАСАР (JULIO CORTÁZAR; 1914—1984) — аргентинский писатель. Автор сборников рассказов «Зверинец» («Bestiario», 1951), «Конец игры» («Final del juego», 1956), «Секретное оружие» («Las armas secretas», 1959), «Истории о хронопах и фамах» («Historias de cronopios y de famas», 1962), «Восьмигранник» («Octaedro», 1974) и др.; романов «Выигрыши» («Los premios», 1960), «Игра в классики» («Rayuela», 1963), «62. Модель для сборки» («62. Modelo para armar», 1968) и др. Многие произведения Х. Кортасара переводились на русский язык; наиболее полно его творчество представлено в Собрании сочинений (СПб, 1992). В «ИЛ» печатались рассказы (1970, № 1; 1978, № 9; 1982, № 5; 1993, № 3), роман «Книга Мануэля» («Libro de Manuel», 1994, № 3).

Публикуемое эссе «Жизнь Эдгара Аллана По» («Vida de Edgar Allan Poe») написано Хулио Кортасаром как предисловие к аргентинскому изданию сочинений Эдгара По (Buenos Aires, 1956).

ЭДГАР АЛЛАН ПО (EDGAR ALLAN POE; 1809—1849) — американский поэт, новеллист, критик. Произведения Эдгара По неоднократно переводились на русский язык, они представлены в Полном собрании сочинений (кн. 1-12, СПб, 1914), Полном собрании рассказов (М., 1970), Избранных произведениях (т.1-2, М., 1972), сборнике «Лирика» (Л., 1976).

Публикуемые заметки Эдгара По «Из «Марginалий» взяты из сборника «Эссе и обозрения» (Edgar Allan Poe. «Essays and Reviews». New York, The Library of America, 1984).

НЕСТЕРОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ (род. в 1966 г.) — переводчик с английского и норвежского языков. В его переводе публиковались произведения Эзры Паунда, Джона Донна, Артура Макена, Алана А. Милна, Терри Прэтчета и др., стихи Уолтера Рэли, Лоуренса Ферлингетти, Стейна Мерена.

ТОМАС ЭДВАРД ЛОУРЕНС (THOMAS EDWARD LAWRENCE; 1888—1935) — английский писатель, ученый-медиевист, археолог; в годы первой мировой войны в качестве британского военного советника участвовал в боевых действиях на арабских территориях. Воспоминания об этих событиях вошли в книгу «Семь столпов мудрости» («The Seven Pillars of Wisdom», 1926; рус. перевод фрагментов книги — в журнале «Дружба народов», 1998, №7,8), параллельно была опубли-

кована сокращенная версия мемуаров «Мятеж в пустыне» («Revolt in Desert», 1927). Автор романа «Орлянка» («The Mint», опубл. в 1955). Переводчик «Одиссеи» Гомера на английский язык.
Эссе «Перемены на Востоке» («The Changing East») печатается по изданию: T. E. Lawrence. London, Oriental Assembly, 1939.

КОРМИЛЬЦЕВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ (род. в 1959 г.) — поэт, переводчик с английского и итальянского языков. В его переводе публиковалась «малая проза» Дж. Р. Р. Толкиена: «Кузнец из Большого Вуттона», «Фермер Джайлс из Хэма», «Явление Туора в Гондолин», «Турин и дети Хурина», а также рассказы Р. Дала, Ф. Макдональда, Дж. Балларда и др. В «ИЛ» в его переводе напечатаны роман «Пока мы лиц не обрели» Клайва Ст. Льюиса (1997, № 1), повесть «Садовник» Ежи Косинского (1997, № 10), рассказ Ирвина Уэлша «Вечеринка что надо» (1998, № 4), а также статья «Поколение Икс: последнее поколение?» (1998, № 3).

ЕЖИ КОСИНСКИЙ (JERZY KOSINSKI; 1933—1991) — американский писатель, родившийся в Польше; окончил университет в городе Лодзи, с 1957 г. жил в США, где продолжил образование в Колумбийском университете. Преподавал в Принстонском и Йейльском университетах, два года возглавлял американский ПЕН-центр. Автор романов «Раскрашенная птица» («The Painted Bird», 1965; французская премия «За лучшую иностранную книгу»; рус. перев. фрагментов книги в журнале «Искусство кино», 1994, № 10, 11), «Ступени» («Steps», 1968; Национальная книжная премия), «Чертово дерево» («The Devil Tree», 1973), «Кокпит» («Cockpit», 1975), «Свидание вслепую» («Blind Date», 1977), «Страсти господни» («Passion Play», 1979), «Китайский бильярд» («Pinball», 1982), «Отшельник с 69-й стрит» («The Hermit of 69th Street», 1991) и многих публицистических книг и очерков, в том числе «Будущее за нами, товарищ!» («The Future is Ours, Comrade!», 1960), «Третьего пути нет» («No Third Way», 1962). Ежи Косинский отмечен также премиями Американской академии и Национального института искусств и литературы. Его книги переведены на многие языки. В «ИЛ» напечатан перевод повести Е. Косинского «Садовник» («Being There», 1997, № 10).
Эссе «По поводу «Раскрашенной птицы»: заметки автора» публикуется по изданию «Notes of the Author on the Painted Bird». Scienta-Factum, 1965.

■Переводчики:

ШУЛЬГИНА НИНА МИХАЙЛОВНА — переводчик, критик. В ее переводе издавались многие произведения чешских и словацких писателей: «Ангел милосердия» В. Кёрнера, «Разум» Р. Слободы, «Ван Стипхоут» В. Фельдека и др. В «ИЛ» в ее переводе напечатаны роман «Дички» Иржи Кршенека (1975, № 5, 6), первая книга трилогии «Мастера» Винцента Шикулы (1979, № 4, 5) и его повесть «Солдат» (Библиотека «ИЛ», 1985); главы романа «Тысячелетняя пчела» Петера Яроша (1982, № 5, 6), романы «Конец игры» Душана Митаны (1987, № 5, 6), «Шутка» (1990, № 9, 10), «Невыносимая легкость бытия» (1992, № 5-6) и «Бессмертие» (1994, № 10) Милана Кундеры. Лауреат премии «ИЛ» (1987) и словацкой премии имени П. Л. Гвездослава.

КАМЕНСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик с чешского и словацкого языков. В ее переводе издавалось несколько классических произведений чешской и словацкой литературы XIX—XX вв. В «ИЛ» напечатаны переводы стихов Мирослава Флориана, Милана Руфуса, рассказы Эдуарда Петишки (1976, № 9), главы из книги Богуслава Шнайдера «Золотой треугольник» (1987, № 3—5) и др.

КУДРЯВИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИСАЕВИЧ (род. в 1954 г.) — поэт, прозаик, переводчик с английского. Автор книг стихов «Звезды и звуки», «Поле вечных историй», «Граффити» (1998) и др. В его переводе изданы романы «Джослин» Дж. Голсуорси, «История куклы-непоседы» Э. Гарднера, «Вилла на холме» С. Моэма и его рассказы из цикла «Эшенден» («ИЛ», 1992, № 7), рассказ Г. Честертона «Машина ошибается» («ИЛ», 1992, № 11-12), стихи Э. Стивенсон («ИЛ», 1996, № 3), Д. Энрайта («ИЛ», 1992, № 7), Ч. Симика («ИЛ», 1996, № 10), К. Руменс («ИЛ», 1999, № 1) и др.

БРАГИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1920 г.) — кинокритик, киновед, переводчик с французского. В его переводе издавались романы «Убийственное лето», «Смерть в купе», «Долгое воскресное обручение» Себастьяна Жапризо, «Дело Фершо» Жоржа Сименона, «Шантаж» Франсуазы Жеру, «Похождения чудаков» Бертрана Блие и др. Автор книг, посвященных творчеству Рене Клера, Кристиана Жака, Жана-Поля Бельмондо, Жерара Депардье.

БОГОМОЛОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — кандидат филологических наук, литературный критик, переводчик. Автор статей по истории испанской и латиноамериканской литератур, публиковавшихся в периодических изданиях, в том числе в «ИЛ». В ее переводе издавались произведения Х. Л. Борхеса («ИЛ», 1988, № 10), И. Альенде («ИЛ», 1989, № 6), романы «Райские псы»

А. Поссе («ИЛ», 1992, № 8, 9), «Дон Хуан» Г. Торренте Бальестера («ИЛ», 1999, № 1, 2), эссе О. Паса («ИЛ», 1991, № 1) и М. Варгаса Льосы («ИЛ», 1997, № 5) и др. Лауреат премии «ИЛ» (1991).

МОТЫЛЕВ ЛЕОНИД ЮЛЬЕВИЧ (род. в 1955 г.) — переводчик с английского. В его переводе публиковались романы «Неестественные причины» Ф. Д. Джеймс («ИЛ», 1992, № 11-12; совместно с И. Бернштейн и Г. Чхартишвили), «Завещание Оскара Уайльда» («ИЛ», 1993, № 11) и «Процесс Элизабет Кри» («ИЛ»,1997, № 5) Питера Акройда, «Бедные-несчастные» А. Грея («ИЛ», 1995, № 12), книга американского историка Дж. Стефана «Русские фашисты» (М., 1992), «Письма разных лет» Оскара Уайльда («ИЛ», 1993, № 11, совместно с В. Ворониным), рассказы А. Грея («ИЛ», 1996, № 9), Исаака Б. Зингера («ИЛ», 1997, № 7), А. Конан Дойла, Г. Бейтса, стихи Р. Киплинга и др.

232-1730
238-3922
admin@rinet.ru
WWW.RINET.RU

- Подключение к сети Интернет
- Электронная Почта
- Хостинг

RiNet

1-й Хвостов переулок, 11а
Метро «Полянка»,
«Октябрьская»

ON-LINE ALL TIME

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

галерея

линия-арт

представляет

экспозицию

«Женщины в нашей жизни»

с 6 марта по 2 апреля 1999 г.

ЖИВОПИСЬ

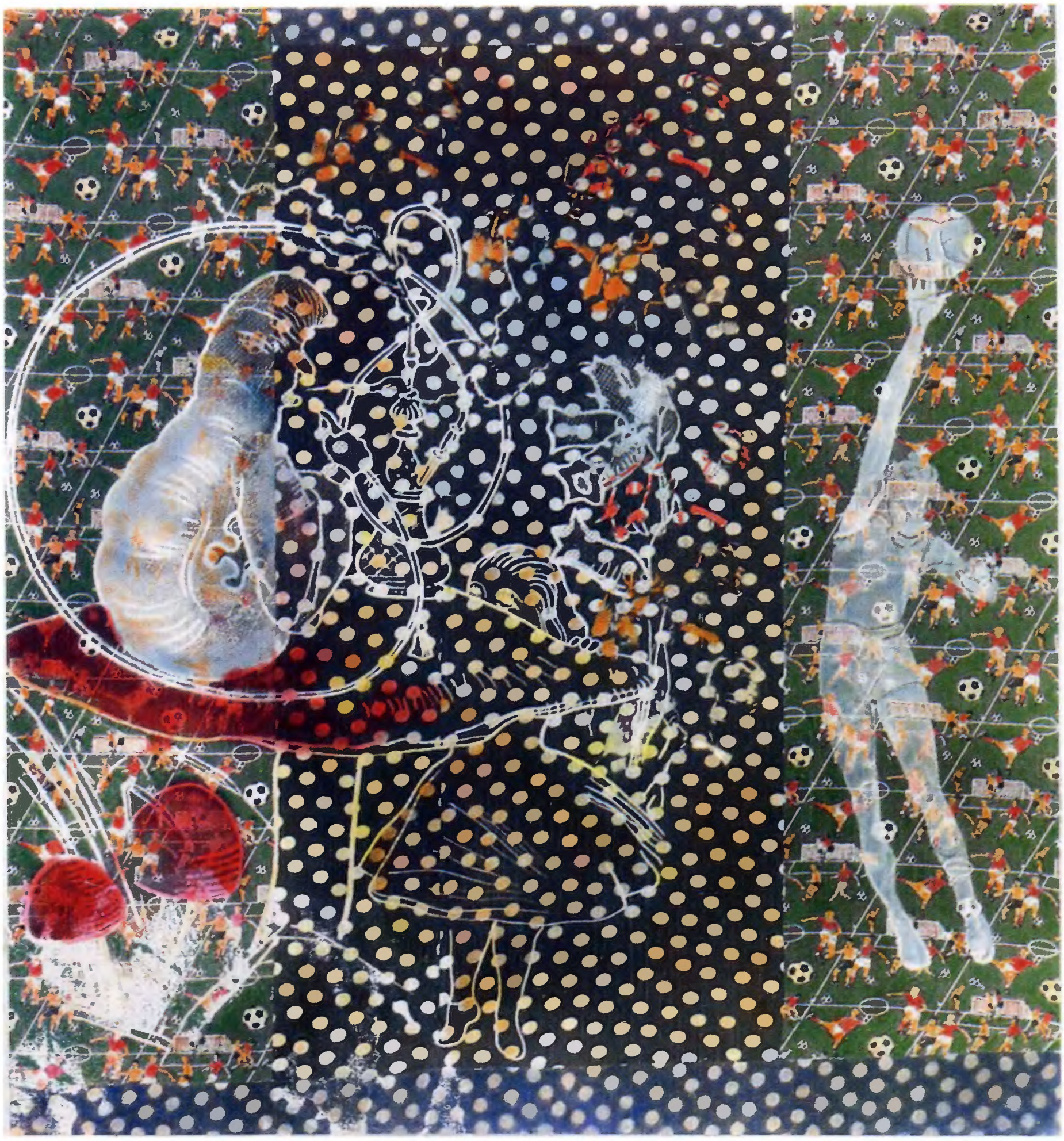
Михаил Рудаков
Игорь Кислицын
Валерий Сахатов
Людмила Попенко
Ионас Даниляускас
Сергей Алферов
Елена Каллистова

СКУЛЬПТУРА

Андрей Ковальчук
Олег Слепов
Евгений Верещагин
Владимир Тишин
Людмила Колтухова
Сергей Смуров

Адрес Галереи:
Пятницкая ул., д. 41, стр. 1
(левое крыло
особняка)

Галерея открыта для посетителей
с 12 до 20 час.
по предварительным заявкам.
Тел./факс **953-3624**; **201-2603**



ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1999, №3, 1 — 224.

ИНДЕКС 70394